С. Н. Терпигорев
(С. Атава)

ОСКУДЕНИЕ



ОСКУДЕНИЕ

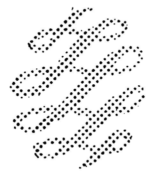
1



С. Н. Терпигорев
(С. Атава)

ОСКУДЕНИЕ

В ДВУХ ТОМАХ



ТОМ
I

*Государственное
Издательство
Художественной
Литературы
Москва
1958*

Вступительная статья и примечания
Н. И. Соколова

Подготовка текста
Н. Я. Марачевского

Иллюстрации художника
Н. В. Кузьмина

Оформление художника
Ю. П. Мезерницкого

С. Н. ТЕРПИГОРЕВ И ЕГО ОЧЕРКИ «ОСКУДЕНИЕ»

В 1880 году в январском номере «Отечественных записок» — в лучшем, самом передовом журнале того времени — начали печататься «очерки, заметки и размышления тамбовского помещика», озаглавленные — «Оскудение»; под произведением стояла подпись «Сергей Атава». Печатание очерков растянулось на целый год. Каждый новый очерк вызывал оживленные толки в литературных кругах, в печати, в обществе. Создаваемая в произведении картина «дворянского оскудения» привлекала читателей яркостью и живостью зарисовок, остротой и тонкостью наблюдений, неподдельным юмором, переходящим нередко в едкую сатиру. Возникли разные предположения об истинном авторе очерков, полагали даже, что Атава — это новый псевдоним самого редактора «Отечественных записок», М. Е. Салтыкова-Щедрина. Толки об этом проникли и в печать.

Истинному создателю «Оскудения» сомнения в его авторстве доставили немало огорчений; об этом он говорил впоследствии в заметке «Умерший писатель». Автор «Оскудения», однако, напрасно беспокоился: во-первых, подпись «Сергей Атава» для внимательного и долголетнего читателя «Отечественных записок» не была абсолютной новостью, так как еще в 1869—1870 годах она стояла под несколькими произведениями; во-вторых, сам псевдоним был раскрыт при печатании в журнале последнего очерка; в-третьих, дальнейшее творчество автора «Оскудения» неоспоримо убеждало в полной самобытности и самостоятельности писателя.

Для нас толки о причастности великого сатирика к «Оскудению» интересны, разумеется, совсем с другой стороны. Эти толки являлись одним из несомненных свидетельств большого значения

вновь появившегося произведения, его незаурядных художественных достоинств, актуальности его проблематики, жизненной правдивости образов, глубокой плодотворности избранного писателем направления.

1

Автор «Оскудения» Сергей Николаевич Терпигорев родился 12 мая (по ст. ст.) 1841 года в селе Никольском Усманского уезда Тамбовской губернии. Родители писателя принадлежали к довольно старому (восходящему еще к XVI в.) дворянскому роду, но уже весьма измельчавшему и порядком обедневшему. Лучшее описание и семьи, в которой Терпигорев вырос, и среды, которая его на протяжении многих лет окружала, оставил сам писатель — и не только в его известных «Воспоминаниях», но и во многих других произведениях, в том числе и в «Оскудении». Автобиографические мотивы в своем творчестве Терпигорев сам подчеркивал, он их вводил сознательно, хотя здесь, разумеется, нужно всегда учитывать элемент художественного обобщения.

Детские и юношеские годы писателя совпали с последним периодом крепостного права. Хотя отец и мать Терпигорева не принадлежали к суровым крепостникам — наоборот, они отличались несомненной гуманностью, справедливостью по отношению к своим крестьянам, — но крепостные порядки во всех их чудовищных проявлениях были хорошо знакомы будущему автору «Оскудения» и «Потревоженных теней». Он насмотрелся на них в имениях многочисленных «дядюшек», «тетенек», «дедушек», а то и просто «соседей». Картины крепостной жизни навсегда и неизгладимо запечатлелись в сознании мальчика. Торговлю крепостными, битье на конюшне, издевательство над дворовыми и мужиками, трагические судьбы отдельных крепостных, безудержное самодурство крепостников, их паразитизм, бесчинства, аморализм — все это Терпигорев знал во всей бытовой конкретности. На глазах писателя прошли и последние годы крепостного права, предшествовавшие реформе, и сама реформа.

В семье Терпигоревых стремились дать детям разностороннее, приличное для их положения образование, и соответствующее воспитание. Нанимали гувернеров и гувернанток, учителей, прививали любовь к чтению. Однако подлинной, строго продуманной системы не было, знания сводились в основном к овладению иностранной речью, чтение часто носило случайный характер. О неровности своего домашнего образования писатель вспоминал:

«Я говорил совершенно свободно, например, по-немецки, знал литературу, то есть перечитал все, что тогда было: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, перечитал в журналах даже новейших в то время писателей, и понятия не имел о грамматике... По истории перечитал Лоренца, Карамзина, Полевого, Устрялова и массу других сочинений, а по арифметике не знал не только первых четырех правил, но даже и первого из них — сложения простых чисел. И так во всем и дальше».[1]

Что касается воспитания, то наибольшая забота родителей сводилась к тому, чтобы оградить детей от слишком мрачных картин крепостной действительности, изолировать их от весьма неприглядного в нравственном отношении быта откровенных крепостников. Наряду с этим детей стремились отделить и от простонародной жизни. На страницах «Оскудения» («Кукушка») писатель не без горечи вспоминал о подобном воспитании. Но, разумеется, изоляция от внешнего мира могла быть лишь относительной: окружающее врывалось в детский мир через множество дверей, и закрыть их не было никакой возможности.

В 1855 году Терпигорев был отдан в «благородный пансион» при Тамбовской губернской гимназии. Вспоминая впоследствии о годах, проведенных в гимназии, писатель мало нашел теплых слов для характеристики царивших в ней порядков; в основном там господствовала рутина. Однако «новые времена» коснулись и этого дворянского учебного заведения. Писатель особенно выделяет влияние учителя-историка Е. В. Крункова и преподавателя русского языка Л. Е. Кованько (оба — питомцы Харьковского университета). «Эти двое, — писал Терпигорев, — пользовались не только общим уважением, но и общей горячей любовью. Можно положительно сказать, что этим двум мы были обязаны всем, что только пробудила чистого, живого и человеческого в нас гимназия».[2] Могучим средством воспитания и образования молодых людей была передовая русская наука и литература. «Читали мы, — вспоминал Терпигорев, — не вздор какой-нибудь, а всё серьезные вещи: историю Соловьева, Белинского... Тургенева, Костомарова, Гончарова, только что появившегося тогда Добролюбова».[3]

В гимназии под воздействием передовых учителей и чтения в Терпигореве пробудились склонности к литературному творчеству. Последним годом пребывания в гимназии помечен неокон-

---

[1] С. Н. Терпигорев (С. Атава). Собрание сочинений, т. VI, СПб. — М., 1899, стр. 426.
[2] Там же, стр 441.
[3] Там же, стр. 442—443.

ченный роман «Красные Талы». Отрывок из него три года спустя писатель опубликовал в газете «Русский мир» с посвящением своему учителю Л. Е. Кованько. По опубликованному отрывку трудно судить о романе в целом. «Главным героем, — свидетельствует сам писатель, — действовавшим в нем, был молодой человек с моими собственными биографическими подробностями и моими же тогдашними взглядами и идеалами...» [1] В опубликованном отрывке молодой автор заявил себя как хороший знаток дворянского быта. В описании жизни среднепоместных помещиков чувствуется несомненное воздействие произведений Гоголя. Интересно свидетельство писателя и о характере произведения в целом. Редактор «Русского мира» был приведен в недоумение самой формой романа: «Один разговор. Помилуйте, роман — и один разговор. Ни описаний, ни сцен, один разговор». Начинавший писатель смело на это возразил: «А как же у Некрасова — «Поэт и гражданин»?» — «Да ведь это же не роман», — ответил редактор. «Образцом для романа, — продолжает Терпигорев, — я действительно взял «Поэта и гражданина» Некрасова, причем сам был «Гражданин», а «Поэтом» один мой товарищ и мы с ним читали наши диалоги перед любимой девушкой». [2] «Диалоги» эти, к сожалению, не сохранились (их нет в опубликованном отрывке), к жанру романа писатель впоследствии не обращался, но как свидетельство определенных литературных симпатий и стремлений молодого писателя этот ранний опыт, конечно, знаменателен.

Характерны и другие литературные опыты Терпигорева гимназических лет. На выпускном экзамене он «подал два «сочинения»: одно — разбор гончаровского «Обломова», а другое — очерк «Черствая доля». [3] Разбор «Обломова» не сохранился, но сам выбор темы показателен для автора будущего «Оскудения». Очерк, ставший затем первым печатным произведением писателя, рассказывает о суровой доле крепостной крестьянки, доведенной издевательствами барина до самоубийства. Язык очерка стилизован под речь крестьянина и несколько искусственен, но демократические симпатии автора не подлежат сомнению.

Из всего сказанного нетрудно заключить, что все стремления, все мечты оканчивавшего гимназию Терпигорева были связаны с литературой. Действительно, в 1860 г. после окончания гимназии

---

[1] С. Н. Терпигорев (С. Атава). Собрание сочинений, т. VI, стр. 511.

[2] Там же, стр. 514.

[3] Там же, стр. 474.

он направляется в Петербург, чтобы поступить на историко-филологический факультет университета.

Терпигорев приехал в Петербург в очень сложное и напряженное для России время. Страна находилась накануне отмены крепостного права, в России сложилась революционная ситуация, ожидалась новая пугачевщина. Насколько ее боялись помещики, Терпигорев хорошо знал по настроениям в Тамбовской губернии, откуда он только что приехал. Революционные демократы, объединяемые «Современником», готовились к грозным событиям. Студенчество Петербургского университета, куда поступил Терпигорев, волновалось.

Обстоятельства сложились так, что Терпигорев поступил не на историко-филологический факультет, а на юридический. Этому способствовал его дядя по матери Ф. И. Рахманинов, взявшийся покровительствовать своему племяннику. Но дядя же оказался и невольным пособником дальнейшего увлечения Терпигорева литературой. Рахманинов был цензором, который одно время контролировал «Современник». В «Воспоминаниях» Терпигорева содержатся интересные свидетельства о взаимоотношениях руководителей самого радикального тогда журнала и царских цензоров. Благодаря служебному положению своего дяди Терпигореву довелось лично познакомиться с теми деятелями литературы, о которых он совсем недавно мог только слышать. Следует отметить, что Терпигорев и в то и в последующее время был совершенно чужд устремлениям писателей революционно-демократических убеждений. Но общий демократический пафос «Современника» был близок Терпигореву. Мы говорили выше об отношении его к Некрасову. С симпатией и уважением отнесся он и к Чернышевскому. Эти симпатии и уважение он сохранил вплоть до последних лет своей жизни, хотя подлинный смысл деятельности великого революционера он истолковывал с либеральных позиций. В своих «Воспоминаниях» о Чернышевском Терпигорев говорит: «Это был крайне симпатичный человек, необыкновенно располагавший к себе своей простотой и застенчивой скромностью. Это величина будущего. Когда настанет время сделать ему оценку и ее сделают, он вырастет во весь свой рост, перед которым у последующих лилипутов шапки свалятся с голов...»[1]

Студенческая жизнь Терпигорева сложилась в соответствии с обстоятельствами, обусловленными общей исторической обста-

---

[1] С. Н. Терпигорев (С. Атава). Собрание сочинений, т. VI, стр. 505.

новкой. Человек общительный и темпераментный, Терпигорев не остался в стороне от движения передовой молодежи. Студенческие волнения, приведшие к закрытию Петербургского университета, захватили и его. Как известно по ряду свидетельств, Терпигорев остался в стороне от подлинно революционной деятельности вожаков студенчества, но все же он был в 1862 году исключен из университета и выслан из Петербурга под надзор полиции на родину, в Тамбовскую губернию. Заступничество дяди-цензора имело последствием лишь небольшую отсрочку с отъездом из Петербурга в 1862 году.

Таким образом, первое пребывание Терпигорева в столице было весьма кратковременным. Но оно, оставив глубокий след в его сознании, вместе с тем во многом способствовало определению дальнейшего пути Терпигорева.

В 1861 году в газете «Русский мир», с редактором которого А. С. Гиероглифовым Терпигорев познакомился благодаря тому же Рахманинову, появляется очерк «Черствая доля», а в 1862 году и отрывок из романа «Красные Талы». Вслед за тем в юмористическом журнале «Гудок» того же Гиероглифова начали появляться сатирические заметки, в которых Терпигорев весело и остроумно высмеивал нравы тамбовских бюрократов, под начало которых вскоре ему самому пришлось попасть. Так появились заметки «Цнинский воевода Дурандас и регистратор», «Темный уголок, сцены из быта цнинских обывателей», «О кабалистическом значении Виктора Ипатьевича Аскоченского» и др. Уже после отъезда из Петербурга в журнале «Русское слово» (1863, №№ 2 и 4) появляются очерки Терпигорева «Из записок неудавшегося чиновника», в основу которых легли личные наблюдения писателя над чиновничьими нравами в Тамбовской губернии.

Последующие годы вынужденного пребывания в имении своей матери Полинино тяжело переживались писателем. Отрыв от шумной столичной жизни, крушение мечты об университетском образовании, прекращение литературной деятельности — все это не могло не тяготить его. Однако окружающая жизнь скоро вовлекает писателя в свои интересы. Процессы, охватившие русскую деревню после реформы, глубоко волновали Терпигорева. Разоренье неприспособившихся к «новым временам» помещиков, положение крестьян, обманутых реформой, участь дворовых, оказавшихся после реформы «не у дел», проникновение в деревню кулака, нарождение новых денежных воротил в городах — вот что нашел писатель в родной для него тамбовщине, за изучение которой он сейчас взялся с большим рвением.

Находясь в деревне и вникая в окружающую жизнь, Терпигорев не ограничился ролью пассивного наблюдателя: вскоре он начал посылать корреспонденции в газету «Голос», с издателем которой А. А. Краевским познакомился в Петербурге. Весьма острые и насыщенные фактическим материалом заметки и очерки Терпигорева скоро принесли ему широкую популярность в Тамбове и губернии. Не все его статьи, однако, пропускались цензурой. В архиве С.-Петербургского цензурного комитета сохранилась большая статья Терпигорева под заглавием «Губернские ведомости». Статья, посвященная Николаю Ивановичу Костомарову, имеет помету: «Полинино, 7 декабря 1862 г.» Вот одно из мест статьи, не понравившееся цензору. Оно касается отношения цензуры к «Губернским ведомостям»:

«Ведь, кажется, нечего доказывать, что если человеку скрутить руки назад да привязать его самого к чему-нибудь покрепче, так, чтобы не было возможности ему пошевелиться даже, тогда хоть на вершок от рта поставьте перед ним самые вкусные блюда — кусочка не съест. Так точно и редактор губернских ведомостей. Он именно в таком положении. Как бы роскошно ни расцветала перед ним народная жизнь, а он ничего не может сказать о ней. Так же точно, как не может ничего сказать, если б перед его глазами совершались ужаснейшие преступления. И в первом и в последнем случае он одинаково нем, как рыба».[1]

Особенно нашумела корреспонденция Терпигорева, в которой разоблачалась деятельность железнодорожных концессионеров фон Дервиза и фон Мекка, сгноивших в Козлове большое количество хлеба, предназначенного для голодающих крестьян Самарской и Уфимской губерний. Разоблаченные темные дельцы затеяли против газеты «Голос» процесс, был нанят известный адвокат В. Д. Спасович, однако дело окончилось фактически оправданием газеты. Правда, подлинные виновники тоже не пострадали...

Вскоре после этого процесса, в 1867 году, Терпигорев вновь переезжает в Петербург; начался новый, тоже кратковременный период его литературной деятельности. Помимо сотрудничества в «Голосе» и в «Биржевых ведомостях», возобновляются связи и с Некрасовым: в журнале «Отечественные записки» за 1869—1870 годы появляются очерки Терпигорева «В степи» и комедия «Слияние». Для этих произведений был впервые использован псевдоним «Сергей Атава».

---

[1] Центральный государственный исторический архив в Ленинграде. Фонд 777, опись 26, № 27.

В комедии «Слияние» («Отечественные записки», 1870, № 7) высмеиваются либеральные потуги дворян сблизиться с крестьянами. Ничего путного, кроме фарса, никчемной болтовни, из затеи «слиться» с народом у изображаемого в комедии помещика не выходит. В литературном отношении комедия, однако, не удалась писателю и впоследствии он редко обращался к драматургическому жанру.

Более серьезное значение имеют очерки «В степи», появившиеся в печати несколько ранее комедии «Слияние». В двух небольших очерках писатель, по сути, наметил многие важнейшие проблемы, которые десятилетием позднее найдут свое полное развитие в очерках «Оскудение». Особенно значителен второй очерк, имеющий подзаголовок «Степная деревня, ее жизнь, печали и радости». Писатель выступает здесь против идиллических представлений о деревне, о которой нельзя судить лишь по внешнему виду, по пейзажу, по первым впечатлениям: «Какая бесконечная разница явится в вашем взгляде на эту жизнь, когда вы окунетесь в нее с головою и узнаете всю ее подноготную. Какой наглой ложью покажутся тогда вам эти первые благодушные впечатления!» [1] И далее художник-очеркист стремится раскрыть подлинное положение современной деревни: «...В этих низких, запушенных снегом и бесконечным рядом протянувшихся избенок, из окон которых так красиво бежит полосками свет на улицу, половина сидит уже без хлеба, перебиваясь кое-как работишкой, да продавая последнюю скотину, да отдавая в наем ту землю, которую весною следовало бы им самим сеять и которую теперь будет засевать целовальник, местный лавочник, мещанин или два-три мужика-богача». [2]

Касается писатель и положения пореформенного помещика. «Во всей Тамбовской губернии, — говорится в очерке, — едва ли наберется десяток или два незаложенных помещичьих имений». Интересны очерки «В степи» и в художественном отношении. Автор как бы нашел для себя тот жанр, в котором просто и непринужденно зазвучал его подлинный голос.

Выступление в «Отечественных записках» обещало новый, плодотворный этап в творчестве Терпигорева. Однако вслед за этим происходит нечто непонятное: очерки «В степи» остаются без продолжения, сам автор на целое десятилетие уходит из литературы. Причины этого и конкретные факты жизни писателя

---

[1] «Отечественные записки», 1870, № 4, стр. 599.
[2] Там же, стр. 599—600.

в 70-е годы мало освещены в его коротких биографиях. Известно лишь, что он (очевидно, понуждаемый материальными обстоятельствами) занимался частным предпринимательством, торговал лошадьми, разъезжал по России, бывал и за границей, брался за поставку дров, за внедрение каких-то изобретений в электротехнике — пока не разорился. Казалось, что от литературы Терпигорев отдалился совершенно. «Я случайный и сторонний человек в литературе, — писал он позднее. — Я несколько раз приходил и уходил из нее...»[1] И все же литература взяла верх. Накопленные жизненные впечатления, стремление понять происходящие пореформенные перемены, темперамент художника и публициста требовали выхода. Предшествующий писательский опыт и литературные связи пригодились. В октябре 1879 года «в один из понедельников» Терпигорев принес в редакцию «Отечественных записок» первый очерк «Оскудения».

2

«Оскудение» принадлежит к числу значительных явлений в русской литературе 80-х годов прошлого столетия. В наследии его автора — это, несомненно, важнейшее произведение и по своей художественной зрелости и по своему идейно-общественному звучанию. Охватом явлений действительности, богатством и разнообразием очерченных типов с «Оскудением» в творчестве самого Терпигорева могут соперничать лишь «Потревоженные тени», созданные на последнем этапе его творческого пути.

Как всякое значительное произведение, «Оскудение» глубоко и разносторонне связано с лучшими традициями русской литературы, с передовым литературным движением своего времени

Уже творческая история «Оскудения» (насколько она устанавливается на основании выясненных ныне фактов) дает интересный и важный материал для характеристики произведения. В одном из рассказов современника писателя говорится о роли Некрасова в возникновении замысла «Оскудения», по другим источникам эта роль отводится Салтыкову-Щедрину (см. подробнее об этом в примечаниях к настоящему изданию). Насколько достоверны эти свидетельства, судить трудно, в «Воспоминаниях» Терпигорева им нет подтверждений. Однако одно бесспорно: оба

---

[1] «Новое время», 1882, № 2391, 24 октября.

названные писателя оказали глубокое и благотворное воздействие на автора «Оскудения».

Изображение Некрасовым помещичьего разорения, недовольства крепостников своим пореформенным положением, несомненно, учитывалось Терпигоревым. Бросается в глаза тот факт, что эпиграфами к ряду очерков «Оскудения» («Увертюра», «Отхожие промыслы», «На промыслах») взяты тексты из произведений поэта. В 1881 году в программной статье «Двадцать лет», посвященной итогам пореформенного развития и тесно связанной с «Оскудением», эпиграфом взят особенно важный для темы произведения отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»:

Порвалась цепь великая,
Порвалась, — расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..

Несомненно воздействие демократической поэзии Некрасова и на развитие дальнейшего замысла «Оскудения». В предисловии к очеркам Терпигорев в 1882 году заявлял: «Тем, что я уже написал, то есть этими первыми двумя томами очерков («Оскудение») — я пожалуй что и доволен. Но если бы мне удались очерки дворни и потом — моя заветная мечта — очерки мужичьего оскудения — я был бы счастливейшим человеком». Терпигореву не довелось осуществить задуманное, но о положении мужика он много и тревожно размышляет на страницах своих произведений. «Мужицкая тема» поэзии Некрасова, которого Терпигорев считал «лучшим понимателем народа», не могла не затронуть творческого сознания автора «Оскудения».

Если отчетливо и ощутимо идейное и творческое влияние Некрасова на Терпигорева, то с еще большим основанием следует говорить о воздействии, которое оказал на создателя «Оскудения» Салтыков-Щедрин. На это воздействие указывали и современники писателя, и все позднейшие авторы работ (правда, немногих и по материалу весьма скромных) о Терпигореве. Очевидно, что творческий метод и художественные приемы великого сатирика привлекали Терпигорева, были в какой-то мере родственны характеру его дарования, хотя следует оговориться, что ни в «Оскудении», ни тем более в последующем творчестве он не был сколько-нибудь последовательным сторонником идейно-творческих принципов Салтыкова-Щедрина. Это обусловило несомненную ущербность даже лучших произведений Терпигорева. Неизмеримо уступал он Щедрину, конечно, и объемом своего дарования. Лишь памятуя

о масштабах этих столь неравных и столь разных по значению явлений литературы, и можно понять смысл писательской встречи Терпигорева с Салтыковым-Щедриным.

В высказываниях об отношениях Салтыкова-Щедрина к Терпигореву, как мы уже упоминали, дело доходило до того, что даже авторство «Оскудения» подвергалось сомнению. Еще более определенно говорили о редакторском вмешательстве Щедрина в творческую работу Терпигорева. Создатель «Оскудения» никогда не соглашался с подобными утверждениями и со всей страстью опровергал их. Терпигорева возмущало, когда говорилось о чисто внешнем воздействии на него Салтыкова-Щедрина, как о чем-то таком, что насиловало творческую волю автора «Оскудения». И Терпигорев был прав в своем возмущении, ибо в противном случае ни о каком самостоятельном значении его творчества не могло быть и речи. Между тем у Терпигорева был *свой* писательский почерк, *свое* творческое лицо, *свое* — часто далеко не бесспорное — решение многих сложных творческих задач. Заслуга Терпигорева состоит в том, что он на определенном материале и в определенных пределах, обусловленных его мировоззрением и размерами дарования, смог решать задачи, которые ставил перед литературой своим творчеством Салтыков-Щедрин.

Как известно, вскоре после опубликования «Оскудения» у Терпигорева произошел разрыв с кругом «Отечественных записок», но и после этого он не переставал высоко ценить творчество Щедрина. Он называл «Помпадуры и помпадурши» «одним из любимых произведений», о «Господах Головлевых» писал, что это «положительно лучшая вещь» сатирика. [1] В произведениях Терпигорева то и дело встречаются словечки, идущие от Щедрина, называются образы из его произведений. Но все это далеко не главное для решения вопроса о плодотворном воздействии Щедрина на автора «Оскудения». Самое главное — в сатирическом изображении действительности, в осмеянии того, что следовало осмеивать, в успешном отыскании тех художественных средств, которыми достигалось это изображение и осмеяние. В «Оскудении» мы находим много отдельных деталей, приемов, образов, которые заставляют нас вспомнить о Щедрине. В «Оскудении» подвергается преследованию тот противник, которого не уставал преследовать и великий сатирик в своих произведениях, начиная «Губернскими очерками» и кончая «Пошехонской стариной».

---

[1] С. Атава. О некоторой излишней гордости. — «Новое время», 1882, № 2196, 11 апреля.

В авторе «Оскудения» Щедрин нашел талантливого союзника и восприимчивого ученика, который, в свою очередь, умел ценить и плодотворно пользоваться советами редактора «Отечественных записок». Позднее, даже когда пути писателей совершенно разошлись, Терпигорев не отказался от плодотворного следования приемам изображения действительности, которым учил своим творчеством Салтыков-Щедрин. Так было, в частности, при создании «Потревоженных теней».

Проблематика «Оскудения» имеет параллели не только в творчестве Некрасова и Салтыкова-Щедрина: судьбы дворянского класса, его положения в обществе и отношения к эксплуатируемому им народу, как известно, занимали большое место во всей передовой русской литературе. Крепостное прошлое России запечатлено во многих великих произведениях — Радищева и Пушкина, Грибоедова и Гоголя, Тургенева и Гончарова. Много до Терпигорева рассказала русская литература и о пореформенном положении помещика. Пресловутая крестьянская реформа, проведенная руками крепостников, не уничтожила привилегированного положения дворянства, хотя экономическое положение его в связи с развитием капитализма и было подорвано. Кроме Некрасова и Салтыкова-Щедрина, о положении пореформенного помещика талантливо и зло (по адресу бывших владельцев крепостных душ) говорит В. А. Слепцов в своей повести «Трудное время» (1865), о взаимоотношениях с освобожденным крестьянином много и тревожно размышляет Константин Левин из «Анны Карениной» Л. Н. Толстого.

Если мы просмотрим «Отечественные записки» хотя бы только за год, когда публиковались «очерки, заметки и размышления тамбовского помещика», то будет ясно, насколько живы и актуальны были для русского общества вопросы, освещавшиеся в произведении Терпигорева Непосредственно о помещичьем оскудении и разорении говорит «последний эпизод» из гениальной головлевской хроники Салтыкова-Щедрина; за год до «Оскудения» об этом писал Щедрин и в «Убежище Монрепо». О том, каким ярмом на шее исстрадавшегося народа был помещичий класс, языком цифр заявляла статья (без подписи) «Задолженность частного землевладения» — статья, непосредственно перекликающаяся со многими страницами «Оскудения»; о «мужицком оскудении» рассказывали замечательные произведения Г. И. Успенского («Малые ребята», «Непорванные связи», «Крестьянин и крестьянский труд»), очерки и рассказы С. Каронина («Ученый», «Союз», «Вольный человек», «Последний приход

Демы» и др.), известный роман Н. Н. Златовратского «Устои»; о взаимоотношениях помещика и мужика в пореформенный период говорит в письмах «Из деревни» А. Н. Энгельгардт. Можно было бы назвать еще ряд произведений — художественных и публицистических, — которые убеждают в том, насколько органично и закономерно было появление очерков Терпигорева на страницах «Отечественных записок» именно в 1880 году, в период второй революционной ситуации в России.[1] Это также подчеркивает, какое большое значение придавал редактор самого передового и радикального журнала того времени очеркам «Оскудение».

Успех очерков Терпигорева, таким образом, был обусловлен прежде всего тем, что в этом произведении освещались важные явления, связанные с положением больших социальных групп на протяжении целого исторического периода в жизни России, периода исключительно сложного, наполненного острой борьбой и противоречиями. В самом деле, положение помещичьего класса в пореформенную эпоху касалось не только самого этого класса, — оно затрагивало положение самых широчайших народных масс, прежде всего крестьянства, оно имело непосредственное значение для дальнейшего развития всей России.

В. И. Ленин в своем труде «Развитие капитализма в России» дал исчерпывающую характеристику положения помещичьего хозяйства в пореформенную эпоху. Хотя в силу крепостнического характера крестьянской реформы господствующее и привилегированное положение класса дворян фактически все еще сохранялось, однако это не значит, что формы хозяйствования помещика могли оставаться неизменными. «Барщинная система хозяйства, — пишет В. И. Ленин, — была подорвана отменой крепостного права. Подорваны были все главные основания этой системы: натуральное хозяйство, замкнутость и самодовлеющий характер помещичьей вотчины, тесная связь между ее отдельными элементами, власть помещика над крестьянами. Крестьянское хозяйство отделялось от помещичьего; крестьянину предстояло выкупить свою землю в полную собственность, помещику — перейти к капиталистической системе хозяйства...»[2] Все это не могло не усложнять положение помещика, бывшего душевладельца. Части помещиков, не сразу приспособившихся к новым порядкам, при-

---

[1] См. об этом в статье: Н. П. Емельянов. «Отечественные записки» в борьбе с пережитками крепостничества (1878—1881 гг.). — «Ученые записки» ЛГУ, 1957, № 218, серия филологических наук, вып. 33, стр. 121—154.

[2] В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 159.

шлось претерпеть немало злоключений и тревог. Однако было бы, конечно, наивным сравнивать трудности, которые принесла реформа классу помещиков, с теми величайшими бедствиями, которые испытывали после реформы народные массы, страдавшие, как известно, от пережитков крепостничества и от эксплуатации нарождающегося капитализма. Царское правительство, мало того, что закрепляло за помещиками на многие годы крепостнические привилегии, оно неизменно шло на помощь господствующему классу. «Подачки благородным дворянам-помещикам, — указывал в другой своей работе В. И. Ленин, — давно уже делает наше правительство: оно устроило для них дворянский банк, дало тысячи льгот по выдаче им ссуд и отсрочке недоимок... оно позаботилось о местечках земских начальников для промотавшихся дворянских сынков...»[1] Ленинские характеристики пореформенной эпохи помогают нам глубже и правильнее разобраться в том освещении положения помещичьего класса после реформы, которое дается на страницах «Оскудения».

Современники писателя и сам автор «Оскудения» не раз говорили об автобиографической основе произведения: за колоритными фигурами прогоревших помещиков угадываются многочисленные представители широкого круга родственников семьи Терпигорева. Академик А. М. Терпигорев, родственник писателя, уже в советские годы вспоминая о давнем времени, также подтверждает автобиографизм «Оскудения». «Нет сомнения, — говорит он, — что это лучшее произведение писателя носило в своей основе автобиографический характер...»[2] И ниже: «...в основе цикла очерков С. Н. Терпигорева лежат реальные факты из жизни нашей семьи».[3] Разумеется, этот автобиографизм «Оскудения» не следует понимать узко; очевидно, что за семейными историями и преданиями стоят обобщенные картины действительности того времени.

В произведении Терпигорева явления пореформенной действительности рассматриваются исторически, не только в их современном состоянии, но и в глубокой связи с подготовлявшим их прошлым. Картины крепостной действительности, особенно периода, непосредственно предшествовавшего реформе, занимают в «Оскудении» значительное место. Крепостной быт, типы крепостников, их произвол, паразитизм, цинизм и разврат — все это запечатлено

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 78.

[2] А. М. Терпигорев. Воспоминания горного инженера. М., 1956, стр. 10.

[3] Там же, стр. 11.

писателем в сценах и образах с неотразимой убедительностью. Терпигорев в подавляющем большинстве случаев рисует быт малообразованных слоев дворянства, рядовых помещиков, погруженных в интересы, далекие от какой-либо культуры. В этом близость образов Терпигорева с образами помещиков из произведений Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Питье, еда, блуд, псовая охота, у некоторых еще конские заводы — таков круг «интересов» многих и многих «дореформенных» помещиков, рисуемых на страницах «Оскудения». Касаясь впоследствии в одной из статей растлевающего влияния крепостного права для барина и мужика и анализируя причины дворянского оскудения, Терпигорев с убежденностью заявлял: «Всему виной крепостное право, одинаково растлевавшее тех и других. Я скорее соглашусь — потому что это будет вернее, — что оно растлевало дворянство более, чем мужиков. Они страдали — и хотя искалеченные, но все-таки уцелели, а «мы»?..[1]

С удивительной верностью исторической правде Терпигорев изображает крестьянскую реформу, ее подготовку и проведение. Он чужд какой-либо либерально-дворянской фразеологии — наоборот, он ее беспощадно высмеивает. На многих страницах «Оскудения» Терпигорев рассказывает об опасениях крепостников перед реформой. И прежде всего они боялись, и, разумеется, не без оснований, мужика, своего крепостного. «Кое-какие грешки и счеты в прошлом, — говорится о помещиках в первом же очерке «Оскудения», — а главное, перепуг перед неизвестным будущим, понятно, стянули все их мысли к заботе о спасении своих животов... покупались ружья, сабли, приносились из кладовой заржавленные дедовские и прадедовские шпаги... которыми теперь... собирались защищать свою жизнь от Сенек, Степок и т. д.» В другом очерке говорится от имени помещиков, что «все мы ждали чуть не поголовного своего истребления». Крестьянского возмущения крепостники опасались и в период подготовки реформы, и во время ее «дарования», и даже долгое время спустя после реформы. Терпигорев рассказывает о трагикомическом случае, когда один помещик-«рационализатор» был смертельно перепуган, услышав о том, что на его машины пришла посмотреть большая толпа крестьян, бывших его крепостных: «Он вдруг страшно побледнел, нижняя губа как-то отвалилась, глаза бессмысленно расползлись по всем нам, сидевшим против

---

[1] С. Атава. Двадцать лет. — «Порядок», 1881, № 52, 22 февраля.

него». Страхи крепостников перед новой пугачевщиной в большинстве случаев оказались безосновательными, полицейско-помещичье государство позаботилось о «сохранении спокойствия», — но показательно, насколько чужд был Терпигорев либерально-дворянской и официальной лжи о «гармонии» помещичьих и крестьянских устремлений во время реформы, о «благодарности» крестьян за дарованную «свободу».

Еще более безосновательными оказались опасения крепостников за свои экономические интересы. «Мы ясно увидели и даже почувствовали, — говорит повествователь от имени помещиков, — что перед нами две задачи. Во-первых, мы должны во что бы то ни стало и каким бы то ни было способом ухитриться сохранить то, что «нам оставили», что «не отняли от нас», то есть отдать «мужичкам» как можно меньше земли в надел, и притом чтобы эта отданная в надел земля была самая худшая и дальняя. И во-вторых, мы должны приладить свое хозяйство к «новому положению». Если вторая задача оказалась для многих весьма трудной, то первая была осуществлена блестяще. Терпигорев раскрывает всю механику надувательства крестьян, всю ложь и обман с «уставными грамотами». «Я мог бы привести в пример, — говорит писатель, — множество так называемых «полюбовных соглашений», где такое полюбовное согласие происходило вовсе не между помещиком и его бывшими крепостными, а между мировым посредником и обратившимся к нему за одолжением помещиком. Какие переселения мужиков устраивались, какая земля им отводилась в надел — это, кажется, осталось известным только одному богу, и разве им одним, при его милосердии, может быть прощено». Разоблачает Терпигорев и всю либеральную ложь о благотворной роли мировых посредников. Особенно оголтелыми были посредники так называемого «второго призыва». «Эта вторая смена, — говорит писатель, — почти сплошь состояла из крепостников, озлобленных «Положением» 19 февраля...» В. И. Ленин впоследствии об этой замене одних мировых посредников другими писал: «...правительство не остановилось даже перед такой гнусностью, как подтасовка людей, призванных осуществить реформу, — хотя эти люди были призваны из числа дворян же! Мировые посредники первого призыва были распущены и заменены людьми, не способными отказать крепостникам в объегоривании крестьян и при самом размежевании земли».[1] Данная В. И. Лениным характеристика лишний раз убеждает нас, на-

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 4, стр. 395.

сколько исторически точен и конкретен был автор «Оскудения» в своих наблюдениях. Существенно отметить, что Терпигорев в изображении реформы не разошелся с тем, что писал по свежим наблюдениям над пореформенной деревней в повести «Трудное время» писатель-демократ В. А. Слепцов.

В «Оскудении» хорошо показано также, что еще менее после реформы пострадало политическое и правовое положение дворян. Так, «в мировые судьи попали почти сплошь самые богатые и авторитетные помещики», дворяне завладели всеми земскими учреждениями. В упоминавшемся очерке «На родине» помещики с удовлетворением и гордостью заявляют: «Смотри: в земстве — мы, в администрации — мы, в полиции — мы... Только один архиерей у нас не из помещиков...» [1]

Однако положение помещика после реформы все же серьезно изменилось, «оскудение» дворянства, подготовленное и начатое еще в крепостную эпоху, пошло убыстренным темпом. Помещики из «Оскудения» имели полное основание примкнуть к сетованиям Оболта Оболдуева из «Кому на Руси жить хорошо».

От понимания истинных причин наступивших перемен помещики в большинстве своем были далеки. Положение растерявшихся перед новыми временами помещиков и занимает всего более Терпигорева, их-то «оскудение» он по преимуществу и рисует.

Известно однако, что не все помещики «растерялись». Многие из них отлично приспособились и, используя все преимущества пореформенного помещичьего землевладения и привилегированного положения, успешно составляли кругленькие капиталы, не уступая в этом ни Разуваевым, ни Подугольниковым. Мы знаем подобных помещиков-дельцов по произведениям Салтыкова-Щедрина, есть они и у Терпигорева. Таков на страницах «Оскудения» Передков, всем своим обликом и поведением напоминающий Иудушку Головлева, такова героиня позднейшего рассказа Терпигорева «Стрекаловская барышня», успешно прибирающая к рукам разорившиеся «дворянские гнезда». И все же подобных фигур у Терпигорева немного, они ему глубоко антипатичны, и он мало ими занимается.

Зато огромна галерея тех помещиков, которые не устояли перед «новыми временами», которые постепенно, а подчас и очень быстро, деградировали, опускались материально и нравственно, теряли свое былое командное положение. Понятие «оскудения», как это справедливо заметил уже Щедрин при первом же

---

[1] «Новое время», 1882, № 2163, 7 марта.

знакомстве с произведением Терпигорева, гораздо шире, чем только разорение: это всестороннее вырождение дворянского класса — нравственное, культурное, экономическое и даже физическое, — вырождение, своими глубокими корнями уходящее в крепостное прошлое.

Терпигорев рисует пеструю и многочисленную галерею помещиков, стремившихся как-то спасти свое пошатнувшееся положение землевладельцев. Большое число их стремилось сделать это путем введения новой техники земледелия, путем новой организации хозяйства, выискиванием новых статей дохода от земли. В очерке «Рациональные хозяева» и других писатель с большим юмором и острой насмешкой, прибегая даже к карикатуре, рассказывает о всех этих попытках извлечь доходы из введения английских и немецких машин, из разведения зайцев «на племя»... Причины крушения этих замыслов коренились не только в личной неумелости бывших рабовладельцев, избалованных даровым трудом. Причины были гораздо глубже; «...подобный переход к совершенно иной системе, — говорит В. И. Ленин в «Развитии капитализма в России», — не мог, конечно, произойти сразу, не мог по двум различным причинам. Во-1-х, не было еще налицо тех условий, которые требуются для капиталистического производства. Требовался класс людей, привыкших к работе по найму, требовалась замена крестьянского инвентаря помещичьим; требовалась организация земледелия как и всякого другого торгово-промышленного предприятия, а не как господского дела. Все эти условия могли сложиться лишь постепенно, и попытки некоторых помещиков в первое время после реформы выписать себе из-за границы заграничные машины и даже заграничных рабочих не могли не окончиться полным фиаско. Другая причина того, почему невозможен был сразу переход к капиталистической постановке дела, состояла в том, что старая, барщинная система хозяйства была лишь подорвана, но не уничтожена окончательно».[1] В свете данной характеристики нам сейчас понятен исход всех этих трагикомических попыток многих героев «Оскудения» завести «рациональное хозяйство», новый севооборот, внедрить машинную обработку земли. Самому Терпигореву эти глубокие причины были во многом неясны, ему казалось, что положение можно было бы поправить правильным воспитанием, образованием дворян, их решимостью не на словах, а на деле овладеть тайнами земледельческого хозяйства, их стремлением наладить «правильные отношения» с мужи-

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 159—160.

ком и т. д. Очевидно, насколько эти представления были исторически иллюзорны, причем сам Терпигорев собственными же правдивыми картинами действительности разрушал эти иллюзии.

Огромное количество зарисовок посвящено Терпигоревым тем помещикам и их отпрыскам, которые были наступившим разорением вышиблены из деревень, как говорит писатель, «на отхожие промыслы». Само разорение «дворянских гнезд» происходило часто даже не от неудачного хозяйствования в новых условиях, а попросту от мотовства, безудержного разгула, от полной неприспособленности к практическим требованиям жизни. Века паразитического и беззаботного существования на даровых крепостных хлебах дали свои плоды. Терпигорев не жалеет красок, чтобы представить все ничтожество и весь аморализм этих последышей крепостного права, растрачивающих свое состояние по ресторанам и публичным домам. Картины полнейшего аморализма, опустошенности, исторической обреченности некогда «славного сословия» составляют сильнейшую сторону «Оскудения».

Терпигорева не раз упрекали в резкости критики в адрес оскудевающих дворян. Недовольство проявляли и сами герои «Оскудения». Писатель рассказывает, что однажды Салтыков-Щедрин «по прочтении какого-то очерка спросил меня, рассчитываю ли я поехать когда-нибудь в Тамбов?

— А что?

— Смотрите...

— Ничего. Это все я пишу любя, и они это понимают...» [1]

Разговор был, конечно, шуточный, однако вопрос о том, «любя» ли своих героев изображал Терпигорев, не раз возникал в отзывах о писателе. В ряде случаев говорилось о незлобивости юмора Терпигорева, его сочувственном отношении к бедствиям оскудевающего дворянства, или если уж не о сочувствии, то по крайней мере «жалости» к нему. Однако эти утверждения не подкрепляются творчеством Терпигорева. В лучшем случае речь может идти о «сочувствии» к культурной и образованной части дворян, стремившейся найти себе разумное и полезное дело в новых исторических условиях. Что касается основной массы дворянства — всех этих прожигателей жизни, паразитирующих и жуирующих за чужой счет, бесчинствующих концессионеров, земских дельцов, воспитанников «лошадиных училищ», не говоря уже о бесчисленном сонмище крепостников, — то здесь общее отношение Терпигорева ясно и бесповоротно. «Наше время прошло»,

«такой силы нет, которая могла бы нас поднять на ноги и спасти», — эти формулировки «тамбовского помещика» приводятся Терпигоревым без грусти и сожаления об уходящем прошлом.

В одном из более поздних очерков Терпигорев дал портрет одного дворянского сынка, подобия которому уже встречались в «Оскудении»: «Волосы на голове были еще мокрые, височки прилизаны, лицо не розовое, по обыкновению, а пунцовое, с двумя мутными, как два плевка, глазами на нем».[1] Чтобы так написать о вырождающемся представителе определенного сословия, надо обладать немалой долей презрения к этому сословию.

Вопрос о положении дворянства является, конечно, главным на страницах «Оскудения», он исследуется писателем с подлинной многосторонностью и основательностью. Другие проблемы, затрагиваемые в очерках, имеют подчиненное, однако отнюдь немаловажное значение. Существеннейшим из них является вопрос о «новом барине», о тех, кто вытеснял из деревни старого помещика и укреплял свое господство над мужиком. Мы говорили выше о помещиках-дельцах, которые сумели приспособиться к новым, капиталистическим порядкам. Однако подлинными, типичными представителями буржуазного мира являются, конечно, не они. Галерея буржуазных хищников на страницах «Оскудения» довольно велика и разнообразна. Это прежде всего многочисленные и вездесущие Подугольниковы, появляющиеся всюду, где пахнет возможностью приумножить свой капитал; это бывший секретарь консистории Сладкопевцев, который, подобно головлевскому Иудушке, «кротко» говорит мужику, попавшемуся с нарубленными в «барской» усадьбе оглоблями: «Видишь, милый мой... Я сам с тебя штрафа не беру — это будет самоуправство, а пусть нас по закону рассудит волостной старшина. Как он рассудит, так пусть и будет. Может, еще и мне тебе придется заплатить, как смел я тебя поймать в моей роще». К «новым хозяевам» принадлежит и купец Лупов и аптекарь Карл Богданович. Не уступают иногда на новом поприще и состоятельные люди из духовных. Таков поп Онисим, ловкими торговыми и ростовщическими операциями сумевший стать крупным землевладельцем.

Терпигорев отводит много страниц тому, как богатеют, расширяют свои границы «новые хозяева», и если неприглядно зрелище бестолкового и безвозвратного разорения бывших крепостников, то еще более отвратительно выглядят различные способы кулац-

---

[1] С. Н. Терпигорев (С. Атава). Собрание сочинений, т. V, стр. 480.

кого грабежа. «На место одного безобразия, — говорит писатель, явилось другое, — и бог весть еще, которое из них хуже и ядовитее». Сам автор склоняется к тому, что новые пауки — ядовитее. По мнению писателя, буржуазные хищники сеют только смерть и разрушение, ничего созидательного они с собою не несут. «Колупаев... — говорит Терпигорев в одной из статей, — всюду вносит с собой только разрушение. Он приезжает и покупает дом «на снос», сад «на сруб», выгон «на распашку»... Даже свиней, коров, баранов он покупает только «на убой»... Колупаев присасывается «к барину» и сосет его до тех пор, пока все соки из него высосет, и когда тот, наконец, издыхает, он, сытый, отваливается. То же самое он делает и с деревней, с мужиками...»[1] Столь же решительно о хищниках новой поры говорится в заключительном очерке «Оскудения»: «С прошедшим у них нет никакой связи. До будущего им нет ни малейшего дела. Они живут одним настоящим...» «Настоящее» заключается в том, что они пожирают и помещика и мужика.

Мысль об относительной исторической прогрессивности нового капиталистического уклада чужда Терпигореву, как она была чужда и многим передовым его современникам. Несмотря на эту односторонность критики буржуазных порядков, в России особенно уродливых и особенно тягостных для народа, она была в произведениях Терпигорева глубоко действенной и справедливой. «Оскудение» и в этой своей части примыкало ко многим произведениям передовой русской литературы.

3

Итак, связывать какие-либо прогрессивные надежды с судьбами помещичьего класса во всем его целом невозможно, будущее его безотрадно и бесперспективно; еще худшее «безобразие» несут с собой Подугольниковы и Сладкопевцевы. Где же выход? Каковы положительные идеалы Терпигорева, во имя которых он критикует и бывших крепостников и современных Колупаевых?

Для ответа на этот вопрос следует внимательнее всмотреться в отношения писателя к народу, вдуматься в его суждения о «мужике». Заранее оговорим, что идеалы Терпигорева не связаны с демократизацией России, он далек от подлинно демократических

---

[1] С. Атава. Идейное пустословие. — «Новое время», 1882, № 2377, 10 октября.

убеждений таких писателей «Отечественных записок», как Гл. Успенский, Каронин и др., не говоря уже о Некрасове и Салтыкове-Щедрине. В этом несомненная слабость идейной позиции Терпигорева, это приведет его вскоре к разрыву с «Отечественными записками» и переходу в «Новое время». Однако сказанное не означает, что Терпигорев был чужд каких-либо демократических симпатий и какого-либо сочувствия к народу и понимания его нужд. Иначе ни о каком творческом воздействии Некрасова или Щедрина на Терпигорева (а воздействие это — несомненный факт) и говорить было бы невозможно.

Существует мнение, что Терпигорев недостаточно знал и понимал положение народа и поэтому не написал тех частей «Оскудения», в которых намеревался рассказать о дворне, о мужике. Мнение это неосновательно. Содержание «Оскудения» и многих других произведений Терпигорева убеждает, что писатель хорошо знал как дореформенное, так и пореформенное положение мужика, причем знал не из книг, а из живого опыта, на основании собственных долгих наблюдений и многолетнего общения с народом. В том же «Оскудении» с большой силой рассказано о полном бесправии, униженности и угнетенности крепостного люда, рассказано с неизменным сочувствием к народу, с убеждением, что терпение и кротость народа — не бесконечны. В ряде сцен, картин говорится о сметке, уме, силе «мужика» в противоположность дряблости и оскуделости «барина». Таков, например, рассказ об испытании сеялки в усадьбе «рационального хозяина». Писатель с сочувствием рисует непокорного мужика Ермолая, с оружием в руках защищающегося от притязаний крепостника Запупырина.

В пореформенную эпоху слово *народ* стало для писателя полным особого смысла. «Это слово, — пишет он, — вдруг получило какое-то новое представление в нашем сознании, выросло, стало громадным; перед ними все другие слова стали маленькими, бледными, утратившими значение...» [1] Положение крестьянина глубоко печалит Терпигорева. Кулацкая кабала, опутывающая деревню, разоблачается не раз на страницах «Оскудения». Писатель не создал книги о мужицком оскудении, но наметку ее он, однако, сделал, и по ней мы можем отчасти судить, какова была бы эта общая картина мужицкой деревни. В упоминавшейся уже статье «Двадцать лет», посвященной двадцатилетию крестьянской реформы, первая часть имеет подзаголовок: «Для барина», вторая — «Для

---

[1] С. Н. Терпигорев (С. Атава). Собрание сочинений, т. IV, стр. 455.

мужика». В первой части статьи дается как бы конспективное изложение того, что рассказано в опубликованной части «Оскудения», вторая была, как можно полагать, своеобразным наброском крестьянского «Оскудения». Здесь так же, как и в отношении помещиков, много говорится о крепостном прошлом. В коротких зарисовках рассказано о том, какие «уединенные беседы» вели с крепостными на конюшнях исправники, как помещик-патриарх разъезжал в повозке, в которую были запряжены «девки», как упражнялся в выбивании зубов у крепостных «дедушка-дантист». Говорится о бесконечных поборах с крестьян, о сгоне их с обжитых мест, о продаже крепостных... Столь же сжато рассказано о реформе, ограбившей мужика, о бесчинстве мировых посредников, о комедии выборов в крестьянское самоуправление. Примечательна четкость и меткость формулировок этого небольшого очерка.

«Волостные старшины временнообязанных, — говорится, например, здесь, — это те личинки, из которых десять — пятнадцать лет спустя вышли такие роскошные экземпляры, как Разуваевы и Колупаевы... К ним надо прибавить, разумеется, и их сообщников по «уравнению» деревни — кабатчиков. Они вместе зародились, вместе развились, окрепли, вскормились мужицкою кровью, расцвели, вошли в аппетит и, уж сытые, пошли и на барина, успевшего к той поре захудеть...» Окончательному разорению крестьянина мешает лишь община. Оговорка эта, как увидим далее, весьма знаменательна. Итог бед, свалившихся на мужика, говорит сам за себя: «Барин, посредник, старшина, Разуваев, гессенская муха, урядники... но не довольно ли этого?..»[1] Вопросом и обрывается очерк «крестьянского оскудения». Весь тон статьи, все ее содержание не оставляют сомнений в симпатиях автора. Знаменательно, что эта статья была помещена в газете «Порядок» 1 марта 1881 года и что она была последним выступлением писателя в данной газете.

Большой интерес в связи с крестьянской темой представляет и другая статья Терпигорева, очень важная для выяснения идейных позиций писателя. В 1882 году вышла отдельным изданием книга А. Н. Энгельгардта «Из деревни», печатавшаяся в виде писем на протяжении ряда лет в «Отечественных записках». Известно, что впоследствии этой книге большое значение придавал В. И. Ленин, высоко оценив ее и на страницах «Развития капитализма в России» и в статье «От какого наследства мы отказываемся?». Об Энгельгардте В. И. Ленин говорит, что это «...человек замечательной наблюдательности, безусловной искренности,

[1] «Порядок», 1881, № 59, 1 марта.

человек, превосходно изучивший то, о чем он говорит».[1] По своим взглядам Энгельгардт характеризуется, с одной стороны, поразительной трезвостью, правильным и глубоким пониманием деревенской действительности, а с другой, как указывает В. И. Ленин, наличием народнических иллюзий, хотя народничество его выражено слабо и, по существу, опровергается фактическим содержанием его произведений: «...собственное хозяйство Энгельгардта лучше всяких рассуждений опровергает народнические теории Энгельгардта».[2]

Книга Энгельгардта глубоко заинтересовала Терпигорева. Вскоре после ее появления автор «Оскудения» написал большую статью о письмах «Из деревни». В этой статье, озаглавленной «Золотая книга», дается чрезвычайно хвалебная оценка книги: «Из деревни» должна сделаться настольной книгой каждого образованного человека, который смеет думать, «свое суждение иметь» о деревне, о народе. Ее обязательно должны прочитать в России все, от студента до министра».[3] Когда критик либерального направления М. Протопопов в журнале «Дело» дал скептическую оценку книге Энгельгардта и подверг критике его высказывания, Терпигорев счел необходимым заступиться за Энгельгардта и ответил критику резкой статьей, озаглавив ее «Идейное пустословие».

Многозначительны литературные оценки, высказанные попутно в статье «Золотая книга». «Я не завистлив, — говорит, в частности, Терпигорев, — но, грешный человек, двум людям позавидовал. Один раз Г. И. Успенскому, когда прочитал его «Власть земли», другой раз вот теперь Энгельгардту — отчего не я написал? Завидно подписаться под такой книгой...» Примечательно это: «отчего не я написал?» В самом деле, не ответили ли Терпигореву книги Успенского и Энгельгардта на те вопросы, которые его занимали в связи с крестьянской темой?

Действительно, автора «Оскудения» в книге Энгельгардта прежде всего занимает то, что там говорится о народе, о его нравственной красоте, трудолюбии, истинном патриотизме, «...вся книга, — заявляет рецензент, — проникнута чувством глубокого уважения к мужику». Терпигорев с возмущением говорит о тех писаках, которые выступают с россказнями о зверстве мужика, о его лености, пьянстве. Но не только эта сторона привлекает Терпигорева в книге «Из деревни».

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 475.
[2] В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 183.
[3] «Новое время», 1882, № 2321, 15 августа.

Вскоре вслед за статьей «Золотая книга» Терпигорев пишет «Притчу о трех братьях Чистоплюевых», в которой в образно-сказочной форме как бы воплощено идейное содержание книги Энгельгардта и многие размышления самого создателя «Оскудения». Содержание этой притчи сводится к следующему. Три брата Чистоплюевы — Федор, Фаддей и Фома — будучи дворянами, одинаково росли, воспитывались, одинаковое наследство после смерти родственников получили. После этого Федор отправился служить и вершить делами, в которых ровно ничего не понимал; за верную службу он в награду приобрел трех Станиславов и геморрой. Фаддей решил заняться «рациональным хозяйством», но, по неумелости, разорился, имение по частям продал и уехал в город. Лишь Фома удержался в деревне: он долго учился у мужика, сумел наладить с ним добрые отношения, землю свою он сдал в аренду крестьянской общине, а сам взял на себя защиту крестьянских интересов. Когда братья приехали, то удивились успеху Фомы. «Как ты до этого дошел?» — спрашивали они его. «Потому дошел, — отвечает тот, — что *до мужика дошел»,* и вслед за этим зачитывает цитату из книги Энгельгардта: «Я утверждаю, что это единственное средство поднять наше упавшее хозяйство... сделать все это может *только мужик,* так как *будущность у нас имеет только общинное мужицкое хозяйство».* [1]

Терпигорев, конечно, никогда не был народником, и не народнические идеи об общине привлекли его, в основном, в книге Энгельгардта. Его привлекла кажущаяся возможность наладить ко взаимной пользе отношения барина и мужика, осуществить их сотрудничество. На страницах «Оскудения» есть такая попытка обрисовать «доброго барина» в лице помещика Повалищева, добрые дела которого погибли вместе с его смертью. Своеобразная попытка такого же служения «барина» мужику представлена в очерках «Записки сытого человека» (1883). Но знаменательно, что все эти попытки кончаются крахом. Не привели подобные опыты к «сотрудничеству» барина с мужиком и в знаменитом хозяйстве Энгельгардта. Терпигорев не заметил (как, впрочем, не замечал и сам Энгельгардт), что и в этом хозяйстве победу одерживал тот самый капиталистический порядок, который он осуждал и не понимал.

Таким образом, мы видим, насколько сложна была позиция создателя «Оскудения», насколько неопределенна и иллюзорна была его «положительная программа». Живые наблюдения

---

[1] «Новое время», 1882, № 2328, 22 августа.

действительности постоянно опровергали ее. И, однако, важно отметить, что мысль о мужике, его благосостоянии занимала писателя, тревожила его, сообщала его произведениям еще большую идейную емкость и остроту. В 1882 году, то есть в пору, когда замыслы о продолжении «Оскудения» занимали писателя, он заявлял: «...для меня вне вопроса о мужике и земле не существует никаких вопросов...» [1]

4

В предисловии к «Оскудению» Терпигорев говорит: «...я вовсе не писатель. Я до известной степени грамотный и наблюдательный человек и — только... Я просто рассказываю, что я видел». Читателя не должны отпугнуть эти слова; их следует отнести, во-первых, за счет скромности писателя, и, во-вторых, в них, по существу, выражена мысль, определяющая своеобразие Терпигорева как художника. Действительно, автор «Оскудения» «просто рассказывает», но в этой простоте, безыскусственности, непритязательности скрыто незаурядное дарование рассказчика, его умение вести повествование как свободную непринужденную импровизацию. Академик А. М. Терпигорев, вспоминая то читательское впечатление, которое возникало у современников при чтении книги об «оскудении», весьма метко определяет черты дарования ее создателя: «Писатель владел даром увлекательного рассказа, в его произведениях были мастерски написанные диалоги, он хорошо знал помещичий быт и рисовал его с большим юмором». [2]

Автор «Оскудения» определил свою книгу как «очерки». Очерк занял значительное место во всем его творчестве, хотя по временам Терпигорев обращался и к повести, и к рассказу, и к пьесе. «Оскудение» принадлежит, несомненно, к замечательнейшим достижениям очеркового жанра, оно связано со всем развитием очерка в передовой русской литературе.

Для очерка характерна документальность, непосредственная достоверность повествования. На документальную, историческую правду своих очерков любил указывать Терпигорев. «Мне дороже всего, чтобы мои картинки были как можно более верны действительности и чтобы освещение их было тоже самое настоящее,

---

[1] С. Атава. На родине. — «Новое время», 1882, № 2663, 7 марта.

[2] А. М. Терпигорев. Воспоминания горного инженера, М., 1956, стр. 10.

верное», — говорится в том же предисловии к «Оскудению»; «во всем этом рассказе неверного — только одни имена и фамилии», — заявляет писатель в одном из очерков; подчеркивая историческую достоверность книги, писатель декларирует: «я... пишу... историю дворянского оскудения»; в других случаях он говорит о своих очерках как об «исследовании». О фактической точности многих картин и лиц «Оскудения» свидетельствует и биография писателя. Мы приводили на этот счет и свидетельства современников. Все это, разумеется, не означает, что Терпигорев был лишь рисовальщиком с натуры, — для него было важно, как для писателя-реалиста, запечатлеть прежде всего типы, характерные, общие процессы; недаром само словосочетание «дворянское оскудение» вскоре стало крылатым выражением.

Очерку Терпигорева свойственно сочетание публицистики и образа, как это часто бывало у его выдающихся современников — Салтыкова-Щедрина, Гл. Успенского и др. Полубеллетристическими очерками является, как известно, и книга «Из деревни» Энгельгардта. Несомненно, что это произведение, как и «Власть земли» Успенского, импонировало автору «Оскудения» не только содержанием, но и манерой изложения, художественными особенностями.

Повествование в «Оскудении», как и во многих других очерках Терпигорева, ведется от первого лица. Но было бы, конечно, наивностью видеть за «я» и «мы» рассказчика непременно самого писателя. Прием этот, как известно, широко применялся во времена Терпигорева, и прежде всего в творчестве Щедрина и Глеба Успенского. На самом деле, «я» и «мы» у Терпигорева, как и у названных писателей, необычайно емки и разнообразны: иногда «я» и «мы» как бы сливаются с миром героев, который на самом деле писатель сурово осуждает; именно так чаще всего происходит в «Оскудении»; иногда же «я» — действительное «я» писателя, оно выражает его истинные, задушевные мысли и переживания.

«Оскудение» состоит из весьма большого числа очерков, каждый из них — вполне самостоятельное произведение, но вместе с тем «Оскудение» — одно из замечательнейших по своей цельности произведений, где все составные части служат выражению общего. Наряду с циклами очерков у Щедрина, Гл. Успенского, Каронина, Златовратского и др., «Оскудение» — яркое выражение искусства циклизации очерков, объединяемых не внешне, не искусственными приемами наскоро скроенного сюжета, а глубоким внутренним единством идейной концепции, выраженной в произведении. Особенной цельностью отличается композиция первой части

«Оскудения», где первый («Увертюра») и последний («Итого») очерки как бы сплавляют воедино все другие части повествования.

Терпигорев обладал незаурядным талантом юмориста; его юмор не столь беззаботен, как это иногда утверждали отдельные либеральные критики, в нем немало едкой насмешки, отдельные образы и картины в «Оскудении» возвышаются до высокой сатиры. Ирония и насмешка часто начинаются с заглавий и эпиграфов. Ирония достигается парадоксальностью сочетания непосредственного смысла заглавия или эпиграфа с последующим повествованием. Такие заглавия, как «Поземельный кредит», «Отхожие промыслы», «На промыслах», «Кустарная промышленность», вызывают представление о серьезных статистических исследованиях, какие тогда писались прежде всего о народных нуждах, о крестьянском хозяйстве и т. д. Здесь же следуют повествования о пьяных оргиях, проматывании состояний, о «промыслах», знаменующих беспредельный цинизм и растление «благородного сословия». Подзаголовок «благородные», появившийся в последнем прижизненном издании «Оскудения», конечно, также полон глубокой иронии и сарказма.

Еще разительнее этот контраст выражен в сопоставлении эпиграфов с повествованием. Главы «Отхожие промыслы» и «На промыслах» имеют эпиграфом строки из стихотворения Некрасова «Школьник». В применении к людям из народа слова этого стихотворения полны глубокого положительного смысла, сердечного пафоса, а в отношении дворянских прожигателей они звучат как едкая насмешка и напоминание о той пропасти, которая отделяла паразитическое, праздное существование господствующих классов от жизни народной.

Мы не раз уже говорили о связи «Оскудения» с приемами щедринской сатиры. М. Горький говорил о Терпигореве как об одном из крупных подражателей Салтыкову-Щедрину. [1] Во многих деталях картин и образов действительно чувствуется прямое воздействие манеры Щедрина: его меткости и смелости в определениях, в суровой беспощадности обрисовки отдельных образов. Причем этот щедринский элемент входит в общее повествование настолько органично и естественно, что об эпигонстве, усвоении лишь внешней формы не может быть и речи. Когда о «дедушке» Лейбкампанцеве, крепостнике, стегуне и развратнике, сообщается, что он имел герб «с изображением лосиных штанов, рассыпанной пудры и сального огарка — принадлежностей дедушкина туалета», и девиз

[1] См. М. Горький. История русской литературы, М., 1939, стр. 273.

«Наша взяла!», то перед нами, конечно, определение в духе язвительных характеристик Щедрина. Когда помещик Чирухин собирается поправить свое благосостояние стрижкой зайцев, то кажется, что этот образ — родственник изображенных Щедриным различных нелепых прожектеров. Когда дети «сестрицы» Наденьки и ее супруга Передкова, ловко выдрессированные, целуют «ручки» нужного им «дяденьки», то кажется, что читаешь одну из страниц «Господ Головлевых». Можно бы умножить подобные параллели.

И еще одно, роднящее манеру автора «Оскудения» с приемами великого сатирика. Как известно, Щедрин был непревзойденным мастером «уловлять политику в быте», отвлеченные общественные категории показывать в их бытовой непосредственности. Этим искусством — в применении к своему материалу — владел и Терпигорев. Крепостнические зверства, помещичье разорение, выкупные платежи, железнодорожные концессии, дворянское воспитание — все эти понятия и определения, ставшие уже газетными штампами, общими местами, не вызывавшими часто никаких конкретных ассоциаций, ожили под пером Терпигорева во всей их непосредственности, бытовой конкретности, во всем их, так сказать, домашнем виде.

Терпигорев часто ведет повествование как воспоминание, как мемуар. Особенно следует это сказать о второй части «Оскудения». Этот жанр станет часто встречаться в его последующем творчестве. Излюбленным приемом писателя является показ действительности через детское восприятие. Мир открывается не сразу как он есть, а через постепенное узнавание его детьми, с их непосредственностью, наивностью, неосведомленностью. Именно таково в преобладающей части все повествование о «Кукушке». Это сообщает рассказанному особую силу неоспоримости и истинности.

Мы коснулись далеко не всех особенностей писательского мастерства автора «Оскудения». Большая тема, широкий круг вопросов, затронутых в этом выдающемся произведении, потребовали от писателя не только превосходного знания предмета «исследования», но и владения искусством подлинно художественного повествования.

5

Успех «Оскудения» прочно закрепил место писателя в литературе. Теперь ему уже нечего было сомневаться в своих силах и призвании. Отныне Терпигорев целиком отдается литературной деятельности.

В 1881 году Терпигорев, по рекомендации Салтыкова-Щедрина, сотрудничает во вновь основанной газете «Порядок» либерального направления. О некоторых выступлениях Терпигорева в этой газете мы уже говорили в связи с «Оскудением». Главная тема фельетонов, статей, очерков Терпигорева в газете «Порядок» — та же деревня, положение мужика и помещика. Таковы его очерки «В деревне», «Положение — глупое», «Об отъезжем поле» и др.

Вскоре после сотрудничества в газете «Порядок» произведения Терпигорева появляются в реакционной газете А. С. Суворина «Новое время». Это был неожиданный шаг со стороны писателя, печатавшегося в «Русском слове» и «Отечественных записках». Что произошло между Терпигоревым и Салтыковым-Щедриным, какие непосредственные факты послужили основанием для разрыва автора «Оскудения» с «Отечественными записками» — об этом не рассказывает ни сам Терпигорев, ни его современники. Факт остается фактом: 1 марта 1881 года в газете «Порядок» была напечатана наиболее значительная его статья «Двадцать лет» о современном положении крестьянина, а 20 марта того же года в «Новом времени» появился очерк Сергея Атавы «Тамбовские Семирамидины сады». Наступившая после 1 марта долгая политическая реакция, умеренность и шаткость программных позиций автора «Оскудения», о которых говорилось выше, сделали свое дело. Для Суворина приход такого сотрудника был, конечно, ценным приобретением.

Нет необходимости замалчивать слабость и идейную непритязательность многих нововременских фельетонов Терпигорева. Это не подлежит сомнению. Создателю «Оскудения» приходилось считаться с общим направлением газеты. Однако нет оснований рассматривать все произведения Терпигорева, напечатанные в «Новом времени», только под отрицательным знаком. Тогда пришлось бы вывести за пределы литературы и многие произведения Н. С. Лескова, А. П. Чехова, также, как известно, сотрудничавших в «Новом времени». На страницах газеты Терпигорев опубликовал вторую часть «Оскудения»; там же печатаются такие интересные его статьи и очерки, как «На родине», «Золотая книга»; многие яркие художественные произведения («Паткие пулярки», «Записки сытого человека», «Желтая книга» и др.) появляются в газете и впоследствии. Да и сами фельетоны были далеко не однородны, многие из них отличались боевой обличительностью, яркой образностью, публицистической смелостью. Положительно о деятельности Тер-

пигорева-фельетониста отзывался Чехов.[1] Один из современников Терпигорева о его произведениях в «Новом времени» писал: «Это был ряд живых, превосходно написанных и широкой кистью набросанных очерков из жизни нашей провинции, нашей деревни, наших дельцов, крупных чиновников и всякого рода Колупаевых и Разуваевых.... все это читалось нарасхват и с величайшим интересом».[2] Сотрудничество Терпигорева в «Новом времени» продолжалось до конца его творческого пути.

Одновременно с работой в «Новом времени» писатель сотрудничает и в ряде других литературных органов. Особенно много он печатается в журнале «Исторический вестник», появляются его очерки и заметки в «Петербургской газете», в журнале «Артист» и др. В 80—90-е годы налаживаются новые литературные и общественные связи Терпигорева: он близко сошелся с Лесковым, встречается с Чеховым, Маминым-Сибиряком, с деятелями театрального и музыкального мира. Литературная репутация автора «Оскудения» оказалась прочной и устойчивой. Укрепляли ее и вновь появлявшиеся произведения писателя.

Интерес к творчеству автора «Оскудения» в этот период был настолько живым, что возникла мысль об издании и тех произведений, которые были созданы еще до «Оскудения»; в 1883 году был издан сборник «Узорчатая пестрядь», основное содержание которого составили произведения 60—70-х годов («Красные Талы», «На службе», «В степи», «Слияние» и др.).

Исключительно продуктивно работает Терпигорев и над новыми произведениями. Помимо большого количества отдельных статей, фельетонов, очерков, писатель создает ряд повестей, крупных циклов.

Прежде всего отметим произведения, которые примыкают непосредственно к «Оскудению». Писатель рисует колоритные образы вышибленных из своих поместий дворян, но по-прежнему бездельничающих, спускающих с рук последние «случайные» деньги, предающихся пьянству, чревоугодию, амурным похождениям («Нантские пулярки», «Сморчки», «Жорж», «Сонечкин сын» и др.). Не забыл Терпигорев и старого своего «приятеля» Подугольникова («Повесть о том, как купец 2-й гильдии Подугольников подавился землей»).

---

[1] См. А. П. Чехов. Полное собрание сочинений, т. XV, М., 1949, стр. 271.

[2] П. Н. Полевой. Воспоминания о С. Н. Терпигореве. — «Ежемесячное приложение к журналу «Нива», 1899, XII, стр. 761—762.

В 1885 году выходит «Желтая книга. Сказание о новых княгинях и старых князьях» (первоначально печаталась в «Новом времени» под заглавием «Три княгини»). В предисловии Терпигорев связывает книгу также с «Оскудением» и дает очень важное разъяснение по поводу некоторых упреков критики и читателей. «Я не дал и не мог дать впоследствии, — пишет Терпигорев, — ни одного очерка, где бы... оскуделый герой являлся потом тружеником, работником — в труде бы искал для себя выхода... Я не мог этого сделать, потому что лично я не знал и до сих пор не знаю почти ни одного такого примера, а писать об исключениях, да еще понаслышке, я не хотел».[1]

Важнейшим произведением Терпигорева 80—90-х годов является новый цикл очерков и рассказов — «Потревоженные тени». Отдельные части цикла сначала появлялись в периодической печати, в 1888—1890 годы вышло отдельное издание (в двух книгах), в наиболее полном виде цикл представлен в третьем томе Собрания сочинений, состав которого успел перед смертью определить писатель.

«Потревоженные тени», несомненно, самое значительное произведение Терпигорева вслед за «Оскудением». В новом цикле писатель вновь вернулся к глубокой предыстории героев «Оскудения» — к крепостной действительности, этим самым углубляя ответ на вопрос об исторических причинах судеб дворянского класса. Картины и образы крепостной действительности исполнены большой художественной силы. Недаром современники сближали это произведение и по проблематике и по творческим приемам с «Пошехонской стариной» Салтыкова-Щедрина. Критик М. Протопопов, в целом весьма неприязненно относившийся к Терпигореву и его творчеству, написал, однако, о «Потревоженных тенях»: «Это почти эпос, приближающийся по своим достоинствам к «Пошехонской старине» Салтыкова».[2]

К «Потревоженным теням» примыкает и ряд произведений Терпигорева на исторические темы. Особенно интересно по теме публицистическое исследование, построенное на архивных материалах, — «Раскаты Стенькина грома в Тамбовской земле» (1888). Автор, конечно, не сторонник крестьянской революции, но психология восставших понятна писателю, для него понятна и оправ-

---

[1] С. Н. Терпигорев (С. Атава). Собрание сочинений, т. II, стр. 365.

[2] «Русская мысль», 1899, XI, стр. 236.

данна «радость и надежда у бедного (подлого) крепостного люда избавиться от помещичьего и чиновничьего гнета...» [1]

В последние годы жизни писатель взялся за литературные воспоминания. Кое-что из них было опубликовано при жизни писателя, основная же часть написанного увидела свет уже после его смерти. Написанные просто и живо, «Воспоминания» Терпигорева являются интересным памятником мемуарной литературы. Особенно содержательны страницы, посвященные 60-м годам, где говорится о студенческих волнениях, о круге «Современника», о Некрасове, о Чернышевском.

Есть свидетельства, что в конце жизни у Терпигорева складывались и новые художественные замыслы. Так, в одной из некрологических заметок сообщалось: «В последнее время он мечтал о таком произведении, в котором мог бы высказать всю силу своего таланта и которое служило бы продолжением «Оскудения», доставившего ему известность; он даже набросал план и несколько первых глав обширного романа, где хотел изобразить современный дворянский быт...» [2]

Терпигорев умер в Петербурге 13 июня 1895 года, не успев дождаться осуществления издания Собрания своих сочинений, над подготовкой которого он работал уже в дни болезни.

Имя Терпигорева, создателя «Оскудения» и «Потревоженных теней», не должно быть предано забвению ни историком литературы, ни современным читателем. Сложившись как писатель под плодотворным воздействием выдающихся представителей русского критического реализма, Терпигорев в меру своих сил и незаурядного дарования сумел правдиво рассказать о многих существенных явлениях прошлой русской действительности. Картины и образы его лучших произведений не утратили ни своей познавательной ценности, ни своей художественной свежести, живости, выразительности.

Н. Соколов

---

[1] С. Н. Терпигорев (С. Атава). Собрание сочинений, т. VI, стр. 111.

[2] «Исторический вестник», 1895, VII, стр. 250.

„БЛАГОРОДНЫЕ"

Часть первая

ОТЦЫ

ОТ АВТОРА

Мне необходимо объясниться.

Прежде всего, я вовсе не писатель. Я до известной степени грамотный и наблюдательный человек, и — только. Мне довелось видеть и наблюдать такие факты, которые, как я убедился потом, к сожалению, даже и по слуху неизвестны очень многим настоящим писателям. Это, конечно, досадно. Они из такого материала могли бы наделать много превосходных романов и повестей. Я ничего такого не могу написать. Но ведь я и не брался ни за что подобное. Я просто рассказываю, что я видел. Меня поэтому ужасно удивляет, когда ко мне обращаются с какими-то художественными требованиями. Какой я художник? На это есть настоящие писатели. К ним и следует с такими требованиями обращаться. Мне дороже всего, чтобы мои картинки были как можно более верны действительности и чтобы освещение их было тоже самое настоящее, верное. Вот и все.

Тем, что я уже написал, то есть вот этими первыми двумя томами очерков, — я пожалуй что и доволен. Но если бы мне удались очерки дворни и потом — моя заветная мечта — очерки мужичьего оскудения, — я был бы счастливейший человек.

Я, однако, не могу сказать: постараюсь... Тут стараньем ничего не возьмешь.

Сергей Терпигорев.

I
УВЕРТЮРА

Плакала Саша, как лес вырубали.

Некрасов.

Когда человек от чего-нибудь «захудает» — с горя, с бедности, от болезни, — на него нападает иногда нечисть, попросту — заводятся гадкие паразиты, называть которых по имени считается неудобным и в печати и в обществе. С улучшением обстановки и вообще условий жизни несчастного, подвергшегося нападению их, они сами собой пропадают и без всякого лекарства.

Подходящее явление можно иногда наблюдать и в других сферах, причем причина остается, конечно, та же — «захудалость».

В наше удивительное время нечисти всюду завелось ужасно сколько: и в обществе и даже в литературе, и никому нет от нее покоя.

Я счел нужным сказать это потому, что мне придется говорить сейчас о таких деликатных вещах, на которые нечисть обыкновенно накидывается всегда с особенным усердием, извращает смысл слов, фактов и выводов, заключений, и над бессовестно оклеветанной жертвой-книгой вопиет анафему или, по мере усердия, даже подлаживает подходящие статьи уголовного кодекса.

Конечно, со всем этим пока ничего не поделаешь — ее время, и она, нечисть, это знает. Никакие оговорки от нее не спасут; но я и пишу эти строки не для ограждения себя, а для читателя, к которому обращаюсь с усердной просьбой, никого не слушая, поверить мне, что кроме

самой искренней и строгой правды я ничего не положил в основу этих очерков и кроме желания рассказать все, как было, никакой задней мысли не имел.

Не очень давно в газетах появилось известие, что один из крупных русских помещиков, граф Орлов-Давыдов, пожертвовал десять тысяч рублей на конкурс за лучшее сочинение о фермерстве, с указанием способов насаждения его в России. Вслед за тем появилась и программа, по которой должно быть написано такое сочинение.

Я не имею чести знать графа лично, но знаю в то же время, что имя его почему-то излюблено братьями Бланк, Скарятиным и проч., и во дни оны все их писания никак не обходились без упоминовения его имени и известной грамоты Екатерины II.

Из факта дачи десяти тысяч рублей на конкурс и, наконец, из самой программы ясно, что граф продолжает ревновать о деле помещичьего благополучия. Это, конечно, похвально, но тем не менее совершенно бесполезно, ибо граф, очевидно, продолжает смотреть на факты с точки зрения помещиков 1861 года и стоит на почве совершенно бесплодной. Позволительно думать, что ему, должно быть, даже неизвестно, что и в Англии, в этой классической стране крупного землевладения, фермерство утрачивает с каждым годом все более и более свой экономический смысл, и пересаживать его к нам уж по одному этому нет решительно никакой надобности. Даже «Московские ведомости», которые уж никак невозможно заподозрить в нелюбви к Англии и ее государственному и экономическому строю, и те недавно нарисовали такую мрачную картину английского фермерства и всего происходящего от этой формы землевладения и земледелия, что соблазняться ею нам по меньшей мере странно... да и поздно.

Не там помещичья беда, где видит ее граф, и не там он найдет спасение, где его ищет.

Но, говорят нам, мы разоряемся с каждым годом; с каждым днем все более и более! Чем же, наконец, кончится это?

Я позволю себе на это просто ответить:

— Виноваты мы сами, и нас, кроме нас самих, никто не спасет и спасти не может.

Мне давно хочется как можно проще, безыскусственнее и нагляднее рассказать, как все это вышло, то есть с чего и как началось наше оскудение, и как дошли мы до теперешнего своего состояния.

Рассказать это целым рядом воспоминаний, очерков и заметок для меня сподручнее, чем написать на ту же тему большую с цифрами статью. Впрочем, такая статья тоже очень желательна, очень необходима, и даже жаль, что ее до сих пор никто не написал.

И это совершенно неправда, что компетентные люди не хотят ее написать, потому что стоит ли, дескать, ломать голову и тратить время над исследованием, отчего и как сперва захудали, а потом почти что совсем на нет сошли помещики.

Так думали о помещиках давно уж. Так думали, говорили и даже писали перед объявлением крестьянского положения и года два после. Тогда такое отношение к вопросу имело, пожалуй, и смысл. Тогда думали, что помещики, представлявшие собою носителей подлежавшего уничтожению крепостничества, окажут некоторую чувствительность относительно эксперимента, который готовился впереди. Думали, плохо зная их конечно, что они сила, и готовились на борьбу с ними. Кричали на них, бранили, чтобы запутать, устыдить, одним словом — обескуражить. Это, несомненно, было недоразумение, но тогда оно все-таки имело смысл. Теперь же, когда все это кончилось, когда оказалось, что никакой борьбы и не предстояло вовсе, настало время взглянуть иначе.

Я очень плохой натуралист и не знаю, насколько сильно и вообще как отражается на окружающей природе исчезновение той или другой породы. Но я отлично знаю, как и в чем выразилось и продолжает с каждым годом все резче и резче выражаться в деревенской жизни постепенное исчезновение помещичьего элемента. В сфере этого вопроса я считаю себя достаточно компетентным и потому буду говорить. Но чтобы был прок из такого дела, мы должны на время оставить все разглагольствования и размышления на тему: следует или не следует искусственно тормозить это исчезновение, и если *да*, то на чей счет должны падать расходы по сему предмету: на общественный или казенный.

Началось это оскудение, как известно, давно таки. Началось, разумеется, не вдруг, а понемножку, не так, как теперь валит. Читатель не забыл известия, появившегося недавно во всех газетах, о том, что в одном обществе взаимного поземельного кредита сразу назначено к публичной продаже две тысячи имений! А ведь общество взаимного поземельного кредита, не единственный у нас земельный банк. Спрашивается, сколько же всего-то во всех банках назначается к продаже ежегодно имений? Прежде, повторяю, оскудение шло тише.

Обстоятельству этому, разумеется, предшествовали разные признаки, более или менее ясно говорившие, что дни процветания сочтены и что идти дальше невозможно. Более прозорливые видели эти признаки, понимали их, задумывались над ними, но, к сожалению, ненадолго. Как увидим ниже, по природе своей на такое вдумывание и немного было способных. Оттого, после выпития рюмки водки, мысли тотчас же переходили на другие предметы, иногда совершенно посторонние, вроде того например, что́ намеревались делать их современники: Наполеон или Пальмерстон? А между тем, по правде-то говоря, эта рассеянность и была всему причиной, и уж во всяком случае гораздо более главной причиной, чем сопряженная с новым положением резкость перехода от одной формы отношения к земле к другой. Занимайся тогдашние помещики своим делом — никакого вымирания и не было бы.

Я убежден, что скажу безусловную истину, утверждая, что помещики разорились и продолжают разоряться потому только, что никогда не делали того, что им следовало и следует делать. Мужики пашут, купцы торгуют, духовные молятся, а что делали помещики? Они занимались и развлекались всем чем угодно — службой, охотой, литературой, амурами, но только не тем, чем им следовало заниматься.

Если бы, например, в то время помещику, захотевшему отдать своего сына ну хоть в училище статских юнкеров, что ли, с тою целью, чтобы он пошел потом в чиновники или дипломаты, — просто сказать, и притом кротко, взяв его под руку: милый друг, не делай этого! У тебя есть земля, сиди на ней сам и детей приучай сидеть на ней. Поэтому давай им воспитание и образование такое, чтобы они могли прочнее, честнее, умнее и выгоднее сидеть на

ней, а не делай из них праздных людей, которые к двадцати годам и тебя разорят и сами ничего путного во всю жизнь свою не сделают, если не считать нужным содержание Сюзеток, Камилек или проедание у Дюссо и Бореля...

Я думаю, что он послушался бы этого совета.

Так же точно следовало поступить и в том случае, если бы было замечено, что помещик начинает прельщаться красивой военной формой. И тут надо было так же точно кротко взять его под руку и, проговорив вышеприведенную речь, присовокупить к ней еще следующее: милый друг, защищать отечество от врагов мы все, конечно, обязаны, но знаешь ли, что защищать его дети твои могут с неменьшей пользой и на других поприщах, и без красивой формы. Красивая же форма, так соблазняющая твое око, много принесет тебе огорчения, и сын твой, красивый юнкер, оторванный с малолетства и отученный от земли и охоты сидеть на ней, все-таки не будет не только Наполеоном или Цезарем, но даже, быть может, и самым обыкновенным генералом, и уж во всяком случае эта случайность гораздо менее вероятна, чем то, что Ивановка или Осиновка твоя, в первом и уж непременно во втором твоем колене, будет заложена, перезаложена и, наконец, совсем продана.

К этому с уверенностью можно сказать, что если бы всесословная воинская повинность была бы у нас введена двадцать — тридцать лет назад, помещичья раса не только не вырождалась бы, как теперь, но земля наша кишела бы помещиками, и это был бы премилый народ. Я нисколько не шучу. Если бы великая военная реформа совершилась двадцать — тридцать лет назад, сердце и очи помещиков давно уж не прельщались бы красивыми экипировками, ибо они очень хорошо знали бы, что сыновья их, наряду со всеми, будут в известное время, год или два непременно, носить ту или иную красивую форму, и для этого нет никакой надобности делать их специалистами совершенно не того дела, которое будет их кормить, то есть незачем отрывать их от земли.

Но этого не случилось, и Ивановки, Петровки и Осиновки, оставленные без присмотра или, что еще хуже, поступившие под присмотр отставных департаментских чиновников, или бывших носителей красивых форм, одна за другой начали «улыбаться» и переходить во владение

к кулакам, к немцам, жидам, одним словом — куда и к кому угодно, но только не к помещикам.

Если дать маленькую волю своему воображению, то это удивительное исчезновение помещичьих имений можно представить себе так: все эти Ивановки, Семеновки и Осиновки не распроданы самими помещиками, а как бы разбежались от них... Сговорились, да и разбежались.

Но так как я все-таки пишу, в некотором роде, историю дворянского оскудения, то должен, разумеется, следовать примеру великих учителей этого дела — историков, то есть начать с отдаленнейших времен и рядом фактов, иногда, по-видимому, разнородных, но, в сущности, имеющих внутреннюю связь, воспроизвести перед читателем это грандиозное и вместе печальное событие.

Если не считать началом «беды» разрешение опекунскому совету брать в залог за выданные ссуды помещичьих имений, то «отдаленнейшие» времена, в которых мне, как историку, приходится рыться, в сущности суть времена очень не отдаленные, и нам совершенно нет никакой надобности проникать для этого в глубь веков далее 1855 и даже 1856 года, когда окончилась Крымская война и ополченцы-помещики с своими дружинами, в большинстве случаев не дошедшими даже до места войны, начали возвращаться на родину, в свои Ивановки и Осиновки.

Время возвращения ополченцев было отличное время; все сразу и очень чутко почувствовали, что что-то такое случилось, что к нам ворвалась струя какого-то нового резкого воздуха, что она всем шибнула в нос, и от этого как-то все закопошились... По-видимому, все было то же самое; те же предметы и лица стояли кругом, но свой человек, мало-мальски наблюдательный, сейчас же должен был почувствовать, что случилось нечто такое, чем одни как будто недовольны, а другие, напротив, очень довольны. Но так как причина довольства и недовольства была до того неопределенна и туманна и казалась в то время отдаленной, то и самое довольство и недовольство вначале высказывалось больше не речами, не фразами и даже не отдельными словами, а скорее мимикой и, по-видимому, ничего не выражающими междометиями. Иногда такое восклицание сопровождалось глубоким вздохом, беспричинной раздражительностью, строгостью административной, излишней подозрительностью и проч. Это у одних.

Другие, напротив, свое настроение выражали в форме более легкой; с большим любопытством прислушивались к тому, что говорилось за закрытыми дверями; беспричинно, по-видимому, осклаблялись и хотя приказания господ исполняли, но как-то рассеянно. Все это особенно было замечаемо за молодыми лакеями и горничными, и в этом отношении поведение их не раз было причиной глубокого огорчения их господ.

Возвратившиеся соседи-ополченцы были просто неузнаваемы. Во-первых, все они ходили, вместо сюртуков, бекешей и «пальтончиков», в таких точно серых пальто, в каких ходят теперь все наши офицеры, но только эти пальто были необыкновенно коротенькие и служили не верхним, а обыкновенным комнатным платьем, так что было совершенно принято ездить в них даже в гости. Назывались они рамзайками (от генерала Рамзая), патриотками и еще как-то. Все они, то есть ополченцы, были коротко, по-военному, острижены; усы были у всех длинные, вислые. Говорили уверенно, громко, и речь их так и гудела разными флангами, траншеями и проч.

И странное дело! хотя все мы отлично знали, что они не только ни в одном сражении не были, но даже и близко к тем местам не подходили, а между тем их всех слушали, точно очевидцев или участников всего того, о чем они рассказывали. Один из таких рассказов их о предстоящем освобождении крестьян разошелся по всей России. Это очень глупый рассказ, но ему верили, и я не могу пройти его молчанием. После обеда, собравшись в кабинете и в угольной, те, которые не засыпали тотчас же на диванах, плотно затворяли двери, приказывая не входить без крайней необходимости лакеям, и начинали разговор вполголоса. Но так как, по природе своей, представители исчезающей расы, встречаясь, не могут говорить спокойно, а сейчас же затевают спор, то, разумеется, начинался говор не просто обыкновенным голосом, но во всю глотку, так что лакеи совершенно свободно и легко могли слышать.

— Это мы в тот день узнали, как приехал адъютант из штаба.

— Сейчас и узнали все?

— Это вы про пятый пункт говорите?

— Да-с. Вот Ивану Петровичу рассказывали...

И вслед за тем рассказывалось, якобы при заключении предварительного мира маршал Пелисье, от имени Наполеона и Пальмерстона, включил в пятый пункт этого договора обязательство уничтожить дворянство по всей империи, а земли раздать мужикам. Кто первый пустил в ход эту штуку, я не знаю, но рассказу этому верили.

Я не знаю, чувствовали ли лакеи, слышавшие этот и подобные рассказы в замочные скважины, благодарность к Наполеону и Пальмерстону, но несомненно, что своим содержанием они производили на них, а через них и дальше, на всю дворню и деревню, самое возбуждающее впечатление... Рассказывалось и кроме этого много всякого вздора, крайне тенденциозного, и в результате в головах всего населения получился неистовый сумбур, ориентироваться в котором людям полуграмотным и совершенно безграмотным было решительно невозможно. Что же мудреного, что при таком порядке, в ожидании его разъяснения, одни махнули на все рукой с горя, а другие сделали то же самое — с радости. Можно представить себе, как благодетельно отразилось это все на хозяйстве тех и других.

Ошеломленные всеми этими слухами и рассказами, как громом с безоблачного неба, Иваны Петровичи и Петры Ивановичи решительно не знали, что им делать. Кое-какие грешки и счеты в прошлом, а главное перепуг перед неизвестным будущим, понятно, стянули все их мысли к заботе о спасении своих животов. Но и тут, в этой заботе, в том, что предпринималось с целью обезопасить себя, ясно видны были следы самого угнетенного умственного состояния: покупались ружья, сабли, приносились из кладовых заржавленные дедовские и прадедовские шпаги, в которых во дни óны щеголяли разные генерал-аншефы и которыми теперь их внуки собирались защищать свою жизнь от Сенек, Степок и т. д.

Приносилось из кладовых, чистилось и чинилось все это теми же самыми Сеньками и Степками, отлично-хорошо понимавшими смысл всего этого. И потому ничего не было страшного в их хихиканье, осклаблении и проч., что так раздражало, пугало и убивало Ивана Петровича и Петра Ивановича. И действительно, в ту пору перемерло с перепугу пропасть народу, большей частью совсем добродуш-

ного. Пишущий эти строки лишился в ту пору обоих своих дедов, покинувших этот свет чисто только с перепугу.

Но шпаги, пистолеты и фальконеты если и приносились, чистились и заряжались, то это скорей просто для очистки совести и от нечего делать, чем в силу сколько-нибудь серьезного соображения и надежды защитить себя в случае «нападения черни»: не настолько же мы были уж глупы, чтобы думать и верить в возможность шпагой екатерининских времен отбить атаку соединенных сил мужиков и баб (особенно баб) какого-нибудь сельца Ивановки, Сосновки то ж... «Дух» был ужасно угнетен у нас, так что вспоминаешь теперь, и самому становится совестно: ну, чего было бояться? А боялись, страшно боялись.

— Помилуйте, ведь это разве люди? — Звери.

— А бабы-то? В случае чего — избави господи — ведь они хуже еще мужиков...

Начинали вспоминать случаи «возмущений» и «усмирений», бывавшие в нашей губернии нередко таки, и приходили к заключению, что бабы всегда оказывались при этом гораздо «ядовитее» мужиков.

— А помните, что́ они со скуратовским приказчиком-то сделали?

— Ну, да ведь тот какой же и развратник-то был. Ведь ни одной бабы во всей деревне не оставил.

— Это все равно, они разбирать не станут.

— А это, говорят, Иван Петрович, ужасно мучительная смерть?..

— Смерть всякая мучительна, а вы посудите сами, какая это подлость...

— Разве бросить все и уехать.

— Куда это?

— Куда-нибудь... в крепость какую-нибудь...

— В крепость не позволят.

— Отчего же? Ведь это только неприятелей в крепость запрещено пускать...

— На время разве, пока?..

— Ну, разумеется: навсегда — избави господи...

— А тут-то кто же останется?

— То есть, это вы про Ивановку говорите?

— Да-с.

— Да что ж? Тут кого ни оставляй — все равно разграбят и растащат.

— Да-с! Если с народа снять страх — что это будет?..

— У нас не удивительно, потому — народ совершенно невежественный; а вот вы бы послушали, что́ даже в просвещенных странах чернь делала при освобождении. Вы знаете у Шишкина этого старика француза?

— M-r Беке? [1]

— Ну да.

— Ну, конечно.

— Так вот он рассказывал намедни, что когда у них эта революция была, что́ они с дворянами-то делали? Ох!.. Иван Васильевич слаб еще после болезни, слушал, слушал эти рассказы, да и... так-таки весь... и, понимаете, в гостиной это с ним случилось, при дамах... так в кресле и унесли...

Очень естественно, впрочем, что при господстве тогда подобного взгляда на ближайшее будущее и вообще на реформу и свою судьбу, когда предполагалось и предвиделось, что не только все наше имущество будет растащено и расхищено, но и самое целомудрие жен и дочерей наших, вместе с их и нашей жизнью, будет подвергнуто серьезному испытанию, — тогда, мне кажется, от «нас» смешно было бы и требовать забот о приискании и выборе лучших систем будущего нашего хозяйства. Никто ведь не удивляется, что осужденные на смерть не выказывают никаких особенных забот о продолжении своей службы, своих занятий и проч. А мы, то есть, разумеется, это только казалось нам, были именно в положении осужденных на смерть, да еще, быть может, на самую мучительную смерть, в случае вмешательства в это дело баб... По крайней мере мой дедушка именно умер от такого страха. При жизни, вплоть до появления «слухов», покойник ужасно их, то есть баб, любил; но когда эти слухи начались и дело стало, наконец, ясно, «как на ладонке», он их видеть без ужаса не мог. Как, бывало, увидит из окна бабу — так сейчас прочь отойдет, да еще мимоходом взглянет в угол на образ и так глубоко-глубоко вздохнет... Какое же, спрашивается, хозяйство тут пойдет на ум?

---

[1] Господин (monsieur, *франц.*)

А между тем все это произошло на основании одних только слухов, правда, очень похожих на вероятность, но тем не менее все-таки слухов, не более того. Официального, достоверного ничего еще не было известно. И как ни ждали этого официального и достоверного, оно не появлялось. Поэтому очень естественно, что острый период общей смуты уступил место какому-то тупому томлению и жизнь обратилась в какие-то безрассветные сумерки, без всякой надежды на лучшее будущее.

Это очень скверное состояние. В такое время люди живут только настоящим, прирастают к нему и только и думают о том, чтобы не отняли хоть этого скудного настоящего, чтобы оно протянулось еще ну хоть денек. В такое время люди ни за что серьезно не берутся, ничего не начинают, потому что не знают, придется ли им видеть плоды этих начинаний. Такое время, если оно продолжительно, непременно производит массу трусов, эгоистов и лентяев. Это очень скверное время.

Такого общего пьянства, вызванного у одних потерей веры в свое будущее и обманутыми надеждами на скорое наступление лучшего будущего у других, кажется в России еще никогда не было ни до, ни после этой эпохи. И это продолжалось вплоть до появления манифеста об улучшении быта помещичьих крестьян.

На прощание с ополченцами еще два слова о них. Авторитет их и ореол, окруженные которым они возвратились в свои Ивановки и Семеновки, очень скоро начал падать и, наконец, совсем упал. Масса делишек с провиантским и интендантским букетом, в которых перепачкались дружинные и иные командиры, мало-помалу всплыла в рассказах ратников-мужиков, и слово «ополченец» утратило свой престиж, получив взамен его тот же смысл, какой впоследствии был присвоен слову «ташкентец».

Но что бы то ни было и какие бы они, эти ополченцы, ни были сами по себе, во всяком случае в степной глуши они были первыми ласточками, прилетевшими с известием о неожиданном наступлении весны для одних и осени для других.

Наконец грянул манифест об улучшении быта помещичьих крестьян. Очень скоро после манифеста начали образовываться губернские комитеты. В состав их вошли, то есть были избраны, разумеется, самые авторитетные

помещики. Очень много принимались во внимание петербургские связи избираемого. Легковерные думали, что при помощи этих связей удастся отвести удар или сделать его по крайней мере не столь сокрушительным...

Когда, время от времени, члены комитета возвращались из губернского города в свои деревни, к ним обыкновенно тотчас же съезжались все соседи и расспрашивали. Но что же можно было отвечать на эти расспросы? Ничего, потому что возвратившиеся и сами ничего не знали. Был еще источник, из которого спешили тогда помещики утолить жажду своего любопытства, — это сношения с Петербургом. Как известно, наша петербургская чиновная иерархия почти сплошь составлена из воспитанников привилегированных училищ, то есть из сыновей, племянников и внуков помещичьих. И вот это молодое, так сказать, поколение обречено было на писание бесчисленного количества писем во все концы обширного отечества. Папаши, мамаши, тетушки, дядюшки, дедушки и даже бабушки писали и спрашивали о «своей участи», о своем «приговоре», который должен был произнести над ними Петербург.

Кто знает, как велось дело составления издания Положения 19-го февраля, и знает, что такое департаментское служащее юношество, тот, конечно, согласится со мной, что вести, получаемые из Петербурга в глуши, не только не рассеивали неизвестности, но своим разноречием и бессодержательностью способствовали только унынию, заводя в умах отчаянную путаницу и кислятину. Я сделаю здесь маленькое отступление для одного очень характерного анекдота, героем которого был один щелкопер, сын нашего помещика, проходивший в то время свой служебный путь в Петербурге.

Джентльмен этот, приближавшийся к тридцатилетнему возрасту, безукоризненно одетый и правильно деливший свое время между канцелярией, Дюссо и кокотками, был настолько обременен долгами, что родители его, доведенные уплатами до разорения, наотрез объявили ему, чтоб больше за деньгами к ним он не обращался, а изворачивался бы сам, игрою своего ума. И действительно, ум у него оказался столь игрив, что дал ему возможность сыграть с целым уездом такую штуку. Как сейчас помню, перед самыми святками у нас в степи прошел слух, что

к Х—ским приехал из Петербурга сын, привез какие-то новости очень важные и что по этому случаю к ним собираются все соседи. Потащился туда и мой старик дядя. Три дня он там пропадал, наконец приехал и привез новость.

— Ну, Сергей, теперь мы хоть немножко можем быть покойны. Если и не удастся отстоять свои права, то хоть узнаем заблаговременно свою участь, успеем по крайней мере хоть какие-нибудь меры принять.

— Что же такое, — спрашиваю, — вы устроили?

— А устроили мы, друг мой, вот что: ты знаешь, где Х—ский служит? Ну так вот, все, что в их комиссии говорится и делается, он нам будет каждую неделю сообщать, а мы ему на расходы за это в складчину будем ежемесячно платить по восьмисот рублей.

Прошли праздники, Х—ский поехал в Петербург, заполучив за два или за три месяца вперед гонорар. Недели через две дядя получает приглашение к Х—ским. Пишут, что имеются новости из Петербурга. Опять собрался весь уезд, опять толковали, читали, жевали и писали запросы и вопросы дня два. Возвращается дядя домой.

— Ну что?

— То есть, как тебе сказать... Что-то уже очень хорошо. Пишет хоть и не своей рукой, но пишет, что все дело можно еще поправить, то есть затянуть лет на десять... А там, дескать, может образумятся и сами поймут, куда это заведет. Ведь князь М—ов сказал же, что подписывать эти эмансипации надо на пароходе с разведенными парами... Х—ский пишет, что князь это так-таки прямо и сказал.

— Ну, это, — говорю, — может быть и остроумно, да дело-то, дело-то ваше все-таки в каком положении?

— Да вот теперь написали ему, чтобы поскорее отвечал, не может ли он это подешевле как устроить.

— А разве он за это просит еще?

— То есть, как тебе сказать... Он не для себя просит, а дать, говорит, нужно, чтобы дело-то затянули...

И как ни очевидно было мошенничество, но деньги, десять тысяч, были собраны и отправлены в Петербург. Скоро Х—ский перестал даже присылать и бюллетени, убедившись вероятно, что больше урвать ему едва ли удастся.

Вообще, вспоминая то время, необходимо придется признать тот несомненный факт, что помещиков занимала в гораздо большей степени забота о сохранении своих животов, а также о сохранении личных своих прав и преимуществ, чем экономическая сторона реформы. Интересовало, как удобнее будет спастись при предстоящем возбуждении, какие оскорбления придется испытывать, оставаясь в деревне, от Филек и Сенек; как эти Фильки и Сеньки будут над нами глумиться; куда переезжать безопаснее; как бы половчее все распродать и припрятать и затаить на черный день деньги. Все это мы слышали, помним, но я решительно не помню, чтобы слышал хотя какие-нибудь соображения насчет того хозяйства, которое должно будет сменить настоящее. Мне сдается, что это было так оттого, что в то время не было никакого хозяйства в том смысле, как оно понимается теперь даже у нас. Да, хозяйства не было. Была безобразная затрата лошадиного и человеческого физического труда, почти дарового, без всякого расчета, без всякой теории, без всякой системы, не говоря уже о какой-нибудь научной подготовке, о приложении каких-нибудь научных законов. Я говорю вообще, про массу, и это не опровергается редкими-редкими исключениями, которые тогда встречались, конечно, еще реже, чем теперь, и не вызывали ничего, кроме насмешки, как над дураками, над теми, которые заводили машины, новые сорта хлеба и трав, и презрения к тем, кто к хозяйству примешивал соображения и приемы купца, то есть кто скупал, например, телят, свиней, птицу, выкармливал их и продавал, кто заводил у себя мукомолки, маслобойни и проч. Все это считалось делом не дворянским, купеческим. Дворянское дело было: приказать, вспахать, посеять, сжать, обмолотить и зерно продать. Единственные заводы, не компрометировавшие дворянского достоинства, были конские.

Все это было еще так недавно, так у всех на памяти, что по этому вопросу, кажется, не может быть никаких споров и недоразумений. Дослужится, бывало, Иван Петрович до штабс-ротмистра, застрянет в этом чине, позапутается в долгах, — глядишь, умер родитель, и зовут штабс-ротмистра на помещичий трон. И вот он берет бразды правления, и пошла писать. Сейчас, разумеется, реформы, но реформы в чем? Реформы в администрации,

реформы на конюшне, на псарне и полнейшее забвение земледелия, то есть повторение родительского безобразного расходования лошадиной и мужицкой силы, повторение того же дикого игнорирования науки и тот же дворянский гонор относительно введения в хозяйство расчета и коммерческого элемента. И так шло нерушимо и неуклонно из рода в род, без единого шага вперед, без единой попытки приложить к делу хоть бы те приемы, которые обратились уже в рутину в западном хозяйстве и которые все-таки неизмеримо выше тех, что процветали в нашем болоте...

Но как ни бедны мы были живой мыслью и развитием, все же отлично понимали, что такой порядок, такое хозяйство возможны только под условием, чтобы Фильки и Ваньки не смели и думать об ослушании, чтобы все время и все мускулы этих Филек были в полном распоряжении нашем. Так было до сих пор, такой порядок мы видели от рождения и ни о каком другом порядке никогда ничего не слыхали, ничего не читали. Теперь стало известно, что время и мускулы Филек вот-вот будут объявлены личной их собственностью и нам никому никаких прав на них предъявлять не будет предоставлено... Можно было еще питать кой-какую надежду, что удастся обезземелить дворовых и, как верх блаженства, мужиков, но воля... но ведь «своеволие» все-таки «им» будут даны!

После всех этих соображений, мне кажется, ясно, почему никто не старался заглянуть вперед и поломать голову над тем хозяйством, которое должно сменить настоящее. Кроме настоящего, никто никакого другого не знал, и едва ли даже кто-нибудь мог себе представить, как это можно будет «с нашим народом» хозяйство вести, не имея права «его» наказывать. Словом, будущее хозяйство представлялось в этом отношении до того неизвестным, что представить его себе отказывалось даже самое смелое помещичье воображение. Представлялась какая-то пустота, и больше ничего. Вот каково было тогдашнее отношение к экономической стороне ожидавшейся реформы. Что же касается «своеволия», то это дело другого рода. Об этом думали, говорили, соображали, съезжались, принимали меры, правда очень комические, но все-таки хоть что-нибудь да предпринимали. Покупались, например, дома в уездных городах, где жизнь под охраной исправника, двух

квартальных, десятка будочников и такого же числа рассыльных почиталась почему-то безопасной. Многие предполагали совершить экскурсии гораздо более отдаленные, чем бегство в свой уездный город. Один умер, например, в Гельсингфорсе, куда он сбежал из тамбовской своей деревни, за год до объявления нового положения.

Медленно, душно, мрачно прошли томительные три года, в которые писалось, редактировалось и печаталось Положение 19-го февраля.

Но за полгода до объявления «воли» кое-что стало выясняться. Так, например, стало известным, что мужики будут наделены землею и что за эту землю они должны будут заплатить помещикам или работой, или выкупить ее, в чем им поможет казна. Немного спустя стало известно, что дворовых можно будет пустить «на ветер» и что несколько лет они должны будут работать на помещиков по-старому.

Все эти новости несколько оживили наш умственный дух. «Беда» начала представляться далеко не такой уж безвыходной, какой она померещилась сначала. И, наконец, привычка: ведь живут же люди на Везувии. Сегодня страшно, завтра страшно, а там и привыкнешь помаленьку.

Оно, конечно, в зобу дыханье спиралось и руки тряслись, когда в первый раз коснулись они знаменитой книги Положения 19-го февраля; но смертного приговора себе в ней уж не рассчитывали прочитать. А когда начали читать, вдумываться и перечитывать без конца, усмотрели даже возможность устройства с «пейзанами», как называли тогда мужиков, при помощи некоторых, более или менее остроумных экспериментов. Вообще, раскинув как следует умом, мы пришли к тому заключению, что «шалить» «им» не дадут, а когда прошло еще с полгодика, то увидели, что «мужички» и сами никаких поползновений на шалости не выказывают. Тогда и совсем уж успокоились и стали заниматься своим делом как следует. Это «свое дело» в то время заключалось в заботе, как бы поставить «мужиков» в такое положение, чтобы они всегда «чувствовали» и чтобы мы сами, напротив, совсем не чувствовали. Дворню, «этих тунеядцев», мы, конечно, держали

положенный срок у себя, но были очень рады, что им «совершенно справедливо» не дали земли. И действительно, зачем дворовому человеку земля? Ведь дворовые, как предполагалось, все специалисты, мастеровые: столяры, маляры, печники и проч. Что же касается вопроса о том, куда денутся крепостные скрипачи, крепостные балетмейстеры, доезжачие, борзятники, выжлятники и проч., — мы его себе не задавали.

С этих размышлений, соображений и планов, собственно, и начинается пробуждение «духовной», так сказать, жизни помещика. Место страха заняло чувство желчной мелочности, и хотя это чувство вообще не похвальное, но оно было тогда так присуще, что было причиной, что многие утеснения «мужичкам» произошли без всякой надобности, а так себе, и благодаря этому чувству мы испортили очень много благородной крови. Впрочем, некоторым это чувство принесло и пользу. Так, например, те из нас, которые сумели тогда спустить мужикам в надел землю «с песочком», ничего против этого не имеют и теперь, потому что «мужички» нарасхват арендуют их землю, по цене гораздо более «приличной», чем у соседей.

Но вообще весь этот начальный, так сказать, период нашего пробуждения следует назвать кляузным. Помещики изучали Положение 19-го февраля до исступления. Были некоторые, которые знали его чуть не наизусть, и все-таки ровно ничего не понимали. С этой же целью, то есть чтобы понять Положение, ездили в город сами и из города привозили или выписывали отставных секретарей уездного и земского судов, отставных квартальных, писцов и проч., которые не только получали содержание и водку в достаточном количестве, но и посылали провизию своим семьям. И надо правду сказать, многие из них проявили при истолковании статей Положения 19-го февраля замечательное остроумие, но зато немалое число их и было отдано впоследствии под суд за излишнее усердие при составлении приговоров от имени мужиков.

Когда таким образом Положение 19-го февраля было основательно изучено под известным углом, и даже сделаны были некоторые удачные попытки к применению его на практике, и когда во всяком случае был установлен характер будущих взаимных отношений господ к мужикам и «тунеядцам», наша «духовная» деятельность, так

сказать, расщепилась. Мы ясно увидали и даже почувствовали, что перед нами две задачи. Во-первых, мы должны во что бы то ни стало и каким бы то ни было способом ухитриться сохранить хоть то, что «нам оставили», что «не отняли у нас», то есть отдать «мужичкам» как можно меньше земли в надел, и притом чтобы эта отданная в надел земля была самая худшая и дальняя. И во-вторых, мы должны приладить хозяйство к новому положению. Эта вторая задача, как увидим ниже, оказалась гораздо труднее первой.

Обойтись в хозяйстве без мужика, или, правильнее, иметь в своем распоряжении мужика не с утра до ночи каждый день, как было прежде, а всего только (при издельной повинности) три дня в неделю, да притом и в эти-то три дня определенное число часов, — вот что было трудно. И ко всему этому целый ряд огорчений. Во-первых, «они» сразу узнали, какие меры побуждения разрешаются и какие не разрешаются, так как было даже несколько примеров, когда, по старой привычке, будучи отправлены за непослушание к исправнику для «наказания на теле», они возвращались оттуда ненаказанными и, вследствие сего, проезжая обратно мимо барского дома, смеялись и не ломали шапок, а на другой день на работе в поле при встрече с барином показывали вид, что совершенно его не замечают. Затем, при исполнении работ леность выказывали чрезвычайную, можно сказать даже невероятную, и работали не только мало, но и эта малая работа была достоинства самого низшего.

Мысли и думы, вызванные такими порядками, были, понятно, самые тяжелые. Ничего не могло быть естественнее желания избегнуть всех этих неприятностей, так что ощущалась, наконец, справедливая потребность забыть ее и отдохнуть. Шутка сказать — ведь целые года прожили в ожидании бог знает чего. От «нашего народа» всего ведь можно ожидать — разве это люди! и т. п. И, наконец, надо же подумать о детях, надо же и им дать воспитание, а из каких это, спрашивается, доходов?

И так соблазнительно, так желанно представлялась возможность получить деньги! Стоило только пустить мужиков на фюить, то есть на выкуп, и денежки тут как тут. Конечно, они являются в виде выкупных свидетельств, но маленькая скидочка — и у вас те же деньги...

Я не знаю, кто он, но мне ужасно хотелось бы взглянуть хоть раз в лицо того, кто получил первое выкупное свидетельство и проел его. Где оно было проедено, и притом один ли *он* его проел или с «бесстыдницей», — все это, конечно, вопросы совершенно праздные и, пожалуй, даже к делу не идущие, но все-таки любопытные.

С уверенностью можно сказать, что как только помещику эти мысли и соображения раз пришли в голову, он с каждым днем все более и более подчинялся им и, наконец, в один прекрасный день не выдерживал и пускал «их» на выкуп. Так поступила по крайней мере половина помещиков, не будучи в силах, во-первых, устоять против искушения получить сейчас же деньги, а во-вторых, противостоять желанию дать «воспитание детям». Но «благоразумные» и дальновидные характеры смотрели на дело иначе.

— Нет, голубчик, на обязательный выкуп не соглашусь — дудки! Не хотите-ка по согласию, да рубликов этак по сту за десятину-то.

И действительно, дальновидные и энергичные люди при помощи штрафов, условий и контрактов доводили до того, что «они» соглашались на что угодно, лишь бы разделаться. Но таких прозорливцев было немного, ибо энергичных людей у нас вообще немного.

И с этого самого времени, то есть с того момента, как родилась мысль об «отдыхе» и вместе с тем, так сказать, кстати уж созрела другая мысль — о необходимости дать детям «приличное воспитание» и для всего этого ехать в город, — с этого самого времени, повторяю, для многих и многих началась быстрая наклонность к упадку.

Почему?

Много причин. Во-первых, бумажки, полученные за выкупные свидетельства, отличались замечательной способностью уплывать между пальцами гораздо скорее и легче, чем когда они получались, бывало, за пшеницу, овес и т. д. Многие объясняли это тем, что первыми кинувшимися за «выкупными», то есть «пустившими» мужиков на выкуп, были самые легковерные, самые истомленные, и потому ничего нет удивительного, что они поддались искушениям, увлечениям и, «воспитывая детей», сделались жертвами своей нерасчетливости. И вот, когда все «выкупные» от первой до последней были съедены и когда

в то же время, ни потребность в «отдыхе», ни воспитание детей» не позволяли еще оставить столицы и вообще города, то, понятно, следовало прибегнуть к кредиту. Кредит же не представлялся опасным, потому что предполагалось повести хозяйство «по-новому», а это, несомненно, должно было поднять доходность имения.

Трудно определить, до чего была тверда вера в будущую доходность и сколько бы они, эти легкомысленные, накредитовались, если бы общее тогдашнее безденежье не положило предела их мечтаниям и кредиту.

Так как ведение «по-новому» хозяйства было еще только в начале и даже, можно сказать, существовало более в принципе, чем в действительности, а кредит был уже захлопнут, то естественным выходом из затруднительного положения представлялось продолжение реализации, или, лучше сказать, ликвидации, оставшегося имущества. Меню проедания этого имущества было вообще однообразно. Вся разница была только в том порядке, в котором подавались блюда. У одних, например, подавали вслед за выкупными леса, у других — многолетнюю аренду, у третьих — вторую закладную, и все это подавалось под соусом из векселей, сохранных расписок и проч.

При такой обстановке продолжались «отдых» и «воспитание детей». Само собою разумеется, что положение было отвратительное, и если бы не удивительная наша способность принимать мечтания за действительность, то с уверенностью можно сказать, что многие не вынесли бы такого порядка и сами наложили бы на себя руки. И если этого не случилось, то единственно благодаря мечтательной надежде, что с предстоящим введением «рационального хозяйства» деньги польются рекой.

Но деньги, занятые для введения «рационального хозяйства», каким-то непостижимым путем уходили туда-сюда, а «рациональное хозяйство» не вводилось...

Только люди бесчувственные, вспоминая это тяжелое время для многих и многих, не понимавших, куда влечет их легкомыслие, могут издеваться над ними.

Становится неловко, когда подумаешь, что почти половина нашего сословия сошла уже «на нет» или уж непременно сойдет на нет в ближайшем будущем и что случилось это главнейше благодаря легкомысленному и несвоевременному «отдыху» и «воспитанию детей».

Это очень тяжелый факт, и в настоящее время мы не можем еще как следует оценить все его последствия. Да не заподозрят меня в иронии — нет, я говорю совершенно серьезно и называю факт тяжелым вот почему.

«Воспитание детей», о котором мне приходится упоминать так часто, было довольно странное и уж во всяком случае несообразное. Люди, состояние которых, можно сказать, таяло, как снег весной, находили себе утешение в надежде на неслыханные доходы от предполагавшегося введения «рационального хозяйства», и они же, эти же люди, обманывали себя еще раз, восторгаясь в то же время видом сыновей своих, одетых в привилегированные мундирчики, в которых ходили и дети сановников, их товарищи. Они восторгались и млели от одной мысли, что сын их, привезенный из какой-то тамбовской глуши, носящий именную фамилию, за девятьсот рублей годовой платы сидит в училище рядом с сыном министра, и они говорят друг другу «ты», и по субботам вечером вместе ужинают у Бореля, и оба будут служить в одном и том же департаменте, и, «почем знать», может быть...

Обе мечты шли рядом и были у них неразлучны. Золотые горы «рационального хозяйства» и Петенькина карьера... Как ни трудно было, а по письму Петеньки, в котором он просил немедленно прислать пятьсот рублей, так как завтра он должен быть там-то на балу и для этого предстоят такие-то расходы, — деньги посылались «немедленно» или привозились в училище самим родителем или родительницей, если таковые для «воспитания детей» находились в Петербурге. Таким образом, росли Петеньки, не подозревая о той горькой участи, какая им предстоит в случае неудачи «рационального хозяйства».

Сколько драм, комедий и водевилей завязывалось тогда, а мы и не подозревали, что героями их будем мы, наши дети, наши племянники. Нам тогда и в голову не приходило, что результатом наших забот о «воспитании детей» будет разведение в России великого количества праздно-любцев, которые в своем дальнейшем развитии уже сами выработают из себя совершенно самостоятельный тип прохвоста, и не будет в России от них никому проходу, и везде заведут они небывалую духоту.

Дети окончили свое воспитание и получили аттестаты немного ранее того, как было доедено последнее блюдо,

то есть как имение было продано с аукциона за долг банку или по второй закладной купцу второй гильдии Подугольникову. От окончания курса Петеньки в училище до продажи имения прошли всего года два с чем-то. Да и эти два года хотя именьем и владел еще папенька, но он владел им уж до такой степени конституционно, что такое владение не стоит, собственно, и называть владением. Лес продан на сруб Подугольникову, земля сдана в аренду племяннику Подугольникова, и деньги за все время получены вперед. Сад фруктовый и даже огород сданы другому племяннику Подугольникова, который, «со скидочкой», тоже все деньги уплатил вперед. И так все и во всем, куда ни оглянись. Теснота в деньгах была уже тяжкая, и при окончании курса доходило уже до того, что, когда Петеньке, причисленному к министерству иностранных дел, надо было прилично одеться и он поехал к Тедески и начал намекать стороной о кредите, то последний наотрез отказал и только уж благодаря какой-то необыкновенно остроумной комбинации согласился экипировать будущего дипломата, в чем, разумеется, не раз впоследствии раскаивался. Очень естественно, что Петенька все денежные затруднения родителей немедленно же начал критиковать, строго осуждая их за то, что они упустили столько времени, не заводя рационального хозяйства, и проч.

Такое жестокое отношение к родителям «своего же детища», конечно, глубоко их огорчало и, можно сказать, даже убивало.

— Ты знаешь сам, Петенька, что для твоего воспитания мы ничего не жалели; все твои прихоти исполняли... Кажется, можно быть благодарным.

— Вы, маменька, совершенно заблуждаетесь. За мое воспитание вам следовало бы платить в училище, и больше ничего. Но для чего вы переехали из Осиновки в Петербург — этого, кажется, и сами вы не знаете.

— Как, мой друг, для чего? А разве ты думаешь, можно было оставить тебя здесь одного, без надзора?

— Вот это-то, маменька, и было вашей ошибкой. Вместо того чтобы вводить в имении рациональное хозяйство и устраивать его, вы всё бросили и приехали следить за мной. Во-первых, в училище у нас есть воспитатели,

специально для этого приставленные, а потом, за чем, собственно, хотели вы следить? Чтобы я долгов не наделал? Но ведь я еще и теперь несовершеннолетний, следовательно, долги для меня не могли быть опасными. Чтобы я не завел какой-нибудь связи, не увлекся? Но ведь вы должны знать, что это немыслимо ни с одним из нас. Вы, маменька, должны были бы знать, что наше училище хоть закрытое, но двери в жизнь для нас всегда открыты. И, кажется, не было примера, чтобы хоть один из нас увлекся. Спрашивается: что же мы будем делать теперь, когда мы разорены? Вы знаете, что на мое годовое жалованье я не могу и месяца прожить. Где же средства? Моя карьера, значит, зарезана?!

— Мой друг, что от нас зависело, мы исполнили; самое главное было дать тебе образование — теперь ты уж на своих ногах. С таким образованием, которое ты получил, с таким блестящим знакомством...

Но ничего из этих собеседований не выходит, потому что и сами беседующие внутренно сознают, что говорят неправду. Петенька прав по крайней мере хоть в том, что если не поддержать его, пока он не взберется кому-нибудь на плечи или пока плотно к кому-нибудь не присосется, то из всего его «блестящего» образования ни черта не выйдет.

С такими мыслями и соображениями решено было поехать всем вместе в Осиновку и там, на месте, тщательно высмотрев и сообразив, извлечь из имения последние соки и этими соками полить то растение, которое должно будет распуститься роскошными цветами на петербургской департаментской почве. Не полагаясь более ни на опыт родителей и не питая к ним доверия, Петенька с каким-то ожесточением ехал в Осиновку. Факт необходимости достать денег, во что бы то ни стало и откуда бы то ни было, был констатирован, и все помышления были сосредоточены только на средствах и способах достать их.

— Ведь вы, маменька, всю землю сдали в аренду?

— Всю, мой друг.

— В таком случае, зачем же вам все эти постройки — риги, амбары, — ведь их тоже можно продать? Ведь дадут же за них что-нибудь?

— Во-первых, мой друг, что же это такое будет? это уж значит, ты хочешь просто разорить имение. И потом ведь это все сдано Подугольникову в аренду...

— Я, маменька, вашего имения разорять не хочу и еду туда только потому, что вы просили меня сами вместе с папенькой приехать туда, осмотреть все и постараться найти источники новых доходов. Я вам их указываю, а если это вам не нравится, то я могу или совсем туда не ехать, или, приехав, буду в моих суждениях воздержан и ничего не буду высказывать...

— Да ты пойми же наконец, — уж более раздраженным тоном отвечает маменька, — разве это доходы — продажа хозяйственных построек? Я такого образования, как ты, не получила, а все-таки понимаю, что это «разорение отчего гнезда», и только. Мы с отцом про новые источники доходов тебе говорили, а ты...

Такого рода недоразумения и несогласия во взглядах еще до приезда в Осиновку уже неприятно действовали на Петеньку, представившего было себе Осиновку как бы объятою пламенем, из которого он, как смелый и ловкий пожарный, все будет извлекать, и что бы он ни извлек — все его будет. Но Петенька, несмотря на свое несовершеннолетие, был уже мальчиком с ноготком и совершенно справедливо говорил маменьке, что хотя училища их и закрытые, но он в некотором роде прошел уже и огонь, и воду, и медные трубы.

Таким образом, разногласие с маменькой относительно способов извлечения доходов из имения хотя и подействовало на него неприятно, но он твердо решил, что, так или иначе, без денег он в Петербург не вернется, хотя бы пришлось продать для этого не только амбар и ригу, но даже самый дом... И вдруг — сюрприз! Огромный шкаф с образами в серебряных и золоченых ризах, испокон веку стоявший в спальне, вспомнился ему довольно отчетливо, и он, не сообразив всей бестактности своего вопроса, ляпнул его маменьке прямо и без всяких обиняков.

— Маменька, мой друг, а почем серебро продают в лом?..

— Это тебе, мой друг, зачем же нужно знать? У тебя разве есть такое серебро?

— Нет, я говорю это, если бы в Осиновке нашлось что-нибудь из старого серебра...

Маменька вскинула на него глаза и уставилась.

— Уж не к образам ли ты подъезжаешь?

— Вы, кажется, маменька, хотите просто доставить мне удовольствие прожить у вас в деревне несколько летних месяцев и затем, дав мне на дорогу сто рублей, позволите ехать в Петербург. Так, мой друг? — кротко и даже ласково испытывал он и взял материну руку, чтобы поцеловать. Но мать, разумеется, сейчас же поняла все его ехидство, отняла руку и глубоко огорчилась, даже до слез.

— И где у тебя сердце после этого, и в кого это ты родился! — крикнула она на весь вагон, так что все оглянулись на них.

С такими неестественными, можно сказать, чувствами злобы они, наконец, приехали в Осиновку, где, как сказано, самым конституционным образом правил делами теперь папенька, то есть, собственно, не правил даже ничем, а каждый день изобретал всё новые и новые проекты получения от Подугольниковых вперед еще денег; но тот все беседы на этот счет кончал одним полнейшим на все отказом. Встречу Петеньки с отцом можно назвать тоже странною.

Маменька по приезде тотчас же ушла в спальню, там заперлась и начала молиться перед упомянутым выше шкафом с образами в серебряных ризах. Папенька же взял Петеньку за бока и не то чтобы пристыженно, а как-то приниженно-заискивающе, как бы извиняясь, проговорил:

— Ну, очень рад — теперь ты сам... теперь все увидишь, теперь делай как знаешь... Мне, старику... мне горсть земли!

Петенька обнял его и, трижды поцеловав, сказал:

— Папенька! живите, живите и живите. Надо только быть твердым и благоразумным. Поддержите меня только теперь. Вы понимаете, от первых моих шагов в обществе все зависит. Не надо только иметь предрассудков. Средства мы найдем — мы найдем что продать...

— Друг мой! уж все продано, что можно было продать. Не обманывайся на этот счет. Трудно нам.

— Поищем — найдем, — кротко и успокаивающе сказал Петенька и, ласково обняв отца, повел его на балкон.

— Папенька! что это за личности ходят там в цветнике? — спросил он, увидав двух мещан с бородками, в синих длиннополых расстегнутых сюртуках, позволявших

видеть выпущенные из-под жилетов розовые ситцевые рубашки.

— Ах, мой друг, не спрашивай! видеть я их не могу — это племянники Подугольникова. Они сняли фруктовый сад в аренду — ну, целый день вот тут вертятся перед глазами.

— А деньги у них есть? Они, может быть, будут нам полезны!

— Нет, мой друг, это уж испробовано — они ничего не дадут. Вчера, поверишь ли, просил пятьдесят рублей — не дали! Говорят, денег нет; а я положительно знаю, что у них у обоих тысяч десять капиталу.

— Нет, папенька, я не про заем у них говорю, а так вообще. Может быть, они согласятся на какую-нибудь комбинацию.

— На какую же, мой друг?

В это время взор Петеньки совершенно случайно остановился вдали на широкой длинной липовой аллее.

— А что, папенька, ведь здесь лесов мало, всё степи?

— Да, мой друг, степи, да и были у кого леса, так тоже, как и мы, пораспродали.

— Так что, папенька, лес у нас, значит, вообще в цене?

— Еще бы!

— А почем, например, можно купить (он чуть-чуть не сказал: продать, но не сказал потому, что для чего же вызывать пошлую сцену?), большое толстое липовое дерево?

— То есть как это толстое?

— Ну, вот хоть такое, как вот эти липки?

— Да тебе зачем это нужно? Ты уж говори лучше прямо: ты думаешь продать сад на сруб? Так, что ли? а?..

— Вот видите, папенька... Надо на что-нибудь решиться, надо что-нибудь делать. Вы решите сами про себя, одни, в душе, что для вас дороже: я ли, мое счастье, моя карьера, или старые постройки, старый, бестолковый, запущенный сад, в котором если есть что хорошего, так, конечно, только то, что его можно дорого продать благодаря здешнему безлесному месту.

Папенька стоял неподвижно, как-то недоумело, подняв брови и уставив глаза куда-то вдаль, в ту сторону, где темнела широкая, темно-зеленая липовая аллея с позлащенными заходящим солнцем вершинами.

— Впрочем, папенька, если это вас... Если для вас это так дорого...

— А? что?.. что ты сказал? — очнулся старик.

— Я говорю, папенька, что если это для вас...

— А мне что?.. Мне горсть земли — и больше ничего. Это ты вот ужо с матерью об этом. А мне что — моя песня спета!

И папенька часто-часто заморгал глазами; по щекам потекли слезы.

— Я повторяю, папенька, что если это для вас тяжело, если...

— Ах, делай что хочешь!

Остаток этого дня Петенька провел в осмотре сада, усадьбы, хозяйственных построек, всюду заглядывая, все вынюхивая.

А папенька с маменькой все это видели из окна и беседовали промеж себя:

— Ведь это он все высматривает, чтобы продать что-нибудь! — говорила маменька. — И в кого это он у нас уродился такой ненасытный и жестокий!

Вечер провели бурно. Хотя Петенька и был почтителен и вежлив к родителям, но эта почтительность «только масло в огонь». Маменька горячилась до того, что один раз хотела было даже проклясть его, и только вмешательство папеньки утишило бурю. Следующий день и еще один день Петенька посвятил тому же, то есть еще более подробно все высмотрел и вынюхал и ко всему приценился. Племянники Подугольникова во всех этих экспедициях ему сопутствовали, и он от них много полезных сведений и указаний заимствовал.

Когда таким образом Петенька все вынюхал и даже составил «карандашиком» опись всему с оценкою, то решился приступить к действию. Дело происходило вечером. Как «благовоспитанный» и «приличный» мальчик, Петенька, разумеется, терпеть не мог сцен и потому перед началом разговора заручился обещанием папеньки и маменьки, что они не будут горячиться, а, напротив, выслушают спокойно, благоразумно обсудят и приступят к действиям.

Как и следовало ожидать, Петенька на этот раз победил. Решено было, ничего не жалея, все распродать, а самим переехать в город, где папенька поступит на какую-

нибудь службу. При выборе города, в котором должны были поселиться папенька с маменькой, вышел, конечно, спор, который чуть-чуть было не испортил всего дела. Папенька с маменькой хотели переехать в Петербург и нанять квартиру хоть на Петербургской стороне, где подешевле, но лишь бы Петенька был у них на глазах. Он же, напротив, настаивал, чтобы они жили где угодно, только не в Петербурге, ибо если они будут там жить, то товарищи его это непременно пронюхают, и все узнают, что они вполне впали в бедность, а это может окончательно испортить всю его карьеру...

Это взбесило опять маменьку.

— Да что же это за карьера твоя такая подлая, если для нее сын от родного отца с матерью отказывается?

И как ясно и справедливо Петенька ни доказывал, что он настаивает на этом не от жестокости своего сердца и не от недостатка чувства к родителям, а действительно в интересах карьеры, маменька все-таки ничего не поняла. Наконец было порешено так: они будут жить хотя и скромно, но «прилично» на Петербургской стороне и показываться в его квартире не будут. Он же будет приезжать к ним на Петербургскую по воскресеньям к пирогу.

— Ведь вы, маменька, такие славные пироги делаете, что я бы один, кажется, все съел... с пальчиками вашими! — необыкновенно кротко и любовно сказал Петенька и совсем было уж взял материну руку, но она и на этот раз отняла.

— Да ты и так все один съел. Из-за кого же мы и разорились-то, как не из-за тебя!

Но он не обиделся и кротко сказал:

— Это, маменька, с вашей стороны несправедливо, но бог с вами, не будем об этом говорить!

Разорение «отчего дома» началось на другой же день. «Гнездо» буквально растащили в какую-нибудь неделю. Из города приехали еще два племянника Подугольниковых, которые вместе с бывшими двумя и купили всю рухлядь. Амбар, ригу, конюшню и дом, а равно и сад на сруб купил сам старик Подугольников; разумеется, купил он это все за «полцены».

Петенька был при этом неутомим. Сам лазал на чердак, составил всему инвентарь до того подробный, что включил



в него даже и ночные вазы самой грубой горшечной работы. Сам сосчитал и смерил в толщину все липы, клены и сосны в саду.

Папенька ходил как лишившийся рассудка и на все соглашался, только повторял: «Мне — горсть земли. Я — что?»

Маменька, напротив, видя, как хлопочет, торгуется, пишет и лазает Петенька, приходила просто в ожесточение.

— Да он ведь радуется, ты не видишь разве? — говорила она папеньке. — И в кого он только уродился!

Наконец все было продано, увезено, так что Петенька, обойдя пустые комнаты, не нашел решительно ни одного предмета, который можно было бы продать хоть за копейку. Подали карету (ее также купил сам старик Подугольников, а потому теперь «от себя» приказывал кучеру привезти ее обратно в сохранности). Петенька предчувствовал, что при отъезде будет сцена, и потому, чтобы избежать ее, нарочно раньше ушел и сел в карету. Но он ошибся. От маменьки не так легко было отделаться.

— Где же он? Позовите его, — говорила она. — Пусть хоть лоб-то перекрестит, выезжая из «отчего дома».

— Вы, маменька, кажется, звали меня? — начал было он, появляясь перед ней.

— Да-с, звала-с. Уезжая, надо присе́сть и богу помолиться. Ты в этом доме родился, и для тебя теперь его продали — так хоть лоб перекрести в нем последний раз.

Понимая, что никакие пререкания ни к чему не приведут, Петенька все это пропустил мимо ушей и опустился на стул возле папеньки. Когда, наконец, помолившись богу, все встали, а маменька пошла в последний раз обойти комнаты, в которых, кроме голых стен, ничего не было, и когда она вошла в спальню, где зачала и потом родила «его», с ней чуть-чуть не сделалось дурно.

Здесь мы должны будем расстаться с Петенькой. Он нам дальше уж не нужен ни на что. Он мог интересовать нас в данном случае только как один из деятельнейших участников «разорения» — и только. «Отчий дом» разорен общими усилиями. Кем, как и во имя чего — это мы сейчас видели, а что до того, заказал ли Петенька на вырученные деньги сто пар штанов Тедески или только пятьдесят и где, на Выборгской или на Петербургской стороне, посе-

лились папенька с маменькой, — это уж к нашему делу не идет.

Но вот вопросы для нас интереснее:

I. Сколько Осиновок, Покровских, Ивановских, Семеновок и проч. продано с аукциона и по вольной цене, исключительно в силу только этих причин, то есть «отдыха» и «воспитания детей»?!

II. Воспитание и образование, даваемое помещичьим детям, то ли воспитание, которое нужно, чтобы быть хорошим развитым хозяином в своем имении; не наоборот ли?

III. Так как Петенька, вследствие Положения 19-го февраля утративший возможность сосать сок из Осиновки, перенес это занятие на более обширную арену, общественную, то какая из этих операций лучше?

Так погибли помещики малодушные и легкомысленные; энергичные же обратили свое внимание на «рациональное хозяйство», земельные банки, концессии, и проч., и проч.

Посмотрим, чего добились эти.

II
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ХОЗЯЕВА

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник.

Крылов.

Один и тот же факт, как известно, производит иногда совершенно разные последствия. Тут все дело в индивидуальности тех, кто столкнулся с фактом. Так точно случилось и теперь, то есть объявление Положения 19-го февраля, одинаково близко коснувшееся материального и нравственного быта всех помещиков вообще, произвело на них впечатление чрезвычайно разнообразное, и в своих поисках за лучшим устройством будущего все они разошлись по разным дорогам.

И это было совершенно естественно и иначе даже не могло быть.

В прошлом очерке я говорил, что многие довольно скоро убедились, что жить «все-таки» еще можно, стоит лишь помириться с тем, что мужиков отныне наказывать нельзя ни у себя дома, ни посылать для этого с письмом к становому или исправнику. Это уступка со стороны, так сказать, нравственной. Что же касается стороны материальной, то и тут дело может уладиться, если вместо прежнего хозяйства завести новое, «рациональное».

Странно несколько понимали мы этот термин, и оттого и много странностей получалось у нас в результате, когда мы принялись за «дело».

— Вы говорите: рациональное хозяйство? То есть?

— Ну да-с: рациональное...

— То-то, что ж это такое?

— А это, изволите видеть, по-заграничному. Там всякая дрянь идет в дело, дает доход, а у нас пропадает. Там, например, хозяин увидит, что косточка валяется, — велит ее поднять. Сегодня косточка, завтра косточка, глядишь — и много их собралось — можно продать.

— Нет-с, там кости в муку мелют и потом этой мукой пашню посыпают.

— А кто хочет, и так продает кости.

— Отчего же, и так продают, только посыпать пашню выгоднее.

— Ну-с, и потом машины. Там на всякое дело машина приспособлена.

— Вот это дело!

Что из этого «дела» у нас вышло и как мы эти машины приспосабливали — это целая эпопея. Очевидность необходимости переменить радикально весь строй хозяйства мы понимали; но как это сделать — этого никто из нас толком не знал. Всем было известно, и даже доподлинно известно, что «за границей» сельское хозяйство устроено как-то (однако как?) иначе и что там оно ужасно прибыльно. Там всё продают: и молоко, и сливки, и творог, и сметану, и простоквашу, а мы продаем только одно масло. Надо и нам все это продавать. А кто будет покупать?

— Как кто? Помилуйте! А на станциях-то!

— Ну, много ли?

— Привыкнут!

Одним словом, для тех, кто не решил все бросить и уехать в город, то есть для тех, кто не решил сдать имение в аренду или продать его, — представлялся один выход — завести рациональное хозяйство. Это рациональное хозяйство, как я говорил сейчас, представлялось нашей помещичьей мысли и воображению такой, если можно так выразиться, многоформенной и в то же время бесформенной штукой, что каждый из нас делал совершенно разные себе о нем представления.

— Завести крахмальный завод, — будет это рациональное хозяйство?

— Крахмальный? Да.

— И винокуренный?

— Гм... нет.

Почему нет — никто не объяснил бы. В сущности же, потому крахмальный завод считался рациональным хозяйством, а винокуренный — нет, что с понятием о рациональном хозяйстве было соединено представление о новости, о небывалом. Крахмальных заводов у нас не было, а винокуренные были; следовательно, крахмальные заводы — рациональное хозяйство, а винокуренные — нет. Так и все и во всем. Пчеловодство уничтожалось, а заводились искусственные печи для вывода цыплят в то время, когда взрослая и совершенно солидная курица стоила 10—15 копеек (теперь такая курица стоит копеек 25—30). Одним словом, рациональное хозяйство представлялось чем-то вроде нескончаемого ряда всяких штук и фортелей, и чем эти штуки хитрее, оригинальнее, — тем выгоднее и умнее.

Разумеется, мне незачем здесь говорить, что все это, то есть такое понимание рационального хозяйства, не было поголовно общим. Конечно, были и есть люди между «нами», которые очень хорошо понимали этот термин и никаких глупостей не делали; но большинство, на тот или другой манер, проделало массу невероятных пошлостей, которые обошлись, в общем, огромных денег.

Много причин, почему были проделаны эти пошлости; но все-таки главною между ними, мне кажется, следует считать ненормальное и страшно угнетенное умственное состояние наше, происшедшее сперва от ожидания и томления перед реформой, а потом перепуг при объявлении Положения. Что бы там ни рассказывали, а я крепко держусь того мнения, что это-то томление и этот перепуг подействовали губительно на нашу помещичью логику. Собственно, с ума сошло не особенно много в силу этих причин: — от апоплексического удара умерло гораздо больше; но одуревших, или, как у нас говорят, рехнувшихся было много. Кто был повпечатлительнее и у кого хвост был больше замаран, понятно, и перепугался больше и больше рехнулся. А так как не испытавших никакого впечатления от объявления Положения не было, так же точно как не было и таких, у кого хвостики были бы совершенно чисты, то, полагаю, и можно сказать, что в массе все мы немножко и того, ошалели.

Конечно, время и здесь оказалось лучшим целителем «душевных» ран, и когда мы, через год или года через

два-три, немного «отошли» и успокоились, — таких глупостей, как вначале, уж не делали больше. Отчего это? Мне кажется, отвечать на этот вопрос можно только так, как я объясняю. Сперва немножко «тронулись» с испугу и наделали совсем уж невозможных глупостей, а потом, когда успокоились, стали делать глупости менее глупые, и если бы они не стоили нам очень дорого и если бы наши Ивановки и Петровки не были поэтому у нас проданы, то теперь, я думаю, мы делали бы глупости еще менее глупые, а некоторые, пожалуй, и совсем бы их не делали.

«Легкомысленные» погибли от того, что, вместо дела, ощутили какой-то восторг, почувствовали потребность отдыха от томившего их страха и неумеренно предались этому отдыху, причем мимоходом, вместо образования, развратили своих детей. Благодаря этим двум обстоятельствам, то есть отдыху и детям, они захудали, лишились своих Ивановок и Семеновок и принуждены теперь кончать дни в табачных лавочках. Когда они вспоминают о безвозвратном прошлом, то говорят: вот если бы мы, вместо отдыха и воспитания детей, занялись «рациональным хозяйством», мы, во-первых, не наделали бы при этом таких ошибок, какие наделал Иван Петрович или Петр Иванович, и наша Ивановка была бы цела, сами бы мы жили прилично званию, а не в табачной лавочке.

Но легкомысленные в одном легкомысленны и во всем. Они никогда не понимали и никогда не поймут, что как только поставят их на ноги, они непременно захудают. Они никогда не поймут, что они оскудели вовсе не потому, что занялись не тем, чем следовало бы заняться, то есть хозяйством на новый образец, а потому, что и сами они и дети их ни к какому самостоятельному труду совершенно не были подготовлены. Были некоторые более энергичные, но и они, в свою очередь, лишились своих Ивановок, уж не по недостатку энергии, а все по той же причине, то есть вследствие полной неспособности ориентироваться в новом положении, а также вследствие отсутствия научных и практических знаний.

Все это до такой степени ясно и просто, что становится непонятным, как это взрослые и нередко умные даже люди могут не понимать самых очевидных истин.

Когда первый момент испуга прошел, все начали мало-помалу оглядываться, ощупывать, что у них под ногами, и соображать, на что или на кого можно опереться, где и в чем искать выхода. То есть, собственно, опять-таки где найти средство, которое могло бы возвратить старое, блаженное время, когда все хозяйственное мудрствование заключалось в приказании старосте или приказчику. С Положением 19-го февраля, если мужики и оставались на издельной повинности, то в распоряжении у помещика, вместо семи рабочих мужицких дней в неделе, оставалось всего только три, да и теми надо было пользоваться крайне ограниченно. Старики, старухи, девчонки, мальчики были совершенно исключены из рядов той армии, которая называлась барщиной и которая являлась прежде в полном комплекте со всеми ветеранами и новобранцами.

Недостаток рабочих рук почувствовался, таким образом, прежде всего, и оттого прежде всего начали искать суррогат мужика.

Где его найти?

Помещичья логика отвечала на это так:

Что такое мужик? Мужик, конечно, — человек, но как хотите, а все-таки не вполне. Мужик грязен, груб, пьян, делает все из-под палки. Трудно заменить ум, но ведь у нас «отняли» не ум, а грубую рабочую силу. Стало быть, эту силу и надо заменить, а чем она заменяется? Конечно, машинами. И вот с того момента, как пришла в голову мысль заменить мужика машиной, помещики до того прониклись твердой уверенностью, что «зло» поправимо, что у иных эта уверенность доходила до какой-то детской наивности. Совершенно серьезные и неглупые даже люди сидели с каталогами бр. Бутеноп из Москвы и Рамсона и Симса из Петербурга и вербовали себе барщину, в виде сеноворошилок, почвоуглубителей, окучников, молотилок, сеялок, косилок, и т. д., и т. д.

Разумеется, все это кусается, и такая барщина обойдется недешево, но зато ведь чуть не на век, а сверх того, грубостей, пьянства — ничего не будет. С мужиком еще кое-как можно было справляться, когда он знал, что его сейчас же можно и наказать, а извольте-ка ладить с ним теперь! Да, все наше спасение в машинах. Конечно, сами мы и все приспешники наши понятия не имеют ни об одной машине, как бы проста и немногосложна она ни

была; но это еще ровно ничего не значит. Ведь не умеем же мы сами косить, а поля наши все-таки всегда были скошены. Так и тут: найдем одного или двух машинистов-немцев — непременно немцев (они аккуратны и не пьяницы), — и все пойдет отлично.

Когда, таким образом, господь просветил умы наши и стало ясно, что суррогат мужика найден, явилось некоторое затруднение: а деньги на покупку машин где?

Денег, как известно, в то время ни у кого не было; банков, где можно бы было их достать, тоже не было. Поэтому «рациональным хозяевам» ничего другого не оставалось, как последовать примеру легкомысленных, то есть пустить мужика на выкуп и на выкупные деньги накупить сеноворошилок, почвоуглубителей и проч. и нанять соответствующее количество аккуратных немцев. Как ни неприятно, но другого выхода не было, да кроме того предвиделось, что при божьей помощи машины должны были в какой-нибудь год-два окупить себя, так что останавливаться и задумываться над этим было глупостью. Так и было сделано.

Одно было досадно: выкупные операции, вначале по крайней мере, тянулись долго. Если бы не это, то в нынешнем же году можно было бы обойтись без мужиков. Пока подавались разные бумаги и вообще шла вся процедура пускания мужиков на выкуп, «рациональные хозяева» разгорячались все более и более. Шли переписки с Бутенопами, делались расчеты — сколько такая-то машина заменит мужиков. И потом, ведь машинами можно работать и ночью — стоит только выписать немцев... Эти фантазии тоже шли за здравую мысль, и сю восторгались, смаковали ее. А братья Бутенопы расписывали да расхваливали свои плуги, сеялки и веялки.

Я знаю, что фирма «Бр. Бутенопы в Москве» нажила в то время огромные деньги, и она была не единственная, через которую покупались машины, и точно так же, конечно, огромные деньги нажили и другие фирмы. Любопытно, сколько просадили мы на это денег, сколько потеряли благодаря этим машинам дохода, сравнительно даже с той формой хозяйства, когда землю просто отдают в аренду?

Но на это, конечно, никто не ответит с приблизительной даже точностью. Верно, что миллионы и крупные миллионы ушли на эти игрушки.

Наконец выкупные были получены, проданы; можно, значит, выписывать и машины и немцев. А не лучше ли самому съездить? Все-таки сам увидишь в натуре, что́ покупаешь.

И бо́льшая часть, повинуясь голосу рассудка, решила съездить за машинами собственнолично. К упомянутому выше соображению прибавлялось, кстати, и другое: выбор немцев-механиков. Тоже ведь покойнее, когда такого нужного человека сам выберешь...

И какое-то благодарно-восторженное чувство овладевало при этом будущим гостем бр. Бутеноп.

Я ни разу не был у бр. Бутеноп, но знаю, что при въезде в Москву со стороны Рязани справа невольно бросается в глаза колоссальная вывеска, на которой громадными буквами написана эта фирма. Теперь всякий раз, когда я проезжаю мимо этих складов машин и читаю эту фамилию, у меня сердце обливается кровью. Сколько похоронено здесь помещичьих денег и самых розовых помещичьих надежд! Помилуйте! удайся нам заменить машинами мужика, чего бы мы только не наделали! Мужики работали бы сами по себе, а мы с машинами и немцами-машинистами тоже сами по себе... и т. д., и т. д. И ничему этому не суждено было осуществиться, даже в сотой доле! Но этого, конечно, никто не предвидел тогда, и потому, повторяю, все только и хлопотали о том, как бы поскорее, раньше других попасть к Бутенопам и застать у них более полный выбор. Посылали предупредительные письма Бутенопам, чтобы их ждали и имели бы в запасе такие и такие-то машины. И Бутенопы свои заводы и склады уподобили бездонной прорве. Так как в первое же лето по объявлении Положения 19-го февраля все разом почувствовали недостаток рабочих рук, а зимой додумались до необходимости заменить мужика сеноворошилкой и почвоуглубителем и затем ранней весной поехали закупать машины, то, очевидно, ошибка оказалась не единичною, а общею, и деньги потерял попусту, зря, не один человек, а масса. В этом-то и вся суть. Если бы наделал глупостей

один человек — это было бы, пожалуй, только смешно, но тут уж было не до смеха. Впрочем, не буду забегать вперед и расскажу, как привезли машины и с ними немцев.

Не в писаной, а в живой, конечно, драме элемент комический удивительно как любит соседство драматического. Так было и тут. Среди общего разочарования происходили неподражаемо комические сцены. И это продолжалось целое лето и повторилось, на тех же инструментах, поправленных и починенных, и в следующее. Чтобы дать читателю хоть маленькое понятие о том, что это были за сцены, я расскажу здесь несколько их.

В том уезде, где я живу, первым вернулся от Бутенопов мой ближайший сосед, некто Дмитрий Павлович, отставной поручик какого-то армейского кавалерийского полка, человек очень добрый, с хорошими средствами (в смысле количества десятин), но совершенно бесцветный. Любил цветы, путешествия Дюмон Дюрвиля, левреток и гувернанток, за что не пользовался уважением жены и, уличенный в преступлении, чистосердечно каялся перед ней. Вот у жены этого-то невиннейшего из людей, как-то в конце апреля, я обедал, и она при мне получила из Москвы от мужа письмо, извещавшее, что он все устроил, то есть накупил всевозможных машин, нашел к ним четырех машинистов-немцев (одного, в том числе, старшего, с двойным жалованьем) и завтра к вечеру будет дома.

Она начала почему-то просить, чтобы завтра же к вечеру приехал и я.

На другой день я, конечно, приехал. Помню, был великолепный весенний вечер, теплый, какие бывают у нас в мае.

— Что-то он привезет... я понятия не имею о машинах, — говорила Любовь Васильевна. — Немцам я велела флигель правый очистить. Это на первое время, а потом уж сам Дмитрий Павлович куда знает их поместит. Только вот беда: чем кормить их?

Я посоветовал картофелю с селедкой, да кофе сварить.

— Что вы, помилуйте! Ну, а суп какой же к ужину?

Бьет между тем девять часов, а Дмитрия Павловича нет как нет. Стало свежеть. Закрыли окна, детей уложили спать.

— Верно, он завтра приедет — опоздал!

И я хотел уж собираться домой, когда из детской гурьбой выбежали дети с криком: «Папа едет! наш колокольчик».

Действительно, колокольчик был их (мы по звуку колокольчика узнаем всегда, какой сосед едет), следовательно, лошади, высланные навстречу, теперь везли барина. Одного или с немцами?

Мне ужасно хотелось, чтобы он приехал вместе с немцами. Он ни слова не знает по-немецки — как-то он будет объясняться с ними, если и они не говорят по-русски? Когда я высказал это желание, Любовь Васильевна, указывая глазами на гувернантку, проговорила:

— А Амалия Ивановна на что же?

— Да помилуйте, где же ей и с детьми и в поле на работе!

— Ну, теперь не до детей — дети и подождут! Надо сперва это дело наладить.

Колокольчик звенел все ближе и ближе; вот уж они едут через мост, сейчас за садом. Колокольчик звякает редко, стучат копыта по деревянному намостнику, едут шагом. Дети, а за ними и Амалия Ивановна, побежали на крыльцо. Пошла туда же и улыбающаяся Любовь Васильевна; пошел и я.

— Господи, если бы он один приехал, без немцев! — говорила Любовь Васильевна, — я, право, не знаю, что с ними делать.

— Да что вы так беспокоитесь об них? Ну, завтра лучше их устроите, не пропадут же они у вас за ночь.

— Вам смешно, а ведь вся наша судьба в их руках...

Наконец в ночной темноте обозначилась широкая фигура тарантаса и тройки. Послышались голоса.

— Так и есть, с немцами! — с отчаянием почти воскликнула Любовь Васильевна.

Действительно, когда тарантас подкатил к крыльцу, мы увидели в нем какие-то четыре фигуры; это были Дмитрий Павлович и с ним три немца. Когда прошла первая суматоха встречи, то есть когда жена и дети были перецелованы, а мне объявлена самая горячая благодарность за любезность, и затем нужно было идти Дмитрий Павловичу в дом, жена тихонько спросила его:

— А куда же немцев — их можно наверх?

— Конечно. Это премилые люди; один даже на флейте играет. Он прежде был приказчиком в нотном магазине. Коммен зи! [1] — обратился Дмитрий Павлович к немцам, стоявшим в кучке, несколько поодаль от нас.

На крыльце было темно, и я не мог хорошо разобрать их лиц, а заметил только, что все трое детины здоровые, коренастые. Но когда они вошли в освещенный зал, я узнал знакомый тип обыкновенного немца-мужика. Одно я сразу не понял: как мог один из них быть приказчиком в нотном магазине? — но и это скоро выяснилось, когда он рассказал, что заведовал в магазине отправкой тюков с нотами в провинцию. «А на флейтах у нас в деревне играют почти все», — как будто даже с гордостью добавил он.

Мы с Амалией Ивановной переводили немцам, чуть не вперегонку, следовавшие одно за другим угощения хозяина и хозяйки. Дали им и ветчины, и яиц, и масла, и картофелю, и телятины, и чаю, и кофе, дали им и водки и вина, а они все это ели и пили с самым серьезным видом. Вообще были ужасно серьезны и съели ужасно много. Дети сидели тут же с нами за круглым столом. По случаю благополучного возвращения папеньки и прибытия с ним немцев им позволили не сейчас ложиться спать. А главная причина — Амалия Ивановна: она была нужна как переводчик — как же ее отпустить ради детей? Но долго им нельзя было сидеть. Через пятнадцать — двадцать минут, когда немцы и половины еще не съели того, что съели потом, дети начали, что называется, клевать носами, а маленькая дочка Оля даже совсем заснула.

— Ну, идите спать, дети! Амалия Ивановна! ведите их, укладывайте и приходите к нам поскорей, — решил Дмитрий Павлович.

Дети пошли прощаться с отцом, с бабушкой, со мной, затем Амалия Ивановна что-то спросила шепотом у Любовь Васильевны, а эта, в свою очередь, у Дмитрия Павловича.

— Отчего же! они хорошие люди, не то что наши мужики.

Вследствие этого разрешения мальчики стали «шаркать ногами», а девочки «приседать» поочередно перед немцами.

---

[1] Подойдите! (Kommen Sie, *нем.)*

— Schönes Kind! [1] — сказал старший немец и огромной широкой ладонью погладил по головке Олю.

— Das wird auch ein braver Soldat sein, [2] — проговорил другой немец и тоже погладил по головке Петю, когда тот шаркнул перед ними ножкой и поклонился.

— Амалия Ивановна, что он заметил про Петю? — робко и в то же время сладостно спросила Любовь Васильевна.

— «Они» сказали, что Коля будет храбрый офицер.

— Ах, как это трудно знать, что еще из него выйдет! — с сладким, благодарным вздохом проговорила Любовь Васильевна.

Наконец детей увели спать, а немцы, освободившись от них, снова принялись за еду.

Торопливо вставший и куда-то ушедший перед тем за несколько минут, Дмитрий Павлович возвратился с каким-то ящиком, немного поменьше обыкновенного чайного цибика. Он и лакей Иван насилу несли его и грузно поставили возле Любовь Васильевны. Очевидно было, что там уложено что-то очень тяжелое.

— Что это такое?

— А вот угадай... Ну, вы, Сергей Николаевич, угадайте, что это такое? — обратился ко мне Дмитрий Павлович.

Я, совершенно не думая, сказал:

— Машины.

— Почему же вы узнали?

— Да ведь вы за ними поехали.

— Так ведь, батюшка вы мой, разве те в такой ящик уложишь! Но вы все-таки угадали: машины. А вот ты, Любинька, крошка моя (пудов в шесть по крайней мере), не отгадала, а для тебя-то я их и привез. Только это не от Бутенопов — у них таких нет!

Иван принес молоток, старый источенный столовый ножик и общими усилиями с Дмитрием Павловичем откупорили и открыли ящик.

Все, кому было можно, запустили в этот ящик глаза. Наверху, кроме соломы, ничего не было. Дмитрий Павлович осторожно снял ее и начал вынимать из ящика ка-

---

[1] Прелестный ребенок! *(нем.)*.
[2] Он будет храбрым солдатом *(нем.)*.

кие-то завернутые в бумагу кружки, рогульки и проч. Когда он их развернул, а их было по крайней мере штук пятьдесят, оказалось, что это были всё машины для кухни. Тут чего уж только не было, и машинки чистить яблоки, машинки рубить мясо, и проч.

Любовь Васильевна была в восторге. Немцы тоже брали в руки ту или другую машинку, поворачивали ее и так и этак и ставили обратно на стол.

Ивану велено было позвать повара. Надо ведь и ему это показать.

— А знаешь что, — как-то жалобно начал Дмитрий Павлович, — ты, Люба, не отдавай их ему. Ведь ты знаешь наш народ, все живо изгадят; все у них заржавит и через неделю ничего не соберешь, а вещи-то дорогие. С меня, по знакомству, по рекомендации, и то взяли более пятисот рублей. Ведь это все настоящая немецкая работа!

— И в самом деле, — согласилась жена, — уж я сама, когда придется, буду на них работать.

Возвратилась Амалия Ивановна, уложивши детей, и принесла с собой вечную работу: какое-то полосатое гарусное одеяло. Немцы поели, то есть, лучше сказать, все съели и выпили, и закурили свои белые фарфоровые трубки.

Дмитрий Павлович между тем начал мне рассказывать, сколько и каких машин он накупил, что, по его расчету, их будет совершенно достаточно, чтоб обойтись без мужика, что их, то есть эти машины, привезут ровно через две недели, и он хочет в этот день собрать всех соседей, отслужить молебен и начать тут же работы, и проч., и проч.

Становилось скучно. К этому восторженному фантазированию я уж привык, и оно надоело мне. Немцы сидели с сонными глазами и сосали свои люльки, изредка перебрасываясь друг с другом какой-нибудь коротенькой фразой. Любовь Васильевна, при помощи Амалии Ивановны, задала им два-три вопроса; они, через ту же Амалию Ивановну, ответили ей. Спать пора. Надо домой ехать.

— Дмитрий Павлович! который из них на флейте играет? — спросила его жена.

— А вот этот, Иван Богданыч!

При слове Иван Богданыч молодой из немцев, краснощекий, голубоглазый, посмотрел на всех и глупо осклабился.

— Амалия Ивановна! попросите его что-нибудь сыграть нам.

Начались переговоры; немец ушел в переднюю, чтобы достать из чемодана свой инструмент, который оказался чем-то гораздо более похожим на обыкновенную жалейку, чем на флейту; тем не менее он начал на ней дудить что-то совсем невыносимое.

Любовь Васильевна находила, что это совершенно оригинальный инструмент и вечером, в поле, должен быть недурен.

— Да, именно вечером, в поле, — сказал я.

— Но, согласитесь, ведь нельзя же от него большего и требовать! наш мужик, и проч.

Я не знаю, чем кончился этот концерт. Мне подали лошадей, и я уехал.

Через неделю после описанного вечера я ездил за дупелями в Березовку, соседнюю с имением Дмитрия Павловича деревню.

— Что, ребята, не слыхали, не привезли еще сосновскому барину машины из Москвы?

— Не слышно; должно, еще нет. Немцы к ним, к этим машинам, приехали, а машин еще нет!

— А вот что хотели мы тебя спросить: что, если эти немцы озорничать и у нас начнут, как по Положению поступать с ними?

— То есть как же это и у нас? разве где они уж набаловали?

— И не говори! Вчера я ездил в Сосновку, к попу; стоим это мы с ним у ворот, подходит дьячок. «Сейчас, говорит, к барину жаловаться на немцев ходил». Поп и спрашивает: «А что?» — «Да житья, говорит, жене моей нет от них: куда ни пойдет — гоняются за ней, просто срамота выходит».

Я рассмеялся.

— Нет, ты скажи, если они к нам повадятся, как насчет их в Положении сказано?

— Ничего об них в Положении не сказано.

— Значит, озорничать могут сколько душе угодно?

— Зачем же. Если набалуют что, свяжите их, да и представьте к мировому посреднику.

— А отвечать за них, проклятых, не придется опосля?

— Не придется.

— То-то. Третьего дня, глядим, едут это они на барских дрожках все трое у нас по селу. Проехали вдоль по улице и назад повернули. Что им у нас высматривать? Мы их ведь не трогаем? Сняли перед ними шапки, поклонились им честь честью — с богом!.. А это верно, что озорничать им в Положении не предоставлено?

— Да ведь уж я сказал, что не придется отвечать и озорничать никому нигде не показано!

— Эх, милый друг, мы люди темные — ну, куда на них жаловаться? А ты послушай-ка, что про них рассказывают: с господами, говорят, и пьют, и едят, и лакеишки им прислуживают. Одно слово — сила. Где нам!

Прошло еще с неделю. Получаю от Дмитрия Павловича обещанное приглашение. Пишет, что машины привезли, завтра их будут собирать и пробовать. Разумеется, поехал. На дворе, на лугу, перед домом была целая выставка сельскохозяйственных машин, выкрашенных во всевозможные краски: были и синие, и красные, и зеленые, и черные. Дмитрий Павлович и человек пять соседей, раньше меня приехавших, ходили вокруг них и рассматривали. Три немца и еще два машиниста, прибывшие с машинами, разбирали и собирали их. Амалия Ивановна совсем с ума сошла. То детей оттаскивала от острых зубьев каких-нибудь конных граблей, то, по просьбе какого-нибудь Петра Петровича, переводила его вопросы немцам и машинистам, буквально ни слова не понимавшим по-русски. Я вылез из тарантаса и присоединился к этой группе.

— Сейчас будет молебен: их окропят святой водой, потом закусим по русскому обычаю, и с богом, — сказал мне Дмитрий Павлович.

Действительно, вскоре на двор въехал в зеленой тележке батюшка с дьячком.

— А вот и батюшка! Дмитрий Павлович пошел к нему навстречу.

Батюшка, разумеется, всех нас знал, со всеми поздоровался. Приемлющих православие благословил, с другими ограничился рукопожатием и сказал:

— А покажите-ка мне эти чудеса заморские!

Дмитрий Павлович начал объяснять чуть ли уж не в двадцатый раз дивные качества каждой машины, а мы вместе с батюшкой такое же число раз удивлялись всему этому. Несколько поодаль ото всех прочих стояла какая-то огромная машина, пузатая, выкрашенная в зеленую краску, с красными кантами, с бесчисленным множеством зубьев, колес и колесиков.

— Вот это так чудо действительно! — сказал Дмитрий Павлович. — Она молотит, и веет, и зерно прямо в мешки насыпает. К ней есть еще другая паровая машина, которая ее в действие приводит. Обе они восемь тысяч стоят, зато в сутки, если работать на ней и днем и ночью, до двухсот копен обмолотит.

Батюшка коснулся перстом какого-то колеса, оно легко повернулось, зубья поднялись, как у живой, внутри послышалось какое-то стучание.

— И малому ребенку она послушание, по всему этому, оказывать должна, — проговорил батюшка.

Вновь прибывшие машинисты и прежние немцы всё еще продолжали возиться и стучать молотками вокруг машин. Очевидно было, что они еще не скоро их соберут, а все уж чувствовали, что не худо было бы теперь и позавтракать. Батюшка вывел всех из неловкого положения вопросом:

— Что же, приступить можно? Или сперва благословить и преломить, по русскому обычаю, хлеб-соль?

Амалии Ивановне поручено было узнать, скоро ли все будет готово, и когда она передала ответ немцев, что они надеются всё кончить часа через три, вопрос о том, чему прежде быть — молебну или преломлению, по русскому обычаю, хлеба-соли, решился сам собою. Да и сам батюшка поддержал такое решение, дав заключение в том смысле, что молебен отслужить в данном случае «все единственно», что перед закуской, что после оной.

И мы все направились к дому. В зале уж был раздвинут и накрыт бесконечно длинный старинный, красного дерева, банкетный стол. Свои и приезжие с гостями лакеи устанавливали тарелки, стаканы, рюмки, бокалы. Любовь

Васильевна, с сознанием торжественности случая, вся озабоченная и серьезная, делала, проходя мимо них, разные указания. Гости между тем всё подъезжали и подъезжали. Собралось уж человек тридцать. На дворе перед конюшнею стоял уж целый ряд отпряженных тарантасов. Кучера, поснимавшие армяки, в красных и розовых ситцевых рубашках, вываживали свои усталые, измыленные тройки. Оживление вида было полное. Когда минут через десять я вошел в кабинет, выходивший окнами на двор и теперь битком набитый соседями, и посмотрел в окно, вокруг машин и немцев была уже целая толпа дворни своей и наехавшей с господами. Все это теснилось, рассматривало, гудело. Даже горничные, ключница, жены поваров, конюхов — и тем захотелось посмотреть на невиданные диковинки. Кто-то заметил, что эта толпа, пожалуй, еще сдуру, а то, чего доброго, и по злому умыслу, как бы чего не напортила. Послали сказать, чтобы близко не подходили; что если хотят смотреть, то чтобы приходили уже, после молебна, когда все будет готово и когда машины будут пробовать господа. Я видел в окно, как лакей с салфеткой под мышкой спрыгнул с крыльца и побежал на двор, где были разложены машины и где собралась теперь эта толпа. Он что-то им говорил, жестикулировал, потом начал любезничать с прекрасным полом. Толпа помялась на месте еще минут пять и начала расходиться в разные стороны, точно что-то рассуждала и разводила руками.

В кабинете, разумеется, шел разговор самый оживленный, полный надежд и какой-то затаенной радости, что теперь «никому» не придется кланяться, и проч., и проч.

— Кушать готово-с, — объявил, появляясь в дверях, буфетчик Ермолай.

— Господа! батюшка! благословите! Господа, закусим пока, а там и с богом! — приглашал Дмитрий Павлович.

Все тронулись в зал. Только что кончилось усаживанье и мы принялись за суп (завтрак поневоле был обращен в обед), как к Дмитрию Павловичу подошел лакей и что-то сказал ему на ухо. Он вдруг страшно побледнел, нижняя губа как-то отвалилась; глаза бессмысленно расползлись по всем нам, сидевшим против него.

Я совершенно бестактно и необдуманно чуть не крикнул: «что с вами?»

— А? Они пришли...

— Кто пришел? Что такое? — послышалось со всех сторон.

Лакей шепотом объявил, что на двор пришли мужики, вся деревня.

— Так что же?

— Они хотят-с машины видеть.

— Ну и что ж из этого?

— Ничего-с, — замялся лакей.

— Так ступай, спроси, чего они хотят?

Я в жизни моей не видывал такого перепуга, такого панического страха, овладевшего целым обществом, и решительно не мог понять его причины. В эти пять — десять минут, которые прошли со времени ухода лакея к мужикам и до возвращения его с ответом, что они просят, чтобы им позволили посмотреть, как будут пробовать машины, было высказано столько жалких, отчаянных слов, что можно было бы подумать, что их сказали люди, застигнутые врасплох на месте какого-нибудь преступления, а вовсе не невиннейшие Петры Ивановичи и Иваны Петровичи, собравшиеся заниматься таким похвальным делом, как «рациональное хозяйство».

— А много их?

— Вся, почитай, деревня.

— Человек двести?

— Пожалуй, будет.

Я и еще двое посоветовали Дмитрию Павловичу выйти к ним и вызвались сопровождать его при этом.

Когда мы вышли на крыльцо, весь двор действительно был полон мужиками, но все без шапок, в самом миролюбивейшем настроении.

— Дмитрий Павлович! позволь, батюшка, машинки твои поглядеть! уж то-то про них рассказывают, что и подумать невозможно...

— Машины? Да... оно, конечно... Однако что ж я вам сделал?

Я дернул его за рукав. Он стоял совершенным дураком перед мужиками: растерянный, перепуганный. Те тоже смотрели на него и ничего не понимали, что с ним подеялось. Им объявили, что машины не собраны, что сегодня вряд ли и будут их пробовать, а когда все будет готово — отчего же, милости просим, очень рады!

— Нельзя ли сегодня посмотреть? День сегодня праздничный — вот мы и пришли, а завтра на работу надо.

— Да зачем же это вы всей деревней-то пришли? — спросил я.

— А сегодня у нас старшина был, сход собирал; порешили это мы дела все, а тут едет Ефимка-кузнец, подъехал к сходу, да и говорит: «У нас сегодня господа со всего уезда съехались — машины аглицкие пробовать привезли». Ну, дело праздничное, пойдем, ребята, и мы — может, и мы что увидим. Так вот все и пришли. И старшина тут с нами волостной. Вон он там на немцев с писарем смотрит, как они машины чинят.

Позвали старшину. Этот тоже начал просить позволить ему посмотреть, как будут машины пробовать. Дмитрий Павлович мало-помалу, наконец, пришел в себя, и первым чувством, как всегда это бывает у трусов, явилась заносчивость.

— Как вы смели приходить скопом? Я сейчас пошлю за посредником. Я, — и проч.

Но это выходило уж до такой степени глупо, что мы, ассистенты, просто увели его, объявив удивленным мужикам, что когда все будет готово и машины будут в ходу, им дадут знать, а теперь чтобы шли себе домой и долее понапрасну не топтались. И ничего не понимающая, полуиспуганная толпа, сопровождаемая насмешками собравшейся дворни, моментально схлынула со двора.

А Дмитрий Павлович за обедом, уж совершенно оправившийся, рассказывал, как он усмирил мужиков, приходивших, очевидно, переломать и вообще испортить машины.

Затем, по обыкновению, начались шутки, хохот. Так как за обедом было некоторое выпитие, то имеющие обычай хлебнуть хлебнули более, чем следовало, и потому торжественный характер, который носило собрание до обеда, скоро утратился и заменился добродушно-пикантным с поползновением на дальнейшую выпивку.

Дело выходило дрянь. И Дмитрий Павлович, как человек непьющий, сразу понял, что если скандала и не будет, то уж во всяком случае престиж потерян, и опыты, долженствовавшие носить характер чего-то вроде священнодействия, теперь, чего доброго, сделаются посмешищем пьяной толпы. «Господи! — молился он, — хоть бы

там у них (то есть у немцев) что-нибудь разладилось, чтобы можно было отложить опыты до завтра!»

И бог услышал его молитву. Когда кончился обед и гости разбрелись по комнатам, он незаметно исчез и очутился у машин. По-прежнему немцы стучали молотками, но и на его неопытный глаз было ясно, что у них что-то не совсем ладно, что или машины присланы не в порядке, или немцы этого порядка устроить не могут. Спрошенные через Амалию Ивановну, немцы отвечали, что сегодня невозможно все собрать, но завтра все будет готово.

Такой ответ, с одной стороны, был приятен, а с другой — скверная мысль мелькнула у него в голове.

— Амалия Ивановна, да вы спросите у них: почему же не готово?

Амалия Ивановна спрашивает и потом отвечает: потому что по рисункам очень трудно собирать машины, а они их никогда не собирали, а только работать на этих машинах умеют.

Так он и ахнул, как услыхал это. Да ведь они, эти Бутенопы, должны были прислать таких немцев, которые бы могли не только собрать машины, но в случае порчи и починить даже? А вместо этого что они сделали, кого прислали?

— Они говорят, — переводит Амалия Ивановна, — что Gebrüder[1] Бутеноп всех своих механикусов уже разослали к помещикам, которые раньше Дмитрия Павловича купили у них машины, а теперь у них остались одни подмастерья, но они все-таки надеются собрать машины и думают, что выписывать механикуса не придется, разве вот только для паровой молотилки...

Известие было отчаянное, убийственное. Бледный, потерянный возвратился он к нам.

— Что с вами опять?

— Это ужасно. Это только с нами, русскими, могут делать! Только ради бога никому не говорите. — И он рассказал мне, в чем дело. — Пойдемте, ради бога, подумаем, что надо делать?

Подумали-подумали и решили: сказать гостям, что по ошибке некоторых частей к машинам не прислали и что

[1] Братья *(нем.)*.

за ними завтра едет немец в Москву. А когда будет все готово, то Дмитрий Павлович даст знать и будет очень рад, если кто приедет.

Гости разъехались с странным впечатлением. Кто посмеивался, кто досадовал, но вера в машины и немцев была так сильна, что от этой неудачи нисколько не поколебалась. Разъезжаясь, все условливались быть через пять дней у другого соседа Василия Михайлыча, который тоже получил машины и немцев и тоже звал на опыты.

Действительно, через пять дней весь уезд собрался на опыты к Василию Михайлычу. Накануне еще мы получили пригласительные письма и на конторском бланке писанную красивым почерком программу испытаний машин. Письмо это как-то уцелело до сих пор у меня. Строго говоря, это, собственно, даже не письмо, а какая-то прокламация, призыв на борьбу. Там говорится и о том, что дворяне должны вспомнить, что они потомки славных предков, что они должны стряхнуть с себя обуявшую их лень, соединить свои силы на борьбу с одолевающей нас грубой физической силой (читай: с мужиками), что победа за нами, потому что в наших руках, в нашем распоряжении машины — это последнее слово современной науки, и т. д., и т. д.

Василий Михайлыч, к которому мы теперь ехали, был человек совершенно другого типа, чем Дмитрий Павлыч. Это был молодой статский советник, оставивший департамент по случаю кончины своего родителя и поселившийся теперь в большом и прекрасном имении. Свои распоряжения он начал с того, что на все неутомимо стал накладывать печать порядка, благонамеренности и благоустройства. Были заведены конторы, выписаны из Петербурга всевозможные канцелярские принадлежности, и так как пользоваться всем этим никто из местных писарей не умел и, кроме того, никто не оказался способным проникнуться его идеями порядка и проч., то он выписал из Петербурга и того своего департаментского подчиненного, у которого однажды крестил ребенка, прельстился его (то есть ребенка) матерью и вступил с нею в амурные отношения. По прибытии этого старательного по службе

и преданного чиновника дела, разумеется, сейчас же пошли надлежащим образом. Не было во всем уезде ни одного помещика, у которого не валялись бы в кабинете по крайней мере десятки разных циркуляров, извещений от этой замечательной конторы. И все это на великолепных бланках, на атласной бумаге, написано прекрасным почерком, засыпано золотым песком, перенумеровано и скреплено подписями главноуправляющего конторою, его помощника и писаря.

Сад, огороды, двор и цветник перед домом представляли тоже картину полного и невиданного в наших краях благоустройства: все деревья были подстрижены, газончики точно выбриты, у каждого цветочка зеленая палочка. В глаза сразу бросалось, что хозяин доходит до всего сам. Впрочем, здесь надо оговориться: идея садового и цветочного порядка принадлежала, конечно, самому Василию Михайлычу, но исполнение или надзор за исполнением возлежали на Елене Прокофьевне, жене того самого старательного чиновника, о котором было упомянуто выше. Она помещалась в премиленьком флигеле, где благодарный и очарованный ею хозяин свил ей тепленькое, уютное гнездышко, выходившее окнами на цветник. И хотя она была, по-видимому, добрейшее существо, однако жены соседей (у которых она, разумеется, не бывала), встречая ее в церкви, отворачивались от нее, называли ее Иродиадой и зорко смотрели, чтобы священник не дал ей первой приложиться ко кресту или чтобы дьякон, вынося из алтаря просвиры, посылаемые батюшкой почтеннейшим прихожанам, не подал бы ей прежде других.

Но на все это она плевать хотела. Завела себе рыжую кобылу и как угорелая скакала на ней, к великому соблазну соседей и их жен.

Очень понятно после этого, что с ней, «бесстыжей», боялись даже встречаться (разумеется, дамы), а не только знакомиться. Оттого и теперь на опыты съехались одни мужчины. Единственная дама между ними была она, Елена Прокофьевна, с своим непозволительно роскошным бюстом, с невероятно широкими бедрами, как у француженок на рисунках в «Journal Amusant», [1] и с посоловелыми глазами, как у московских купчих после разговения.

---

[1] «Занимательный журнал» *(франц.)*.

Она одна нас всех оживляла и согревала, потому что Василий Михайлыч, подобно Дмитрию Павлычу, дал нашему собранию характер какого-то священнодействия. Въезжая во двор, я опять увидел то же оживление, но здесь более, так сказать, сдержанное и регулированное. Благоустройство и порядок так и метались в глаза на каждом шагу. У самого крыльца куча людей в каких-то странных костюмах — в синих куртках, в красных жилетах, в белых чулках и в башмаках; у каждого в руке по белой фарфоровой трубке, точно такой, какую носят всегда с собою немцы. Когда я выходил из тарантаса, один из них назвал меня по имени. Я всмотрелся и узнал его. Он прежде жил у меня работником, потом женился и отошел. Хороший, толковый малый.

— Что это ты так нарядился, Ефим?

— А это, батюшка, уж всем с сегодняшнего дня такое положение от барина вышло. В немцев произвели.

— Зачем?

— А так, машины немецкие — оттого, значит, и платье на работниках тоже по-немецкому должно быть.

— А настоящие немцы у вас выписаны?

— А то как же? Шесть немцев настоящих, да вот нас десять человек ряженых...

В зале меня приветствовал Василий Михайлыч.

— Очень, очень рад, — говорил он, пожимая мне руку. — Наше сегодняшнее собрание прекрасно доказывает, что все эти россказни о нашей апатии — вздор, вымысел. Мы понимаем наши действительные интересы и нужды, и когда представляется серьезная работа, то не уклоняемся от нее и трудов не щадим, и т. д., и т. д.

Он был хорош, даже величествен в это время, как бывает величествен молодой, но уже прославившийся администратор, кротко и мудро правящий вверенным ему краем. Все в нем и на нем было безукоризненно, начиная с великолепных бакенбардов, прекрасно расчесанных, до прекрасно сшитого летнего серенького сюртучка и удивительно изящных башмачков с серебряной пряжечкой. Сколько пользы мог бы он принести, управляя каким-нибудь столь или не столь отдаленным местом?

— Вы незнакомы? Вы — нехороший сосед. Вы редко у нас бываете, — говорил он, представляя меня «бесстыжей».

— А как хорошо здесь у вас! Какой климат, какой воздух! — восторгается «бесстыжая», как-то выпирая свой непозволительно развитой бюст из еле-еле сдерживающего его черного полосатого гренадинового лифа с вырезкой от шеи до половины груди. — Василий Михайлыч, сослуживец моего мужа, пригласил нас погостить к себе. А я так рада отдохнуть в деревне, да и Григорию Иванычу это полезно. Вы не служили в департаменте? О, если бы вы знали, что такое эта служба! Вы не знакомы с моим мужем? Григорий Иваныч!

Подходит человек среднего роста, средней полноты, с умеренно белокурыми волосами, с беспредельной преданностью в глазах, с необыкновенно длинной верхней губой, отчего так вот и кажется, что он сейчас свистнет. И мы знакомимся с ним.

— Григорий Иваныч! — раздается голос Василия Михайлыча, — скажите, мой милейший, сколько вы приказали собрать мужиков на опыты?

— Согласно указанию вашего превосходительства, я сделал распоряжение о предоставлении права в селе каждым трем крестьянским дворам иметь при опытах по одному представителю, а для поселков Угорелова и Прогорелова — по одному от двух дворов.

— Почему ж такая разница?

— Ваше превосходительство, обсуждая данный вопрос, изволили заметить, что крестьяне села, как находящиеся в ближайшем расстоянии от района действия машин, могут иногда быть совершенно даже случайными свидетелями работы того или другого сельскохозяйственного орудия или машины; крестьяне же поселков Угорелова и Прогорелова, удаленные на более значительное расстояние, естественно, имеют меньше на это шансов. Принимая это обстоятельство в соображение, вы изволили найти нужным шансы их в этом отношении уравновесить. Поэтому и сделано мною такое распоряжение, как соответствующее видам и указаниям вашего превосходительства.

Всю эту тираду Василий Михайлыч прослушал с совершенно серьезным лицом, как бы что-то припоминая.

— Да, да, — проговорил он. — Ну, а не знаете ли вы, депутаты их преимущественно какой партии? Я спрашиваю и интересуюсь этим потому, что вот некоторые из

наших дорогих гостей были, дней пять тому назад, на неудавшихся, к сожалению, опытах у добрейшего нашего Дмитрия Павлыча и рассказывают, что там со стороны крестьян были попытки сделать демонстрацию, для чего они скопились и явились на барский двор, и только благодаря присутствию духа и энергии помещика замысел их был разрушен и порядок восстановлен, не прибегая к нежелательным мерам строгости. В виду этого, прежде чем мы отправимся на опыты, я был бы крайне доволен, если бы вы, милейший Григорий Иваныч, с свойственным вам тактом и уменьем переговорили бы с депутатами от крестьян, ознакомились бы из разговоров с их образом мыслей, целями, направлением, вообще с их духом. Это очень важно, потому что, имея под собой прозондированную почву, я буду поступать, как того потребуют обстоятельства.

И вот, согласно желанию его превосходительства, Григорий Иваныч отправился зондировать почву, а мы, гости, были приглашены в столовую, на легкую закуску.

Наконец явился Григорий Иваныч, с лицом до крайности серьезным. Вся фигура его, казалось, была исполнена сознанием важности принесенного им известия. Василий Михайлович сделал несколько шагов к нему навстречу. Разумеется, их окружили тотчас же со всех сторон.

— Ну что?

Содержание речи — именно речи — Григория Иваныча было таково, что хотя, с одной стороны, по кратковременности он не успел основательно проникнуть намерения мужиков, а потому взять на себя ответственность за нашу безопасность не может, но, с другой, он все-таки полагает возможным немедленно приступить к опытам, так как состояние духа депутатов, по мнению его, достаточно благоприятно.

Увы! депутаты, прибывшие из поселков Прогорелова и Угорелова с самого раннего утра и не захватившие с собою никакой провизии, уже проголодались и просили дать им хоть хлеба.

— Я сделал зависящее распоряжение, — добавил Григорий Иваныч, — как относительно дачи им по три фунта

хлеба на человека, так равно и об отпуске с огородов вашего превосходительства некоторого количества луку, а из погребов квасу. Кроме того, желая поощрить их, я обещал по окончании опытов, от имени вашего превосходительства, ведро водки, что было принято ими с выражением живейшей признательности и даже восторга.

После этого он вдруг как-то встрепенулся, схватился за часы и, воскликнув: «Господа! господа!», ринулся на другой конец комнаты, к окну, где стоял Василий Михайлыч, разговаривая с «бесстыжей». «Его превосходительство», выслушав напоминовение Григория Иваныча, в свою очередь посмотрел на часы и обратился к нам:

— Господа, время назначенное для производства опытов, наступило, и нам предстоит сейчас совершить маленькую поездку в поле за две версты отсюда! Милости просим!

Перед крыльцом уже стояла целая вереница колясок, колясочек, дрожек, тарантасов, кабриолетов и проч. Можно сказать, целый уезд — вся его интеллигенция, краса и гордость — отправлялся дать генеральное сражение «грубой физической» силе. И момент и картина были действительно торжественны. Впереди в изящном кабриолете тронулся Григорий Иваныч, потом коляска с его превосходительством и нашим уездным предводителем, а там уж и мы все. «Бесстыжая» влезла на свою рыжую кобылу и, вся сотрясаясь, проскакала вперед мимо нас так скоро, что мы могли только заметить нечто круглое и крупное. День был чудесный, ясный, даже жаркий, хотя май еще только начинался. По обе стороны дороги тянулись озимые зеленя, уж на четверть поднявшиеся от земли. Две какие-то спутанные лошади прыгали по ним. Это возмутило сидевшего со мною маленького, кругленького, пузатенького и ужасно раздражительного человека, который почему-то пользовался в уезде репутацией отчаянного дуэлиста, хотя, в сущности, просто был шут гороховый.

— Я не могу, — кричал он, — хоть и не мои это зеленя, а я все-таки не могу этого видеть. Стой, братец! — закричал он кучеру. — Давай вожжи, я подержу, а ты сгони лошадей — ведь это хуже воровства, денной грабеж! — кипятился он.

Покуда кучер вытаскивал из-под себя вожжи и слезал с козел, послышался грохот нескольких телег. Я оглянулся. Пять телег, запряженных парами, битком набитых мужиками, вскок мчались за нами. «Тпру!.. тпру!..» — и шапки одна за другой начали слетать с голов.

— Вы куда же спешите? — спросил я.

— На опыты приказано, мы в эти самые епутаты выбраны.

И мы целым поездом отправились догонять опередивших нас гостей.

На широком зеленом лугу был теперь целый табор. Направо ряд наших экипажей, потом какие-то приспособления к чему-то, потом что-то вроде походной кухни и, наконец, положительно целая походная канцелярия. Громадный стол, покрытый новеньким зеленым сукном, был устроен подковой, кругом — более полусотни стульев... Перед каждым местом лист бумаги и карандаш, какие-то книги, планы; несколько полевее еще стол, человек на пять, — это для писарей, привезенных из конторы его превосходительства на случай несомненно предстоящих писаний. Писаря стояли возле стола, не смея сесть в нашем присутствии. Его превосходительство, под руку с нашим предводителем, направился к столу и занял место посредине, направо и налево поместилось дворянство.

Предводитель-председатель счел нужным предпослать записке его превосходительства «несколько слов». Пока говорились эти несколько слов и пока Василий Михайлыч читал свою записку, я от нечего делать рассматривал выражение на лицах депутатов и оглядывал картину нашего табора.

Впереди, шагах во ста, были врыты в землю полосатые столбы, а по правую и по левую сторону от них тянулся длинный ряд шестов, тоже полосатых, на которых развевались желтые, красные, синие флаги. Очевидно, это были места, на которых сейчас начнутся опыты бутеноповских машин, выкрашенных точно так же, как и у Дмитрия Павлыча, в разные колера, которые были расставлены тоже рядами. Тут же помещалось до двадцати лошадей, и пыхтел и посвистывал локомобиль. Люди, закостюмированные немцами, и настоящие немцы прохаживались взад и вперед в ожидании, когда кончится чтение.

Наконец оно кончилось, раздались аплодисменты, начались пожатия рук, и все загалдели; Григорий Иваныч, стоявший все время возле депутатов, что-то такое сказал им, и они закричали: «ура!» В среде дворянства послышался хохот. К месту, огороженному флагами, мы двинулись уж толпой; некоторые подошли к депутатам и говорили с ними.

— Ну что, ребята, вы не боитесь машин? — спросил я их.

— Эти-то машины — ничего, — отвечали разом несколько человек, указывая на английские плуги, конные грабли и проч., — а вот ту, говорят (это про локомобиль), беспременно когда-нибудь разорвет, к той не подходи.

— Нет, не про то я говорю. Боитесь ли вы, что они у вас работу отобьют, то есть заработки?

— Какие же заработки? теперь каждому своего дела не переделать. Господь с ними!

— Господа! — воскликнул Григорий Иваныч, — согласно программе, опыты начинаются испытанием сеялки!

К нам приблизились пять немцев, к животам которых были привязаны на помочах какие-то плетушки с ручками сбоку, как у шарманки.

— При помощи этой сеялки один сеятель может в день посеять до пяти десятин. Цена такая-то. Начинать! — скомандовал Григорий Иваныч.

Немцы сделали направо кругом, завертели ручки, и два жиденьких фонтанчика ржавых семян посыпались направо и налево через голову каждого из них.

Немцы шагали стройно, нога в ногу, и Григорий Иваныч и его превосходительство сияли радостью.

— Хорошо? — обратился я опять к мужикам.

— А господь ее знает, как она сеет-то. Разве на лугу, в траве можно заметить, как зерно падает? На будущий год, коли уродится, увидим.

— Василий Михайлович, послушайте-ка, что говорят! Ведь дело; а никому из нас и в голову не пришло.

— Что такое?

Мужик повторил свои слова и ему.

— Верно, верно! — воскликнул он. — Природного ума у них нельзя отнять! — как-то даже с грустью добавил он. — Григорий Иваныч!

И ему передается замечание депутата. А немцы всё идут дальше и рассыпают рожь по траве.

— Остановите же их! — кричит Василий Михайлыч. — Это обстоятельство, милейший Григорий Иваныч, надо было предусмотреть. Ведь мы компрометируем себя перед ними. — И он злобно повел глазами в сторону депутатов.

Григорий Иваныч оторопел до того, что сам побежал догонять уж далеко отошедших немцев.

Разумеется, все сейчас узнали, в чем дело; послышался смех, шутки. Позвали мужика, который сделал замечание. Тот даже немного струсил, снял шапку и начал оправдываться. Хохот.

— Да нет, ты что же? Ты правду заметил!

Кто-то пришел в такой восторг, что даже дал депутату три рубля на водку.

— Как же быть теперь? Расчищенного места нет. Ах, какая досада! И как это глупо все вышло! — бормотал Василий Михайлович.

Но подобно тому, как один мужик прокормил двух генералов, так и теперь один мужик вывел нас всех из затруднения.

— Да вы, ваше превосходительство, — обратился он к Василию Михайловичу, — прикажите одному какому немцу с машинкой по дороге пройти, травы на ней нет — оно и будет видно, как где каждое зернышко легло.

Задача разрешилась так просто и так скоро, что генерал на несколько мгновений чисто ошалел. Уставился на мужика и молчит.

— Да ты знаешь ли, из какого затруднения меня вывел? — наконец воскликнул он. — Тебя как зовут? Ты откуда?

— Тутошний, ваше превосходительство, Федька.

— Вот это от меня возьми. — Он дал ему красненькую. — Ты, пожалуйста, если что заметишь, сейчас говори мне. Я вижу, ты, братец, не дурак.

Пустили немца на дорогу, и все стали по бокам ее. Что будет? Сеялка сеяла действительно превосходно, ровно.

— Руками так не посеешь? — спрашивали депутатов.

— Я? — нет; а вот Филька Корявый — тот посеет.

— А он здесь?

— Здесь.

Позвали Фильку Корявого.

— Можешь так посеять?

Он посмотрел, почесал в голове, встряхнул волосами.

— Могу.

Дали ему в подол рубашки ржи, и он действительно точно по зернышку разложил все зерна.

Это произвело несколько охлаждающее впечатление. Авторитет сеялки поколебался.

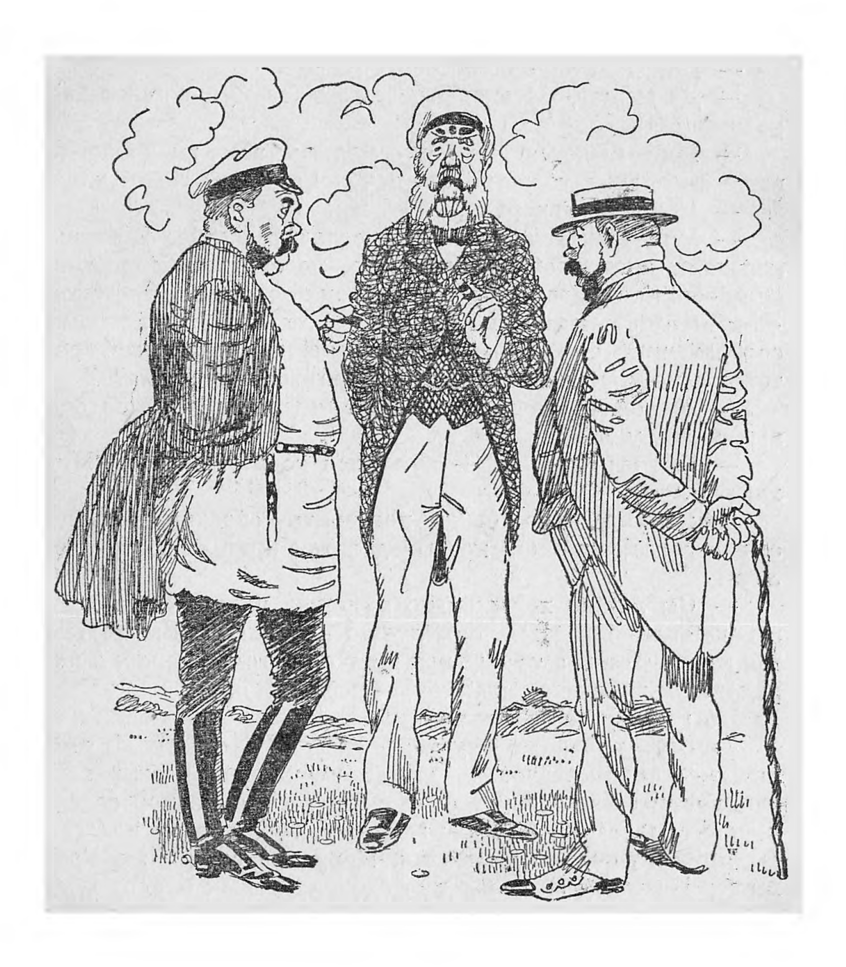
— Нет, это штука все-таки хорошая. Это ничего, это подспорье, вот только, может, она ломкая какая. А то ничего, — твердили мужики, к великой радости Василия Михайлыча, начавшего относиться к ним и добродушнее и осмотрительнее. Правда, опыты сразу утратили характер департаментского священнодействия, но зато получили хоть какую-нибудь разумность и смысл. Дело стало походить на дело. Григорий Иваныч, в душе которого, по случаю вышеупомянутой непредусмотрительности, был настоящий ад, теперь как-то стушевался, потерял апломб и хотя был тут же, но в то же время казалось, как будто его тут и не было.

Затем начались опыты над плугами разных систем, пароконными, четырехконными, шестиконными и т. д.

Широкие и глубокие борозды проводили они по лугу; целые пласты дерна вырезывали и клали на траву землею вверх. Все присутствующие были в восторге, а мужики и подавно. Василий Михайлыч ликовал. Никто не находил нужным желать чего-либо лучшего. Но действительность, эта проклятая действительность, устами другого какого-то депутата опять отравила наш восторг. А вопрос был самый простой, самый очевидный.

— Хорошо-то, хорошо, слов нет, а только это нашим лошадям не под силу... Ведь теперь какие лошади-то запряжены? Заводские! где ж нашей рабочей лошади такую пахоту выдержать. Ведь в этот пароконный плуг, — толковал мужик, — наших лошадей надо разве пару заложить? И четверых мало.

И это было верно, и все с этим поневоле согласились. С этим согласился даже и сам Василий Михайлыч, бывавший за границей, видавший тамошних рабочих лошадей-гигантов и открывший теперь нам Америку известием, что действительно наши рабочие лошади ни черта не стоят в сравнении с этими заграничными чудовищами.



— Мы заведем, мы должны, господа, общими усилиями завести таких лошадей и у себя — это необходимо, хотя это и страшно дорого. Цены на них и там громадные. Одно средство — это постепенно разводить их.

— А что же делать пока с плугами?

— Запрягать по четыре лошади вместо двух.

— Переделать, приспособить.

— Да может, Бутенопы назад их возьмут, со скидкой, разумеется?

— Мне кажется, если я осмелюсь вам предложить, ваше превосходительство... — начал Григорий Иваныч.

— Конечно, говорите.

— Мне кажется, ваше превосходительство, хотя вы изволили предположить составить, по окончании опытов, один общий, за подписью всех господ помещиков, протокол об испытании машин, но не найдете ли, в виду некоторых соображений, более полезным составлять отдельные протоколы по испытанию каждой машины или орудия?

— Ах, опять начинается эта канцелярия! — невольно вырвалось у меня.

— Что вы сказали? — обратился ко мне Василий Михайлыч.

Как ни неловко было повторить сказанное прямо ему в глаза, однако, нечего делать, пришлось это сделать.

— Вы лучше хорошенько мужиков расспросите: ведь им работать придется, они лучше нас знают. Вы только приласкайте их, а то они вон друг с другом говорят, а перед вами не высказываются, — добавил я.

Но замечание мое подействовало только вполовину.

— Вот, извольте видеть, — сказал Василий Михайлыч, — с одной стороны, нельзя не обратить внимания на слова Григория Иваныча, а с другой, конечно, совершенно справедливо и ваше замечание. Поэтому я полагал бы принять оба предложения. Поручить сейчас же Григорию Иванычу заготовление одобрительных и неодобрительных протоколов, а между тем принять меры, чтобы депутаты от крестьян высказались более свободно, то есть откровенно предъявили свои замечания и взгляды на то или другое орудие, и чтобы кто-нибудь принял на себя труд записывать эти их замечания. Не хотите ли вы?

— С удовольствием.

Григорий Иваныч, торжествующий, ушел к столу заготовлять протоколы, куда за ним же последовал и наш председатель-предводитель, старик, уж лет пять совершенно почти выживший из ума. Само собою разумеется, что я не помню теперь достоинств и недостатков каждого орудия или машины, которые испытывались, да это теперь и ни к чему не нужно. Сами по себе все они, конечно, были хороши, и даже очень хороши, но вопрос был совсем не в этом. Применимы ли они у нас, можно ли нам обойтись без мужика? — вот что в то время требовалось знать.

На это получился ответ беспощадно отрицательный.

На опытах можно еще было сохранить кое-какие розовые надежды, в расчете на авось; но действительность скоро разочаровала всех. Да и тут, на опытах, кто же сохранил розовые надежды? Они уцелели только у совершенно уж наивных людей. Мужики были все поголовно в восторге от машин, но и все поголовно же сказали, что нам они пока не пригодны. И сказали они это не зря, а подтвердили такими соображениями, которые потом на практике совершенно оправдали их слова. Так, например, я запомнил сцену с конными граблями. Орудие безусловно хорошее, практическое, и мужики его хвалили, но для нас оно не годится по той простой причине, что им работать можно только на совершенно ровной почве, где не должно быть, что называется, ни сучка, ни задоринки, то есть как раз наоборот с тем, что представляют обыкновенно наши сенокосы, всегда по берегам рек, по низам, заливаемым водой весною и усаженным кочками, как бородавками. В Англии, во Франции, где трава сеется, эти грабли — вещь прекрасная и совершенно кстати, а зачем, спрашивается, купил их Василий Михайлыч? Между тем он купил их тридцать штук, и, если память мне не изменяет, они стоили тогда по двадцати с чем-то рублей штука.

Вообще закуплена была масса всего, потому что никто и мысли не допускал, что управлять машинами гораздо труднее, чем крепостными мужиками; никто не хотел понять, что ради машин нужно все у себя переделать в хозяйстве и что тогда только эти машины, делающие такие чудеса в Европе, будут делать их и у нас.

И такой именно результат, то есть напрасная трата капитала, получается у всех, кто покупал тогда машины.

Я привел в пример опыты у Василия Михайловича потому, что он ухлопал на машины до пятидесяти тысяч, и из этой затраты все-таки ровно-ровно ничего не вышло. И волей-неволей, с страшной досадой, с глубоко оскорбленным самолюбием, пришлось в конце концов обратиться опять к тем же мужикам. Надо было иметь много характера, чтобы пережить это унижение, так неожиданно сменившее розовые, светлые и, как казалось, такие близкие к осуществлению мечты. Но кто же был виноват во всем этом, как не сами же мы?

Теперь дело прошлое, старого не воротишь. «Подугольников» Осиновку, конечно, не возвратит, но, положа руку на сердце, как говорится, пусть каждый сам себе в душе ответит на этот вопрос: неужели можно винить в своем разорении кого-нибудь кроме себя, то есть своей положительной неподготовленности к делу?

В заключение, еще несколько строк по поводу заведения у нас этого несчастного «рационального хозяйства».

Так как под этим злополучным термином понималось совсем не то, что следовало понимать, то есть не разумное ведение хозяйства, с постепенным усовершенствованием производства, принятием во внимание местных условий труда, условий сбыта, а подразумевалась просто пересадка в нашу Осиновку или Семеновку совершенно произвольно французского, швейцарского, английского или немецкого хозяйства, то очень естественно, что при таком наивнейшем взгляде на затеянное дело мы, по-своему, пожалуй, даже и логично, пришли к сознанию необходимости завести у себя и иностранное скотоводство. Тут, разумеется, повторилось совершенно то же самое, что и с машинами. Покупались тонкорунные, нежные овцы, привозились к нам, помещались в наших холодных овчарнях и гибли, как мухи. Если начать рассказывать все случаи таких дурачеств — как же это иначе назвать? —мне, кажется, никогда бы не кончить.

Я расскажу здесь для образчика такой случай:

Есть у меня один сосед, по фамилии Чирухин, Павел Семенович. Это очень обыкновенный штабс-ротмистр, лет двадцать прослуживший в каком-то армейском уланском полку и теперь тоже уж лет двадцать в отставке и живет в своей Семеновке. Разумеется — женат, есть с полдюжины детей, и все они тоже самые обыкновенные. «Объ-

явление» подействовало на Павла Семеныча почему-то, однако, особенно убийственно, то есть в смысле здравомыслия. Не мог он в этом отношении и прежде похвастаться, а тут начал уж совсем черт знает что делать. И все по части рационального хозяйства. «Попался» он, конечно, со всеми другими и на машинах, и на египетской пшенице, и на нубийском ячмене, и на тонкорунных овцах; одним словом, кроме подвигов общего и обязательного, так сказать, сумасшествия, он проделал еще несколько подвигов личной, индивидуальной глупости.

Был конец октября. Погода в тот год стояла прелестная, и все «мы», у кого уцелела хоть пара борзых и одна гончая, по целым дням ездили по полю, по зеленям. Скука страшная — что же делать? Надо хоть надышаться хорошим воздухом, а то вот-вот придет зима, и волей-неволей засядешь в своей берлоге вплоть до самой весны. Едем мы раз с одним приятелем, и он увидал лисичку; начал травить; та заметалась туда-сюда и ударилась в чирухинские кусты, мы за ней, конечно. Вдруг видим: мужик скачет нам навстречу и машет руками.

— Что такое?

— Нельзя. У нас запрещено.

— Это почему?

— Потому, сегодня барин зайцев «на племя» ловит.

— Что такое? На племя?

— Так точно.

— С ума ты сошел! Зайцев на племя ловить? Что ж, он их разводить, что ли, будет?

— Будет разводить. У нас уж и конюшня зайчиная выстроена, и ста два зайцев уж поймали.

Мужик иронически улыбался.

— Что ж, можно посмотреть их? — спросил я.

— А уж это вы извольте у барина спросить.

— А барин где, дома?

— Тут, в кустах ловит.

Лисица наша, конечно, ушла, пока мы вели эти переговоры. Домой ехать не хотелось.

— Поедем посмотреть, чем и как он их ловит там.

— Пожалуй.

Мы взяли борзых на своры и, под предводительством мужика, поехали в кусты смотреть, как Чирухин ловит зайцев.

— Что же он с ними будет делать?

— Полагаем, так, для соленья, — отвечал мужик. — Потому, для чего же больше заяц годится?

— Стало быть, он скупает и стреляных и затравленных?

— Нет, только живых. Намедни ивановский мужик трех живых ему предоставил: купил и деньги отдал. А битых мне, говорит, и задаром не нужно, потому от мертвого зайца никакого плода не может быть.

— Стало быть, не на соленье, а в самом деле на племя.

— На племя и есть, — поддакивал мужик.

— Черт знает что, братец, ты нам городишь.

— Помилуйте! Нисколько: сейчас сами всю потеху увидите.

Действительно, минут через десять езды мы наткнулись на целый табор. Стояли две запряженные телеги, а на них плетёные из хвороста ящики; потом — беговые дрожки, и человек пятьдесят мужиков, баб и мальчишек расправляли и свертывали сети. Чирухин, увидав нас, очень любезно и хитро улыбнулся такой самодовольной и полной улыбкой, что сразу можно было догадаться о его полном счастье. Мы слезли с лошадей и поздоровались.

— Вы извините, господа, — начал он. — Если бы вы погнали за лисицей — весь лов мне испортили бы.

— Ничего, — говорим, — это вздор, — а вот что это такое вы-то затеяли?

— Зайцев ловим.

— Что же вы с ними делать будете?

— А уж это, извините, пока мой секрет...

— Можно хоть посмотреть их?

— Это — сколько угодно. Вот это зайцы, а в этой кошелке зайчихи, — говорил он, показывая нам их.

— Много уж их у вас наловлено?

— Кого? зайцев или зайчих?

— Вообще.

— Зайцев должно быть двести восемь, а зайчих девяносто. Их всегда меньше попадается. Зайчиха хитрее, — заключил он. — Заяц лежит смирно, а зайчиха чуть услышит шорох, сейчас вскочит, и наутек.

В это время подъехала еще телега, и на ней такая же плетеная кошелка. Павел Семеныч подошел к телеге.

— Ну что у вас, сколько?

— Одиннадцать штук и мы изловили.

— А сколько зайчих?

— Кажись, две зайчихи, — нерешительно отвечал мужик, — может, и ошибся.

— Ну-ка, открой!

Мужик отворил кошелку и начал за уши вынимать из нее зайцев. Павел Семеныч осматривал каждого, определял его пол, и зайца помещали в соответствующую плетушку. Зайчих оказалось не две, а три, что очень обрадовало его.

— Эх ты! — говорил он мужику, — и этого-то распознать не можешь.

— А я, признаться, и в самом деле у этого зверя никак разобрать не могу.

— Мудрено! Вот необразованность-то! — обратился он ко мне. — Ужасное невежество в нашем народе!

— Сколько же вы их наловить хотите? — спросил я.

— А чем больше, тем для меня лучше.

— Можно у вас видеть и всех их в сборе?

— Сделайте одолжение. Да вот сейчас еще из тех вон кустов подвода приедет, мы их рассортируем и поедем ко мне домой. Вы еще не обедали?

— Нет еще.

— Вот и отлично. А то ведь вас иначе никак к себе не заманишь. А еще сосед! — и т. д.

Привезли еще трех зайцев и двух зайчих. Павел Семеныч проверил диагностику мужика, нашел, что в самом деле зайчих только две; их заключили в кошелки, и мы все тронулись в путь.

Павел Семеныч ехал на «бегунках», то есть на беговых дрожках, а я с моим приятелем по сторонам его, верхами, со сворами борзых, и мы несколько опередили обоз. Вдруг он что-то вспомнил и остановил лошадь.

— Что такое?

— А вот надо Ермолаю сказать, — а то забуду, — чтобы зайчихам новым овса не давать.

— А что?

— Нехорошо, вредно, это их горячит. Капустный лист можно — от него слабит.

И так серьезно, озабоченно объяснял он мне это, что я едва удержался, чтобы не улыбнуться.

— Завтра опять будете ловить?

— Нет, завтра не стоит. Надо дать денька три им отдохнуть; а то сегодня их напугали, и они завтра на те же места еще не прибегут.

После обеда (в деревне «мы» обыкновенно обедаем рано) Павел Семеныч повел нас на заячную конюшню. Это было огромное, около полудесятины, огороженное плетнем место. Плетень был оштукатурен глиной. Посредине было сделано несколько перегородок, тоже плетеных и вымазанных глиной. В каждом отделении сидело и прыгало почти по сотне зайцев и зайчих. Масса капустных листьев, снопов овса и свекольной ботвы была навалена во всех отделениях. Зайцы, по-видимому, успели уж попривыкнуть и к плену и к своему повелителю, потому что Павел Семеныч ходил между ними — и они не бог весть уж как его пугались. Один какой-то заяц был нездоров, или так, просто в меланхолическом настроении: при проходе Павла Семеныча не вскочил, а как лежал или сидел, так и остался. Он подошел к нему, взял его за уши, осмотрел, пощупал и опять пустил, шлепнув рукой по заду. Заяц сделал несколько прыжков в сторону и успокоился.

— Ужасно скоро ручнеют. А я думал, он заболел.

«Новенькие» были, разумеется, более пугливы, но те, которые прожили на «конюшне» уж недели две или три, были нисколько не пугливее овец.

— Так их назначение — секрет? — спросил я Павла Семеныча при прощанье.

— Секрет. У меня вся надежда на это дело. Сами посудите: что по нынешним временам можно из имения извлечь? А это дело, во всяком случае, уж на худой конец, все тысяч пять или шесть будет давать в год доходу.

— Ну как знаете. Настаивать не смею.

Мы простились, и я сел на лошадь. Я не отъехал, должно быть, и полусотни шагов, как услышал позади себя голос Павла Семеныча:

— Сергей Николаевич!

— Что прикажете?

— Погодите, вернитесь.

Я, разумеется, повернул лошадь и подъехал к крыльцу.

— Зачем вы хотите знать про зайцев?

— Так, просто.

— Вы до будущей осени никому ничего не скажете?

— Хорошо, если это ваш секрет.

— Секрет, ей-богу секрет; потому это такая простая мысль, что ею всякий может воспользоваться.

— Ну, за себя-то я могу вам поручиться, что не воспользуюсь.

— Знаю! Я боюсь только, чтобы вы как-нибудь не проговорились...

Эти зайцы меня ужасно заинтриговали, и я дал ему слово до будущей осени никому не говорить о том, что я готовился услыхать от него сейчас.

— Ну, хорошо. Только вы уж оставайтесь ночевать у меня. Это все вам надо объяснить и показать, а то вы ничего не поймете.

— Хорошо-с, я останусь.

Мой приятель взял мою свору и поехал, а я остался. После ужина мы уединились в кабинете.

— Во первых, — начал Павел Семеныч, — что такое заяц?

— То есть, как что? Зверь.

— Зверь! И волк зверь.

— Ну, а этот — зверь нехищный, или как они там по зоологии называются.

— Нет-с, не то.

— Так что же? Не птица же?

— Заяц есть не что иное, как большой кролик! — протяжно, с расстановкой проговорил Павел Семеныч. — А кролик на что годится?..

— У нас — ни на что. За границей их едят.

— А-а! договорились: едят. А у нас разве зайцев не едят? Заяц вкуснее кролика. И потом на что еще кролик годится?

— Ей-богу, не знаю.

— А пух из него щиплют. Вот для теплых перчаток, для косынок...

— Ну, а у зайцев-то какой же пух?

— У них шерсть. Мало ли куда шерсть их может идти? Всюду пойдет. В продаже ведь ни у кого, кроме меня, этой шерсти не будет, — что захочу, то и возьму за нее. Поняли?..

Он мне показался совсем сумасшедшим в это время: глаза горят, улыбка какая-то торжествующая и в то же время злорадная, поминутно вскакивает и опять садится.

Я попробовал сделать несколько возражений, но он, вместо ответа, только улыбнулся, и так презрительно-снисходительно: дескать, где тебе понять всю тонкость этих соображений!

— Каждая зайчиха в год котится два раза и приносит по три зайчонка — итого шесть штук от одной. Если в этом году, при божьей помощи, у меня будет пятьсот зайчих, на будущий год их будет уж три тысячи. Если из этого числа только половина окажется самок, а остальные самцы, то их будет, значит, тысяча пятьсот; на третий год у меня, таким образом, будет, значит, до десяти тысяч зайцев!.. — торжественно, со взмахом рук, воскликнул он и сейчас же принялся делать на бумаге расчет, сколько эти десять тысяч зайцев дадут ему шерсти и мяса. Я, наконец, не выдержал и засмеялся.

— А молоко зайчиное нельзя ли собирать?

— Что такое?

Я повторил.

— Вы смеетесь, а ведь я вам дело говорю, — несколько обиженно ответил он.

— Ничего. Извините, пожалуйста. Это я так, у меня сорвалось.

— Конечно, это смешно вам; а почему же не смешно овец разводить? То же самое.

— Ну конечно, — соглашался я.

— Да нет-с, вы скажите, отчего смешно? Вот всё у нас так: смешно, и потому — мимо.

Мы просидели чуть не всю ночь напролет, и надоел он мне ужасно. Я уж насилу выпроводил его и сейчас же заснул.

Скоро наступила зима; по обыкновению, я уехал в Петербург и, разумеется, забыл и о Павле Семеныче и об его предприятии. Весною, то есть так около первых чисел мая, я вернулся в деревню. Рассказали мне все деревенские новости: кто умер, кто женился, кто погорел, кто прогорел, но ни о Павле Семеныче, ни о его зайцах ничего не говорили; да и я забыл спросить. Прошло с неделю. Вдруг получаю от него письмо: просит прислать ему на время какие-то котлы. Из письма я ничего не понял и велел позвать посланного.

— Какие, братец, котлы нужны твоему барину?

— Для зайцев-с.

— Да у меня-то откуда же они будут — у меня ведь зайцев нет.

— Вчера барин вашего управляющего видел и спрашивали насчет котлов, так он им говорил, что у вас в кладовой есть старинные котлы — они их и просят. Нам на неделю, больше не потребуется.

— Что же вы будете делать с ними?

— Для зайцев-с. Потому француз приехал, жестянки привезли, а котлов нет.

Я насилу добился от него, в чем дело. Оказалось, что Павел Семеныч выписал какого-то француза, который и будет делать консервы. Котлы у меня действительно оказались где-то в кладовой, и их увезли.

На другой день я был у одного соседа, жена которого — приятельница с женою Павла Семеныча.

— Ну что ваши зайцы? — спросил я.

— Ах, не говорите! Я на все это время с дочерьми сюда уехала. Я этого видеть не могу. Вы не можете себе представить, что это за картина у нас на дворе. Вот уже второй день колют зайцев — и все и всё в их крови. На первый раз Павел Семеныч решил замариновать триста штук. С Любочкой, — она показала глазами на дочь, — сделалось даже дурно.

— Значит, завод прекращается?

— Нет, это ведь лишние самцы...

— Сколько же их всех у вас?

— Много, что-то около тысячи штук. За зиму они весь овес и всю почти рожь съели...

— А как же с шерстью, стригли их?

— Все было!

Еще через неделю я получил жестянку, по форме вроде сардиночной, но вчетверо больше. На жестянке был припаян такой же медный ярлычок, как и у сардинок, с выбитой надписью по-русски и по-французски: «Консервы из зайцев, приготовленные на заводах П. С. Чирухина». Я велел открыть жестянку, но оттуда пошел такой кислый дух, что ее сейчас же унесли прочь. Я знаю также, что операция с заячьей шерстью была нисколько не более удачна. Но он не сразу бросил это «дело». Он провозился с зайцами что-то еще года полтора или два.

— С «нашим народом» ничего не поделаешь, — говорил он мне как-то потом при встрече.

— Разумеется... — согласился я.

И вот, усталые от такой донкихотской борьбы, убитые нравственно, мы почувствовали непреодолимое отвращение к своим родовым Осиновкам и Семеновкам.

Как с ними развязаться?

Купец Лупов покупает.

Аптекарь Карл Богданович снимает на аренду.

Кабатчик — и то и другое.

Мужики снимают на аренду одну землю.

— Все равно, приходи любой!

III
«НОВЫЙ БАРИН»

Новая метла чище метет.

Прежде, то есть до начала нашего оскудения, город и деревня были совсем в других отношениях, чем теперь. Прежде вся сила была в деревне, несмотря даже на то, что начальство и подьячие жили в городе. Начальство, то есть исправников и подьячих для земского и уездного судов, мы выбирали сами, и так как, по правде говоря, хороший человек на эти должности не шел, то набирали мы себе это начальство из всякой что ни на есть горечи: из самых захудалых дворянчиков, даже не помещиков, а так просто дворянчиков; из детей умерших или под суд попавших подьячих, служивших прежде в нашем уезде; из детей городских попов, почему-нибудь не принявших ангельского чина, и проч., и проч. Понятно, что вся эта голь была голодна, прожорлива и ужасно плодуща. Уже по одному этому она была у нас в полной зависимости и покорности. Кто даст ей муки, крупы, овса, масла, гусей, кто, хотя и заочно, воспримет от купели у нее ребенка? Кто, если она проворуется и попадет, наконец, под суд, заступится за нее перед губернатором? Не кто иной, как помещик, представитель деревни.

Ясно, что со всей этой братией нечего было церемониться, и мы действительно не церемонились. Надо почему-нибудь ехать в суд, то есть в город, а не хочется, лень — ну, и пошлешь, бывало, за заседателем или за каким-нибудь непременным членом. И дело сделано, и я спокоен, и он рад, потому ему за труды дали и гусятины,

и мучки, и овса для той кривой кобылы, на которой он ездит в город и которая подарена на зубок его детенышу при крещении. А затем, хотя было и другое начальство, но до нас оно не касалось, если не считать почтмейстера, который от нас же бывал сыт. Городничий, квартальные, казначей, стряпчий, протопоп, штатный смотритель уездного училища и еще каких-то два-три чина — эти до нас совершенно уже ничего не имели и потому были на попечении не у нас, а у купцов и «граждан», а мы если и давали им, то больше по привычке давать всякому мундирному человеку. Таким образом, надобности ездить в город по делам у нас прежде почти что не было. Каждую неделю ездил в город один только предводитель, считающийся, как известно, председателем дворянской опеки. Да и он ездил аккуратно тогда только, если у него была заведена там метресса, потому что за протоколистом опеки можно было и послать, а подписать бумаги нетрудно и дома. В этом отношении было отлично жить: и покойно и почетно. На именины, на рождения, а также в большие праздники и без того все судьи и вообще начальство непременно приезжали из города. Иные осмеливались (разумеется, с позволения) привозить с собою своих жен и детей. И как живые они у меня и теперь перед глазами — жалкие, худые... Совсем неправда, что подьячие, то есть вообще стряпчие, заседатели, непременные члены и проч., были жирные и толстые. Напротив, все они были бледные, сутуловатые, со впалой грудью, с узкими плечами. Только одни животы у всех были огромные, оттого и казались и телом толсты...

Гораздо крепче была другая наша связь с городом: бакалейные лавки и трактиры.

И теперь одурь возьмет, если проживешь в деревне безвыходно два-три месяца, а тогда уж и говорить нечего, какая была скука. Теперь и газеты завелись, и железные дороги, и все такое, а пятнадцать — двадцать лет назад все это было еще в самом зародыше и существовало где-то там, а не у нас.

Возьмет тебя, бывало, скука, и едешь в город. Там и икра, и осетрина свежая, и семга, и на биллиарде можно поиграть, и с арфистками попутаться. И потом непременно какого-нибудь ремонтера встретишь. А с кем же можно лучше отвести душу отставному штабс-ротмистру, как

не с служащим штабс-ротмистром? Это, по-видимому, пустое обстоятельство никогда не следует упускать из виду. Никогда не следует забывать, что не только деды, но и отцы и дяди наши, все сплошь почти были армейские и гвардейские отставные поручики и штабс-ротмистры. Привыкли они к бродячей походной жизни и хотя с летами и оседали в деревне и подчинялись нашим маменькам и тетенькам, но и город и привычки брали-таки свое. Тайком или открыто, под каким-нибудь предлогом, они удирали в город и отводили там свою душеньку.

Но и кроме этих незаконных, так сказать, причин, город обязательно посещался во время ярмарок, то есть раз или два в году. В это время всегда почти приезжали с женами и детьми. Тут закупалась провизия, то есть чай, сахар, кофе, лавровый лист, зеленый горошек и проч., и проч. Тут же покупались и обновки для всей семьи.

Затем все разъезжались по своим Ивановкам и Осиновкам, увозя с собою обновки, провизию и приятные воспоминания до следующего раза.

Таким образом, городом мы, так сказать, лакомились, ездили туда как на пикник какой; увлекались, легкомыслинничали там одни или всесемейно и, возвращаясь домой, возвращались *к делу*. Совсем иначе относился к нам город. Он смотрел на нас серьезно, с почтением, даже подличал перед нами. Мы были ему *необходимы,* потому что он нами жил. Он покупал у нас пшеницу, рожь, овес, лошадей, птиц, масло и проч.; торговал всем этим, наживался, и в то время, когда мы лакомились икрой, семгой, заказывали и ели селянки и играли на биллиарде, он, город, получал и копил барыши, низко раскланиваясь с нами.

Тогдашний представитель города, купец, так же мало походил на теперешнего купца, как теперешний ощипанный помещик походит на прежнего помещика. Товар свой, хлеб и проч., мы к купцу в город для запродажи не возили тогда, как теперь. «Купец» сам к нам приезжал, и приезжал не так, как теперь, а скромно, на беговых дрожках или в тележке.

Подъедет, бывало, не прямо к крыльцу барского дома, а к флигелю, где живет приказчик, или у конюшни остановится. И с приказчиком поговорит, и с тем, и с другим, и потом уж часа через три пойдет в дом.

5*

— Ермила Антоныч приехал.

— А! Ну, пошли его в кабинет. Самовар поставить.

Дальше кабинета Ермила Антонов, которому говорили, разумеется, «ты», и не проникал никогда. Там он сторговывал пшеницу или что другое, там «напузыривали» его чаем, там он отдавал деньги и оттуда уходил спать к приказчику; скуки ради его оставляли ночевать, чтобы было с кем поболтать завтра утром на конюшне.

На «купца» смотрели не то чтобы с презрением, а так, как-то чудно. Где, дескать, тебе до нас! Такой же ты мужик, как и все, только вот синий сюртук носишь да пообтесался немного между господами, а посадить обедать с собой вместе все-таки нельзя: в салфетку сморкаешься.

Не знаю, понимали ли, или, лучше сказать, чувствовали ли «купцы», что на них так «господа» смотрят, но если и понимали, они этого все-таки не показывали. Они делали свое дело, покупали и продавали, садились на ближайший стул от двери, вставали с него каждую минуту, улыбались, потели, утирались, будучи совершенно не в состоянии понять наших рассуждений о политике и всякой чертовщине, составлявшей предмет наших бесконечных рассуждений, как только мы, бывало, съедемся. Не будет ошибкой, если мы допустим, что, слушая наши рассуждения о том, что предпримет Наполеон и какие планы у Пальмерстона, и наслушавшись утром у приказчика его рассказов о той путанице и бестолковщине, какая идет у нас в хозяйстве, они думали: «Э-эх, далось им в руки сокровище земля, да еще работники к ней даровые, а они, вместо дела, чертовщину несут!»

Таковы были взаимные отношения города и деревни вплоть до 19-го февраля.

Тут все сразу изменилось.

Впопыхах и в заботах о своей безопасности мы и не сообразили даже, что «город», то есть купцы — почти все сплошь дети наших же отпущенников, а очень многие и сами были когда-то крепостными, откупались, записывались в мещане, расторговывались и делались купцами. Хотя все это ни для кого из нас не было новостью, но мы тем не менее с удивлением и даже с каким-то больным чувством в сердце стали явственно замечать, что все их, купцов, симпатии не на нашей стороне, а на мужицкой. Начнешь, бывало, жаловаться какому-нибудь Ермиле Антонову на

свое положение, начнешь рассказывать, как «распустили» народ, а он слушает, слушает, икнет, да и скажет:

— Великую милость даровали народу!

Такое же точно грустное и даже обидное разочарование нам преподносили и «попы». Как ни благодетельствовали мы им, — я не говорю, разумеется, об исключениях, — они все поголовно были тоже на мужицкой стороне; но об них здесь нечего распространяться, и если я упомянул об этом, то потому только, чтобы показать, в каком изолированном положении мы вдруг очутились.

Конечно, чувство зависти у тех и других к нашему привилегированному сословию было причиной их злорадства, когда они увидели нас «в беде»; но нам, лишившимся этих привилегий, узнать, что мы окружены врагами, что люди, которые всегда называли нас своими благодетелями и потом нажились от нас, теперь радуются нашему «несчастию», — узнать это, повторяю, было тяжело и обидно.

И ничего нет странного, что добрая половина из нас была не в состоянии перенести всех этих обид, огорчений, волнений, оскорблений, плюнула на все и уехала кто «отдыхать» и «воспитывать детей», кто «подышать чистым воздухом за границу», да к тому же «там и жизнь дешевле, не говоря уж об удобствах». Более же энергичные попытались скорее завести «заграницу» у себя дома, в своих Ивановках и Осиновках, накупили машин, завели немцев, выписали вестфальских свиней и семена пшеницы, найденные в египетских мумиях, проделали невероятные по смелости эксперименты над наукой и логикой, но в конце концов «уходились» и они. И они плюнули на все, бросали кому попало на руки или вовсе продавали свои Осиновки и Ивановки и сделали то же, что и «легкомысленные», то есть уехали «отдыхать». А между тем для оставшихся жизнь, выбитая из прежней колеи, тащилась по какой-то новой, совсем неведомой дороге, где что ни шаг, то сюрприз. Явились мировые посредники, начальником стал свой же брат сосед. Исправников стали назначать губернаторы, а не выбирать. Прошло еще сколько-то времени, и словно из земли выросли судебные следователи; а там уж и пошло... Каждый, как спокон веку заведено это у нас, дудил в свою, разумеется, дудку, и началось черт знает что. Недели не проходило, чтобы не было надобности ехать в город то к тому, то к другому начальнику.

И такое обилие начальства явилось вдруг после совершенного, можно сказать, отсутствия его!

А «попы» между тем злорадствуют и хоть называют нас по-прежнему «благодетелями», но это «один обман»: по глазам видно, что злорадствуют... А с другой стороны подмигивают, глядя на нас, купцы и якобы из участия, а на деле по злорадству же расспрашивают у нас об наших «несчастиях» и затруднениях.

— Да, барин, житье-то не прежнее, я вижу. Трудно, что и говорить!

И вслед за этим вдруг:

— Великая милость дана народу!

Спрашивается: какую бесстыжую силу воли надо было иметь, чтобы вынести все это? А «город» тем временем все более и более тяжко наседал на «деревню», то есть на нас. Все эти поездки и мытарства требовали денег, а они разве были у кого в запасе? И потом, как ни плохо и глупо велось хозяйство, все-таки, когда хозяин жил в деревне, хоть воровства-то по крайней мере не было, а теперь, когда чуть не круглый год пришлось жить в тарантасе или в городе, в гостинице, понятно, все стало разваливаться и «прахом идти».

Всем нам в это время до зарезу нужны были деньги. А деньги были у «купца». Надо, стало быть, за ними обратиться к «нему». Мы обращались, и «он» давал. Сначала сгоряча эту податливость его и ту охоту, с которой «он» давал нам деньги, мы приняли было за дань его уважения и благодарности к нам, так как «ведь он от нас же нажился», но эти идиллические взгляды на «кулака» продержались очень недолго. Подугольников дал раз, два, три, подождал и порядочно таки подождал, да вдруг и приехал сам.

Хотя этот раз по-прежнему его дальше кабинета не пустили, но он уже сам попросил, чтобы подали ему водочки и спать на ночь к управляющему в флигель не пошел, а спал в кабинете на диване.

Утром же, вставши чуть ли не на заре, обошел и осмотрел все хозяйство, обо всем расспросил и хотя, уезжая, склонился на просьбу и дал еще денег взаймы, но это был уже не тот, не прежний Подугольников, который, бывало, только потел и утирался... А когда он приехал еще следующий раз, то его не только пришлось опять положить

спать в кабинете на диване, но надо было позвать обедать в столовую, строго-настрого приказав детям не смеяться, если Подугольников станет сморкаться в салфетку.

Конец едва ли надо рассказывать. Он так понятен и естествен. Он должен был оказаться именно таким, каким он и вышел, то есть Подугольников должен был «слопать» нас — и слопал.

Таким образом, руки, подхватившие Осиновки и Ивановки, которые мы «бросали» на аренду или вовсе на «вечные времена», были вначале руки по преимуществу купеческие. Мне, конечно, нечего говорить, что здесь все время под общим именем купца я разумею и кулака-мещанина, и кабатчика, и проч.

Что же начали делать эти руки, когда они подхватили Осиновки и Ивановки?

Из двух прошлых моих очерков и из того, что я буду сейчас дальше говорить, читатель, конечно, видел и увидит, что я вовсе не апологист старого строя; но из этого не следует, что я обязан восторгаться новым деревенским строем, если вижу, что на смену одного безобразия являлось другое, и бог весть еще, которое из них хуже и ядовитее. Помещик, лишенный крепостного права, на самый худой конец был только бесполезный человек. «Купца», в том смысле, какой он постарался присвоить себе, «занявшись» Осиновкой или Ивановкой, мало назвать бесполезным. И потом еще: пятнадцать лет назад у всех владельцев этих Осиновок и Ивановок вы, наверно, встретили бы и газеты и журналы, увидали бы и гравюры, услыхали бы и рояль, и спать бы вы легли на чистое белье. Теперь, когда поселились купцы 2-й гильдии, Подугольников и кабатчик Лупов, кроме вонючей солонины, тешки севрюжьей, водки и позеленелого самовара вы ничего не найдете. Поэтому я и не думаю, чтобы в данном случае отечественный прогресс что-либо выиграл от такой замены.

Читатель известного закала, пожалуй, готов уж погладить меня за это по головке, в надежде, что я вот-вот сейчас начну сетовать, отчего «не поддержали вовремя помещиков».

Нет, дорогой мой, нельзя было. Еще не было такого примера, чтобы то, что не имеет в самом себе живой силы, будучи поддержано, оживилось и окрепло. Мы изуродовали себя своим образованием и воспитанием, и,

повторяю, такой силы нет, которая могла бы нас поднять на ноги и спасти. Кроме нас самих, нас никто не спасет и спасти не может.

Не дождавшись, когда бывший владелец Осиновки выедет окончательно и навсегда из своего гнезда, Подугольников уже начал в него перебираться. Приехали «молодцы», приказчик приехал, какой-то «родственник». Хотя и глуп он, но «дяденькинова» добра не растратит; у него и ключи.

На другой же день по приезде вся эта честная компания начала свою деятельность. Один «молодец» съездил в деревню, выставил у кабака «четверть», угостил «стариков», поднес молодым, и деревня прислала даром десять подвод, на которых Подугольников и отправил в город всю ту рухлядь, которую он купил вместе с Осиновкой. «Родственник» между тем тоже не дремал и успел загнать одного борова крестьянского, который зашел на бывший господский выгон и начал там что-то рыть носом, и потом загнал еще быка из мужицкого стада, который, увидав бывших господских коров, а ныне принадлежащих Подугольникову, не утерпел и прибежал к ним на свидание. И борова и быка вечером мужики выкупили. Таким образом, в первый же день, на первых, можно сказать, порах, было получено уже «доходу» около красненькой. Что же дальше-то будет, если хорошенько ко всему присмотреться?

И действительно, доходность имения увеличивалась с каждым днем все в том же вкусе. Так, например, на краю усадьбы, как раз возле проезжей дороги, стояла довольно просторная изба, и в ней жили ни на что не нужные три старика: бывший дядька прежнего владельца, слепой доезжачий и разбитый параличом буфетчик.

— Это вы, старички, уж к своему барину идите, а мне эта изба самому нужна.

— Да куда же, милостивый купец, мы пойдем к барину нашему, когда и сам он на ветру остался?

— Ну, это уж не мое дело, а изба мне нужна, и вот вам неделя сроку на очистку ее.

И в самом деле, через неделю над избой висела на палке грязная красная тряпка, а над теми окнами, что

выходят на дорогу, была прибита вывеска с надписью: «Питейный дом». А так как кабак был за две версты от деревни и водка там была дороже, чем у Подугольникова, то «мужички» и стали ездить за ней «на барский двор», чем, кроме оживления ландшафта, приносили и несомненный доход «новому барину».

И много таких усовершенствований Подугольников ввел в «запущенном» имении, и все эти усовершенствования и нововведения его ничего, кроме выгоды, не давали. Все мало-помалу приняло, и даже довольно быстро, совершенно другой вид. Сад и парк были вырублены и распаханы плугами под бахчи. Та же самая участь, разумеется, постигла и огороды с парниками и цветник, черт знает для чего занимавший почти десятину земли. Дом был сломан и перевезен в город, где его опять собрали, оштукатурили, покрыли, выкрасили и пустили туда жильца, а сам Подугольников для «летнего приезда» оставил себе флигель, в котором до него жили гувернер-немец и семинарист Скворцов, преподававший детям «русские предметы».

Одну только штуку пощадил Подугольников — триумфальную арку, бог уж знает для чего выстроенную при въезде во двор. Очень уж «прекрасна» была эта арка, сколоченная из тесу и выкрашенная в желтую краску, с распластанными наверху белыми девами, трубящими славу. Он даже влюбился в нее. Просто глаз от нее оторвать не мог. Как выйдет на двор, так сейчас на эту арку и посмотрит.

— И ведь что им, прости господи, господам этим в голову лезло. В грех меня ввели! Когда я первый раз выезжал, ведь я их за херувимов принял и крестное знамение сделал, а они вон даже и не ангелы совсем, — говорил он «батюшке», приехавшему служить благодарственный молебен.

Тем не менее все-таки арка ему до того нравилась, что он, желая сделать ее еще более прекрасной, повесил на ней зеленый флаг.

— И какой это здесь дух для дыхания чистый и легкий! — удивлялся все вначале Подугольников, когда пил чай после обеда на крыльце.

— Это оттого, что здесь, дяденька, со всех концов ветер продувает, — отзывался «родственник».

— И видно, что дурак! У нас в городском доме отчего такая вонища? Оттого, что свиная бойня на дворе. А вот, при божьей помощи, на будущий год, как устроим это самое заведение и здесь, так тоже за версту носы затыкать станут.

Но, кроме Подугольниковых и Луповых, город дал деревне, для сформирования нового помещичьего сословия, кандидатов другого образца. Так, почти все бывшие секретари уголовной и гражданской палаты, губернские прокуроры, секретари консисторий, уездные стряпчие, инспекторы врачебной управы, даже штатные смотрители уездных училищ — люди уж на что, казалось, маленькие — и те купили себе, каждый по достатку своему, по «имепьицу».

Весьма естественно, что они, каждый с своей точки зрения, находили, что бывший владелец имения «запустил» его, и поэтому, каждый по-своему, принялись выводить запустение, то есть предались реформаторской деятельности как относительно усадьбы, так, равно, пораженные невежеством мужиков, не замедлили принять меры, которые могли бы обуздать их своеволие. И в то время, когда Подугольников ломал и драл силой, эти последние в свои отношения к «мужикам» внесли, так сказать, нравственно-воспитательный элемент.

— Видишь, милый мой, — кротко говорил мужику, попавшемуся с нарубленными в «барской» роще оглоблями, секретарь консистории, — я сам с тебя штрафа не беру — это будет самоуправство, а пусть нас по закону рассудит волостной старшина. Как он рассудит, так пусть и будет. Может, даже еще и мне тебе придется заплатить, как смел я тебя поймать в моей роще. Я нынешних законов не знаю. Прежде у нас, когда я служил в консистории, воровать не позволялось, а теперь, может быть, и разрешено...

— Да уж не тяни ты мою душеньку по судам-то, — молится мужик, хорошо вперед зная, что если, избави господи, дойдет дело до старшины, то придется втрое заплатить: и «барину», и старшине, и писарю. А времени-то что понапрасну пропадет!

— Нет, их надо к закону приучать. Я люблю все по закону. Я сам привык и их приучу. Это для их же пользы.

И батюшка, приехавший сюда служить благодарственный молебен, прослушав такие совершенно справедливые замечания и сентенции бывшего секретаря консистории, а ныне помещика деревни Осиновки, конечно, не может с ним не согласиться, ибо наш мужик действительно так распущен, ах, как распущен!

Конечно, времени прошло еще слишком мало с тех пор, как секретарь консистории Сладкопевцев купил Осиновку, и потому еще трудно заметить, насколько благодаря его наставлениям и стараниям мужик успел усвоить себе понятие о правах собственности вообще; но все-таки уважение к священной собственности «нового барина» заметно уж и теперь.

И это Сладкопевцева сперва даже радовало.

— У меня чуть что — сейчас штраф. Сперва маленький, ну, хоть рубль; второй попался — вдвое; в третий раз — втрое. Мужика надо учить не дубьем, а рублем. — И т. д., и т. д.

Но в то же время, чтобы показать мужику, что он не из корысти единственно штрафует, но и для его же пользы нравственной, Сладкопевцев все полученные штрафы начал заносить в особо заведенную для сего книжку и однажды, выходя в воскресный день из церкви, остановился на паперти и кротко обратился к народу.

— Православные мужички! — сказал он, — вы негодуете на меня за мою строгость, но я проявляю ее для вашего же усовершенствования. Вы думаете, я стяжатель — ан ошибаетесь, и я вам это сейчас докажу. Батюшка! — обратился он к вышедшему в это время тоже на паперть служителю церкви, — будьте посредником и свидетелем. Отныне я объявляю мужичкам, что со всякого налагаемого мною на них штрафа два процента жертвую в пользу беднейших девиц духовного звания в нашем уезде. Вы, батюшка, будете получать от меня эти деньги согласно штрафной книжке и время от времени пересылать их отцу благочинному. Я никогда не отказывался от доброго дела, — заключил он, и голос его дрожал, а на глазах блистали слезы. — Вы думаете, мне легко вас наказывать?

Тронутые этим мужики молчали и в знак согласия чесали в затылках.

Но этого мало. Желая еще более доказать свое несребролюбие и вообще усовершенствовать крестьян, Сладкопевцев начал каждое воскресенье, после обедни, на паперти объявлять прощение штрафа одному из попавшихся на прошлой неделе...

Но все эти подвиги Подугольникова и Сладкопевцева — представителей «нового барина» — относятся, как видит читатель, больше к области сельской, и даже, правильнее, вотчинной, администрации и очень мало знакомят с их сельскохозяйственной деятельностью.

Неужели и Подугольников и Сладкопевцев, покупая Осиновки, так-таки ничего другого в виду не имели, кроме обуздания мужиков и их усовершенствования?

По-видимому, так.

Нельзя же в самом деле принять вырубку леса, распашку выгонов, заведение кабаков и свиной бойни, чем ознаменовал себя Подугольников, и обширную, удивительно разработанную систему штрафов и вымогательств, введенную Сладкопевцевым, за сельскохозяйственную деятельность.

Нельзя; но ничего другого, поселившись в Осиновках, они тем не менее не делают.

Конечно, эта деятельность иногда разнообразится. Так, вместо свиной бойни, иногда Подугольников накупит у мужиков, во время взыскания податей и недоимок, телят, коров, гусей, уток, откормит все это, порежет и свезет на продажу в город или на базар. Но и это ведь какое же сельское хозяйство? Так же точно нельзя назвать сельским хозяйством и варианты занятий Сладкопевцева: ростовщичество и кляузничанье.

Вообще надо принять за несомненный факт то обстоятельство, что и Подугольников и Сладкопевцев, сделавшись «господами», обратили гораздо больше внимания на усовершенствование мужиков, чем на землю. Землю оба они очень охотно отдают в аренду мужикам, но делают это не так, как делали прежние помещики, то есть отдают не сразу, не всю, за круговой порукой, целому селу, а враздробь, по десятинке, по две, по три, и притом не



иначе, как на год. И это, как показал опыт, несравненно выгоднее. По-старому, заплатил мужик два раза в год аренду или, если он неисправный, то заплатило за него село, — и конец. Они, мужики, свои люди, сочтутся друг с другом, но помещику от этой единичной чьей-нибудь неисправности ни тепло, ни холодно. При новом же способе отдачи земель в аренду это обстоятельство всегда имеется в виду и всегда, кроме выгоды, ничего не приносит. Положим, мужик снял у «барина» три десятины «под озимое»; это значит, ему следует заплатить (я возьму цены Козловского уезда Тамбовской губернии) «барину» 54 рубля (18 рублей за десятину).

— Да ведь у тебя, Гриша, — ласково говорит ему Сладкопевцев, — денег нет, и сразу ты мне «всю сумму» отдать за землю не можешь?

— Известно, какие наши достатки, где же нам!

— Ну вот так бы и говорил. Нечего делать, я тебе рассрочу, но только ты ведь сам мужик не глупый и понимаешь, что это тебе дороже будет стоить. Ведь те деньги, которые ты бы мне заплатил, в кармане у меня не лежали бы, а были бы в обороте и приносили бы проценты...

Мужик чешет в затылке и, зная очень хорошо, что ему и думать нечего обойтись без найма земли, соглашается и платит рубля два или три за десятину лишних.

— Да вот еще, — как бы вспоминая, говорит Сладкопевцев, — у меня ведь, ты знаешь, жена бесплодная, так мне хотелось бы на лето взять к себе племянничков из семинарии. Уж ты, голубчик, съезди за ними, привези их. Я тебе дам письмо, тогда ты и привезешь их. Лошадки у тебя, слава богу, есть, и тебе ведь это ничего не будет стоить, а им, сиротам, радость будет!

— А в какое время ехать-то за ними надо будет? Ведь если в рабочую пору...

— Не скрою от тебя, мой милый, в рабочую.

— Туда день, да там день, да оттуда день... — считает мужик.

— Нехорошо, этого не делай. Кто для сирот не жалеет, того бог не оставит.

В конце концов мужик, разумеется, соглашается ехать в семинарию за племянниками; но при уходе Сладкопевцев, опять как бы припоминая, останавливает его.

— Совсем было позабыл. Жена у меня ты знаешь, женщина больная, так где уж ей по хозяйству заниматься! Вот я и сдал огороды. Сами мы, таким образом, останемся на зиму, значит, и без капусты, и без огурчиков, и без картофельку...

— Это точно, ежели теперь...

— Ну, вот то-то и дело. Ты сам понимаешь, сам мужик не глупый. От того, что не сажал, сыт не будешь, а есть зимой и нам захочется. Так уж ты, голубчик, на счет картофеля и прочего — понимаешь? Это, впрочем, я с тем и всем землю роздал, чтобы овощами поделились. С миру по нитке, а голенькому рубашка. Так ведь, Гриша? Хе, хе...

И таких «ниточек» голенькому на рубаху выговорить при сдаче земли по новому способу можно довольно таки. Но это не все. Наступает срок уплаты денег; у мужика их, разумеется, нет, или если и есть, то не вся «сумма».

— А вот это уж нехорошо; этого я не люблю. Условие надо строго держать. Что ж я теперь буду делать? Я на тебя понадеялся, а ты вот какой...

Мужик божится, клянется, что следующий взнос все аккуратно «предоставит», но Сладкопевцев, как настоящий современный «сельский хозяин», разумеется, соблюдает свой интерес и выговаривает себе за отсрочку арендной платы еще несколько «ниточек».

А так как мужик, «для легкости», платит ему аренду раза четыре в год и так как подобные сцены повторяются почти всякий раз, при каждой уплате, то из «ниточек» образуется иной раз у Сладкопевцева клубочек, равный по ценности всей арендной сумме.

Не менее может приносить дохода в современном помещичьем «сельском хозяйстве» и раздача денег взаймы. Эта отрасль «хозяйства» тоже очень прибыльна, если вести ее как следует и иметь при этом мужественный и непреклонный характер. Здесь этих ниточек, о которых сейчас говорил Сладкопевцев, можно набрать еще больше, и их действительно с каждым годом собирают всё больше и больше.

Самое лучшее здесь то обстоятельство, что этой отрасли, несомненно, предстоит блестящая будущность. И вот почему.

Мужики, как известно, повинуются тем же законам и указаниям природы, как и мы, все прочие люди. Отсюда ясно, что и им, хотя бы инстинктивно, но присуща забота о продолжении своего рода. Кому и для чего их род нужен — это вопрос другой, но факт тем не менее остается фактом. Что же касается земли, на которой они сидят, которая их кормит и которая, кроме того, должна еще произращать «ниточки» для Сладкопевцевых, то в количестве и в качестве своем остается она тою же самою, какою была и при подписании «мужичками» уставной грамоты. Понятно, что с каждым годом все более и более ее не хватает. А отсюда ясно, что нужда в займах у Сладкопевцева растет и должна расти точно так же прогрессивно, как арендная цена его земли.

Все это, как известно, не ново: это уж на все манеры всю прошлую осень жевали наши газеты и на эту же тему заговаривались в Вольно-экономическом обществе. Тем не менее от всего этого вопрос ни на волос не подвинулся вперед и в своем современном практическом положении, кроме вышерассказанных упражнений Сладкопевцева, из себя ничего не представляет.

Чем все это кончится — вопрос другой, и решить его я не берусь; но теперь, в данный момент, дело стоит именно так, как рассказано. Если принять во внимание, что вопрос такой огромной государственной важности не может быть решен ни в год, ни в два и что для этого разрешения потребуется пройти ему многое множество фазисов и инстанций, то я и не думаю, что мое предсказание Сладкопевцеву блестящей «сельскохозяйственной» карьеры неосновательно. Напротив. Пока что и как, а он будет преспокойно собирать себе «ниточки» и наматывать их в клубочек; будет долго еще ни жать, ни сеять, и долго еще разные Федьки Корявые, Егорки Кривые и проч., и проч. будут ездить за «сиротами» в семинарии, полагаясь на слова Сладкопевцева, что бог их не оставит за это.

Такое же точно предсказание, мне кажется, можно сделать и еще одной отрасли современного «сельского хозяйства» — сельским аукционам.

Всякий становой, даже самый либеральный и просвещенный, должен, конечно, наблюдать, чтобы подати и недоимки во вверенном ему стане не накоплялись, а вносились обывателями полностью и своевременно. Это с

одной стороны. А с другой — всякий живший даже не подолгу в деревне знает, какое существует у мужиков на сей конец предубеждение.

Когда, например, становой приедет за какими-нибудь земскими, земельными и иными платежами к Подугольникову, тот спросит «бумагу», по которой с него «следует», посмотрит ее, покряхтит, вздохнет из глубины живота своего, вынет бумажник и заплатит деньги. Сладкопевцев же мало того что заплатит, но даст еще бумажки всё новенькие, чистенькие.

— Это для меня святое дело! Знаете ли, — скажет он становому, — я теперь только вздохнул свободно. Ей-богу!

И всем приятно. Никаких споров, никаких угроз, никаких описей и продаж — ничего этого у новых помещиков нет. Оттого и становой всегда с удовольствием останется у них и закусить и вообще «приятно провести время».

— Ну, а как получаете с осиновских мужиков? — спросит его при этом Сладкопевцев. — Народ, я знаю, всё мошенники.

— То есть, как вам сказать? оно, положим... Но все-таки что ж я стану делать — не свои же за них платить, — назначил аукцион!

— А когда?

— На пятницу назначен. Будете?

— В пятницу? Пожалуй. Да стоит ли приезжать? Может, так же, как прошлый раз.

— Да ведь прошлый раз вы же им дали взаймы.

— Вот это-то и беда моя: не могу я видеть этих страданий. Ведь в ногах валяются, а дашь — не платит, жди. Оно, конечно... А не знаете, Подугольников будет?

— Подугольников-то уж наверное будет. Вы с ним вдвоем всё и купите.

И тянутся таким образом они, эти «новые помещики», за становыми с одного аукциона на другой, как шакалы за героями на войне. Но и тут, в этой отрасли сельского хозяйства, Подугольниковы и Сладкопевцевы держатся совершенно разных приемов. Подугольников, как приедет в село, где назначен аукцион, сейчас прежде всего в кабак, а молодцов запустит во дворы к мужикам.

— Вы меня слушайте! Лучше отдавайте по вольной цене. Теперь дам рубль, а ужо на аукционе четвертака не дам — все единственно за мной останется. Это я вас жалеючи делаю. А какой упрямиться станет... Уж супротив меня ведь никто не пойдет. Вы на этого Иуду Сладкопевцева не смотрите, не зарьтесь на него. Он из вас всю кровь высосет своими процентами. Я что? Купил овцу или корову, и прощай — наживай с богом другую, мне дела нет, а ведь он своими процентами обоих слопает.

— Что и говорить, — соглашается мужик. — Только уж и ты-то больно дешево даешь. Набавь, милый друг; ну, разве слыхано овцу за полтинник покупать?

Сладкопевцев же покупает совершенно иначе. Приехав в село, где будет аукцион, остановится там, где уж стоит или где непременно остановится и становой, если он еще не прибыл. «Мужички» это знают, то есть знают, зачем приехал Сладкопевцев, и потому возле становой квартиры сейчас же собирается толпа. Сладкопевцев, как будто ничего не ведая, преспокойно сидит себе под окошком и посматривает на улицу.

— Что это, мужики, вы собрались?

— Да вот к твоей милости. Выручи, заставь богу молить.

— Что такое? — удивляется он. — Иль опять неисправность?

— Опять, родименький.

— Нехорошо, нехорошо. Как же это я вас выручать стану, когда вы и в казну-то неаккуратно платите? Ведь мне вы и подавно не отдадите.

И долго, долго тянет он эту канитель, пока, наконец, вымотает у них всю душу и добьется каких ему нужно условий. А условия эти обыкновенно заключаются в отдаче ему мужиками засеянной уже земли в залог, с тем, что они должны всё, что на этой земле родится, убрать, обмолотить и урожай пополам с ним разделить, да еще, кроме того, кстати уж заодно и «ниточек» намотает себе клубочек.

— Только смотрите, мужички, выручить вас я выручил, но и вы зато уж будьте аккуратны. Я у вас ничего не взял. Я не этот разбойник Подугольников. Он человека раздеть готов, а от меня вы уходите — все у вас цело. Ведь ни одной овцы у вас не продали — все за вас заплатил.

— Так-то, так, — чешутся мужики, — только уж больно ты нас насчет посевов-то нагрел: смотри ведь, половина всего урожая твоя.

— Это, мужички, теперь еще божье дело. Об этом вы не говорите. Посмотрим еще, как хлебушка-то в руки нам дастся, а теперь что! Разве это хлеб — трава одна! Все бог.

— Это правда — его святая воля... А вот насчет магарычика, если бы твоя милость была...

— Можно. Я разве для вас жалею? Я ведь не Подугольников. Он жидомор, а я хоть сейчас. Сколько же? четверти довольно будет?

— Что же, милый человек, на целое село да четверть даешь. Это и по шкалику не хватит.

— Ну, хорошо, хорошо. Нате на полведра.

— Да не жадничай уж, дай на ведро-то.

— Нате, православные, нате, бог с вами! Разве мне для вас жалко. Разве я, — и т. д.

Вокруг кабака стоит стон. С этим «казенным» ведром пропивается еще «свое» ведро, которое уж добывается в кредит всеми неправдами от кабатчика, — и все довольны.

Доволен и становой, потому что недоимки получены сполна, и ему уж по этому делу не надо вновь приезжать в Осиповку. Доволен и Подугольников, потому что, в виду аукциона, хоть и немного, но все-таки успел купить по четвертаку за рубль две-три коровы, две-три свиньи и десятка два-три овец. Доволен и Сладкопевцев, ибо «небезвыгодно» и с небольшим риском «поместил капитал».

— Теперь вы отсюда куда же? — спрашивает он станового, когда выпили, закусили, напились чайку и им подали лошадей.

— Теперь-с? Теперь к Ивану Петровичу в Ивановку. У него опись назначена завтра. Совсем уж, кажется, готов. Вот бы вам Ивановку купить. Золото именье.

— Знаю; но боюсь. Откровенно говорю — боюсь. Разбросаться боюсь. Много и так денег по добрым людям разбросал, а нынче платят-то сами видите как.

И какое бы «золотое дно» эта Ивановка ни была, но Сладкопевцев ее не купит, потому что она ему действительно ни на что не нужна. Ему нужен был pied à terre[1] для своей «сельскохозяйственной» деятельности, и он уж

[1] Основа, база *(франц.)*.

имеет его в своей Петровке. Из нее он протянул паутину надо всем уездом, так зачем же ему нужна еще Ивановка? Разве, сидя в Петровке, он не может высасывать соки из ивановского помещика, из его земли и из его бывших крепостных? Мы видели сейчас, как это легко и удобно делается.

— Ну, так вы дайте ему взаймы, — сводничает становой.

— Это скорей. Об этом можно поговорить. Только, знаете, не люблю я давать взаймы этим прежним помещикам. Одни только неприятности. В срок не отдаст и начнет канючить. Всех приплетет. И предводитель упрашивает. Вы, дескать, новый помещик у нас, поддержите старого и все такое. Не люблю.

Но, разумеется, кончается тем, что он даст, берет имение в залог по второй и даже третьей закладной, с правом вырубки леса, сада, распашки выгонов и проч. Словом, высасывает Ивановку и все живущее или растущее в ней, и когда отрывается, наконец, от нее, всегда почти тут же прямо накидывается на соседнюю Семеновку, с которой, конечно, повторяется то же самое, и т. д. до бесконечности, или, лучше сказать, до тех пор, пока не источит и не высосет всех еще оставшихся, еще уцелевших какими-то судьбами «прежних» Иванов Петровичей и Петров Иванычей.

Но вот вопрос: когда-нибудь и даже, по всей вероятности, очень скоро, «они» все будут «слопаны» Подугольниковым и высосаны Сладкопевцевым. «Мужички» достаточно, можно сказать, усовершенствованы уж и теперь, а если дозволить им похерить общинное землевладение, то Сладкопевцеву и Подугольникову «не хватит» их и на десять лет, — кого «новые господа» будут сосать и лопать?.. и, если в конце концов кинутся друг на друга, кто кого одолеет?

Теперь трудно, конечно, предугадать, что будет, но, по-моему, будущее все-таки принадлежит Сладкопевцеву.

Затем, в заключение, мне остается сказать еще несколько слов в ответ на очень деликатный, но и очень естественный вопрос. Я чувствую, что меня могут спросить: ну, а что же, из прежних-то помещиков никто разве не соблазнился примером Подугольникова и Сладкопевцева и не пошел по указанному ими пути?

— И да, и нет.

Блестящие успехи, которых достигли в «сельском хозяйстве» «новые помещики», само собою разумеется, не могли остаться незамеченными, так же точно как не могло не найтись и охотников попробовать свои силы и на этом новом для них поприще. И действительно, такие охотники нашлись и силы свои начали пробовать; но вся беда в том, что они и на это дело не годились. Как ни проста и ни малосложна вновь вводимая система «сельского хозяйства», но и она оказалась им не по плечу. Для нее, как было это замечено выше, непременно требовалась сила характера и непреклонная воля; а кто же из всех этих отставных штабс-ротмистров и поручиков обладал такими качествами? Были между ними люди несомненно храбрые, были невозможные самодуры, были сластолюбцы, даже, можно сказать, ненасытные, но все эти качества не только уступали в достоинстве своем качествам Сладкопевцева, но даже и качествам Подугольникова.

Оттого и все попытки их завести у себя это новое «сельское хозяйство» не только ни к чему не привели, но даже еще способствовали их оскудению. Подражая Подугольникову, они, являясь на аукционы, хотя и покупали свиней, коров и овец, но, во-первых, покупали их не так «сходно», а во-вторых, покупали зря, то есть не зная настоящего толка ни в свинье, ни в овце. Подугольников взглянет на свинью, например, и сразу скажет «каких она поросят», то есть сколько раз она уже «поросилась», сколько ей лет и сколько она «вытянет», если ее «посадить» на корм. То же и про овцу. Он ее всю насквозь видит. Возьмет под задние ноги, помнет, пощупает, плюнет на пальцы, вытрет их о полушубок и сразу все скажет. А разве «прежний помещик» этим делом когда занимался? Подугольникову хорошо: он с малолетства привык, а извольте-ка учиться всей этой грамоте в сорок или в пятьдесят лет?..

Такие же точно печальные результаты получались, когда пробовали заводить свиные бойни, кабаки, трактиры, постоялые дворы и проч. Ничего не выгорало. Да и как же могло у них выгореть, когда они прежде понятия ни о чем этом не имели. Уж если не удалось и не могло удасться нам «рациональное хозяйство», которое все-таки

было для нас делом более подходящим, так сказать, своим, то как же можно было пускаться нам на такие-то дела? Очевидно, кроме неудачи, и нечего было другого чего и ожидать. От того, что накупили мы себе полушубков, смазных сапог, серебряных часов с длинной шейной цепочкой — всех этих принадлежностей костюма Подугольникова, — мы не сделались и не могли им сделаться. Сила Подугольникова не в полушубке, который на нем, а в опыте, в знании, в закваске, которая в нем. Он и в пальто прощупает овцу или свинью так же хорошо и так же верно определит и «каких она поросят» и что «вытянет», как если бы он проделал это все не в пальто, а в полушубке. А это-то самое-то главное «мы» и упустили из виду.

Подражание Сладкопевцеву вышло еще менее удачно. Одной алчности еще недостаточно, чтобы возвыситься до него. Надо обладать его опытом, надо вынести все то, что он вынес, когда был еще в архиерейских певчих, когда был потом писцом, пока, наконец, не сделался секретарем консистории. Да и тогда сами разве жареные рябчики летели ему в рот? Сколько унижения, сметки и ловкости надо было пустить ему в ход, чтобы заманить в свои сети даже такую скудную жертву, как какой-нибудь деревенский поп, чтобы высосать его и спустить с рук, а потом уберечь и поделиться своей добычей с остальными участниками облавы? И все это ведь крохи, чуть не гроши! Сколько раз душа уходила у него в пятки, сколько раз на волоске висел он, оберегая эти крохи, пока, наконец, не одолели его другие, более его голодные и смелые. Кто же из нас проходил такую школу? Куда же было кидаться нам в конкуренцию с ним, когда он явился среди нас и начал свою работу? Он был во всеоружии знания, опыта, закаленного характера. А мы? Какими жалкими пошляками должны мы были показаться ему, когда стали подражать!

И в тысячу первый раз подтвердилась тут великая истина: «в мехи старые не вливают вино новое»...

Нам оставалось только удивляться ему и отступить перед ним.

И мы отступили.

IV
НАШ ПОСЛЕДНИЙ РАСЦВЕТ

Цветы последние милей
Роскошных первенцов полей.

Оскудение наше шло, что называется, вразвал. «Легкомысленные» давно уже съели все выкупные; дети их, получив «приличное» образование и ничего не получая от родителей, лишившихся к тому времени своих Ивановок и Осиновок, жили исключительно одной игрой ума, но департаментов и эскадронов все-таки не бросали. Уцелевшие еще какими-то судьбами родственники то и дело получали от них из Петербурга письма самого отчаянного содержания. Сердце обливалось кровью при одной мысли, что Петенька и Сереженька, эти «так прекрасно воспитанные мальчики», «с такими манерами», и проч., и проч., невольно потеряют свою карьеру потому только, что вначале молодому человеку предстоят одни только расходы и расходы, а откуда взять средства? Разумеется, эти уцелевшие родственники кое-что уделяли, но ведь они и сами на ладан дышали. Да к тому же у всех свои были Сереженьки и Петеньки, которым тоже надо было дать и воспитание и потом «поддержать» их «первые шаги в обществе». Повторяю: ужасно было читать эти письма, а между тем они получались все чаще и чаще, и содержание их становилось все отчаяннее и драматичнее. Писали, что Петенька насочинял такое ужасающее количество векселей, что, наконец, сделался в некотором роде знаменитостью, и весь Петербург уже знал, что он эти сочинения свои продает по копейке за рубль. И покупают-де их у него какие-то темные личности для целей, не имеющих ничего общего с кредитом. Писали, что его «папень-

ка» с маменькой на какие-то чудом уцелевшие у них гроши купили на Петербургской стороне табачную лавочку и живут ею и в ней, помещаясь там за шкафами. Наконец, получено было известие, что Петенька свои сочинения начал подписывать уже псевдонимами, выбирая для этого фамилии по возможности громкие и известные, и что ему уже предложили оставить департамент....

В это же время и «рациональные хозяева» тоже закончили свои эксперименты и, подобно «легкомысленным», почувствовали непреодолимую и даже извинительную потребность в отдыхе. Измученные вконец, они кому попало и почем попало продавали и отдавали в аренду свои Ивановки и Осиновки и бежали куда глаза глядят. Уныние, скука и мерзость запустения царствовали на нашей дворянской ниве. Единственное оживление ее представляли тогда Подугольниковы, в виде крупных пионов засевшие там и сям, да скромные ландыши — Сладкопевцевы, только что проявившиеся. Конечно, букет тех и других уже чувствовался, и можно было уже предвидеть, что цветы эти не заглохнут, а соберутся и разрастутся в роскошные клумбы. Но пока все было серо, уныло; на крышах росла крапива.

В такое грустное время прошел слух, что нам дадут земство.

Что это такое? Для чего оно нам нужно?

Все понимали разно.

Предводитель говорил, что земство — это... это... Что мы, значит, призываемся, что от нас будет зависеть... и так далее в этом роде. «Беспокойные» и «горячие головы», которых в каждом уезде всегда почему-то имеется две-три штуки, приходили просто в восторженное состояние и уверяли, что отныне все уже будет зависеть от нас. Мужики ничего не говорили и только спрашивали: поскольку с души? Словом, никто ничего не угадал даже приблизительно.

А слухи между тем о скором «получении земства» всё росли и росли. Губернатор в разговоре с предводителем, который зачем-то ездил в губернский город, выразился, между прочим, так: «Земские учреждения — это основа». Предводитель приехал домой, и скоро мы все узнали, что «земские учреждения — это основа». После этого прошло сколько-то времени, и стало известно, что постройки и

починки мостов на больших дорогах войдут в круг ведения земства. И как ни далеко еще, по-видимому, стояла эта практика, но Подугольниковы и Сладкопевцевы уж поднимали носы и нюхали воздух.

Наконец явилось и Положение о земских учреждениях. Разумеется, начали все читать его и, как всегда бывает, остались вдруг недовольны. Люди, которым и в голову прежде не приходило ничего подобного тому, что они получили чисто в виде подарка, теперь считали себя вправе находить, что этот подарок и мал и не удовлетворяет их вкусам. Постройка и ремонт мостов на больших дорогах показались обставленными такими неудобными формальностями, что, по-видимому, не стоило даже и добиваться подрядов на это дело. Что касается «основ», то, так как это слово нигде ни разу не было там упомянуто, то решили, что или предводитель, или губернатор что-нибудь перепутали...

Разобрав, таким образом, Положение о земских учреждениях, мы увидали, что там есть одно истинно хорошее и подходящее — это оклады председателю и членам земских управ. Очень понятно, что игнорировать это, при наших затруднениях, не следовало, и потому начали предпринимать что нужно, чтобы заручиться шансами попасть на ту или другую должность. И действительно, эти скромные виды получали осуществление: во все должности почти исключительно попали «мы».

Я никогда не забуду нашего первого собрания, не потому, чтобы оно ознаменовалось чем-либо особенным, но потому, что тут мы первый раз встретились с купцами, попами и мужиками как с равными. Конечно, мы знали, что мы «старшее» сословие и что «начальником» всех, то есть председателем собрания, — наш предводитель, но то обстоятельство, что мы имеем «равные» права и должны сидеть «рядом» «со всеми», — вначале шокировало и даже подавляло. Так, многие из красноречивых наших ораторов, пользовавшихся вполне заслуженным авторитетом на «баллотировках», то есть дворянских выборах, где они так прекрасно говорили о значении дворянства вообще, и в частности об известной грамоте Екатерины II, — теперь, когда пришлось рассуждать перед таким разношерстным собранием и о предметах далеко не столь возвышенных, просто путались и терялись до жалости.

В это же время, то есть па этом первом собрании, мы заметили, что ряды наши значительно поредели: почти все «легкомысленные» и «рациональные хозяева» выбыли из числа дворян — землевладельцев уезда. Вместо них сидели Подугольниковы и Сладкопевцевы, сидели и облизывались... Подугольников сидел в кресле плотно и хотя взор имел мутный и сонный, но все-таки смотрел прямо. Сладкопевцев, напротив, прямых взглядов избегал и даже сидел как-то так, что нельзя было понять, к какой группе он принадлежит, то есть к нам ли, дворянам, или к городским купцам, успевшим к этой поре обзавестись уж и пиджаками, и короткими сюртуками, и даже фраками. Тем не менее в антрактах он все-таки держался более нас, для чего и прохаживался преимущественно вблизи того места, где стоял предводитель. Некоторые из вступавших с ним в разговор были очень радушно угощаемы им папиросками, причем он объяснял, что «это особенные» и достает он их без бандеролей, каким-то окольным путем. Одет он был прилично, хотя, разумеется, было заметно сейчас же, что всю «пару» ему шил местный портной. Руки имел украшенные драгоценными перстнями, а цепочку массивную. Но во всяком случае положение его среди нас было крайне неловкое и фальшивое. В каждом взгляде каждого из нас он так и читал: «Что, верно и меня хочешь слопать? так если уж до того дойдет, лучше все мужикам за полцены продам, а тебе не достанется моей крови!»

Но таким героическим мыслям он, очевидно, не придавал особенно важного значения, основательно уповая па провидение, пути которого неисповедимы.

Это кроткое и благоразумное отношение к новой среде, в которую он еще так недавно и неожиданно попал, было особенно похвально сравнительно с поведением некоторых из нас. Эти некоторые всё еще продолжали вести себя высокомерно, гнушались мелкой сошкой и ходили с распущенными хвостами. С этой же целью, то есть чтобы поддержать свой гонор, они приказывали в комнату, соседнюю с залом собрания, приносить шампанское и употребляли его не только неумеренно, но как бы хвастаясь даже этою неумеренностью. Нате, мол, смотрите — уж я сад вырубил, а шампанское все-таки пью!

Такое чванство и легкомыслие, повторяю, видеть было ужасно! Но еще более тяжкое и даже оскорбительное чувство пришлось испытать назавтра, когда всё, что мы болтали сегодня о народных школах, о починке мостов, о фельдшерах и еще о чем-то, надо было уложить в протоколы заседания.

Сегодня никому этого и в голову не пришло, и потому из земства все «мы» прямо поехали обедать в самую аристократическую нашу гостиницу «Северную Пальмиру», где, после понесенных трудов, были приятно удивлены совершенно неожиданным присутствием только что приехавших откуда-то арфисток. Очень понятно, что все они нас до крайности заинтересовали, и мы посвятили им не только весь остаток дня, но и весь вечер и даже значительную часть ночи...

Проведя таким образом первый день, естественно, все были более или менее утомлены, и если и поехали утром в земство, то, во-первых, поздно и потом были вялы, равнодушны ко всему и вообще ни об общих, ни о своих личных интересах не радели и не пеклись. Когда же стало известно, что нужно будет составлять и подписывать протоколы, а отдельные мнения, высказанные многими из наших ораторов, должны быть изложены письменно и представлены в собрание за их подписями, то через каких-нибудь полчаса, незаметно один за другим из зала исчезли не только почти все ораторы, но и значительная часть и тех, кто все время сидели и молчали. Положение председателя сделалось критическим. Секретарем был выбран у нас один из возвратившихся из Петербурга Петенек, совсем захудавший там в борьбе с карьерой молодой человек «с прекрасными манерами», отлично говоривший по-французски, но тем не менее совершенно некомпетентный и даже незнакомый не только с формой протоколов, но даже и вообще с русской речью. Что ж было делать? Не самому же председателю писать протоколы, да к тому же и он был тоже мало знаком «со всей этой канцелярщиной». И вот, обводя блуждающим оком опустелые ряды наших кресел, взор его как-то инстинктивно остановился на одном из Сладкопевцевых...

О, какая это была минута! И никто ее не оценил и не понял! Мы, почти единственные грамотные люди в собрании, сознавались, что даже и в этом, в грамоте, мы

настолько слабы, что убежали, испугавшись таких сущих пустяков, как сочинение протоколов. И теперь из этой беды нас будут выручать они, так презираемые нами Сладкопевцевы... Как сейчас помню, Сладкопевцев, в ответ на безмолвный вызов предводителя, сперва весь подался вперед, потом встал и направился к нему. Я и теперь вижу его преданную, покорную улыбку...

Спокойно, не торопясь, сел он на указанное ему предводителем кресло, наблюдая при этом, чтобы не занять всего сиденья. Так же почтительно взял перо, посмотрел на раскеп его, взял несколько листов бумаги, отогнул для полей полоску пальца в два, подложил под бумагу лежавшие на столе «Московские ведомости» и, наклонившись к предводителю, начал говорить ему что-то шепотом. Потом на некоторое время водворилась в собрании тишина, и был слышен только скрип его, Сладкопевцева, пера, скоро и красиво бегавшего по бумаге.

— Господа, — сказал, наконец, предводитель, — по закону все, что мы здесь говорим, должно быть записано в протоколы и нами подписано. Молодой человек, выбранный нами в секретари, еще так неопытен в этом деле, что, во избежание могущих быть ошибок, я обратился к почтеннейшему Ардалиону Васильевичу Сладкопевцеву, и он был так любезен, что согласился принять на себя этот труд. Мне кажется... — запнулся он и начал медленно обводить нас глазами.

Я, разумеется, знал очень хорошо, насколько популярен «почтеннейший» Ардалион Васильевич, и ждал если не прямого скандала, то уж во всяком случае глухого протеста. На деле, однако ж, вышло совершенно наоборот; в зале послышался сперва неясный говор одобрения, очень скоро перешедший в общее радостное настроение. Все почувствовали, что гора с плеч свалилась, начали кашлять, сморкаться, на душе и на сердце стало легко. Более впечатлительные и нетерпеливые встали со своих мест и уж собирались уходить, так что предводителю стоило много труда удержать их в собрании еще хоть на полчаса, покуда Ардалион Васильевич успеет мало-мальски разобраться и ориентироваться. Действительно, через несколько минут он опять начал о чем-то шептаться с предводителем, и этот объявил нам, что «милейший» Ардалион Васильевич убедительно просит всех господ

«ораторов», хотя вкратце, на словах передать ему сущность их вчерашних речей, без чего, при всем его опыте, он никак не может написать протоколов, ибо не знает, кто об чем и что говорил.

Просьба была естественна, логична, и исполнить ее, казалось, легко, но веселое настроение, охватившее всех, вдруг все заглушило.

— Пишите что хотите!

— Пишите, всё подпишем!

— Только не векселя, — кто-то сострил.

— Господа, господа! — усовещивал предводитель, — что ж это такое? Разве можно так? «Почтеннейший» Ардалион Васильевич был так любезен, так добр.

Но уж его никто не слушал, и все толпой повалили к дверям. Слышался смех, хохот. Кто-то в передней начал насвистывать «Хуторок», и через несколько минут в зале остался предводитель, Сладконевцев, человек пять волостных старшин, выбранных мужиками в гласные по указанию мировых посредников, да двое или трое дворян, приглашенных к предводителю на обед и теперь дожидавшихся его, чтобы ехать вместе.

— Нет, господа, так нельзя. Что же это такое? На что же это похоже? — рассуждал предводитель, не замечая даже, по-видимому, что он остался почти один и теперь рассуждает сам с собою.

Волостные старшины, вставшие во время общей суматохи со своих мест, но не осмелившиеся уйти из собрания без позволения, теперь стояли все в ряд, в медалях, заложив руки назад, и дожидались перерыва предводительских рассуждений, чтобы просить «ослобонить» и их. Приглашенные на обед дворяне помялись, помялись и, находя дальнейшее пребывание скучным и бесполезным, тоже решили остаток времени до обеда посвятить прогулке...

Измученный, охрипший предводитель опустился в кресло. Старшины-гласные еще более приблизились к столу и слегка покашливали, чтобы обратить на себя его внимание.

— Вам что нужно? — с каким-то отчаянием спросил он их.

— Прикажете подождать... или и нам...

— Бог с вами, уходите. Что ж я один с вами буду делать...

Старшины отвесили по поклону и гуськом, один за другим, потянулись к дверям. В зале, наконец, осталось нас четверо: премьер, Петенька, Ардалион Васильевич и, в качестве публики, я. Прошло с минуту глупого и вместе крайне тягостного молчания. Наконец премьер прервал его:

— Однако что ж мы будем делать? Ведь завтра последний день собрания. Они ведь завтра разъедутся, а у нас нет ни одного не только подписанного, но даже и написанного протокола.

— Я полагал бы, — спокойно возразил Сладкопевцев, — заготовить сегодня в ночь несколько таковых, а равно несколько особых мнений, а завтра предложить их к подписанию. Я полагаю, что все подпишут.

— Да кто их заготовлять-то станет?

— Я-с. Ведь уж если удостоили меня чести...

— Милейший мой! Да ведь вы золотой человек?

— Ничего-с. Я привык-с. — И потом, как бы вспоминая, Сладкопевцев присовокупил: — При покойном владыке у нас в консистории просиживали по две, по три ночи подряд, однако никто этого в заслугу ставить себе не осмеливался. И теперь, если я могу быть чем полезен дворянству... — Тут от полноты чувств голос у него дрогнул, он проглотил слюну и затих, не замолчал, а именно как-то затих.

А там, в «Северной Пальмире», и сегодня шел дым коромыслом: шлепали пробки, арфистки визжали, а «мы», в расстегнутых сюртуках, а иные и совсем без сюртуков, с раскрасневшимися лицами, шатались по нумерам, в общем зале, не подозревая, что на другом конце города за всех нас в эту ночь бдит один «милейший» и «почтеннейший» Ардалион Васильевич Сладкопевцев, стремительно строча один протокол за другим, одно особое мнение за другим, неизвестно кому принадлежащее и неизвестно кем имеющее быть завтра подписанным!

Теперь, когда все это уж кануло в вечность, когда большая половина нас исчезла бесследно, когда не отыщешь даже и того места, где прежде и еще так недавно стояли принадлежавшие нам «господские усадьбы», теперь, вспоминая это прошлое, можно иногда и улыб-

нуться; но тогда сцены, подобные описанному сейчас собранию, производили подавляющее, щемящее впечатление.

Тем не менее нам, не умевшим уложить свои слова и мысли в такую нехитрую форму, как протокол, суждено было на закате дней своих расцвести махровым, ярким цветом, а некоторым даже довелось, прежде чем успокоиться, пролететь, к общему изумлению, блестящими кометами и, положим, хоть на короткое время, но все-таки заполонить собою отечественный небосклон...

Кончилось это удивительное собрание, и разъехались мы все по деревням. Был конец сентября, и у всех дела и забот было по горло. Надо, во-первых, заплатить в опекунский совет проценты и погашение, а где деньги? Племянники Подугольникова и молодцы его уже разъезжали от одного к другому и приставали чуть не с ножом к горлу, чтобы скорее молотили и «ставили» пшеницу, рожь, овес и проч. Купившие «на сруб» кусты, рощи, парки и сады теперь рубили их. У кого уцелели еще конные заводы — блокировались барышниками, давшими тоже, подобно Подугольниковым, деньги вперед или под будущий лошадиный урожай, под нынешнюю ставку трехлетков, и, не дожидаясь их выездки, тащили в город. Словом, оживление осеннего ландшафта было полное. Куда ни посмотри, куда ни поезжай, непременно встретишь фигуру всю в синем, забрызганную грязью, в засаленном картузе с блестящим околышем. Точно заключили они союз с осенью и всюду, куда ни показывались, приносили оскудение и разрушение. И без того невеселая деревенская осень (пресловутые псовые охоты к этому времени были уж одним лишь воспоминанием) от созерцания этих вестников смерти делалась еще скучнее и тошнее.

Наконец выпал снег, и все побелело; в комнатах сделалось светлее; как-то покойнее стало на душе; всякими правдами и неправдами в опекунский совет заплатили. «Молодцы» и «племянники» тоже пропали куда-то, вытащив и высосав из деревни все, что только можно было утащить и высосать. Наступил декабрь. В этом году была баллотировка, и приходилось ехать в губернский город. Представлялся, таким образом, совершенно законный

предлог хотя на неделю, на две вырваться из «этой тюрьмы» и вздохнуть, освежиться. Язык ощущал вкус икры, семги; нос обонял запах селянки... А там, в облаках табачного дыма, синела, с кием в руках, расстегнутая фигура ремонтера...

По дороге в «губернию», разумеется, пришлось заехать почти каждому в уездный город к своему Подугольникову и выпросить у него хотя сколько-нибудь денег под будущий урожай или запродать что-нибудь из уцелевшего ценного. Верьте, читатель, что многие не могли ехать на выборы, потому что не было с чем ехать; не было ста — двухсот рублей на дорогу и на прожиток...

И до того и после я бывал на «баллотировках», но такого бедного и скучного съезда, как в этом году, не помню. Еще хуже было потом, еще большее число нас съели потом Подугольниковы и Сладкопевцевы, но все-таки уцелевшие были как-то бодрее, живее, не было такого тоскливого, щемящего чувства у всех на сердце, как в этом году.

А «счастье» между тем было уже близко...

Съехались. Сделали обычные визиты губернатору, губернскому предводителю, архиерею. В соборе принесли присягу. Архиерей произнес приличную случаю речь. Потом, разумеется, сейчас же после разъехались и через два-три часа собрались по ресторанам и гостиницам.

Читатель знает, что в описываемую эпоху «баллотировка» уже утратила половину своего значения. Судья и исправники не были уже выбираемы. Вся наша задача в это время заключалась в избрании губернского и уездных предводителей да депутатского собрания. Наш уездный предводитель, бессменно прослуживший четыре трехлетия, месяца за два умер, и теперь предстояло многотрудное дело выбрать человека, который удовлетворял бы в одно и то же время и всем «партиям» и всем требованиям предводительского ранга, то есть чтобы это был или человек сильный и умный, стоящий выше всех головой, или чтобы это была бесцветная личность; но в том и в другом случае чтобы был человек если и не богатый, то уж во всяком случае с хорошими средствами. Имелось в виду три кандидата. С такими соображениями и планами на другой день мы собрались. Началась поверка прав, кто-то выступил с надоевшим всем хуже горькой редьки

рассуждением о значении дворянства с точки зрения грамоты императрицы Екатерины II, и один по одному все перешли из зала собрания в буфет. Пошел за другими туда же и я. И вот как сейчас гляжу, облокотясь на медную балюстрадку, которая делается обыкновенно вокруг тарелок и тарелочек с закусками, стоит какой-то высокий брюнет с окладистой бородой, в золотом пенсне, по виду лет сорока, и громко, с увлечением что-то рассказывает группе дворян нашего уезда. Я стал вслушиваться. Речь шла о том, что нам необходима железная дорога, что она оживит наш глухой край, что в ней все наше спасение, выход из гнетущих нас недостатков. Дальше говорилось, что мы имеем полное право ходатайствовать об этом, и наше ходатайство будет уважено. Что мы в этом деле можем и необходимо даже должны идти не одни, а рука об руку с другими сословиями, и эти другие сословия нас непременно поддержат, потому что это настолько же и в их интересе, насколько и в нашем. Что если у нас будет энергичный и знающий дело предводитель, то мы этого легко добьемся и через год, через два не поверим своим глазам, как все кругом преобразится, оживится и процветет. Все это он говорил складно, а главное, казалось, искренно, горячо, убежденно. Впечатление произведено было сильное. Оказалось, что господин этот помещик нашего же уезда, но только еще несколько месяцев назад купивший себе очень хорошее имение и теперь в первый раз показавшийся между нами. Подробности говорили, что он женат на дочери какого-то негоцианта, очень богатого и влиятельного в Петербурге, а сам хотя и не имел до сих пор никакого состояния, но зато у него есть ходы и связи. В этот же вечер в театре я опять его увидел, и в одном из антрактов нас познакомили. Опять и тут все время разговор вертелся на нашем больном месте, на оскудении, и опять выход представлялся один — железная дорога.

На следующий день снова то же рассуждение в зале, в буфете, но уж, собственно, не рассуждение, а скорее обсуждение деталей, подробностей направления дороги, постройки ее и так далее. Вопрос о необходимости попытки получить разрешение на постройку был уже сознан и принят всеми безусловно. «Горячие и беспокойные» головы уезда распалились дорогой до такой степени, что

несли какую-то чепуху, пожимали друг другу руки и чуть не поздравляли друг друга с окончанием всей затеи. Естественно возникавший при этом вопрос: кто же устроит это дело, то есть кто же выхлопочет дорогу, и где искать такого человека, разрешался, понятно, не менее естественным умозаключением, что кто же может исполнить это дело, как не человек, подавший о нем мысль, то есть «он», Владимир Николаевич. Его, следовательно, надо выбрать и в предводители... Таково было общее настроение всех, за исключением, конечно, двух бесцветных соперников-кандидатов, теперь всеми покинутых.

Так прошло несколько дней до выборов, и в это время шансы Владимира Николаевича попасть в предводители значительно усилились еще тем, что стало известно, что он очень хорошо знаком с одним из кандидатов в губернские предводители, каким-то греком, лицом тоже почти что столько же новым у нас (он купил у нас громадное имение года два назад), но уж успевшим заявить себя и даже хорошо зарекомендовать как со стороны «чисто русского» хлебосольства, так и со стороны заботливости о просвещении (построил новый флигель при гимназии, а в сером здании на свой счет сделал теплые ватерклозеты). Короче, их выбрали обоих: грека — в губернские, а Владимира Николаевича — в уездные.

Разумеется, он нам сделал на другой же день обед, после которого в нас уж не оставалось никакого сомнения насчет того, что мы будем через год, через два иметь «свою дорогу», которая оживит нас, и даже не только оживит, но просто обогатит. Пример рязанской дороги был у всех перед глазами; все мы отлично знали, какой громадный даст она дивиденд на акции тем счастливцам, которые получили их при подписке. И мы уж охотились заранее продать не только половину Осиновок и Ивановок, но даже последние штаны, чтобы только подписаться на акции «своей» дороги, как только нам ее выхлопочет Владимир Николаевич.

— Помилуйте! да это святое дело: отрезай себе купоны и живи где хочешь. Никаких хлопот, неприятностей — ничего этого нет.

— Да, вот что значит свежий-то человек! Один, а спасает целый уезд, даже, пожалуй, целую губернию.

— А как думаете, Владимир Николаевич, скоро вы повернете это дело?

— То есть, что вы разумеете под словом скоро? Сейчас я ничего не могу сказать вам определенного. В феврале я съезжу в Петербург, переговорю там, напишу в Лондон...

— А зачем же в Лондон?

— Что ж мы можем сделать без Лондона? Это, господа, вещь не легкая и потребует много... гм... внимания к себе. Впрочем, вы знаете нашу русскую пословицу: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Одно могу, господа, объявить: ни трудов, ни расходов для этого дела не пожалею.

— Ну, а все-таки, Владимир Николаевич, — приставали мы к нему, — как вы полагаете, года через два или через три может быть у нас дорога?

— То есть уж построена и открыта?

— Да-с.

— Гм... полагаю.

— И то слава богу! Нам бы вот эти-то два-три года продержаться и уцелеть!

«Беспокойные» и «горячие» головы фантазировали на темы, более, так сказать, отвлеченные и возвышенные. Они одуревали при мысли, что как только железная дорога «свяжет» нас с Петербургом, а следовательно, и с Европой, то последняя непременно «объявится» чуть ли не на другой же день открытия дороги и у нас, со всеми своими прелестями...

Кстати: этих «беспокойных» и «горячих» голов у нас такая пропасть, что странно, как это до сих пор никто не занялся ими в литературе! Они чрезвычайно любопытны уже по одному тому, что в них, то есть в этих головах, представление об Европе, в которой они обязательно побывали тотчас же, как был облегчен в пятьдесят шестом году доступ туда, отождествляется с милютинскими лавками. И притом до такой степени, что если бы Смурову или Вьюшину позволили открыть в лавках рулетки и заседающие там могли бы свободно заниматься обсуждением текущих событий, с правом, если окажется нужным, объявлять войну, то лучшего государственного устройства для них и не потребовалось бы. Теперь эти люди, с достижением более или менее преклонного возра-

ста, начали уж вымирать. Через десять — двадцать лет их не останется ни одного. Неужели они так-таки и пропадут для литературы?

Новый губернский предводитель, «прямой потомок Палеологов», как все об нем тогда говорили, задал, разумеется, «с чисто русским хлебосольством» обед, на котором подавались... и т. д., и т. д. Наконец мы разъехались.

Известие обо всех чудесах, которые должны совершиться через два-три года, когда Владимир Николаевич преподнесет нам дорогу, и дома у нас, в Ивановках и Осиновках, и в городе, то есть у Подугольниковых и Сладкопевцевых, было встречено с улыбкой снисходительного сожаления. Где, дескать, уж вам такое дело обстряпать, когда вся цена-то теперь вам грош...

Но это нисколько никого не обескуражило, и мы в свою очередь, слушая сомнения и видя улыбки, сами сожалели о невежестве новых помещиков, и всё объясняли тем, что где же им возвыситься до понимания таких широких планов и проектов. Один всю жизнь щупал овец, другой обирал деревенских попов, — ясно, что они и представить себе не могут, что такое «мы!» Мы — сила, мы старшее сословие; «наш» представитель будет говорить «о нуждах края», «наш» голос будет услышан, и проч., и проч.

Владимир Николаевич, по возвращении с баллотировки, сейчас же нанял один из лучших домов в городе; из Москвы привезли мебель, ковры, бронзу, и «радушные» двери распахнулись. Опять он задал обед, на который были приглашены не только все мы, «настоящие» помещики, но сильнейшие из Подугольниковых и сладчайшие из Сладкопевцевых. Всех он очаровал...

— Это орел! — говорили Подугольниковы. — Этот пожалуй что и в самом деле...

Сладкопевцевы хотя ничего не говорили, но были как-то смущены и к нам, «настоящим» помещикам, вдруг сделались не только снисходительны в денежных отсрочках, но даже как бы заискивали у нас расположения. Одним словом, эффект был полный и нам как нельзя более на руку.

Вскоре после этого обеда, в конце февраля, Владимир Николаевич, как и обещал, уехал в Петербург «прозондировать» почву и узнать, как думают об нас в Лондоне.

Проводы, разумеется, мы задали ему на славу. «Весь город» и «весь уезд» провожал его станции три, так что проводам, казалось, не будет конца.

— Господа, — говорил он на прощании, — помните, что наша сила в единении. Мне придется говорить от имени вас всех, *от земства*. Забудем наши личные счеты, и пусть общее благо будет каждому из нас дороже всего. Единодушие, единодушие и единодушие!

И мы действительно были в это время до того единодушны, что большего и требовать нельзя. Мы все смешались. «Настоящие» помещики обнимались и братались и с Подугольниковыми и с Сладкопевцевыми, вчера еще взявшими с нас вторые и третьи закладные. Присутствовавшие при этом представители крестьян, те самые пять волостных старшин, о которых говорилось выше, тоже выпили «вместе» с господами и, ничего не понимая, кланялись и улыбались.

С такими напутствиями наш «орел» улетел.

Прошел апрель, май. «Орел» никому ничего не писал и сам не прилетал. Правда, кое-кто из нас, у кого был в Петербурге «Петенька», справлялся о Владимире Николаевиче, но сведения, которые собирались и присылались к нам, были до последней степени разноречивы, сбивчивы и неопределенны. Тут все зависело от того, как какого «Петеньку» «орел» принял и сколько дал ему взаймы, потому что, как оказалось это потом, почти все они у него успели и сумели «занять на несколько дней», кто десять, кто сто рублей, смотря по личному апломбу и настроению духа «орла».

Наконец в середине июня, в самый разгар сенокоса, возвращаясь откуда-то домой, я встретил моего ближайшего соседа, только что вернувшегося из уездного города. Он сообщил мне, что вчера вечером совершенно для всех неожиданно приехал Владимир Николаевич, веселый, довольный, и рассказывает, что успех «нашего» дела теперь не подлежит никакому сомнению и что на этих же днях мы получим приглашение собраться к нему для обсуждения нашего дела. Действительно, на другой же день я получил очень любезное, но в то же время и очень серьезное письмо, с какими-то таинственными намеками на что-то. Конечно, поехал.

Он был хорош, даже прекрасен. Лицо казалось несколько бледным и утомленным. Глаза были задумчивы, и в них читалось нечто таинственное. Все вместе говорило, что он чреват чем-то великим, что в нем что-то зреет на диво и славу нам, а может быть, и всему отечеству. Со всеми он был любезен, но сдержан, как и подобает серьезному, деловому человеку, не бросающему своих слов на ветер.

— Теперь, господа, я могу вам сказать хоть что-нибудь определенное, — говорил он. — Князь Павел Павлович... Граф Петр Петрович... Тогда я сказал министру... Удовлетворение насущных потребностей края... Экономическое значение железных дорог вообще... Воспособление и взаимодействие.

Он говорил довольно тихо, и за тесно окружавшей его толпой я и многие другие только и могли расслышать отрывистые фразы. Потом он говорил что-то о Лондоне, куда должен был сам ехать и все объяснить, так как вести переговоры по телеграфу или переписываться он считал неосторожным.

— В своем личном деле я, разумеется, сам хозяин; но дело общественное... да, господа, это слишком тяжелая обязанность! Один неверный шаг — и дело скомпрометировано, и затем на целую жизнь упреки совести... Я прозондировал для вас почву, я завязал сношения с людьми, которые нам помогут «провести» это дело, затем я же помогу моими рекомендациями, указаниями, советами, моей опытностью, но далее... Вы сами изберете, господа, человека, которому доверяете, — человека опытного, энергичного, имеющего в Петербурге связи, снабдите его необходимыми полномочиями, и я убежден, что он «проведет» наше дело.

— Вы! Вас мы выбираем! Вы начали, вы и кончайте. Кроме вас — некому!.. — послышалось со всех сторон.

Крик и гам в зале стоял такой, что минут десять ничего нельзя было разобрать. Видно было, как «орел» кланялся, отрицательно качал головою, прикладывал руки к груди, опять кланялся, но слов не было никакой возможности разобрать. Когда мало-помалу стихло, оказалось, что Владимир Николаевич, наконец, согласился принять эту «общественную обузу» на себя.

— В таком случае, господа, — говорил он теперь еще более тихим от утомления и наплыва чувств голосом, — нам необходимо как можно скорее собрать экстренное земское собрание, обсудить все хорошенько, снабдить меня нужными бумагами и, не теряя ни минуты, ехать опять в Петербург и ковать железо, пока горячо...

Экстренное земское собрание, как известно, не может быть собрано без особого разрешения губернатора, и потому на другой же день, чтобы скорей добиться этого разрешения, «орел» сам полетел в наш губернский город, так как губернатор, которому тогда мы были вверены, был его личный друг и он мог с ним уладить дело в полчаса за чашкой чая.

Мы ликовали. Многие из «наших» доходили до такого состояния, что, идя по улице, сами с собой говорили улыбаясь. По вечерам «от нечего делать» мы ездили в «китайский монастырь», только что тогда основанный одним из «нас», оскудевшим вчистую. Некоторые из Сладкопевцевых в это время тоже ослабили строгость нравов и сопровождали нас в этих развлечениях.

Заря новой жизни всходила так роскошно и так неожиданно, что, казалось, судьба, наконец, сжалилась над нами. Время ли было в эти радостные минуты думать о лугах, садах, кустах? И никто об них не думал. Пробки шлепали, и шампанское лилось такой угорелой рекой, как во дни óны, когда проедались и пропивались блаженной памяти выкупные. Славное, казалось, наступало время!

Разумеется, губернатор нам разрешил экстренное собрание. «Орел» приехал с этим известием, и тотчас же были разосланы повестки, а так как большинство было еще в городе, где от нечего делать развлекались посещением «китайского монастыря», то теперь, узнав о приезде «орла», все в тот же вечер собрались к нему.

— Вот видите, господа, — говорил нам «орел», — мне потребуется получить от вас, то есть от имени *всего земства* нашего уезда, полномочие официально ходатайствовать о дороге *вашим* именем. Без такого полномочия мы ничего не добьемся. Докладывать казне, что наша дорога необходима, что она выгодна, и просить нам ее выстроить, конечно, можно; но, во-первых, это значит отложить дело в долгий ящик, и потом где порука, что в таком случае

кто-нибудь не перебьет у нас дело? Нам необходимо иметь свою, *земскую дорогу,* хозяевами которой будем мы сами, а не какой-нибудь эксплуататор. — Он назвал при этом несколько железнодорожных имен, и тогда уже покрывших себя неувядаемой славой, хотя, конечно, не в такой еще степени, как теперь. — Имея *свою* дорогу, мы будем иметь и все выгоды *для себя.* Мы будем располагать ими как хотим, а это великая разница...

Само собой разумеется, мы все были с этим согласны, находя, что действительно и сравнивать нечего, в какой степени приятнее быть хозяином, а не жертвой чьей-то эксплуатации.

Поставив вопрос таким соблазнительным манером, он перешел «к подробностям». Эти подробности заключались ни более ни менее как в том, что для выстройки дороги необходимы деньги. Где их взять?

— То есть, как же деньги!.. а казна? вот, например, Николаевская дорога?.. — заикнулся какой-то туземный финансист, среди общего недоумения.

Владимир Николаевич снисходительно улыбнулся этой наивности и мягко, терпеливо, спокойно начал объяснять, что он уже имел честь докладывать, что если предоставить дело постройки дороги казне, то, во-первых, это когда-то еще будет, а потом, дорога будет уж *не наша.* Да, наконец, казна теперь отказалась от постройки дорог на свой счет, и все дело предоставлено частной инициативе, так как этим возвышается дух предприимчивости, и проч., и проч.

Финансист замолчал. Мы молчали тоже. Наконец кто-то кашлянул и робко спросил:

— Где же, Владимир Николаевич, их достать?

— Где? в Лондоне — вот где! и знаете ли, — добавил он, — эти деньги, можно сказать, почти уж у меня в кармане. — Он хлопнул себя правой рукой по левой стороне груди, на том месте, где портные шьют боковые карманы, а доктора «слушают» сердце.

Сладкая улыбка расползлась у нас по лицам; гора скатывалась с плеч; мы вздохнули свободно.

Мы начали пожимать ему руки; более авторитетные в уезде трепали его по бокам, все ощущали в душе восторг. Только он один оставался спокоен, скромен, как всегда. Наконец восторг несколько утих.

— А можно, Владимир Николаевич, узнать, кто именно из англичан даст нам эти деньги?

— То есть, зачем же это вам знать? Это считается коммерческой тайной, господа, и я не имею права ее пока разглашать.

— Не нужно, не нужно, — послышалось со всех сторон. — Ну, не все ли равно, чьи деньги? Главное, чтоб были деньги, а чьи — какое нам дело?

— А не будет ли позволительно спросить, — заметил один из присутствующих тут же Сладкопевцевых, — «из какого роста» они дают эти деньги?

Владимир Николаевич живо повернулся в ту сторону, откуда послышался этот вопрос, и тут я первый раз заметил, как глаза у него злобно сверкнули.

— Это вы спрашиваете?

— Да-с, виноват, — ответил Сладкопевцев, несколько смутившись.

Со всех сторон на него уставились взгляды, полные упрека, презрения. Как, дескать, ты, неблагодарный, можешь об этом спрашивать человека, который хочет облагодетельствовать целый край, а в том числе и тебя самого?

— Вас это очень интересует? — переспросил «орел» с легкой усмешкой.

— По природе своей, деньги требуют, так сказать, роста, и мне любопытно знать, каким ростом довольствуются английские деньги? Если это не секрет...

— Секрета тут никакого нет, но что касается до данного случая, то пока я вам не могу этого сказать... А деньги английские требуют, как вы выражаетесь, роста гораздо более скромного, чем иные русские... И вот для того-то, чтобы избавиться от этих *иных* русских денег, — «орел» сделал ударение на слове «иных», — мы и обратимся к английским деньгам. Русские деньги нас давят, разоряют, а английские нас, бог даст, выручат! Не правда ли, господа? — обратился он к нам.

Взрыв восторженных криков покрыл его слова. Сладкопевцев был убит, уничтожен. Он улыбался, ежился и незаметно пропал, точно растаял.

— Как вы его, однако, отделали!

— Так и следовало!

— Это за всех нас.

— Нет, помилуйте, наглость какая!..

«Орел» тонко улыбался, как улыбается дипломат, носящий в себе разгадку великого вопроса, о котором все болтают и который все разрешают по-своему, не зная его настоящего решения. Помолчав немного, он начал вновь:

— Деньги, господа, я надеюсь, мы получим без всяких процентов. Проценты должна платить сама дорога, а не мы. От нас если что потребуется — так разве только одна *гарантия*... Мне, конечно, нечего объяснять вам, что эта гарантия одна только формальность, фикция — не более. И притом даже эта фикция таких скромных размеров, что смешно и говорить об этом. Рязанская, например, дорога дает около двадцати процентов, а от нас Лэндон самое большее потребует, ну, много-много разве гарантию пяти процентов. Это, сами вы понимаете, — смех. Наша дорога разве хуже, чем рязанская? И она будет давать столько же если не больше. Гарантия земства в данном случае нужна только для того, чтобы англичане были спокойны, что мы это дело не запустим, а будем хорошо хозяйничать. Для них она важна более, так сказать, в нравственном отношении, чем в денежном. Вы это сами видите...

— Разумеется!

— Конечно!

— Да что вы, Владимир Николаевич! Кто же сомневается!

Таким образом был решен у нас вопрос о гарантии. И скоро, и мило. Покончив с ним, мы перешли к деталям. Они были нам, по-видимому, ближе и интереснее гораздо более.

— А как вы думаете, Владимир Николаевич, откуда повести дорогу?

— Это, господа, теперь трудно еще сказать. Надо сперва сделать изыскание. Но все-таки полагаю, как мне по крайней мере кажется, лучше всего, если мы начнем ее от нашего города и потом поведем к трем прудам, потом к семи болотам и т. д.

— Это, значит, пойдет сперва на имение Ивана Петровича, потом на имение Петра Петровича, потом повернет на имение Петра Иваныча...

— Счастливцы!

— Ценность имения удвоится!

— А удобства-то какие? Захотелось в Москву или Питер, хоть за границу — сел и поезжай прямо из Ивановки.

— Хорошо... только что-то даже невероятно. Ей-богу...

Владимир Николаевич слушал все эти ахи и охи и улыбался такой доброй, хорошей улыбкой, что, при нашей впечатлительности и склонности к восторженному идолопоклонству, мы окончательно его обоготворили.

— Да, господа, — повторил он, — я вам уже говорил, что при единодушии можно многого добиться. И данный случай вам пример. Я, говорю откровенно, убежден, что дорогу мы получим наверно. Разумеется, впрочем, если вы примете во внимание мои советы и указания. Один я ничего не могу сделать, точно так же как и в том случае, если у нас начнутся недоразумения, подозрения, недоверия и проч. Тогда дело пропало, лучше его не начинать. Вот этакой какой-нибудь Сладкопевцев, ничего не понимая в деле, уж позволяет себе не доверять. Конечно, это мне смешно слышать от него при том общем доверии, которым я имею честь у вас пользоваться, но другой, более щепетильный человек мог бы обидеться и бросить дело. А! ты лучше моего понимаешь, ты мне не доверяешь, так не хочешь ли сам попробовать!

— Владимир Николаевич, да плюньте вы на него!

— Ну, разве это человек? ведь это, — и т. д.

Вечер, конечно, закончился ужином, а ужин жженкой. Мы ходили как угорелые все эти три дня, которые пришлось прождать до открытия собрания.

На этот раз ничего и похожего не было на ту скуку и общую безучастность к делу, которыми отличалось наше первое земское собрание. Все мы были теперь веселы, возбуждены, все сознавали, что «мы» — сила. Подугольниковы и Сладкопевцевы свою работу хотя и продолжали, но главнейше обращали внимание на усовершенствование «мужичков», а нас побаивались и, чтобы не рисковать, почти совсем оставили в покое. В это время добиться у них согласия на переписку векселя или на отсрочку вообще какого бы то ни было платежа было для «нас» необыкновенно легко.

Вообще они находились под подавленным впечатлением. Один только вопрос немного как будто их смутил и потревожил — это гарантия.

— Ну, а если дорога не будет давать пяти процентов, тогда ведь с нас их потянут? — спрашивали купцы, наученные Сладкопевцевым, и сами Сладкопевцевы.

— А если потолок провалится или вот эта колокольня начнет по улицам ходить, тогда что будет? — спрашивали мы их вместо ответа.

— Вот вы, господа, изволите шутить, а между тем, принимая на себя обязательство, надо все-таки подумать и порассчитать, можем ли мы его исполнить? — настаивали они на своем, стараясь нас смутить.

Однако мы этим речам не поддавались и кричали «ура». Гласные от мужиков, традиционные волостные старшины, выбранные по указанию мировых посредников, конечно делали и говорили, что «мы» им приказывали.

«Орел» тоже нисколько не напоминал собою нашего прежнего председателя, доброго гурмана и сластолюбца, и вел себя действительно орлом.

Толпа, из кого бы она ни состояла, всегда была и будет более или менее стадом; но толпа, собранная из «нас», из мужиков-гласных, вполне подчиненных «нам же», то есть мировым посредникам, была уж действительно таким стадом, в котором несколько Сладкопевцевых и Подугольниковых оказались сразу затертыми и заглушенными. «Орел», конечно, это видел и понимал, что дело его, или, как он говорил, «наше земское», в шляпе, но ему хотелось еще поломаться, и он просил не торопиться решением, обдумать, посоветоваться, выбрать человека, который пользовался бы большим, чем он, доверием, и проч. Но все это только дразнило нас и злобило. Короче, «мы» победили безусловно. Я этим вовсе не хочу сказать, что если бы мы послушались Сладкопевцевых и Подугольниковых, то сделали бы умно. Они сами в этом деле понимали ровно столько же, сколько и мы, но дело в том, что они все-таки задумывались над тем, что начинают; по-своему рассчитывали, пытали, словом, относились критически; мы же увлекались одной фантазией и «с легким сердцем», очертя голову шли на все, что угодно. Так съели мы выкупные, так «воспитали детей», так принялись закладывать имения, чтобы завести «рациональное хозяйство», так точно пустились в железнодорожные и всякие иные предприятия. «Орел» получил, разумеется, самые широкие полномочия: ему доверялось от имени

земства ходатайствовать где следует и у кого следует о разрешении нам выстроить дорогу «на свой страх и риск». Ни поверстная цена, ни протяжение линии — ничего не было обозначено и оговорено, так что строительный капитал он мог просить и определять какой угодно, а мы между тем гарантировали, что он, этот неизвестный нам строительный капитал, будет приносить пять процентов годовой прибыли. О таких тонкостях, как, например, сколько выпустить облигаций и сколько акций, понятно, и речи не могло быть, уже по той простой причине, что *ни один человек у нас в уезде понятия об этом не имел.* Это факт, и как он ни удивителен, но тем не менее совершенно верен. Еще менее могло быть речи об условиях выпуска этих акций и облигаций, то есть когда, по какому курсу и проч., что, как это известно каждому биржевому зайцу, составляет вопрос громадной важности для всякого акционерного дела. Ничего этого мы знать не знали, ведать не ведали и все это предоставили «орлу», на его благоусмотрение.

Когда все это было порешено на словах, — а порешили мы все это очень скоро и легко, — «орел» пригласил нас, «по русскому обычаю», «похлебать его щей», пригласил всех без исключения, все собрание.

— Пока будут писать и составлять протоколы, не ждать же нам тут? Пожалуйста, господа, ко мне все! — говорил он, кого пожимая за руку, кого трепля по плечу.

И все мы, человек семьдесят, гурьбой отправились к нему на квартиру. Все перемешалось: старшины-гласные, гласные-попы, «мы», Сладкопевцевы, Подугольниковы — никто не осмелился отказаться, именно не осмелился, потому что это значило бы показаться чем-то вроде изменника.

В «земстве», то есть в квартире, в которой помещается земская управа и где теперь было земское собрание, остались только писцы и секретарь «орла», привезенный им с собой из Петербурга, — личность, совершенно никому не известная, молчаливая, с холодным, рыбьим взглядом, с цепочкой, на которой висело несколько железнодорожных жетонов, из чего мы заключили, что он дока в своем деле. Так и «орел» нам его рекомендовал.

— Это, господа, — говорил он, — не человек, а клад; это профессор по этим делам. Его мне сам Николай Николаевич дал... он у него — правая рука!

— А кто это Николай Николаич? Не секрет?..

— Кто Николай Николаич? Николай Николаич — это все. Если он взялся за дело — значит, оно наверно удастся. Без него ни одно дело в Петербурге не обходится. В двадцати двух компаниях директором служит. Три содержанки содержит. Да это такая личность, что если вам про него начать рассказывать, так никто не поверит.

— А за наше дело он взялся? — спросил кто-то.

«Орел» улыбнулся.

— Да, взялся, взялся... Да уж сделаем, господа. Я тоже на ветер слов не бросаю.

— А большое «они» себе за это вознаграждение потребовали? — опять осмелился спросить какой-то из Сладкопевцевых.

«Орел» был весел, опасность миновала, дело было действительно уж в шляпе, и потому он, добродушно потрепав по плечу Сладкопевцева, заметил ему среди общего смеха:

— Все будете знать, милейший Ардальон Васильич, скоро состаритесь!

Польщенный такой любезностью «орла», Сладкопевцев смешал свое радостное настроение с нашим, и согласие больше уж не нарушалось. «Орел» рассказывал, а мы слушали. Шампанское лилось рекой, жженка пылала, сюртуки нараспашку, гласные от крестьян, волостные старшины, отплясывали трепака вместе с некоторыми из «нас»; Сладкопевцевы, собравшись в группу с гласными от духовных, пробовали спеть «концерт». Подугольниковы и «образованные из купечества» косились на зеркала и, чтобы не войти в искушение, отворачивались от них, сознавая, что руки уж чешутся, чтобы пустить в них бутылкой. Два ремонтера, случайно бывших в городе, показывали, как у них в полку едят рюмки, и с окровавленными ртами жевали хрусталь. Было уж за полночь, когда явился Владислав Казимирыч, секретарь, о котором говорено было выше, и привез с собою целый ворох бумаг для подписи гласным. «Орел» хотя и пил со всеми вместе, но пил, что называется «себе на уме», и потому почти не был пьян. Лишь только Владимир Казимирыч показался с бу-

магами, он всех бросил, взял его под руку и начал что-то говорить, кивая и указывая глазами на нас.

— Вы их не знаете...

— Мне кажется, и завтра ни один не откажется...

— Нет, уж теперь заодно.

— А как бы потом...

— Ничего!

Больше я не мог разобрать. Я сидел в углу, в глубоком кресле: «орел» сначала меня не заметил, и только потому я мог кое-что услыхать из их разговора. Они отошли, что-то поговорили еще, и вслед за тем «орел» пошел в толпу, обступившую окровавленных ремонтеров, и начал звать к столу, на котором Владислав Казимирович раскладывал протоколы и прочие бумаги.

Началась площадно-потешная сцена. Полупьяные и совершенно пьяные, ничего не читая, даже не будучи в состоянии что-либо прочитать, подписывали свои фамилии, капали чернилами, ломали перья. «Орел» и Владислав Казимирович измучились с ними, устраивая порядок, и все-таки кто-то ухитрился под одной и той же бумагой подписаться три раза. Ремонтеры тоже изъявили желание «приложить руки»; кто-то начал упрашивать, чтобы мы их допустили это исполнить, потому что они отличные ребята, а в Петербурге кто же узнает, что они не наши гласные? Владислав Казимирыч наотрез этому воспротивился, и чуть-чуть не вышло «истории». «Орел» вмешался, уладили дело, и опять начались обнимания и целования. Лакеи накрывали ужин. Кто-то зацепился за скатерть, упал, и целая груда тарелок с грохотом разлетелась вдребезги.

— Это к счастью!

— Наверно удастся!

— Господа! надо качать Владимира Николаевича!

И пьяная толпа подхватила и понесла «орла».

— Господа! К Зойке, в «китайский монастырь»! Все!

Рассветало. Начинался великолепный летний день. В отворенные настежь окна врывался свежий утренний воздух, но и он никого не трезвил.

— К Зойке! к Зойке!

— Владимир Николаич! и вы с нами. Мы для вас всё сделали, теперь и вы не откажите!

— Пойдемте, что ж делать! — пожимая плечами и улыбаясь, обратился он к Владиславу Казимирычу. — Отказываться нельзя, вы их не знаете!

— Нет-с, это везде так. Вот Николай Николаич нынче зимой посылали меня в О—вскую губернию с тамошним предводителем, тоже надо было от земства кое-что получить, так то же самое почти было, даже хуже... За эти три года чего я уж не насмотрелся! — совершенно равнодушно говорил секретарь, собирая и укладывая в портфель подписанные бумаги и протоколы.

Толпа не ждала. Половина гласных валила уж на улицу и дожидалась остальных с «орлом» во главе. Владимир Николаевич запер бумаги в кабинет и, насвистывая и подпрыгивая, совершенно счастливый, надел фуражку, и «земское собрание» в полном составе, кто в своем экипаже, кто на извозчике, кто пешком, направилось в пригородную слободу, в «китайский монастырь», к Зойке. По дороге попался какой-то квартальный, прихватили и его с собой, потом попался гласный дьякон, убежавший было из собрания, когда был вотирован вопрос о посещении Зойки, стали и его тащить с собою. А между тем уж начинался белый день, и показавшееся из-за реки солнце осветило своими первыми лучами срамную картину.

— Во-о-он Зойкин дом! — радостно зазвонила толпа, увидав вдали «китайский монастырь» с пьяным, сонным, нарумяненным населением, конечно не ожидавшим в это время нашего посещения...

Вечером, на другой день, Владимир Николаич и Владислав Казимирыч уехали в Петербург, разумеется, напутствуемые нашими пожеланиями успеха и «рекой шампанского».

— Владимир Николаич, да вы пишите нам оттуда, как пойдет дело. А то вы уедете, и — как в воду.

— Ведь вся надежда на вас!

— Господи! Если б только удалось вам это дело!

— Все наше спасение в дороге. Неужели и это сорвется?!

— Не сорвется, будьте покойны, — авторитетным тоном говорил «орел», — у нас с Николаем Николаичем эти дела не срываются.

— Вы все-таки пишите, ради бога! — приставали мы к нему.

— Господа! эти дела требуют тайны, и писать об них во всеобщее сведение нельзя. Вы знаете, какая-нибудь дурацкая корреспонденция может все дело зарезать, а уж нагадить и затормозить — наверно. Вы не знаете этих дел. Верьте нам! Уж если взялись...

— Прощайте!

— Прощайте! Ура!

Долго еще стояли мы, следили за коляской и махали платками. «Орел» тоже оглянулся на нас раза два и поднял над головой свою предводительскую фуражку с традиционным красным околышем.

Всем нам давно уж было пора разъезжаться по своим Осиновкам и Ивановкам, где в полном разгаре шла работа, но мы никак не могли прийти в себя: фантазировали, строили планы, опохмелялись, вновь напивались, и много хлопот было в то время Зойке выпроводить нас домой.

Наконец «земство» разъехалось. Месяца через два я был в городе. В общем зале «Северной Пальмиры», куда я пришел обедать, сидела группа инженеров и каких-то неизвестных мне людей, всего человек пятнадцать. У нас, как и во всяком уездном городе, все друг друга знают, и потому появление такой «массы» незнакомцев, естественно, интересует, хотя бы просто от нечего делать. И инженеры и статские были в высоких сапогах, загорелые, в обрызганных грязью, запыленных сюртуках; некоторые сидели в фуражках. Все они уж пообедали и пили теперь кофе; немного погодя им принесли замороженное шампанское, которое лакей и начал выливать из бутылок кусками в стаканы. Они брали их своими загорелыми и грязными руками и глотали почти залпом.

— Еще полдюжины!

— Нет, что это за ослы! Представьте себе, сегодня утром подхожу я с «партией» к «Трем прудам» — навстречу мне Иван Петрович. Знаете его? — Он назвал фамилию одного из наших помещиков. — Познакомились мы. И первое, о чем начали, — провести линию так, чтобы вокзал станционный был у него перед домом на той стороне реки. «Да ведь для этого, говорю, надо будет железный мост строить». — «Так что же, говорит, я вам заплачу!»

— За мост?

— Нет, так, мне лично предлагает, за направление линии!

Хохот. Кто-то советует не церемониться, а брать.

— Брать! А с кого прикажете брать, когда рядом сосед просит с него делать станцию?

— С обоих и брать!

— А по-моему, брать с того, у которого и без его просьбы следует строить станцию. Те, пожалуй, будут после претендовать, что с них взяли, а ничего не сделали, а этот будет сдуру воображать, что у него потому только станция, что он дал...

Соображение показалось очень остроумным, и все его одобрили. Принесли еще шампанского, розлили его по стаканам, и вскоре опять раздалось:

— Эй, еще полдюжины!

Немного погодя сюда же, в общий зал, один по одному начали собираться наши помещики, приехавшие из деревень по делам. Некоторые из них были знакомы с инженерами, и потому сейчас же все слилось в одну компанию.

Меня посвятили во все подробности их приезда и пребывания. Оказалось, что они уж тут с неделю и делают, по поручению «орла», изыскания будущей земской дороги.

За всю работу, которая продлится много-много две-три недели, им обещано пятьдесят тысяч.

— Вот этот молодой, с черными баками, — шепотом говорил мне мой сосед, — главный инженер и получает одного жалованья пятнадцать тысяч да столько же «доходов». Эти два — его помощники, а все остальные — техники, чертежники, мелочь. Он нам и дорогу будет строить.

Все с ними любезничали и даже как-то скверно; правильнее, заискивали, подличали. Кто-то и тут не утерпел и начал просить, нельзя ли станцию построить в его имении? Инженеры, напротив, вели себя нагло, небрежно, ломались, пересмеивались друг с другом. Так, должно быть, завоеватели ведут себя в покоренной стране.

А сосед продолжал шептать мне:

— Вот этот «его» помощник, блондин, вчера уж посватался за Петра Иваныча дочь, Наденьку... Знаете ее?

— Как? Так скоро?

— Вы тише. Имение у Петра Иваныча ведь уж до того расстроено, что нынче весной даже сад вырубили, а

«он» хоть и молод, но, во-первых, практичный человек, стоит на дороге и не мот; у него уже теперь порядочный капитал есть, а со временем, наверное, миллионер будет. Денег ведь у них через руки страх что проходит. Вот только одно останавливает — происхождения он низкого, сын какого-то кучера придворного... Впрочем, по нашему времени что такое мы, дворяне!

Инженер, про которого мне говорили, что он главный, посмотрел на часы.

— Ну, господа, нам пора. Эй! Сколько с нас?

Он запустил руку в карман штанов, вытащил кучу смятых сторублевок, бросил одну из них лакею, сделал общий поклон и, не дожидаясь сдачи, тут же в зале надел фуражку, и вся гурьба, стуча грязными сапогами по паркету, пошла к выходу.

— Вот кому житье-то!

— А денег-то что!

«Погоди, будет своя дорога и у нас они опять заведутся», — рассуждали «мы», с завистью посматривая на батарею шампанских бутылок, на недопитые стаканы вина.

— И это они часто так? — спросили «мы» лакея.

— Каждый день-с, как приедут «с линии» кушать.

— Вот и не помещики, а как живут!..

Прожили так они у нас недели три, уехали в Петербург, и о «нашем» деле опять ни слуху ни духу. Наступила осень. Кто смог, опять кое-как заплатил проценты и погашение в опекунский совет, кто не смог, того съели Подугольниковы или Сладкопевцевы; но съели с осторожностью, оглядываясь и извиняясь, потому что хотя слухи о дороге замолкли и престиж наш опять значительно упал, но все-таки они как будто чего-то побаивались: а ну, дескать, чем черт не шутит!.. Изрубили мы капусту, мороз «хватил» рябину, собрали и ее и налили наливку, — словом, проделали то же самое, что и в прошлом году, и уж совсем собрались было закупориться на зиму, как из города пришло известие, что прилетел «орел» с концессией.

Господи, что это был за момент! Никаких повесток, никаких приглашений не было никому послано, а между тем в два дня весь уезд был в сборе. Разумеется, дело это интересовало и меня, и я поехал вслед за другими. Обе наши гостиницы были до того полны, что нескольким

приезжим на ночь постилали спать на биллиардах. В той общей зале «Северной Пальмиры», где происходило описанное угощение инженеров, теперь негде было упасть яблоку. И мы, и Сладкопевцевы, и Подугольниковы, и «городские купцы», все это толпилось, все расспрашивало; то и дело ездили и ходили на квартиру к «орлу», узнавали, в чем дело, просили о подрядах при постройке, о местах. Кто предлагал ставить лес, кто кирпич, кто кормить рабочих. «Орел» всех принимал, всем обещал, но все что-то уединялся с тремя-четырьмя нашими уездными авторитетами. Двое или трое влиятельных купцов «из городских» тоже уединялись с ними и также о чем-то беседовали «по душе». Рассказывали, что к губернатору опять послана просьба о разрешении нового экстренного собрания и сегодня ждут этого разрешения.

— Вы видели концессию?

— Он еще вчера ее показывал.

— Это целая тетрадь. Копия у министра, а у «него» подлинник.

— Нет, у министра подлинник, а «у него» копия.

— Ну вот, спорьте еще! А зачем же печати?

— Печати и на копиях бывают.

— Одних залогов, говорит, надо внести в казну более полумиллиона...

— Стало быть, деньги уж получили?

— Какие деньги? Их еще надо отыскать. На это ему новая доверенность нужна.

— А англичане?

— Вот то-то, для англичан.

— Ну, а когда же мы акции получим?

И так далее, и так далее. Разобрать ничего нельзя было, да и не мудрено, когда никто решительно ничего не понимал. Все чувствовали, нюхом чуяли, что жаркое готово, но как до него добраться, как его ухватить — вот вопрос.

Конечно, и на этот раз губернатор прислал нам разрешение. «Орел» приехал в собрание с тем же уж знакомым нам Владиславом Казимирычем, так же точно и на этот раз невозмутимо-равнодушно смотревшим куда-то вдаль своими рыбьими глазами. Он шел за «орлом» и нес толстый, богатый портфель. Все уселись наконец, и в зале воцарилась мертвая тишина.

— Господа, — начал «орел», — я счастлив, что дело, которое я вам посоветовал начать, нам удалось. Очень немного пройдет времени, и все мы оценим значение дороги для нашего края. В ней все наше спасение, и раз она дана нам — мы спасены. Да, мы уж теперь на берегу! — каким-то громовым голосом воскликнул он. — Но я в долгу у вас... я должен вас благодарить, что вы дали мне случай сослужить эту службу нашему сословию и всему земству. Не всякому выпадает такое счастье. Благодарю вас, господа!

Он встал и в пояс поклонился собранию. Страшный крик и гам поднялся ему в ответ. Все повскакали со своих мест и обступили его. Разобрать ничего нельзя было; ему жали руки, «по русскому обычаю» целовали его. Право, мне кажется, с полчаса стоял такой гам, что никто ничего не слыхал и не понимал. Когда, наконец, мало-помалу собрание успокоилось и опять все уселись на свои места, он продолжал:

— Но дело пока сделано наполовину. Мы имеем только концессию, то есть право выстроить дорогу, а не самую дорогу. Эта вторая, оставшаяся половина дела, гораздо труднее первой. Я устал, господа, и был бы вам, повторяю, много благодарен, если бы вы возложили эту тяготу на кого-либо другого...

И теперь, как в прошлый раз, поднялись крики: «Вы! никому кроме вас не доверяем!» — и проч., и проч.

— Нечего делать, послужу насколько хватит мне сил, но буду просить, чтобы вы теперь же выбрали в правление двух директоров от земства, как это требуется уставом нашей дороги.

— Нечего нам выбирать! Выбирайте сами!

— Кого назначите, того и выберем!

— В таком случае я бы просил выбрать: Аркадия Юрьевича... Платона Васильевича или Григория Алексеича...

Это были те уездные авторитеты, с которыми он эти дни все беседовал по душе. Само собой разумеется, всех их выбрали единогласно тут же.

Затем «орел» начал говорить, что прежде всего нам нужно будет подумать о том, что через две недели мы должны будем внести в казну полмиллиона рублей залогу — иначе концессия потеряет свою силу, и начатое

дело может достаться в другие руки, за которыми дело не станет, потому что в Петербурге их всегда много. Потом говорил, что надо найти строителя, который взялся бы построить дорогу и получить уплату от нас не деньгами, а акциями и облигациями этой же будущей дороги нашей. Что такого строителя очень трудно найти, так как казна очень строго «принимает», то есть разрешает дороги к открытию, и были уж примеры, когда подрядчики-строители или разорялись, или по крайней мере несли громадные убытки. Все это в конце концов незаметно свел он к тому, что ему ли или кому другому доверит земство и найти, и внести залоги, и заключить контракт с строителем, — все равно, необходимо нужна полная и широкая доверенность, и выдать ее следует немедленно.

Новый взрыв восторга, уверений в доверии и проч. покрыл и эти слова.

— Господа! это очень важный документ, и, как не юрист, я просил в Петербурге Николая Николаича составить его. Он эти дела знает как свои пять пальцев и был так любезен, написал нам бумагу. Прочтите ее нам! — обратился он к безмолвно сидевшему все время Владиславу Казимирычу.

Этот встал, вынул из портфеля четко, крупно исписанную тетрадь и начал ее читать каким-то мертвым, бесстрастным голосом. В зале было так тихо, что, как говорят, если бы муха пролетела, и то услыхали бы. Долго, минут двадцать кажется, читал он эту бумагу, наконец кончил, положил посреди стола и опустился на стул. В зале было такое же мертвое молчание, как и во время чтения. Так прошло с полминуты. Откинувшись на спинку своего председательского кресла, «орел» медленно обводил глазами по головам сидевших против него гласных. Ни слова, ни звука. Но вот из первого ряда кресел поднялся тот самый Аркадий Юрьич, о котором я говорил, ленивой походкой подошел к столу, взял перо, не спеша обмакнул его в чернильницу, пододвинул тетрадь и первый подписал роковую доверенность. Начало было сделано, и один за другим «мы» начали подходить и подписывать. «Орел» сидел молча, серьезный, по-видимому равнодушный ко всему, что происходит перед его глазами; но хоть немного наблюдательный человек без труда заметил бы, что он сидит ни жив ни мертв; что минуты, которые он

переживает теперь, для него роковые, решается вопрос: быть или не быть.

Мы безмолвно решили: быть, и когда очередь подписываться дошла до гласных — волостных старшин, о которых я уж столько раз упоминал, тогда только он вздохнул, глубоко, тяжело; поднялся с кресла, потянулся, и по губам пробежала та довольная улыбка, которою улыбается человек, сознающий свое неизмеримое превосходство над толпой.

Это единственный раз в моей жизни, что я видел, как толпа, ровно ничего не понимающая в деле, как-то инстинктивно чуяла, что ее провели, одурачили. «Орла», разумеется, все по-прежнему окружили, улыбались, просили не забыть при раздаче подрядов и поставок; но слышалась уж какая-то другая нотка у всех в голосе. Это уж не были те отношения бесконечной благодарности к спасителю, которые прежде проявлялись при каждой встрече и проводах; это было заискиванье у начальства, выпрашиванье подачки. Друг с другом все чувствовали тебя тоже как-то неловко, как неловко бывает встретиться людям, вместе сделавшим когда-то глупость. В группах, подальше от «орла», было сказано несколько фраз вроде: «снявши голову, по волосам не плачут», «то-то, говорят же: семь раз отмерь, а один раз отрежь», «что же вы молчали, — теперь поздно» и проч. Только вновь выбранные директора от земства были по-старому веселы. Почему? Это мы узнали очень скоро, но все-таки не сейчас.

На другой день утром «орел» и директора улетели в Петербург.

Разъехались по деревням и мы. Наступило время, когда деревенская жизнь обращается в одиночное заключение, — наступил ноябрь. Эту зиму мне надо было прожить за границей, и я едва дождался, когда, наконец, дела устроились и я мог уехать.

В январе я получил в Париже письмо из деревни, в котором, между прочим, писали, что «наше дело», то есть дорога, с весны будет уж строиться; что подрядчики, инженеры и прочий железнодорожный люд уж съехались, нанимают рабочих, свозят лес, шпалы, камень; одним словом, дело в разгаре. В то же время в письме были какие-то намеки на то, что «орлом» «земство» крайне недовольно, что он «провел» его. Так как я был заинтересован

только в том, чтобы факт постройки дороги осуществился, а провел ли «орел» «земство» или нет — мне было все равно, то я и не расспрашивал в письмах, почему и за что недовольны им. Мне тоже не писали ничего больше об этом; так оно и забылось. Наступила ранняя парижская весна. Погода стояла очаровательная, и масса народа валила по бульварам в Булонский лес. Давка была ужасная: экипажи ехали почти шагом. Вдруг позади моей извозчичьей колясочки раздалось пьяно-хриплое басистое: «берегись — эй!..», и вслед за тем две лошадиные морды показались у самого моего левого плеча. Я невольно оглянулся. На дрожках, запряженных парой великолепных вороных «на отлет», с русским кучером на козлах, сидел один из наших земских директоров — Аркадий Юрьевич. Осанка, взор, спокойствие, достоинство такое, что, я убежден, толпа, наверно, принимала его за какого-нибудь самого высокопоставленного из наших соотечественников. Кругом слышались замечания и похвалы русским лошадям. Кучерский наряд называли нашим национальным, и так как все время приходилось ехать шагом, несмотря даже на громовые «берегись, эй!», раздававшиеся время от времени, то я и наслушался этих толков вдоволь. Немного погодя толпа так стеснила экипажи, что пришлось на время остановиться, и Аркадий Юрьевич очутился со мною бок о бок.

— Сергей Николаевич!

— Аркадий Юрьевич!

Оказалось, что он здесь, в Париже, живет уже три недели и намерен прожить до зимы. На зиму думает приехать в Петербург и проч.

— А что ж, когда в Петровку?

— Ах, помилуйте! Эти ослы вообразили, что «мы» будем для них даром работать, и когда узнали, что мы «нажили» на дороге, теперь начинают какой-то дурацкий процесс, кричат в газетах! Да вы заезжайте, пожалуйста, ко мне завтра, я вам все расскажу.

— Я завтра еду в Россию.

— Так что ж? Заезжайте утром...

Но в это время вереница экипажей тронулась, все смешалось, и наш земский директор пропал у меня из виду.

«Сколько же «они нажили», однако? — раздумывал я. — Доходу с своей Петровки он получал не более шести тысяч годовых, и жить на них не только в Париже, но и в нашем городишке невозможно, держа таких лошадей. А Сладкопевцев с Подугольниковым говорили еще, что вся цена нам теперь грош!»

Но это были цветки — ягодки меня ждали в Петербурге. На другой день я, как и рассчитывал, поехал в Россию. В Петербург я попал на последний день пасхи и в тот же вечер был в Большом театре. При разъезде я столкнулся с одним нашим помещиком, безвыездно жившим уж лет пятнадцать в своей Ивановке и теперь вдруг зачем-то очутившимся в Петербурге. При таких неожиданных встречах всегда как-то невольно удивишься и спросишь: как, дескать, вы сюда попали? Это, конечно, неделикатный вопрос, и обидчивые люди ужасно им формализируются; тем не менее удержаться от него иногда бывает положительно невозможно. Так было и теперь. Петр Иванович немного обиделся, но скоро успокоился и, обрадованный случаю поболтать с земляком, стал звать ехать вместе ужинать.

— Да я не ужинаю.

— Ну, чего-нибудь холодненького.

Мы попали к Борелю.

— Кто-нибудь из «наших» есть? — спросил он у татарина.

— Владымыр Ныколаич, Грыгор Васылыч там наверху с барышны, и Ныколай Ныколаич там.

— Это не наши. А «из наших» никого?

— Никого.

Я ничего не понимал, но все-таки был поражен таким прогрессом. Лакей-татарин безобразно дорогого ресторана знает наперечет моих соседей — людей вовсе не с блестящим состоянием, и не только знает, но знает даже, какой из них принадлежит к какой партии. Черт знает что!..

— Это не наши. Это наши грабители, — говорил Петр Иванович. — Мы им покажем! Погодите! Это нельзя так оставлять. Земство — сила. После этого что ж такое будет? Этак и я захочу миллион нажить, схвачу его именем земства, да и прощай. Разве это можно? — кипятился он.

— Да в чем дело-то? Ведь я ничего не знаю, что у вас тут вышло?

— Ограбили нас — вот и все. Дорогу получили от имени всего земства, а барыши поделили между собой только несколько человек. Все мы с носом остались, всё земство ограбили.

О каких барышах он говорил, откуда эти барыши взялись, — я ничего не понимал, и сколько он мне ни толковал, все равно ничего не мог себе уяснить. В голове у него был такой хаос, такое полное непонимание акционерного дела, что и никто бы на моем месте его не понял. А он еще вдобавок горячился. Я узнал только, что «земство, выведенное из терпения», при виде, что дорогу вот-вот начнут уже строить, и слыша, что «орел», «земские директора» и еще несколько человек, более авторитетных в уезде, преимущественно мировые посредники, располагавшие голосами гласных от крестьян, нажили огромные деньги, а остальным хоть бы «понюхать дали», — решили потребовать у «орла» и двоих директоров во всем ответ.

— Да какой же вы от них ответ будете требовать после того, как вы дали такую доверенность?

— Это ничего не значит! Мы и к министру и дальше пойдем. Нам тоже дали доверенность! Мы к нему, то есть к «орлу», все трое завтра утром, в час, приедем с требованием, чтобы он дал нам отчет, куда он девал наши деньги.

— Какие?

— А вот те, которые они между собой поделили. Идея была наша, дворянская, помните, тогда на баллотировке? Мы все согласились, все настаивали и поддерживали его; стало быть, между всеми должны быть и деньги разделены; а так, как они распорядились, — разве можно?

И так далее, и так далее. Становилось скучно, да к тому же и спать захотелось с дороги. Я встал и начал прощаться.

— Поедемте вместе, ведь нам по дороге.

— Так одевайтесь.

В это время по лесенке, которая ведет у Бореля наверх, в «кабинеты», подбирая юбки и путаясь в них, спускалась француженка, а за нею наш «орел».

— Вон он! — чуть не вскрикнул Петр Иваныч, — ведь это всё наши денежки играют... Грабители!..

Я расхохотался.

— Мои-то тут какие же деньги?

— Как же, помилуйте! — и т. д.

«Орел» меня сейчас же заметил и подошел.

— Давно приехали?

— Сегодня.

— Аркадия Юрьевича там видели? Он, говорят, там кутит напропалую... Чудак!

Я начал рассказывать свою встречу.

— Да вы куда же? Пойдемте к нам в кабинет. — Он покосился на Петра Ивановича. Я начал отказываться: спать хочу, устал.

— Ну, на минутку. Мы тоже сейчас разойдемся. Вот я ее только провожу, — кивнул он на француженку. — Эй! карету поскорей.

— Вы скоро? — спросил Петр Иванович.

— Сейчас. Прощайте.

— Нет, я вас не пущу, хоть на минутку, зайдите. Ну, прошу вас. У меня дело к вам! — приставал «орел».

Петр Иваныч повертелся, повертелся и как-то незаметно шмыгнул в дверь. Француженке подали карету; «орел» пошептал что-то ей на ухо, схватил меня за руку и потащил наверх.

— Прелесть девчонка! еще свеженькая! Она с Дыхаревым живет. Вы знаете его, он —ский предводитель; вместе тогда нас выбрали. Он тоже хлопотал от своего земства о концессии и вот только перед самой пасхой ее заполучил... Очень рад! Ей-богу, я всегда так рад, когда вас встречаю. В дрязги наши вы не мешаетесь... Я вам много кой-чего расскажу.

— Господа! — крикнул он, пропуская меня в дверь, — наш помещик, Сергей Николаевич!

Он назвал мою фамилию. Изнутри комнаты послышались голоса. Я близорук — сразу никого не узнал. Меня так и обдало запахом дорогих сигар, вина, ананасов, помады, духов, испарением горячего тела. Кроме люстры, в углах кабинета каким-то красным пламенем горели свечи в двух громадных канделябрах. И все-таки казалось темно в этом насыщенном воздухе. Посреди стола, в горшке, распяленный на палках ананас, точно руки, поднимал к небу свои связанные листья. Масса таких же листьев на столе, на полу; шелуха ананасная, апельсинная, грушевая; тарелки с жареным с солью миндалем,

ликеровые бутылки в плетушках и целая батарея пустых сельтерских бутылок. Человек пятнадцать сидели и лежали на креслах и диванах. Я заметил трех женщин между ними. Одна спала, упав ничком на диване, расстегнутая, вся измятая; на спине — апельсиновая корка. На том же диване, в ногах, откинувшись к спинке, бледная, с мокрой повязкой из салфетки на лбу, — другая. Третья, на ковре, на коленях, обхватывая руками кого-то лежащего на кушетке, несет вздор и хохочет. Видно было, что тут уж долго и много пили и грубо безобразили.

— Бывайте знакомы, — проговорил «орел», подводя меня к сидевшей у стола громадной куче тела, обросшей на голове коротко выстриженными рыжими волосами, — Николай Николаевич Саламатов.

На меня сверкнули заплывшие жиром, маленькие, острые черные глаза, теперь налитые кровью.

— Очень рад. — Ко мне протянулась лапа. — Он из наших?

— Он? Он ни «их», ни «наш», — ответил про меня «орел». — Он в наши дела не мешается.

— Благую, значит, часть избрал!.. А мы вот пьем сегодня с самого завтрака и все напиться не можем...

Начались представления меня остальной компании. Оказалось, что все это предводители или директора от земства. Двух я знал и раньше — были люди очень скромные в своих углах, а теперь финансисты стали.

— Да сколько же это дорог вы, господа, успели выстроить? — спросил я, невольно изумленный таким родным прогрессом.

— Много! — проговорил Саламатов и опустил голову на свои скрещенные на столе руки.

«Орел» начал рассказывать, что им «у нас» недовольны, что директорами от земства тоже недовольны, затевают процесс.

— Да вам, вероятно, Петр Иванович рассказал уж?

— Что-то говорил, только я ничего не понял; какой-то отчет они требуют.

— Вот я им этот отчет завтра покажу, — поднимая свою голову, злобно сказал Саламатов.

К столу подошли несколько человек и стали возмущаться требованием отчета.



— Ah, mon Dieu, mon Dieu,[1] — стонала француженка с повязанной головой.

— Что она там визжит? Надо ее, господа, отправить! — послышался чей-то голос. — Эй!

— Вели карету m-lle Marie подать; проводи ее.

Женщину кое-как отправили, накинули ей на плечи ротонду, и, качаясь, она вышла, ни с кем не простившись.

— Завтра я им покажу отчет, — повторял Саламатов, заметно все более и более отрезвляясь. — Эй, сельтерской!

Татарин принес и раскупорил бутылку. Он выпил ее залпом и стал икать и отдуваться.

Кто-то опять заговорил о деле.

— Бросьте, надоело!

— Завтра поговорим о деле. Сегодня пить и пить... будем пить?

Перед лежащим на кушетке предводителем —ских дворян все еще стояла на коленях француженка и упрашивала его ехать prendre l'air.[2]

— Что ей от меня нужно? Спать, проклятая, не дает.

— Зовет кататься, — перевел ему Саламатов.

— А этого не хочет?

Раздался дружный хохот. Француженка вскочила и обругала его свиньей.

— Ну, господа, если хотите пить — будем пить, а нет, так в самом деле лучше куда-нибудь проехаться: здесь душно. А? — спросил Саламатов.

— Пить довольно. Куда же больше пить? Завтра дела.

— Так едем. Эй!

В дверях показался заспанный татарин с салфеткой под мышкой и щурился на свечи.

— Вели это за мной записать. Платье подавай.

Все начали одеваться, выходить в коридор.

— А что же с ней мы будем делать? — спросил кто-то, указывая на все еще спавшую француженку.

Саламатов решил, что ее надо «по-настоящему» с собой взять. Начали будить — не просыпается.

— А вот у меня живо вскочит! — догадался какой-то предводитель, подошел к ананасу, обломал у него огром-

---

[1] Ах, боже мой, боже мой *(франц.)*.
[2] Подышать воздухом *(франц.)*.

ные длинные толстые листья и шутя начал стегать ее ими. Опять хохот.

— Ну, не просыпается, так черт с ней, пусть здесь и спит до утра! Она с кем была?

— Со мной, — отозвался земский директор соседнего с нами уезда.

— Дайте ей денег и поедем.

— Да ведь она спит.

— Засуньте в карман.

«Земец» свернул три сотенных бумажки, отыскал у ней карман и положил их ей.

— Не потеряет?

— А он на что? Ты, Абдулла, смотри, чтоб цело было. Слышишь? — приказал Саламатов, тыкая татарина палкой в живот.

— Помилуйте, будте покойны.

— То-то, будьте покойны, — передразнил он его, — а вон намедни у Камильки вытащили.

— Это не у нас-с. У нас это невозможно.

Уж рассветало. Начиналось больное, бледное, сырое петербургское утро; накрапывал мелкий дождик. Вдруг проснувшийся при нашем выходе на улицу городовой начал будить кучеров и извозчиков.

— По домам, что ли? — спросил Саламатов, грузно опускаясь в коляску, верх которой он велел откинуть, несмотря на накрапывавший дождик.

— По домам! — раздалось в ответ.

— Так вы не забудете, приедете завтра ко мне в час? — спросил его «орел». — Пожалуйста, ведь «они» наверно будут.

— Да уж сказал... Пошел домой! — крикнул он кучеру, делая нам общий поклон.

— Вот так голова! И поверите, ведь он сейчас писать какой-то устав сядет. Вы думаете, он спать будет — ни за что! — рассказывал «орел».

Все решили, что это действительно необыкновенный человек и без него все бы «мы» пропали.

— А вы завтра будете у меня? — обратился ко мне «орел». — Пожалуйста, приезжайте. Ведь завтра земские депутаты приедут ко мне отчет требовать. Это такая потеха будет. Уж «он» «их» проберет, — указывая на видневшуюся еще саламатовскую коляску, говорил «орел».

— В котором часу?

— В час.

— Непременно буду.

Мне хотелось видеть и знать конец всей этой «нашей» земской затеи, хотя бы и пришлось провести для этого еще десять таких вечеров.

— Некоторые из предводителей и земцев тоже обещали непременно приехать.

— Поучитесь, — посоветовал я. — Ведь у вас, вероятно, тоже начнутся такие же точно «недоразумения» с вашими земствами.

— Наверно!

«Орел» покосился на меня.

— А я думал, вы нейтральный человек.

— И верно думали.

— Ну уж не рассказывайте!

Я поспешил успокоить его, и мы распрощались. Я пешком пошел домой. Голова была в каком-то чаду от всего виденного и слышанного.

Когда «орел» звал меня к себе присутствовать при приеме земских депутатов, он дал мне свою карточку. Я, не посмотрев, опустил ее в карман. На другой день, собираясь к нему и не зная, где он живет, я ее отыскал и был приятно изумлен его скромным адресом: Малая Морская, собственный дом. У меня невольно вырвалось: «Ого!..» А когда я поднялся в бельэтаж и прошел несколько приемных и когда лакей остановился в дверях кабинета, пропуская туда меня, то я чуть опять не воскликнул: «ого!»

Представьте громадную комнату, в которой все, начиная от зеркал и кончая письменным столом, вызолочено. На камине, на столах все вещички, до плевательницы включительно, — золоченые. Тяжелая драпировка из дорогого желтого брокара на дверях и окнах и желтый же бархатный ковер на полу. Окна выходили не на солнечную сторону, и в комнате, несмотря на такую массу золота, было темно, тяжело. Двое каких-то элегантных молодых людей во фраках ходили из угла в угол, не без остроумия «критикуя» шепотом обстановку. На кресле у окна сидел, закинув ногу на ногу, очень моложавый генерал, из типа

ученых, в очках, с жиденькими белокурыми волосами, и читал газету. От нечего делать я сел к письменному столу и начал рассматривать «обже-д'ары». Все это были фабричные вещи, и между ними ни одной художественной. Я перевел глаза дальше, на стены. Массивные золотые рамы, и в них что-то уж очень налакированные картины. Возле камина, на золоченом столе, громадная золоченая же клетка с пестрым попугаем.

— «Они» сейчас выйдут, — доложил лакей.

Действительно, минуты через три дверь в кабинет отворилась, и я так и ахнул. Передо мной стоял «орел», в одеянии Бориса Годунова. Он был совершенно одет, но вместо сюртука на нем был длинный золотой парчовый халат на белой атласной подкладке, опушенный широкой полосой собольего меха. На минуту он остановился в дверях и как-то странно улыбнулся. Юноши во фраках, ходившие из угла в угол, тоже остановились и изумленно смотрели на него. Генерал опустил газету, сделал из левой руки щиток над глазами, как делают обыкновенно от солнца, когда всматриваются вдаль.

— Совсем Юпитер! — проговорил он. — «Они», как увидят тебя, наверное попадают ниц...

Необыкновенно радостно приветствуя меня, точно любимого родственника после долгой разлуки, «орел» начал мне говорить, что так как я «делов» не делал, то и не мудрено, если меня его костюм удивляет. «В делах» эффект необходим. Вообще что-то такое путал совсем непонятное. Молодые люди находили, что «этот боярский костюм» к нему необыкновенно идет, и очень жаль, что «наша аристократия» не носит своего национального богатого наряда. «Орел» слушал их небрежно, тем не менее слова «наша аристократия» ему несомненно понравились.

— Позвольте сказать вам deux mots[1] по секрету, — как-то неловко ломаясь и в то же время робея, начал один из юношей.

«Орел» подошел с ним к камину, облокотился и стал небрежно слушать, смотря на попугая. Молодой человек с полминуты что-то такое ему объяснял и в это время раза

[1] Два слова *(франц.)*.

три снял и надел пенсне. Наконец «орел» запустил руку в карман своих штанов, вынул оттуда пачку ассигнаций и одну из них сунул в руку юноше. Этот ловко смял ее в кулаке, засмеялся фальшивым, притворным смехом, и оба вместе с товарищем сейчас же исчезли.

— Вы знаете их? — обратился ко мне «орел». — Это Петра Ивановича дети, вот с которым вы вчера сидели внизу у Бореля. Они чуть не каждый месяц являются ко мне и просят сказать deux mots, то есть дай двадцать пять рублей. Хотя, дескать, papa и в оппозиции с вами, но мы так уважаем и любим вас... Однако мне это уж надоело. Эй!

— Этих молодцов не принимать больше, — приказал «орел». — Ну, посудите сами: отец интригует против меня, возбуждает какой-то дурацкий процесс, лезет с отчетом, а я буду содержать за это его детей.

— Генерал Саламатов! — доложил лакей и не успел проскочить назад в дверь, как во всю ширину ее показалась колоссальная фигура Саламатова в расшитом золотом мундире и в ленте со звездой.

— Государю и великому князю! — воскликнул он, стараясь поклониться, насколько позволяло ему брюхо, ниже. — Покажите, покажите! — говорил он, осматривая со всех сторон «орла», глупо улыбавшегося. — Оно, конечно, глупо, а идет. Не правда ли? — спросил он у меня, подавая лапу.

— Ничего, недурно. На Годунова похож...

— Какой Годунов! Сам Иван Васильевич Грозный. Вы посмотрите, как он у меня сейчас будет послов принимать. Что, нет еще их?

Он опустился в громадное золоченое кресло, тяжело вздохнул и, проговорив: «Их, шутов, пожалуй, еще долго придется дожидаться», — начал расстегивать крючки и какие-то кнопки на мундире, незаметно спрятанные под шитьем. Немного погодя, мундир точно лопнул, и оттуда вывалило громадное брюхо, завернутое в белый жилет.

— Уф!.. Нельзя ли сельтерской? — попросил он.

Годунов или Иван Грозный крикнул лакея и приказал ему подать. Один за другим начали съезжаться «гости». Приехал какой-то француз и стал предлагать красное

вино. Потом явился странного вида человек и подал визитную карточку, всю исписанную карандашом.

— Он купил у вас? — спросил «орел», прочитав ее.

— Да-с, две пары.

— Покажите.

Странного вида человек вышел и скоро вернулся с ружейными стволами.

— Настоящий Леопольд Бернар. Вот извольте посмотреть, тут и клеймо их...

Потом один за другим вошли два гвардейских адъютанта. Потом принесли какое-то письмо от кокотки, в котором она пишет, что ей до зарезу нужно сто рублей. По этому случаю начали вспоминать: с кем первым она жила, как приехала в Петербург. Вышел спор. Писать ответ было долго, и потому «орел» просто положил сторублевую бумажку в конверт и, не надписав даже адреса, велел позвать горничную, которая принесла письмо, и отдал ей. Оказалось, что горничная всех знает, а уж Саламатова особенно. Начали говорить всевозможные сальности. Горничная жеманилась и, наконец, убежала.

— Депутаты приехали! — фамильярно осклабляясь, доложил лакей, очевидно посвященный барином в суть дела.

— Проси! — крикнул «орел».

Все стали смотреть на дверь, в которую должно войти земское посольство. Наконец оно показалось. Впереди шел Петр Иванович, за ним Сладкопевцев, а за этим бледный, истощенный юноша, один из наших уездных львов.

Петр Иванович, отставной гвардейский штабс-ротмистр, старик лет шестидесяти, хоть и успевший порядочно таки заплесневеть в деревне, проживая в ней безвыездно лет пятнадцать, но все-таки «в свое время» видавший виды, вошел в золотую палату хоть сколько-нибудь свободно. Сладкопевцев же, отроду не видавший ничего «великолепнее» архиерейской квартиры, ощутил величайшее смущение, остановился в дверях и начал кланяться на все стороны. Странного вида человек с ружейными стволами протянул ему руку; Сладкопевцев так и кинулся к ней, пожал ее раз пять и вновь остановился, поправляя галстук. Молодой человек тоже смутился и не знал куда деть руки. Наконец догадался пальцы левой запрятать за борт сюртука, как делают это военные, а правую заложил

назад, и так и застыл. «Орел» встретил их, стоя у письменного стола, опершись на него правой рукой, в позе, в которой изображают на масляных портретах сановников и вообще великих людей «из служащих». Саламатов смотрел на них, насмешливо-презрительно улыбаясь.

— Вы всех их знаете? — тихо спросил он.

— По фамилиям — да, а знаком вот только с одним этим стариком.

— Хамье какое-то! — процедил он, перекатывая сигару из одного угла рта в другой.

— Мы имели честь, то есть земство, два раза писать к вам, — начал Петр Иванович, обращаясь к «орлу», — но никакого ответа не получали, и потому земство выбрало нас депутатами к вам.

— Очень приятно. Что же вам угодно?

— Мы уполномочены потребовать именем земства отчет в употреблении вами земских денег.

— Каких денег?

— Земских.

— Да кто же мне их давал?

— А от концессии...

— Так это вам, господа, не ко мне надо, а к строителю дороги. Он взялся за концессионную цену выстроить дорогу для земства, и уж как и почем он продал акции — это его дело, а не мое. Это уж вы к нему обратитесь, я тут ни при чем. Я исполнил поручение земства, получил концессию на дорогу, нашел строителя, передал ему постройку — и затем моя роль кончена.

— Так вы не дадите нам отчета?

— В чем?

— В употреблении земских денег.

— Да уж я вам раз имел честь доложить, что я ни от кого никаких земских денег не получал, — так какой же отчет я вам буду давать?

— В таком случае мы должны будем обратиться к министру...

Саламатов, все время внимательно наблюдавший и слушавший, теперь, при слове «министр», как-то выпрямился в кресле, побагровел, страшно выпучил глаза, сделал их зверски злыми и во всю могучую глотку рявкнул:

— Министром вы нас не пугайте! Все, что сделано, сделано законно: подлогов тут нет! Этим делом заправлял

я, председатель правления вашей земской дороги, а что делаю я, Саламатов, то сделано чисто, и ни комар, ни свинья тут носа не подточит!..

Сцена вышла до такой степени неожиданная, в голосе Саламатова звучала такая масса уверенности, силы, власти и чего-то вроде оскорбленного достоинства, никогда никем не запятнанного, что невольно получилось подавляющее впечатление. С полминуты прошло гробового молчания. Он медленно, тяжело поднялся, выпрямился во весь рост и, ни на секунду не спуская глаз с Петра Ивановича, сделал к нему шага два-три:

— Я председатель правления, и что вашему земству желательно знать о дороге — оно может обратиться ко мне в правление: я никогда не откажу дать какие угодно сведения. Я очень доступный человек, но не люблю, когда меня хотят запугать. Я буду завтра в правлении в два часа! — тяжело дыша и отдуваясь, закончил он уже спокойным голосом.

Как ни недавно все это было, тем не менее в то время я и понятия не имел о «делах» и о том, что такое Саламатов. Вчерашний грубый безобразник у Бореля теперь мне показался человеком, способным оскорбляться искренно, когда его заподозревают в чем-то двусмысленном, и, следовательно, во всяком случае не совсем уж дурным человеком. Какие деньги «орел» с компанией нажил и какие от него требуют депутаты, — я ничего не знал, так же точно как не знал и того, в чем тут виноват Саламатов.

Несколько оправившись, Петр Иванович проговорил, что завтра он и остальные депутаты в назначенный час будут в правлении, и вышел, как-то неловко сделав общий поклон. Сладкопевцев, даже присевший на стул со страха во время раската саламатовского грома, очнулся и вместе с облезлым юношей прошел в дверях вслед за ним. Декорация моментально переменилась. «Орел», взволнованный и даже несколько побледневший, протянул Саламатову руку.

— Спасибо! — нервно проговорил он и опустился в кресло.

— А вы уж и струсили? — широко осклабляясь, спросил он и как-то заржал, а не засмеялся.

— Ничего не струсили, а что они ко мне лезут? Ну, пускай жалуются!

— А как потянут? — шутил Саламатов.

— За что?

— Я почем знаю за что... — И он вворотил сальность.

— Вам смешно... а я за все отвечай! — капризно обижаясь, говорил «орел», видимо обеспокоенный на счет будущего.

— Ничего, не робейте! — заметив это беспокойство, сказал Саламатов. — Дело, говорю, сделано чисто, на совесть. — И он приятельски-покровительственно хлопнул его по плечу.

«Орел» вопросительно посмотрел ему в глаза, и счастливая улыбка выздоравливающего больного распустилась у него по лицу.

— И жидки же вы все на расправу, — начал Саламатов. — Ну что бы все без меня поделали? Ведь половина вас уж была бы теперь под судом... Что, он у вас и в уезде такой же храбрый? — кивая головою на «орла», спросил меня Саламатов.

— Да в чем дело-то? Какие они деньги спрашивают? Я вот второй день слушаю и ничего понять не могу, — наивно-глупо спросил я.

— Как какие?

— Они и сами ничего не понимают, — вмешался «орел».

— Ну, ну, ну... пожалуйста! Каких младенцев нашел! Нет, а вы-то серьезно не понимаете, или это так — тень одну наводите? — продолжал Саламатов.

— Нет, я вам серьезно говорю.

Он немного помолчал и, как-то странно улыбаясь, взглянул на «орла».

— Ну да, впрочем, что ж из этого? вот-с, изволите видеть, какие они деньги спрашивают... Ведь вы человек тут посторонний? Никаких денег не требуете?

— Нет.

— А у вас большое имение в этом уезде?

— Нет, в нашем уезде у него маленький клочок; он и доходу-то с него, кажется, не получает, — опять вмешался «орел».

— Стало быть, и вопрос о гарантии вас не тревожит.

— Нисколько.

— Ну, так я вам объясню. Дали вы, то есть ваше земство, ему, — он указал на «орла», — полномочие хлопо-

тать о дороге. При этом вы, то есть опять-таки земство ваше, дали ему доверенность и право заявить правительству, что вы гарантируете пять процентов дохода на весь капитал, имеющий быть затраченным на постройку этой дороги. Так?

— Так.

— Ну-с, концессию для вас он получил, а вместе с этим вы сделались обязанными, если дорога не будет давать пять процентов дивиденда, платить его, этот дивиденд, из своего кармана тем, кто даст вам деньги на постройку дороги, то есть акционерам. Так-с? Понимаете?

— Понимаю.

— Дальше. Сами вы строить дорогу не захотели, не умели, одним словом, а поручили ему и уполномочили его найти человека, который бы представил за вас залог в казну и выстроил вам дорогу. Давали вы ему такую доверенность?

— Давали.

— Вот-с, в силу этой доверенности, он, то есть, положим, не он, а я, ну да это все равно, — нашел такого милого человека, который взялся и залог в казну за вас представить и выстроить дорогу...

«Орел» кашлянул в это время; Саламатов покосился на него.

— Он, этот милый человек, взялся выстроить дорогу дешевле концессионной цены. Получилась разница, а эту разницу получил он... ну, конечно, не один. Вот к ней-то, к этой разнице, у вашего земства и имеется симпатия или аппетит — называйте как хотите. Чувствуют они, что жареным тут пахнет, да поздно догадались. Жаркое-то уж спрятали, и им, конечно, и понюхать не дадут.

— А большая разница? — сорвалось у меня.

— Ну, это уж дело наше... Порядочная. — Саламатов осклабился и уставил на меня свои острые, пытливые глаза.

— Значит, земство будет платить ежегодно пять процентов на эту разницу совершенно понапрасну?.. — спросил я.

— То есть, как вам сказать? Ну да... пожалуй, если вы думаете, что эти дела делаются в Петербурге даром.

— А придется земству платить гарантию? — опять полюбопытствовал я.

— Конечно придется, только не вам, не земству, а казне. Разве при такой сумасшедшей поверстной строительной цене дорога может давать дивиденд?

— Почему же казна-то будет платить вместо земства?

— А потому, что если с вас да с мужиков потянуть эту гарантию, то есть начать ее собирать, так надо будет войска к вам посылать... Ведь мужику-то вашему придется тройные по крайней мере подати платить, а он и теперешние-то едва в силах вносить. Поняли? Что вы на меня так смотрите?

Во всем этом рассказе неверного — только одни имена и фамилии. Так были получены почти все земские дороги, так все они были выстроены; и получение их и постройки сопровождались именно такими условиями, обстоятельствами и даже сценами, как сейчас рассказанные.

Как видит читатель, дороги эти по-настоящему следует назвать помещичьими, а вовсе не земскими, так как земство тут было и есть ни при чем, потому что «мы» пользовались только его именем для получения концессии, ибо наше помещичье имя было уж и тогда для этого вполне ничтожно.

На постройку этих земских дорог пошло, как известно, более ста миллионов рублей. Из этих денег несколько десятков миллионов прилипли к «нашим», помещичьим рукам.

Что мы из них сделали? Что получилось в результате? А вот что: во-первых, «мы», когда свалились нам с неба эти миллионы, ошалели и «взыграли». Потом вообразили, что мы и в самом деле великие финансисты и дельцы, и пустились во всевозможные предприятия. На сельское хозяйство, наверное можно сказать, не пошло из этих денег и пяти процентов — всё ухлопали на аферах. Как глупо пришло, так глупо и ушло. На глазах у всех мы настроили в Петербурге себе дворцов. Кому они теперь принадлежат? Мне нечего называть фамилии — они и так всем известны. В деревнях у себя мы настроили во всевозможных стилях виллы, завели охоты собачьи, скаковых лошадей, оранжереи. Кому и это все теперь принадлежит?

Но этого мало. Сумасшедшая нажива некоторых из нас взманила массу помещиков, уставших к этому времени

в борьбе с новыми условиями хозяйства, пуститься по стопам «счастливцев». Свои родные Ивановки и Петровки опротивели нам донельзя. Зачем же в них сидеть, когда так легко, продав их почем попало, на вырученные деньги заняться «предприятиями»?.. Что из этого вышло — распространяться нечего. И, как венец всего, исполнение предсказания Саламатова, десять лет назад угадавшего, что волей-неволей казна снимет с нас и примет на себя уплату гарантии по дорогам...

— Веселое было время! Француженки до сих пор тужат об нем...

Теперь посмотрим, какое употребление мы сделали из земельных банков, на которые возлагались такие надежды. Ведь уверяли же во время их основания, что вся наша беда в том, что у нас нет поземельного кредита?

V

ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ

Скинь мантилью, ангел милый,
И явись как ясный день...

Как известно, почти одновременно с изданием Положения 19-го февраля опекунский совет, этот незабвенный дворянский благодетель, вдруг ни с того ни с сего, без всякой, по-видимому, причины, перестал брать у нас в залог землю и мужицкие души. Ну, эти последние, то есть души, положим, после 19-го февраля, уж ничего не стоили, и закладывать их стало невозможно; но земля, то есть часть ее, все-таки еще осталась у нас и представляла ценность. Отчего же нельзя ее заложить? Может быть, и ее хотят со временем у нас отобрать и оставили пока в наших руках так только, для видимости: неловко же «все взять» сразу?

— Наверное, так и будет.

— Да-с, дожили до хорошего времечка! — и т. д., и т. д.

Само собою разумеется, такие «разговоры разговаривали» мы потихоньку, с глазу на глаз, да и то с оглядкой, но зато, куда, бывало, ни поезжай, только их и услышишь.

И если Положение 19-го февраля, несмотря на то, что его ждали мы сперва по слухам, а потом на основании «достоверных источников» несколько лет, свалилось нам на головы почти что сюрпризом, к получению которого никто из нас не успел приготовиться, то известие об измене нашего старого закадычного друга, опекунского совета, застало нас уж совсем врасплох. Удери такую штуку любой

земельный банк теперь — это было бы дело плевое: лопнул или закапризничал один банк, на его место сейчас же явится другой, и опять пошла писать. Но тогда было не так. Тогда дело выходило совсем дрянь. А между тем, у всех была еще в памяти соблазнительная процедура заклада имений: поездка в Москву, пребывание там, дивные селянки, икра, осетрина в московских трактирах, посещение Грановитой палаты, Царь-колокол, цыганки... и вдруг все это — тю-тю!

В то время, то есть лет пятнадцать назад или немножко больше, как известно, не было ни железных дорог, ни банков, ни многого того, чем славится цивилизация наших дней и плодами чего мы лакомимся теперь, но зато пожалуй что около половины наших имений было еще не заложено. Конечно, и без 19-го февраля, просто путем постепенного совершенствования, мы дошли бы до теперешнего состояния, то есть все поголовно позаложили бы свои имения, но все-таки это совершилось бы, мне кажется, не так быстро, как совершилось теперь, в силу ускорения прогресса. Новые начала, внесенные в то время в нашу жизнь, положительно не давали нам успокоиться, тормошили, будили нас то и дело, призывая к дальнейшему совершенствованию, и волей-неволей пришлось проснуться и начать совершенствоваться ускоренным порядком. Прежде же было совсем иначе. Заклад имения и поездка для этого в Москву — это была целая эпопея. К такой поездке готовились иногда года по два, служили молебен в путь шествующим, недели две «укладывали» тарантас, потом раздумывали, потом опять надумывали эту поездку, опять служили в путь шествующим молебны, и так иногда раз пять, прежде чем, наконец, «доброе совершалось». Теперь все это удивительно как упростилось: поехал, полетел, лучше сказать, по чугунке, подал в банк заявление, планы, подписал пять-шесть каких-то бумаг и — чик, готово! Если же теперь и замечается какое по этому предмету недоразумение, то разве только в том, что «чикать»-то уж некому и нечего.

Но все это, строго говоря, относится собственно к внешней, обрядовой стороне факта. Гораздо важнее посмотреть на самую суть: для чего прежде закладывались имения и для чего теперь, то есть несколько лет назад: теперь, в данный момент, уж нечего закладывать — все заложено

и перезаложено. Прежде главнейшие мотивы для залога были: «приобретение покупкою» нового имения, раздел, женитьба сына или дочери, проигрыш казенных денег сыном-ремонтером, усиление псовой охоты и т. п. Новые, современные, то есть ближайшие к нашему времени мотивы, как, например, «отдых» от волнений, испытанных при ожидании 19-го февраля, заведение «рационального хозяйства», «воспитание детей», коммерческие предприятия и проч. тогда не существовали даже. В «отдыхе» никто не нуждался по той простой причине, что он и без того никем не нарушался, а был нормальным времяпрепровождением, «рациональное хозяйство» и в голову никому не приходило; для «воспитания детей» имелось достаточное количество кадетских корпусов; «коммерческие предприятия», во-первых, дело не дворянское, и потом, позвольте вас спросить, какие это такие?

Совсем другая жизнь была, другие интересы, оттого и такой общий той и современной жизни факт, как залог имения, сопровождался и обставлялся совершенно различными условиями, приемами и сценами.

Когда вопрос о залоге бывал уж решен бесповоротно, то есть или петля в виде заемного письма, выданного в обеспечение денег, которыми заплачен в казну проигрыш сына-ремонтера, затягивала горло, или необходимость увеличить псовую охоту становилась ясной до очевидности, то посылали «в город» за подьячим, каким-нибудь выгнанным секретарем уездного суда. Этот субъект, как опытный и искушенный в делах, имел сопровождать «в путь шествующего». Таких менторов в каждом уездном городе было тогда штуки по три, по четыре. Они сочиняли «отпускные», когда выкупался кто-нибудь из крепостных, они же сочиняли разные прошения, они же, наконец, растолковывали нам впоследствии и смысл Положения 19-го февраля и откапывали лазейки для обхода статей этого положения, когда пришлось применять его на практике, то есть при составлении уставных грамот и условий с «временнообязанными».

Так как, в данном случае, отлучка подьячего из города предвиделась продолжительная и он на все это время покидал свое семейство, обыкновенно бесчисленное, то все

оно поступало на содержание к тому же «в путь шествующему», то есть в город, в гнездо к подьячему, присылалась всевозможная провизия, начиная от муки и кончая гусятиной. А так как семейство подьячего всегда почему-то состояло из одних женщин и детей и, следовательно, за отбытием его самого оставалось «без мужчины», то в качестве этого последнего посылался «для услуги» какой-нибудь дворовый, не годящийся ни на какое дело, который и пребывал там вплоть до возвращения экспедиции.

Подьячий, этот прототип современного Сладкопевцева, приезжал в деревню по крайней мере за неделю до отъезда. В это время он строчил разные копии с актов и других бумаг. По вечерам рассказывал, как он ездил с каким-то помещиком в Москву по такому же делу; какие им представлялись при этом затруднения; как он их обходил к общему благополучию; какие у него знакомства в опекунском совете; какому чиновнику сколько надо будет дать, чтобы ускорить дело или что-нибудь пронюхать. Где лучше «остановиться» в Москве и — по секрету — в каком трактире они с Иваном Петровичем кутили, к каким цыганкам ездили и еще что-то уж совсем на ухо. Одним словом, выгнанный секретарь, тогдашний Сладкопевцев, оказывался во всех отношениях человеком для такого «дела» незаменимым. Он же, под диктовку барыни, записывал, что нужно «искупить» в Москве «для дома». Такие реестры бывали иногда замечательно разнообразны и длинны; в них входили и списки вещей для приданого, и зеленый горошек, и «аглицкая» соль, и ноты, и гарус, и черт знает что еще. Все это должно было быть куплено на имеющие получиться деньги. На эти деньги смотрели отчасти как на что-то вроде наследства.

Наконец в пятый, если не в десятый раз уже, батюшка отслужил в путь шествующим молебен; все что нужно окропили; закусили, «присели», перекрестились еще раз; еще раз, должно быть уж в сотый, повторены собравшейся дворне и «начальникам», то есть приказчику, старосте, конюшему и проч., приказания и инструкции, и началось усаживанье в тарантас, или, если дело зимой, в возок. Экспедиция тронулась, и из наших, например, тамбовских палестин, она обыкновенно достигала Москвы на пятый день. Усталый, разбитый раскатами и ухабами штабс-ротмистр, со времени отставки нигде дальше своего

губернского города не бывавший, попадал, наконец, в какую-нибудь второстепенную и даже третьестепенную московскую гостиницу; там занимали номер, сейчас же заказывали селянку, самовар, вечером ездили в баню или к Иверской, потом, в следующие дни, понемногу начинали разбираться, то есть привезенный с собою из деревни лакей, при помощи Сладкопевцева, расстегивал чемоданы, развешивал штаны, мундиры (все помещики, в нашей по крайней мере губернии, с мундиром в отставке). Еще через несколько дней на ломберном столе уж лежали купчие, дарственные, раздельный акт и проч., и поверх всего — план сельца Петровки, этого агнца для заклания.

Когда, наконец, «отдохнули» и «поогляделись немного», степенно и не спеша, понемножку, полегоньку стали приниматься «за дело», то есть Сладкопевцев пошел в опекунский совет и отыскал там сперва своего знакомого столоначальника, с которым в прошлый раз, когда ездил с Иваном Петровичем закладывать его имение, вместе и «пажили» и «кучивали». Встретились, разумеется, друзьями, выпили, закусили. Вечером столоначальник пришел к помещику. Угощение. «Маленький задаточек» «на расходы». Сладкопевцев, в свою очередь, сосет каждый день, под разными предлогами, трешки и пятишки. Наконец, недели через две, дело подвигается настолько, что отставной штабс-ротмистр надевает свой отставной мундир и, сопровождаемый ментором, «сам» отправляется в опекунский совет. Там уж теперь заведены связи, благодаря знакомству с двумя-тремя чиновниками, которые юлят перед нашими путешественниками и в качестве чичероне водят по длинным коридорам и комнатам совета, как по чистилищу.

— Ну, слава тебе господи, бумаги, наконец, мы подали! — говорит, вернувшись к себе в номер и расстегиваясь, измученный штабс-ротмистр.

В тот же вечер пишется длинное-предлинное письмо в деревню домой, где подробно рассказываются все претерпенные канцелярские мытарства.

Хождение чиновников опекунского совета между тем усиливается с каждым днем, и всех их надо не только кормить и поить, но и давать им. Все они рассказывают случаи из своей практики, как ускорили дело такому-то, когда он закладывал свое имение. То есть, понимай,

дескать, что без нас ты не обойдешься, а плевать на нас нельзя, несмотря на то, что мы, по-видимому, мелкие сошки. А время и деньги все идут да идут. Их, то есть денег, уж не много остается. В деревню послано письмо, чтобы поскорее выслали еще столько-то, потому что расход «по делу» большой, а без этого ничего не сделаешь. Проходит столько-то времени. Деньги и письмо получаются. «Посылаю тебе, мой друг, семьсот рублей, о которых пишешь и которые взяты у Подугольникова под пшеницу, — пишет жена. — Помоги тебе господи кончить дело поскорей. Были ли у Иверской? Да еще забыла я тогда записать «для дому» лаврового листу и рыбьего клея. Случка кобыл началась. Дети, благодаря богу, все здоровы. Красного гарусу купи не четыре фунта, а шесть, потому что я хочу связать чулки и Сонечке, а то она что-то кашляет. Ваську-садовника и Егорку-форейтора вчера наказывали», и т. д., и т. д. С получением этих семисот рублей, дело начинает идти скорей, то есть советские чиновники начинают заходить опять чаще. Обещают даже, что недели через две, или много три, все будет кончено. Проходят эти три недели, но тут вдруг оказывается, что какой-то бумаги не хватает и ее надо выписать из гражданской палаты. И долго, страшно долго тянется эта канитель, пока, наконец, месяца через четыре или через пять Петровка закладывается, деньги получаются, и начинается закупка всего того, что вошло в первоначальный реестр и что значительно дополнено в последующих письмах. Ко всему этому прибавляется покупка предметов, почему-либо обративших на себя внимание штабс-ротмистра, а именно: органчик, скоромного содержания картины, троечная сбруя необыкновенно красивого набора и многое множество таких же необходимых и полезных вещей.

Но все это пустяки; со всем этим можно бы помириться. Бывали случаи гораздо хуже. Случалось, что в отставном штабс-ротмистре пробуждались непутевые воспоминания давно улетевшей бивуачной жизни. Ментор Сладкопевцев, умышленно или неумышленно, корыстно или бескорыстно — все равно, не сдерживал расходившуюся удаль, и результат получался печальный: Иван Петрович делался или добычей шулеров, давно и внимательно уж выслеживавших его и с нетерпением ожидавших, когда опекунский совет выдаст, наконец, желанную

ссуду, или падал нравственно, то есть забыв жену и священные супружеские обязанности, забыв детей: Сонечек, Петенек и проч., увлекался какой-нибудь «бесстыдницей». Примеров гибели штабс-ротмистров от этих обеих причин масса. Я никогда не забуду, какое глубокое огорчение причинил нам покойный дядя, привезя с собой из Москвы ни на что не нужную гувернантку. Тетушка даже слегла в постель и не вставала с нее три недели, в надежде, что это его тронет и он, видя причиненное им ей огорчение и даже болезнь, отправит назад «эту подлую»; но покойник не внял ничему. Страдания тетушки, советы и увещания родственников — ничего не помогло. «Хочу, — говорит, — учиться сам, и прошу мне не мешать!» Такая срамота продолжалась всю зиму и весну, вплоть до лета, когда объезжавший епархию архиерей наш, быв поставлен в известность о недостойном поведении уездного предводителя (покойник в это время был избран на второе трехлетие), прибыл в его имение и, уединившись с ним для беседы в липовую аллею, после двухчасовых увещаний обратил, наконец, его на путь истинный, то есть возвратил нам прежнего «дядю Митю». «Подлая» была, разумеется, в тот же вечер отправлена обратно в Москву, несмотря ни на какие просьбы, слезы и скандалы. Дядюшка-покойник был удален на время «в надежное место», то есть просто заперт в оранжерее, а владыка и тетушка, распоряжавшиеся отправкой «бесстыдницы», остались непреклонными ко всем ее подлым и льстивым словам. Как сумела она завлечь в свои сети покойника и насколько была алчна, видно из того, что при обыске ее вещей, произведенном покойницей тетушкой, была найдена сумма, равная половине ссуды опекунского совета, то есть как раз все то, что она выманила у покойника и что он не довез домой. И эта находка была весьма кстати, ибо в тот год надо было везти Петеньку в Петербург, в училище статских юнкеров.

Но это я рассказал «счастливый» случай. Известно, и, конечно, не мне одному, множество примеров, когда подобные увлечения бывали причиной растраты не только половины, но даже и всей ссуды. Так, к стыду моему, я должен сознаться, что другой мой родственник, «дядя Ваня», постоянно отличавшийся примерным поведением и воздержанием, будучи легкомысленно отпущен своей супругой в Москву для закладывания в опекунском совете, вовсе

оттуда не возвратился и, при помощи сопровождавшего его Сладкопевцева, не только растратил всю ссуду, но от живой жены вступил во второй брак и хотя детей от «бесстыдницы» не прижил (этого только недоставало!), но пропадал в безвестной отлучке (хотя бы одну строчку написал за все время!) год и четыре месяца, так что тетушка уж сама ездила за ним сперва в Москву, а потом, собрав там достоверные сведения, в город Чугуев, где прежде стоял дяденькин полк и где, наконец, нашли его вместе с незаконной, хотя и венчанной его сожительницей. Впоследствии, вплоть до самой своей смерти, покойник выплачивал ей, боясь огласки и суда, по три тысячи рублей в год, что, вместе с уплатой процентов и погашения в опекунский совет, сильно его затрудняло и причиняло множество огорчений и лишений для всего семейства.

Наконец третий, «дядя Саша», испытав все мытарства, сопряженные с процедурой залога имения, почувствовал потребность съездить к Иверской и поблагодарить бога за успешное окончание дел. Но встретил там одного черноризца, который, вступив с ним в беседу, так подействовал на его душу, что дядя пригласил его к себе, поселил в нумере вместе с собой и сопровождавшим его Сладкопевцевым и более двух месяцев без надобности пребывал в Москве, к удивлению тетушки, не понимавшей, почему он не возвращается домой. Наконец, напуганная примерами «дяди Мити» и «дяди Вани», она сама поспешила в Москву, и очень хорошо сделала, потому что дядя, по указанию черноризца, добрую половину ссуды уже израсходовал, делая вклады и упражняя себя в подвигах милосердия. Только вид любимой супруги и ее слезы превозмогли его намерение употребить так же точно и вторую половину ссуды и заставили расстаться как с черноризцем, так равно и с новым образом жизни. Тетушка, возвратив его в семейство, более одного в Москву, разумеется, уж не пускала.

Понятно, подобные «увлечения» случались не с одними только моими родственниками, но были свойственны природе и всех окружавших нас соседей. И действительно, случалось с ними точно то же и имело те же последствия. Вообще надо признать общим и несомненным тот факт, что ни один из ездивших в Москву для залога в опекунском совете своего имения не возвращался домой с полной

ссудой. Один «терял» там все, другой половину, третий четверть; но, кажется, никто у нас не помнит такого примера, чтобы штабс-ротмистр привез с собой в свою Петровку все то, что получил под нее в опекунском совете. Да в сущности, по правде говоря, не все ли равно было, где их истратить? Я даже стою за Москву: там все-таки он несравненно любезнее «отводил свою душеньку», чем у себя дома, в деревне. Деньги, полученные под залог имения, все равно ведь истрачивались непременно: это уж так, видно, на роду было показано, чтоб они поскорей уплывали. И они действительно усыхали и уплывали совершенно незаметно даже и в деревне, где, кажется, и придумать-то трудно, куда их израсходовать. И тем не менее придумали. Один выкапывал пруд и строил через него мост. Другой созидал при въезде во двор триумфальную арку. Третий заводил оранжерею, домашний оркестр, увеличивал псовую охоту до чудовищных размеров и т. д., каждый смотря по своим дарованиям и наклонностям; тетушки и кузины тоже кое-что урывали себе; Петеньке, пронюхавшему о получении «наследства» из опекунского совета и потому взявшему трехмесячный отпуск, в свою очередь приходилось дать, и, таким образом, много-много что через год ничего не оставалось, так что, когда приходил срок первого взноса процентов погашения, то надо было деньги на это уж «доставать». И начиналось бесконечное путешествие становых, письмоводителей исправничьих и самих исправников за получением этих денег. Из опекунского совета между тем всё чаще и чаще получались какие-то «объявления», написанные на бумажке, наверху которой сидела птица пеликан и с досады щипала себе брюхо.

Но тогда все это было как-то просто. Разные отсрочки и пересрочки получались то и дело, совсем не так, как теперь. Во взаимных отношениях штабс-ротмистра с птицей пеликаном было несравненно больше души, чем замечается ее в наше время в отношениях заемщика и правления какого-нибудь сызрано-моршанского земельного банка. Мне кажется, эта простота и душевность взаимных отношений происходила просто оттого, что обе стороны сочувствовали друг другу, очень хорошо зная и понимая, что они делают вовсе не дело, а так, балуют. Штабс-ротмистр черт знает зачем едет закладывать свое имение, решительно не

зная наперед, что он сделает из полученных денег. Едет потому, что все едут или уж съездили, покутили, одним словом, все получили — отчего ж не съездить, не получить и не покутить и ему? Опекунский совет тоже очень хорошо все это знал — нельзя же предположить в самом деле, чтобы он не знал куда и на что идут его деньги? И ладилось, таким образом, дело «по душе»; оттого такая халатность была заведена у них и в счетах и расчетах. Я не знаю, есть ли в печати что-нибудь трактующее об этой отрасли деятельности почтенного учреждения, но во всяком случае убежден, что подобный труд, если бы он явился, представил бы массу фактов, в высшей степени интересных и поучительных, не говоря уж о том обилии курьезов, которые всплыли бы наружу при этом.

Нынче вот, например, то и дело читаешь, что продаются таким-то банком такие-то имения, и перед вами список их, несравненно более длинный, чем известный список Лепорелло, предъявленный Дон-Жуану, а тогда разве было что-нибудь подобное? Теперь банк напечатает раз, два, три такой список, да и шаркнет. Глядишь, везде уж и сидят «новые» помещики, сидят и улыбаются: здравствуйте! В те же времена надо было употребить уж разве какое-нибудь особое искусство, чтобы имение было продано. Можно было даже после продажи как-то выкурить нового владельца и самому вновь засесть. А попробуйте-ка ухитриться сделать это теперь. В Козловском уезде до сих пор еще жив один помещик, очень почтенный и любимый всеми человек, у которого три раза опекунский совет продавал имение с аукциона, и он три раза «выкуривал» из него нового владельца и поселялся вновь. Это делалось как-то от имени родственников, желавших удержать имение в своем роде.

Одним словом отношения были самые подходящие, «душевные». И вдруг все это — тю-тю!

— За что?

— «Так» поступили с нами, да еще и кредит к тому же закрыли?

— Да просто хотят извести, как тараканов!

— А главное: за что?

Перенести все это было ужасно трудно и даже обидно. В самом деле: «позволяли» закладывать имения черт знает для чего, без всякой нужды, так, на одно баловство, а теперь, когда деньги в самом деле нужны (на «воспитание детей», «рациональное хозяйство» и проч.) — кредит закрыт!

— Позвольте! «Мы» что закладывали?

— Души...

— Их отняли у нас?

— Отняли.

— Стало быть, и долг должны с нас снять?

— Разумеется...

И вот открывший такую Америку кричит: «Иван Петрович, Петр Иваныч, Михал Михалыч!» Все собираются, слушают и хотя спорят, то есть, собственно, кричат, но, разумеется, все согласны, что если души отняли, то надо и долг снять и оставить его на душах.

— Позвольте, да ведь деньги-то не души, а мы получали — что? — догадывается кто-нибудь.

— Хорошо-с, а под что мы их получали?

— Получали-то, конечно, под души...

— То-то и есть. Где же справедливость? Заложенную вещь взяли и деньги хотят взять. Ведь это называется как? С одного барана две шкуры! — И т. д., и т. д.

Тем не менее вопрос от таких рассуждений нисколько не подвигался. С каждым днем деньги становились все нужнее и нужнее, а где их прикажете взять? Подугольниковы и Сладкопевцевы (современные) хотя и тогда уж были, но, во-первых, они еще в то время и сами были тощи, а во-вторых, к такому делу, как их нынешнее занятие, были еще непривычны и принимались за него туго, робко. Да, наконец, разве это находка с ними связаться? У всех еще был в памяти легкий и дешевый кредит в опекунском совете, бог знает для чего теперь, в самое нужное и горячее время, прекращенный. Чем его заменить? Где искать суррогата?

— Одно средство — обратиться к правительству.

— Надо просить пять миллионов...

Почему именно пять миллионов, а не более и не менее, я уж не знаю; но в то время все остановились у нас на этой именно цифре и находили, что с этими деньгами можно еще как-нибудь поправиться, «хотя, конечно», и проч.

В таком положении было это дело у нас долго, и с каждым днем нам становилось все тяжелее и тошнее. Вдруг прошел радостный слух, и мы точно ожили, встрепенулись и навострили уши.

Я не знаю, у кого первого в России зародилась в голове мысль о «дворянских банках», но у нас, в нашем краю, об ней заговорили все разом. Были мы на баллотировке, то есть на дворянских выборах, и в один прекрасный день — не помню уж, после краткого или пространного рассуждения о значении дворянства с точки зрения известной грамоты императрицы Екатерины II — в буфетной комнате собрания прошел слух, что там, в зале, кто-то рассказывает, что где-то, в какой-то губернии, правительство, согласно ходатайству дворян, даст или дало уж им в ссуду пять миллионов рублей. Для этого будто бы в местном губернском городе устраивают дворянский банк, из которого счастливые дворяне и будут впредь получать деньги, кому сколько нужно, под залог «оставшейся» у них земли. Как ни горько звучало слово «оставшаяся», но все-таки это известие нам показалось благодатным и обильным дождем, неожиданно хлынувшим на нашу дворянскую ниву после долгой засухи.

Все, разумеется, тотчас же повскакали со своих мест, бросили еду и питье и устремились в зал, к губернскому столу.

— Это в какой губернии?

— В Полтавской.

— Что вы? В Казанской!

— Иван Петрович, вы слышали, где это?

— В Ковенской.

Вокруг стола была ужасная давка, так что пробраться туда и что-нибудь услыхать было почти невозможно. Говорил мой сосед, один из тех незабвенных ораторов, которые впоследствии, когда стала издаваться газета «Весть», были там едва ли не самыми деятельными кривотолками. Все они родились в нашей губернии и в этом отношении составляют ее гордость.

Доносились слова и фразы вроде: «Незабвенные заслуги дворянства, оказанные им... Бескорыстное служение престолу и отечеству... Воспособление справедливым нуждам передового сословия» и т. д. Потом, помню что-то

такое об Англии... потом «Князь Павел Павлович Гагарин»... Словом, ничего нельзя было разобрать.

— Позвольте, да это он, кажется, опять о грамоте?..

— Нет, это так только он кстати ее приплел. Ведь вы знаете, он помешан на ней.

— Да мы-то не помешаны. А я думал, и в самом деле о банке.

— О банке и есть. Вы погодите — это он только сбился немного.

Действительно, через несколько минут «оратор» опять попал на настоящую дорогу, то есть опять послышались термины: учет, ссуда, кредит, переучет и т. д. Но уловить какую-нибудь связь между всеми этими словами — не только мысль — было совершенно невозможно. Наконец он умолк, охрипший, с выпученными и как-то остановившимися глазами. Крошечная головка с сплюснутым лбом, посаженная на высокое тощее туловище, поворачивалась направо и налево; губы шевелились, но уж голоса не было слышно.

— Что же о банке?

— Да вот... слышали?

— Ничего не слыхали.

— Советуют просить пять миллионов.

— А где же открыли банк?

— В Тульской.

— В Черниговской...

Оказалось, что слух был кем-то пущен, но кем и насколько он достоверен — этого никто не знал, точно так же как никто не знал и того, на каких основаниях этот якобы существующий банк будет выдавать или уж выдает ссуды. Тем не менее факт был признан за несомненно существующий и найден подходящим как нельзя более и к нам. Поэтому тут же, на этом же собрании и даже в этот же день, решено было поручить «оратору» снестись «под рукой» с дворянами счастливой губернии, разузнать, как и что, через кого она добилась кредита, и затем начать хлопотать о получении и на нашу долю такой же благодати. И вот как сейчас вижу этого несчастного оратора, скачущего на извозчике от одного помещика к другому, из одной гостиницы в другую и расспрашивающего у всех знакомых: не слыхал ли кто, в какой губернии такой банк объявился? Разумеется, все говорили, что́ кто слышал. Он все

это записывал и в три дня собрал такой богатый материал, какого, конечно, не соберешь ни в одном самом благоустроенном и обширном сумасшедшем доме. Но как ни богат сам по себе был этот собранный им материал, все-таки самого главного он не узнал: где заподлинно такой банк существует и к каким дворянам, или, лучше сказать, к каким дворянским предводителям, следует ему писать и спрашивать о подробностях.

А между тем расстаться с этой «идеей» было так тяжело, она была так нам мила, явилась так кстати, так на руку... Поэтому решено было уж не «под рукой», а чтобы не терять времени, обратиться ко всем предводителям всех губерний разом с циркулярным запросом: как, дескать, милые люди, у вас это самое дело устроено, кто вам его «провел» и проч. Оратор из «Вести» даже заготовил было уж такой циркуляр и оставалось только подписать его и разослать, как вдруг губернатор, которому мы тогда были вверены, как-то узнал об этом, что-то усмотрел в этом и сказал нам, через кого обыкновенно подобные вещи передаются в дворянские собрания, чтобы мы эту нашу затею изволили оставить. Но это уж было чересчур. Как ни кротки мы были, но запрещение подобной невинной вещи возмутило и нас. И вот в одно утро чуть не все «передовое сословие» целой губернии, на извозчиках, пешком и на «собственных», собралось к дому его превосходительства разрешить рассылку несчастного циркуляра. После всестороннего обсуждения его превосходительство, наконец, разрешил — и циркуляры полетели.

Полетела и от губернатора бумага в Петербург, к кому следует, с просьбою указать, как дальше в данном случае поступать. Что получил в ответ этот последний — слухи говорили разное; но «мы», то есть оратор из «Вести», наш представитель, получили массу писем из всех губерний, от всех предводителей, где с изумлением спрашивали его, откуда, кто и как сообщил ему это удивительное известие. Вместе с тем, заподозрив, вероятно, нас в каком-нибудь подвохе, большая часть предводителей усердно и покорнейше просила, во имя общих всем дворянам интересов, рассказать все откровенно и вообще сообщить в свою очередь, как в данный момент стоит это дело у нас самих... Таким образом, мы перебаламутили чуть не всю Россию, то есть всех российских дворян.

Само собою разумеется, все это сделалось нам известно уж позже. С баллотировки же мы уехали в необыкновенно веселом настроении, от которого уж давно отвыкли.

Во-первых, мы узнали, что наше будущее будет отныне веселее, так как нам уж конечно дадут пять миллионов — не может быть, чтобы этот слух оказался вздором; а во-вторых — «сломили» губернатора. Это последнее обстоятельство особенно нас радовало.

Этой победой, то есть воспоминаниями об ней, мы жили, кажется, с год. Она представлялась такой громадной, имеющей значение чего-то вроде государственного переворота, что когда некто пустил в обращение новый слух о привлечении всех нас к ответственности, то все «мы» перетрусили несказанно и один по одному, скрывая настоящую причину своей поездки, перебывали в нашем губернском городе у его превосходительства и, насколько можно было, очистили себя перед ним. Всё свалили на несчастного сотрудника «Вести», который и остался, таким образом, дважды в дураках: и перед предводителями, продолжавшими неустанно бомбардировать его со всех сторон письмами, и перед его превосходительством «за возбуждение умов и страстей».

Положение его в это время было поистине ужасно. Надо заметить, что это — мой ближайший сосед, человек безусловно добрый и честный. В то время мы видались с ним чуть не каждый день, и я, наконец, с ужасом заметил, что он вот-вот сойдет с ума. Представьте себе, приедешь к нему — все равно, утром ли, в обед ли, вечером — он все сидит и читает, читает без устали вороха писем. Днем читает, ночью ответы пишет. Кончил к утру, заснул немного, а в десять приехали из города с почты, и на столе — новый ворох. «Иностранные письма», как мы их звали тогда, то есть письма от предводителей других губерний, сравнительно с письмами своих дворян беспокоили его, но все-таки не настолько, как эти последние.

— Вы войдите в мое положение, — говорил он, — ведь всё на меня одного свалили. Я оказываюсь ответчиком даже и за слух о банке: говорят, что я же его и распустил. У меня уж писем двадцать есть таких.

— Да бросьте все это к черту.

— Да, вам легко говорить: «бросьте к черту», а куда я теперь глаза покажу? И потом, знаете ли что? Я почти

даже уверен, что такой банк в самом деле существует или уж по крайней мере наверно на днях будет существовать в Тверской губернии. Читайте. — Он подал мне письмо какого-то тамошнего предводителя, написанное крайне туманно и все состоящее из афоризмов. Я прочитал.

— Ну что?

— Ничего не понимаю.

— Это нарочно так писано. Они боятся, что если все узнают и будут того же просить и себе, то никому не разрешат. Но от меня не скроешь! Нет!

В эту минуту я был убежден, глядя на него, что он уж «готов». Глаза горят, волосы всклокочены, сухие губы что-то жуют и подергиваются. Я начал его успокаивать — ничего не слушает, только улыбается, и улыбается такой снисходительно-презрительной улыбкой: где, дескать, тебе понять всю тонкость этой штуки! — что меня даже страх взял.

«Да, готов, готов наверно!» — повторял я дорогой себе.

На другой день вечером я опять приехал.

— Дома Павел Глебыч?

— Дома-с.

— Что он делает?

— Письмо от графа получили.

— От какого графа?

— Не могу знать. Из Петербурга.

Дверь из залы в переднюю тихонько отворилась; в нее выглянула его жена и почти шепотом спросила меня, видел ли ее муж, как я подъехал.

— Кажется, нет. А что с ним? — беспокойно спросил я.

— Ничего, опасного ничего нет, только, ради бога, тише говорите, а то он нас услышит, и все пропало. Он хотел уж к вам ехать, и я едва-едва его удержала.

— Да в чем же дело? Он, значит, здоров?

— Ничего, здоров... тише! пойдемте ко мне.

И мы оба на цыпочках прошли зал, гостиную и уселись в ее комнате.

— Вот видите, — начала она, — уж он эти дни дошел до того, что стал один сам с собою и говорить и хохотать. Сидит и хохочет. «Нет, говорит, меня не проведут! Если им дают — так и нам подавай». Это он про банк все.

— То есть по поводу письма из Твери:

— Вот-вот. И доктор намедни был, — у нас Ваня болен, — видел его и тоже говорит, что его надо развлекать, а то может «случиться». Я поэтому и решилась. Только, Сергей Николаич, ради бога, это между нами — иначе дойдет до него, и все пропало. Что я с ним буду делать, если он в самом деле с ума сойдет?

И бедная так и залилась слезами.

— Успокойтесь, да что такое, в чем дело? — и утешал и расспрашивал я, решительно ничего не понимая.

— Ну, я и на-пи-са-ла, — рыдая и всхлипывая, продолжала она, — письмо к нему от графа Орлова-Давыдова, в котором тот просит его поскорее приехать в Петербург по дворянскому делу. Ведь вы знаете, там в Петербурге есть такой граф, он, кажется, предводитель какой-то, и всё речи произносит о дворянстве и об этой их грамоте, и Павел Глебыч его ужасно за это любит и говорит, что их только двое во всей России и есть настоящих дворян, то есть он да граф...

Как сказала она мне эту штуку, тут уж мое положение сделалось невыносимым! она, бедная, рыдает, а я, как дурак, хохочу и никак не могу удержаться. Наконец, когда оба мы кое-как успокоились, то решили, что я буду его укреплять в мысли немедленно же все бросить и как можно скорее ехать в Петербург на свидание.

— Михаил Иваныч, — продолжала она, — ехал в Петербург, так я его просила опустить там это письмо в почтовый ящик, а сегодня утром он его получил. Раз двадцать уж прочитал мне.

— Хорошо-с, да ведь в Петербурге, пожалуй, скандал выйдет. Он явится к Орлову, а этот на него глаза уставит: откуда, мол, сие?

— Ну, уж это все не то. Там хотя доктора есть, а тут куда я с ним денусь?

Подумал я, подумал — и согласился. В самом деле, отчаянное ее положение!

— Хорошо-с, быть по-вашему.

— Ради бога!

Только показался я в кабинет, он как кинется ко мне, и прямо на шею, обнял и заплакал.

— Наконец-то меня поняли. Вот нате, читайте! — едва мог выговорить он, подавая письмо.

Как высидел я эти полчаса, которые пробыл у него, я и сам не знаю. Помню только, что все твердил, чтобы он, не теряя времени, как можно скорей спешил в Петербург.

— Да я что? я хоть сейчас. Вот у жены сборы длинные. Лизочка! Лизочка!

Но Лизочка объявила, что за ней дело не станет, что и она хоть сейчас готова.

— В таком случае едем послезавтра. Что же, в самом деле, мешкать? — согласился и радовался Павел Глебыч.

— Разумеется, — поддакивал я.

— Как хочешь, мой друг! — говорила жена.

Через день я приехал их провожать. Все у них было уложено, запаковано.

— И надолго думаете?

— Ничего не знаю. Это уж там мы с графом как решим. Может, мне даже придется и все лето там прожить. А может, меня и того... фюить! Что ж, наше дело правое — я ко всему приготовился.

Передо мной был фанатик, действительно ко всему приготовившийся: хоть на костер его сейчас.

— Э, полноте! — успокаивал я, — что ж тут преступного хлопотать об устройстве банка? Ну, откажут, если не согласны, — вот и все.

— Гм! вы думаете? — И опять эта сумасшедшая улыбка!..

— Вы в опасную игру играете, — предупредил я жену, когда он куда-то отвернулся. — Встреча с Орловым для него, то есть для его здоровья, пожалуй, скверно кончится: он слишком возбужден, чтобы пережить такую сцену.

— Ну, уж там что бог даст, а тут я измучилась с ним, там хоть доктора есть, — стояла она на своем.

— Все письма я велел доставлять к вам, Сергей Николаич, а вы их пачками пересылайте на имя графа с передачей мне, так как я еще и сам не знаю, где мы остановимся, — говорил Павел Глебыч. — Мы теперь будем их с ним вместе читать. А вы всё смеялись, зачем я тяну эту переписку, — вот и пригодилась. У нас ведь теперь заведены сношения с дворянством всей империи... сила!..

Грустно было смотреть на эти горящие глаза, на эти сухие, пересмяклые, что-то вечно жующие губы и слушать этот лихорадочный бред.

— Уж вы и в самом деле не вздумайте их пересылать ему, — шептала жена. — В печь их все!

Наконец подали карету, уложили чемоданы. Мы вышли все на крыльцо. Начали прощаться.

— Пожелайте мне успеха, то есть всем нам, дворянам, нашему правому делу! — сказал Павел Глебыч.

— А главное, здоровья; не надрывайте себя! — отвечал я, сжимая его руку.

— Здоровье — что? Дело — вот что для меня важно.

— Ах, не говори об деле. Ты, мой друг, с этим делом так себя расстроил, ах, как расстроил! — вмешалась жена.

— Ну, прощайте.

— Пишите чаще.

— Письма-то не забывайте пересылать ко мне, — кричал Павел Глебыч из кареты, а сзади его через голову умоляющим взором смотрела жена: ради бога, дескать, не делай этого.

Я тоже сел в свой экипаж, еще раз раздалось: «Прощайте!» — и мы расстались.

Так кончился у нас вопрос об устройстве, или, лучше сказать, об исходатайствовании, дворянского банка. Писем в отсутствие Павла Глебыча я получил несколько сот и, понятно, не читая все их сжег. Потом мало-помалу переписка эта сама собой кончилась.

Я не знаю, что делали в других губерниях с этим, тогда самым популярным и излюбленным, вопросом. Везде ли он завершился таким шутовским манером, или были какие хоть сколько-нибудь толковые начинания. Вероятно, да, то есть принимались за него умнее нашего; но, с другой стороны, мне известны рассказы помещиков других губерний, и, судя по ним, и эти другие не далеко ушли от нас.

Во всяком случае и идея и ходатайства о дворянских банках нигде в то время не получили осуществления, да, понятно, и не могли его получить: теоретический и практический их абсурд был и тогда так же точно ясен и понятен всякому, у кого хоть сколько-нибудь мозги в порядке, как и теперь.

Но и теперь, как и тогда, у всех ли «нас» они, эти мозги, в порядке?..

Кончились все приключения и вся переписка по поводу исходатайствования дворянского банка, а нужда в деньгах нисколько не ослабела. Напротив, она давала себя чувствовать с каждым днем все сильнее и сильнее. Выкупные свидетельства таяли положительно как снег. Разменяешь, бывало, «выкупное», съездишь в город, поживешь там сутки, двое и ничего себе не позволяешь, а глядь — выкупного уж нет или осталось от него что-нибудь вроде рубля сорока копеек. Ужасно плохо держались тогда у нас деньги. Мне кажется, что если бы в то время казна выдала нам под всю землю эти выкупные, то теперь они были бы еще целы разве у одной сотой изо всех: ни земли, ни денег не было бы ни у кого.

— Однако что же делать?

— Ничего. Что же тут поделаешь? — И действительно, ничего не делали; просто смирились и доедали выкупные, у кого они еще оставались, а у кого они уж все «вышли», начинали задумываться, глядя на свои луга, лесок, парки и проч., о чем в настоящее время остались одни лишь приятные воспоминания.

Но тогда все это еще существовало в действительности, и потому задумчивость при взгляде на эти предметы очень скоро переходила в решимость действовать. И начинали действовать.

— Что ж, в самом деле, прикажете делать? не воровать же идти!

— Погодите, «доведут» и до этого, — отвечали так называемые прозорливые.

Начиналась система долгосрочной аренды. Появились первые Подугольниковы, тогда еще робкие и тощие. О Сладкопевцевых ходили какие-то смутные слухи, так что мне кажется, эти слухи распускались не на основании реальных встреч с ними, а больше по предчувствию, что рано или поздно такая встреча должна совершиться непременно. Счастливцы, у которых имения не были заложены в опекунском совете, искали денег под залог их и, разумеется, не находили, а если и находили, то на таких ужасных условиях, что с непривычки дрожь пробирала.

Самая настоящая была пора явиться банкам «на помощь крайне стесненному землевладению и земледелию».

— Нас все бранят только, что мы ничего не делаем, а позвольте спросить: что можно сделать без денег, без кредита?

— Да ведь, Иван Петрович, вы уж два раза получали деньги...

— Это какие такие?

— Как какие-с? Первый раз, изволите помнить, в Москве из опекунского совета, когда заложили Петровку, и потом «выкупные»...

Но ставить вопрос таким образом никто не хотел, не умел, одним словом, не ставил, и потому все рассуждения вертелись и ограничивались исключительно фактом безденежья и способами его устранения. Никто и на минуту тогда не задавался мыслью вспомнить и объяснить, как и куда исчезли оба эти куша и не повторится ли то же самое и с третьим, если он получится?

В одном из прошлых очерков мне уж приходилось указывать на эту странную «нашу» особенность, то есть не только на непривычку вдумываться в причины своих ошибок и неудач, анализировать, припоминать их, но даже, по-видимому, на совершенное отсутствие у нас всякой критической способности. И действительно, то и дело мы видим, что ошибка, случившаяся вчера, повторяется и сегодня совершенно при тех же обстоятельствах и условиях. Можно было еще извинить легкомысленную растрату денег, полученных из опекунского совета, уже по одному тому, что это дело было в некотором роде новое: человек не знал, как тяжело платить долги и проценты; но когда он уж знал раз это все, испытал все прелести, сопряженные с визитами становых приставов, исправников, описи, публикации и, наконец, продажу с аукциона, то по меньшей мере странным кажется повторение такой же легкомысленной растраты вторично. Тем не менее это — факт, прискорбный, грустный, тяжелый, называйте его как хотите, но он останется все-таки фактом. Растрата, и притом самая легкомысленная, безобразная, *с лишком четырехсот миллионов рублей,* полученных от опекунского совета, не только никого не научила, не отрезвила, но, по-видимому, скорее развила только вкус к подобным упражнениям и в будущем. Чем же по крайней мере объяснить себе такую же пошлую и легкомысленную растрату следующего, второго куша — «выкупных», еще более грандиозного по

своим размерам и драматичного по тем обстоятельствам, при которых мы его получили и потом растратили. Как известно, казна выдала в ссуду мужикам за выкупаемую ими землю, то есть, иными словами, мы получили выкупных на *семьсот с лишком миллионов рублей*. Где они? На что они истрачены? Где, в чем видны следы этих затрат? Пусть кто-нибудь укажет хоть один благой результат этих колоссальных затрат, или, правильнее, растрат. Их, эти чудовищные куши, поглотили: «отдых», «рациональное хозяйство», «воспитание детей», «акционерные», то есть железнодорожные и всякие другие затеи и предприятия, в которых мы ничего не смыслили тогда, пускаясь в них с деньгами, как не смыслим и теперь, оставшись при одном «печальном интересе», как говорят няньки и приживалки, гадая на картах.

И вот, «фукнув» таким манером с лишком миллиард рублей, полученных под землю и за землю, мы «с легким сердцем» уверяли и самих себя и всякого встречного и поперечного, что вся наша беда в том, что у нас нет денег, нет поземельного кредита.

— Указывают нам на Англию и Германию, на Францию, говорят, что наше хозяйство и в подметки не годится к тамошнему. Что ж мудреного! Там есть оборотный капитал, есть кредит, а у нас он где?

В то время, о котором идет речь, у половины из нас были, относительно говоря, еще довольно «чистые» имения, то есть или незаложенные, с незначительным относительно долгом частным, или хотя и заложенные в опекунском совете, но с половинной или около того выплатой занятой ссуды. И у тех и у других, таким образом, в то время de facto [1] еще были имения, они еще были действительными хозяевами своих Петровок и Ивановок, которые, следовательно, представляли несомненную ценность, не то что теперь, когда они заложены и перезаложены и, как паразитами, покрыты всевозможными долговыми, краткосрочными и долгосрочными, обязательствами. Поэтому весьма естественно, что как только мы заявили спрос на кредит под эту, находящуюся в нашем владении, ценность, то предложение должно было явиться, и действительно явилось, хотя, может быть, и немного медленно, по новости

[1] Фактически *(лат.)*.

такого дела у нас и вообще по слабости нашей частной инициативы. Это предложение кредита должно было и у нас, как и везде, выразиться в учреждении и открытии частных акционерных банков земельного кредита. Собственно говоря, банки и недолго даже заставили ждать себя.

Помню, как-то ранней весной, в самую полую воду, — это было на второй или на третий год после 19-го февраля, — я стоял на плотине у мельницы и смотрел, как ее укрепляют, чтобы не размыло водой, то есть, правильнее, не «разбило бы» ледоходом. На противоположном берегу показались беговые дрожки, наш обыкновенный экипаж, в котором в одиночку мы ездим друг к другу. Ехал ко мне знакомый читателю сосед мой, Павел Глебыч, теперь уж с год оправившийся от банко-дворянского сумасшествия, благополучно вернувшийся из Петербурга с свидания и успокоившийся в своей Осиновке.

— Читали? — еще издали кричал он, подъезжая ко мне.

— Что такое?

— Как что такое? Разве вы еще не получали сегодняшней почты?

— Нет, — говорю, — сегодня совсем и не посылал на почту.

— А я думал... Ах, какая досада, что не взял с собой!

— Да что такое?

— А то, что мое предложение о банке исполнилось... Ведь открывается...

Я посмотрел на него. «Господи! неужели опять начинается с ним?» — подумал я; но ничего: и глаза и вообще весь он спокоен. Говорит с увлечением, но ведь это совсем не то. А все-таки, думаю, лучше замять этот разговор.

— Да бог с ним, — говорю, — нам-то какое дело?

— Как какое? Помилуйте, да в этом-то и вся суть; есть у нас оборотный капитал и кредит — мы спасены, нет — все погибло. В этом все наше и детей наших будущее.

— Не думаю, — говорю, — много уж мы этого оборотного капитала в своих руках обернули, а толку все нет как нет...

— Эх, вы всё смешиваете старое, прошедшее, с теперешним. Мало ли что тогда было! Тогда не было горького опыта, какой получили теперь.

— А «выкупные»-то куда мы девали? Это, кажется, уж после «опыта» проедено.

Павел Глебыч, разумеется, не соглашался, говорил, что во-первых, еще очень немногие получили и проели уже выкупные, а остальные или еще не получали пока, или если уж получили, то заводят на них «рациональное хозяйство», которое, конечно, должно в ближайшем будущем удесятерить доходность имений, и т. д. Одним словом, все то, что говорили тогда все и о чем я уже имел честь рассказать читателю, когда шла речь об этом удивительном «рациональном хозяйстве». Повторяю, спорить тогда на эту тему было невозможно, если кто не желал прослыть отсталым рутинером-пессимистом. Все были убеждены, что завести новый строй хозяйства — сущие пустяки: стоит накупить машин, нанять немцев и проч., и дело в шляпе. Весь вопрос: где достать денег? Павел Глебыч привез теперь мне известие, что деньги найдены: в газетах был напечатан устав херсонского земельного банка. Разумеется, я сейчас же, по его настоянию, послал нарочного к нему за нумером газеты, и когда его привезли, то мы принялись читать и устав и передовую статью, в которой приветствовалась заря новой сельскохозяйственной жизни. Помню, там, в этой статье, размалевывалась такая румяная картина нашего будущего, что верующий в него, в возможность этого розового будущего, непременно должен был умилиться душой и глубоко-глубоко вздохнуть и, разумеется, заснуть спокойно не только в надежде, но в положительном убеждении, что наконец-то провидение смиловалось и послало нам конец страданий. Случайно как-то в тот вечер съехалось ко мне еще несколько человек соседей, и все были согласны, что уж эти деньги, которые вот теперь из поземельных банков будем получать, пойдут у нас на дело, а не на Гуринский трактир.

В передовой статье говорилось, что открытие херсонского банка — только начало; что за этим последует несомненно открытие целой серии банков, так как деньги нужны не для одного только юга России.

И с этим, разумеется, мы все были согласны, даже более: находили, что деньги главнейше нужны для внутренних, черноземных губерний, «этой житницы» государства, то есть нам.

— Помилуйте, почти двухаршинный чернозем у нас теперь лежит втуне, не возделывается. Да это — преступление; а все почему?

— Денег нет!

— Разумеется.

— Верите ли... — что же мне скрывать? вот — за Петеньку подходит срок платить шестьсот рублей в училище статских юнкеров, а у меня в кармане пять рублей, и негде достать... И это в то время, когда земля не заложена.

— Да это что? До скандала доходит! На вербной неделе посылаю к Подугольникову записку, чтобы прислал из лавки рыбы, икры, понимаете, всякой дряни, и — ничего-с! По прошлогоднему счету, говорит, еще не заплачено! А ведь и у меня «оставшаяся»-то земля тоже не заложена.

Я уж, разумеется, не помню всего, что мы в тот розовый вечер говорили, но эти два случая я не забыл, потому что когда все разъехались и мы остались вдвоем с Павлом Глебычем, то я указывал на них и ссылался на них, в подтверждение моих слов, что и деньги пойдут не на дело, то есть не на хозяйство, а на шутовское воспитание детей, на мотовство их при погоне за карьерой, на наши селянки, осетрину, и проч., и проч.

И, боже, как все это было очевидно, как уверенно можно было предсказать, что все случится именно так, а не иначе! Зная хоть немножко людей, которым предстояло теперь получать деньги и давать им то или другое назначение, невозможно было даже ни на минуту усомниться в их выборе.

Бесконечно добрый и честный до глупости, если так можно выразиться, Павел Глебыч, несмотря на свои седые волосы, был, однако ж, глубоко убежден, что «мы» поймем, наконец, свою пользу, как был он глубоко убежден, отстаивая и крепостное право, в котором видел какой-то неоцененный патриархальный элемент. Уверенность, что помещики переродятся путем постепенного нравственного совершенствования, породила тогда множество таких *убежденных* чудаков.

Помню я этот вечер. Долго мы тогда сидели с ним вдвоем и отгадывали будущее. К сожалению, я угадал вернее его.

Я не знаю, как в других губерниях, но у нас известие об открытии херсонского банка произвело глубокое, радостное впечатление и вызвало общий восторг. Теперь все дело в том, нельзя ли попробовать обойти как-нибудь тот параграф устава, по которому прием в залог имений разрешался банку только в известном, определенном районе. Об этом в правление банка тогда была послана нами масса писем. Ответ был для всех один, роковой: *non possumus!* [1]

— Когда же у нас откроют?

— Надо хлопотать.

— Там хлопотали — им и разрешили.

— Павел Глебыч был прав, когда говорил, что этого дела не следует бросать, а надо его долбить, долбить, пока не получишь.

— А кто смеялся над ним?

— Да ведь это шутка была!

Само собою разумеется, все эти слухи до него доходили, а иные и прямо ему в глаза говорили, что виноваты перед ним, что не доверяли его надеждам и смеялись. Он это слушал с сладостным чувством, как слушает невинно осужденный извинения своих судей, пришедших просить простить их. И, к ужасу его жены, уже наученной банковой его деятельностью, дело чуть-чуть не сладилось в том смысле, что он получил полномочия от дворян на ходатайство в Петербурге и, если не ошибаюсь, даже деньги на расходы «для ускорения» естественного течения канцелярской процедуры. По этому поводу мы по крайней мере несколько раз съезжались у предводителя, шумели, рассуждали, отлично обедали, ужинали, пили (в то время предводители всё еще отличались «истинно русским хлебосольством» — не то что теперь) и подписывали какую-то складчину, кто сколько хотел. Помню, лично меня это дело нисколько не интересовало; я ездил на эти собрания так, чтобы «не отстать от миру», и не знаю, почему оно затянулось. А тут, через год или полтора, мы прочли в газетах

[1] Не можем! *(лат.)*.

известие, что в Петербурге основывается другой, несравненно больший поземельный банк — Общество взаимного поземельного кредита, который будет принимать в залог имения и пустоши по всей России, а следовательно, и в нашей губернии. Немного погодя посланные, возвратившиеся с почты, привезли каждому из нас, или почти каждому, маленькие книжки в зеленой оберточке — устав общества — и деликатнейшее при оном письмо на великолепной почтовой бумаге. У одного моего бывшего соседа, заложившего вскоре там свое имение, потом проданное с аукциона, такое письмо сохранилось до сих пор. Я не знаю, зачем он его бережет.

Таким образом, началась «новая эра, заря будущего благополучия», как тогда все выражались. Деньги всем были нужны, и потому все были в охоте как можно скорее заложить «оставшуюся» землю. Очень скоро половина Ивановок и Петровок опустела; «господа» уехали в Петербург, то есть, собственно, в правление Общества взаимного поземельного кредита. Все уехали с облегченным сердцем, с светлым взором. Только очень и очень немногие задумывались и упирались.

— Это, однако, того-с... Против «покойного» опекунского совета выходит вдвое. Там они расписывай как хотят об участии в барышах — это еще всё журавли в небе, а семь процентов-то платить...

— Да-с, это не то-с. Тут, пожалуй, со всеми поездками да вычетами и не семь сойдет, а побольше, и гораздо таки побольше.

Но так рассуждали немногие, и притом люди заведомо рутинеры, которые и понятия не имели о «рациональном хозяйстве».

Очень многих смущало даже и то обстоятельство, что банк выдает не деньги, а закладные листы.

— Что это за штуки?

— Это?.. это вроде «выкупных».

— То есть, положи в карман и поезжай как с наличными — везде разменяют.

— Да. В любом трактире порядочном их возьмут рубль за рубль.

— Так-с, ну а вот это что такое? В уставе у них сказано, что, кроме закладных листов, они выдают еще деньги в виде краткосрочного кредита?

— А это надо полагать, что на расходы по поездке. Ведь ни для кого не секрет, что денег нет, так чтобы не затруднялись на первое время, как приедут в Петербург. Это очень умно и хорошо придумано. Помилуйте! приедешь, остановишься в незнакомом месте, мало ли что может случиться? Да вот я, например, еду — всех денег со мной полтораста рублей — и еду я не один, а с женой и с Сонечкой: хотят кстати Петеньку проведать. Вы думаете, разве это дешево станет? а теперь, при краткосрочном кредите, я по крайней мере покоен...

И так понималось много параграфов нового банка. Разумеется, по приезде на место большая часть этих иллюзий пропадала, Общество взаимного поземельного кредита отказалось выплачивать счета по гостиницам, и вышло немало скандалов и недоразумений на эту деликатную тему; но в конце концов, так как залог все-таки совершался и деньги получались, то все эти «маленькие» неприятности забывались, и «мы» возвращались в свои выпотрошенные Ивановки и Петровки с улыбающимися лицами, как только что разговевшиеся... Если хотите, это, пожалуй, и действительно было веселое время. Одни возвращались из Петербурга светленькие, в пестреньких пиджачках, в цветных галстуках, рассказывали интимные тайны разных более или менее высокопоставленных особ с такими подробностями, что можно было бы подумать, что они и в самом деле компетентны знать эти тайны. А ездившие в эту экспедицию с женами привезли их одетыми «по-петербургскому». Само собою разумеется, кстати были сделаны все «необходимые» покупки и для дома. Другие еще только собирались ехать и, видя довольного и цветущего соседа возвратившегося, соблазнялись его примером, всё бросали и спешили к источнику всех радостей, на Екатерининский канал. Словом, «движение» было совершенно соответствующее причиненному им оживлению. И надо правду сказать: все-таки урок с выкупными не пропал уж совершенно даром. «Мы» были теперь гораздо осторожнее и расчетливее в своих тратах: «выкупные», полученные в таком же почти размере, были покончены много-много года в полтора или в два, а «ссуда» продержалась в наших карманах дольше. Некоторые покончили ее не ранее, как через три и даже через четыре года. Оно, положим, в конце

концов предопределение совершилось-таки, но все же скромнее, приличнее...

Таким образом, «спрос» познакомился с «предложением», и начались, к общему удовольствию, их взаимные действия. «Обмен» тоже не был забыт, и все мало-помалу стало принимать вид совершенно благоустроенный, правильный. Вероятно, со временем благоустройство это достигло бы несравненно высшей степени, если бы вскоре не оказалось вновь недостатка в деньгах, этом непременном факторе каждого солидного дела. И действительно, очень многие из «рациональных хозяев» до сих пор искренно и «основательно» убеждены, что дай им в то время, когда Петровка или Ивановка принадлежали еще им и они производили в них свои эксперименты, еще немного денег, то результат был бы непременно блестящий. К сожалению, этого не случилось по той простой причине, что банк смотрел на это дело несколько иначе и денег больше не давал, невзирая ни на какие наши уверения, что с вводимой вновь культурой имения делаются несравненно более ценными. Через несколько лет это недоразумение обострилось до такой степени, что взаимное отношение бывших друзей, «спроса» и «предложения», приняло характер прямо враждебный; в дело вмешалась полиция в виде становых приставов, начались описи, публикации и прочие неприятности до аукциона включительно, так что у многих вместо Петровки или Ивановки осталось только одно воспоминание об них да вот подобные письма, как у моего бывшего соседа, которым «предложение» соблазняло «спрос» на взаимность.

Так происходило дело в действительности. В Петербурге же оно представлялось несколько иначе. И если у нас радостное настроение, вызванное открытием банков, начинало мало-помалу проходить и уступать место более серьезным чувствам и соображениям, то в Петербурге совершенно наоборот — время начала нашего разочарования, а для некоторых даже и скорби, совпадало с началом ликования и надежд. В это время в Петербурге успели разбудить и растолкать спавшую, несмотря на несомненный общий прогресс, «инициативу». Она начала спросонья потягиваться, а потом совсем вскочила на ноги и начала «действовать». Между прочим накинулась она, эта частная инициатива, и на банковое дело. Посыпались сперва



проекты разных поземельных моршанско-сызранских, оренбургско-костромских, тамбовско-виленских и всяких иных банков, имена же их ты господи веси. Утверждения их следовали с быстротой нарождения дождевых пузырей, и затем все они вперегонку один перед другим пооткрывали свои лавочки.

— К нам! у нас оценка выше! больше денег дадим, — кричит моршанско-сызранский банк.

— У нас насчет отсрочек — сколько угодно. Это нам наплевать, — уверяет якутско-балаклавский, и т. д., и т. д.

Началась настоящая поземельно-банковская оргия. Общее безденежье опять вдруг сменилось таким общим богатством, что при этом не только «мы» ошалели, но вместе с нами ошалели и половые у Гурина в «Московском» и татары у Бореля и Дюссо.

А банки один за другим все как из земли вырастают и все такие соблазны сулят, что кажется, если бы можно было, не только землю — душу в них заложил бы. Саламатов вместе с жиденком Пудельсоном, ныне, с позволения сказать, оратором, просто языки высунули, сочиняя и «проводя» уставы. Саламатов, как первоклассное светило, разумеется, принимал «просителей», то есть учредителей, у себя дома и ломал с них за уставы и проведения чудовищные цифры, о которых он сам теперь не может без удивления вспомнить. Пудельсон же, как мелкая, хотя и усердная и юркая тля, с утра до ночи бегал по гостиницам из номера в номер, от одного учредителя к другому, ловил там вновь приезжих и тащил к Саламатову, точь-в-точь как зазывают к себе лакеи в гостиницы, высылающие экипажи к приходу поездов, или известные обитательницы Фонарного переулка — прохожих. За эту скромную работу, сопряженную с массой хлопот и неприятностей, Пудельсон, разумеется, получал от Саламатова; а кроме того, кое-что попадало и от милости «приезжих».

Эта статья, то есть учредительство, тогда была замечательно хорошо организована и даже дисциплинирована, если так можно выразиться. «Банкиры», то есть земцы, имена которых покупались варшавскими, берлинскими и лондонскими настоящими банкирами для того, чтобы они, эти имена, стояли в числе учредителей, с целью отвода правительству глаз от сути дела, — все почти стояли в Малой Морской, в «Hôtel de Paris» или «Grand Hôtel».

Там все эти Иваны Петровичи и Петры Иванычи, у которых чуть-чуть держались и не сваливались штаны, сами заложенные и перезаложенные вдоль, поперек и наискось, ели, пили, амурничали и завирались до того, что воображали себя в самом деле настоящими, а не подставными учредителями. Это была пора «нашего» глубочайшего падения и унижения. Прежде мы проматывали свое, то есть проедали и пропивали то, что в силу хорошего или нехорошего закона, но все-таки закона, принадлежало нам. Проедая и пропивая деньги, полученные из опекунского совета за заложенные в нем «души», мы делали это с спокойной совестью, в силу хотя бы уж одного того, что тогда была такая пора, что душа могла считаться собственностью. Стало быть, ее собственник, проматывая ее, проматывал свое, а не чужое; не воровал, одним словом. Теперь же приходилось уж «заимствоваться», хотя и в несколько замаскированной форме, тащить из чужого кармана руками, обутыми в перчатки. А сколько унижения приходилось испытывать при этом! Какой-нибудь иудей Пудельсон — и тот издевался тут же в глаза, торговался, пил на «ты» и братался с потомком славного рода, не раз упоминаемого в истории по случаю усмирения и покорения врагов!.. И много славных пало тогда... Пали князья Х—ские, князья Г—ны, графы Т—е и много, много других. Гораздо больше, чем в Куликовской битве.

А там, в Большой Конюшенной, в «Hôtel Demouth», бились земские борцы-железнодорожники, поставщики земских гарантий и воплей земских о «неотложной надобности для края» проведения той или другой дороги, измышленной Саламатовым с компанией варшавских и берлинских жидов. И там тоже падали «славные». И там их пало немало!

Тяжело, путем полного материального расстройства и еще более полного нравственного падения, достался нам этот третий по счету и уж последний куш ссуды частных земельных банков. Мы получили на этот раз около трехсот миллионов рублей. Конечно, эта сумма значительно менее миллиарда, но и на нее ведь много можно бы было сделать...

Почему и отчего мы ничего не сделали — об этом уж было говорено выше. Теперь поэтому остается сказать только: есть ли какое-нибудь основание верить в мечту,

что мы можем поправиться и опять встать на ноги путем получки денег под вторые закладные (разумеется, в частных руках), что практикуется нами в настоящее время? Если у нас, незаметно для нас самих, проскользнуло между пальцев почти полтора миллиарда рублей совершенно непроизводительно, ничему нас не научив, то спрашивается, что же тут могут значить сравнительно какие-то жалкие гроши, добываемые притом за ужасные проценты?

Вспоминая опекунский совет, мы охали на проценты, взимаемые Обществом взаимного поземельного кредита, этого солиднейшего во всяком случае земельного банка, а теперь хотят кого-то уверить, что наша песня будто бы еще не спета, что если нам дадут немного денег под наши жалкие остатки местные ростовщики, то есть Сладкопевцевы и Подугольниковы, то мы еще себя покажем!..

И в такой-то момент граф Орлов-Давыдов вздумал искать для нас спасения в фермерстве.

После всего сказанного, на эту затею я позволю себе ответить вопросом: банкам, то есть акционерам земельных банков, то есть варшавским, берлинским и лондонским банкирам, у которых главнейше собраны эти акции, мы со всеми пенями, штрафами за просрочки и проч. платим на занятый нами у них капитал до семи и даже восьми процентов, а сами едва-едва достаем девять, десять, следовательно, живем на разницу, на два, на полтора даже процента. Спрашивается: кто же мы сами, как не фермеры?

Конечно, фермеры, и притом поставленные в невыносимые отношения к нашим хозяевам. Они имеют полную возможность и право при первой же нашей неисправности выгнать нас вон, иначе — продать с аукциона, то есть передать ферму другому... Вы опоздали, граф! Ваш идеал, о котором вы мечтаете, уже осуществлен!

В настоящее время для половины «нас», если не для двух третей, вопрос вовсе уж не в том, чтобы улучшать как-нибудь хозяйство разными нововведениями и приспособлениями. Мы заняты теперь вопросом гораздо более простым, но зато более горьким: вопросом о насущном хлебе. Если заплачена аренда за ферму, то есть внесены в земельный банк проценты, если заплачено за учение детей и кое-как мы пробились сами, — и слава богу. Теперь уж не до жиру — быть бы живу. Дают ли хоть

эти скромные средства наши бывшие имения, а теперешние фермы?

Нет.

Где же мы ищем себе подмогу? где наши «отхожие промыслы», которые дают возможность хоть немного пополнить «нехватку», приносимую фермами?

Это очень любопытный вопрос, и о нем мы поговорим дальше.

VI
ОТХОЖИЕ ПРОМЫСЛЫ

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай...

В сельце «Большие Собачьи хвосты», Свистовка тож, когда оно еще принадлежало не теперешнему «новому» барину, шацкому второй гильдии купцу Ивану Семенову Подугольникову, а прежнему, Николаю Николаевичу Свистову, и немного ранее, его родителю, Николаю Петровичу, в нем числилось триста сорок одна душа и при них удобной и неудобной земли, пахотной, под лесом и под усадьбой, всего три тысячи восемьсот двадцать десятин. Лет за десять до 19-го февраля Николая Петровича выбрали в уездные предводители, и так как с этим званием, по обычаю тех времен, обязательно соединено было непрерывное упражнение в «истинно русском хлебосольстве», что и тогда обходилось не дешево, и так как, кроме того, Николай Петрович уж давно хотел довести псовую охоту до должных и «приличных» размеров, то теперь, по здравом размышлении, он решил, что это «сельцо» надо заложить. Когда он окончательно укрепился в таком решении, в город был послан за ментором «на паре» конюх Ефимка, который на другой день и привез бывшего секретаря уездного суда Василия Прокофьевича Сладкопевцева, отца Ардальёши, тогда состоявшего еще в архиерейском хоре, где он пел «ангельские голоса». Затем, по общей программе, он (то есть Николай Петрович), под руковод-

ством Сладкопевцева проделал все то, о чем было говорено в прошлом очерке, то есть съездил в Москву, прожил там несколько месяцев, заложил в опекунском совете «Большие Собачьи хвосты», «освежился» и привез с собой в деревню троечную сбрую необыкновенно красивой насечки, органчик и масляную картину, изображавшую, как два старца, скрываясь в кустах и за деревьями, с великим любопытством смотрят на прелести Сусанны. В тот же день, как Николай Петрович возвратился в деревню, троечная сбруя с удивительной насечкой была надета на пегих и найдена при этом еще более удивительной; органчик был поставлен в зале, «пущен» и тоже получил общее одобрение; что же касается стариков с Сусанной, то тут мнения разделились. Как ни рада была Марья Васильевна, что муж ее, наконец, возвратился из Москвы, и притом, по-видимому, целым, все же она находила, что стариков с Сусанной нельзя оставлять в гостиной, и потому их поместили в мужской комнате, в кабинете. Батюшка, который приехал служить благодарственный молебен по случаю благополучного возвращения Николая Петровича, тоже нашел, что хотя «тема» картины и дозволительна, но художник прелести Сусанны «преувеличил». Зато брат Марьи Васильевны, Капитон Васильевич, поручик в отставке, за непочтение прóклятый родителями и теперь проживавший у сестры и зятя, был в восторге от нее. Точно такое же, по-видимому, впечатление она произвела и на лакея Никанорку, которого в первые дни никак нельзя было выжить из кабинета, так что Николай Петрович, сначала не понимавший в чем дело, несколько раз говорил ему: «Что ты, братец, тут все торчишь? Пошел вон!» Равным образом любовались на картину и похваляли ее почти все соседи. Тем не менее, однакож, когда приехала с дочерьми, «взрослыми девицами», сестра Николая Петровича, Варвара Петровна, то перво-наперво, как только вошла в переднюю и даже не поцеловавшись еще с братом, сказала ему:

— А у вас, братец, я слышала, висит какая-то непристойная картина, так уж вы либо завесьте ее, либо совсем уберите...

— Она, сестрица, висит у меня в мужской комнате — в кабинете, а впрочем, я сейчас прикажу ее завесить.

И действительно, ее завесили кисеей. Так провисела она завешенною вплоть до приезда архиерея, когда заметил ее и полюбопытствовал посмотреть сопровождавший владыку соборный протодиакон.

— «Тема» картины может быть одобрена, но художник «прелести» Сусанны «преувеличил», — сказал и он по внимательном ее рассмотрении, но затем прибавил: — А впрочем, между купечеством это и ныне встречается.

Наконец, третье мнение высказано было его превосходительством, объезжавшим для ревизии губернию и заехавшим по дороге к предводителю.

— Эта картина, — сказал он, — школы фламандской. — И затем, сделав из кулака левой руки подобие зрительной трубки, долгое время со вниманием ее рассматривал, делая присутствовавшим некоторые указания на ошибки и преувеличения художника. — А впрочем, — присовокупил его превосходительство, — в молодости, в бытность мою для особых поручений в Риге, я знал там одну девицу, и даже благородного происхождения, прелести которой были еще превосходнее...

Таким образом, поездка Николая Петровича в Москву в художественном отношении не может быть названа безусловно неудачной. Что же касается до увеличения псовой охоты, то предприятие это, осуществленное при деятельном участии в нем Капитона Васильевича, удалось вполне, как и следовало: вскоре предводительская «охота» затмила собою «охоты» не только во всем уезде, но даже и в двух ближайших. Крымской породы «смуругой» масти кобель Катай и английская «мелкопсовая» сука Зорька «не отпускали» от себя «зверя» даже на одну «угонку»! Требовать большего — невозможно.

Но зато другие усовершенствования и предприятия, к сожалению, были далеко не так удачны. Постройка, например, «бельведера» на крыше едва не кончилась катастрофой: рано утром, когда в доме все еще спали, с страшным треском потолок в гостиной проломился, и часть бельведера, вместе с проведенной в него для зимнего времени печной трубой и даже с работавшими там плотниками и печниками, просыпалась на пол. И как ни заманчива была идея о бельведере, ее после этого несчастного случая пришлось покинуть. Так же точно неудачно кончилась и постройка моста через вновь выкопанный пруд. Это пред-

приятие по размерам своим хотя и было менее грандиозно, чем постройка нового моста через Неву, но встретило препятствия, по-видимому, еще большие, ибо, несмотря на то, что так же превзошло смету в три раза, все-таки не было доведено до окончания. Какие затраты и усилия пришлось положить при этом строителю, видно уж из того, что когда сельцо «Большие Собачьи хвосты» впоследствии было приобретено покупкою купцом Подугольниковым, он целых три года, купаясь в жаркие летние дни вместе с батраками и молодцами, «кстати» таскал из воды бревна и сваи и натаскал их такое количество, что потом выстроил из них в городе Шацке целый дом.

О более мелких пачинаниях и предприятиях не стоит, конечно, и распространяться: почти все они были более или менее неудачны, либо по лености и нерадению, либо по неумению приставленных руководителей.

Все это вместе с болезнью, а потом и со смертью Марьи Васильевны в значительной степени расстроило здоровье Николая Петровича, и он впал в сладострастие. Трудно высказать, как тяжело было всем нам, знавшим старика и уважавшим его за его ясный ум и истинно русское хлебосольство, видеть его теперь ведущим такую недостойную жизнь. Все помыслы его в это время были сосредоточены, казалось, на одном удовлетворении своих необузданных страстей. Забвение всех приличий доходило в нем, особенно в летние месяцы, до того, что ни один помещик, имевший при себе жену или дочерей, «взрослых девиц», не решался проезжать даже мимо его усадьбы — так легко можно было наткнуться на какую-нибудь срамоту. Вся мужская прислуга была им удалена из дому и заменена женской, набранной преимущественно из девиц. Половину их он одел в мужское платье, но никого из соседей-помещиков, все еще время от времени посещавших его, этим в обман не ввел. Однако, к счастью его самого, он прожил недолго, хотя смерть его была и не из завидных: он кончил дни свои в борьбе с яблоней, которую принял в умоисступлении за упрямую девицу. И смерть была для него счастьем, ибо ходившие уже тогда слухи об эмансипации вскоре оправдались.

Таким образом было положено начало реализации «сельца» «Большие Собачьи хвосты». Дальнейшее усовершенствование его продолжали наследники Николая Петро-

вича — его сыновья Феденька и Коленька. Смерть Николая Петровича была не только оригинальна, но вместе и неожиданна. Конечно, все понимали и знали, что такая неправильная жизнь, какую вел покойник в последние годы, до добра не доводит; тем не менее, принимая во внимание его крепкое телосложение, умеренность прежних лет и многочисленные примеры, которые представляли многие другие, тоже проводившие время не весьма целомудренно и проч., давали некоторую надежду, что катастрофа еще не столь близка. Феденька и Коленька, по-видимому, разделяли тоже это мнение, ибо ничем иным нельзя было объяснить, что ни тот, ни другой при кончине родителя не присутствовали. И это последнее обстоятельство было нехорошо для них еще и в том отношении, что множество вещей тут же, в виду, можно сказать, еще не остывшего помещика, было расхищено неблагодарной и бессовестной дворней.

Само собою разумеется, что тотчас же, как только дошла до детей весть о кончине родителя, оба сына немедленно поспешили из Петербурга, где служили в гвардии штабс-ротмистрами. Выкупавшись с дороги и поклонившись праху покойного родителя, около двух недель уж почивавшего в могиле, они возвратились в опустевший дом и, приказав подать себе кушать, начали обсуждать свое положение в том собственно смысле, как им поступить с «сельцом»?

— Я, брат Федя, не хозяин, — сказал Николай.

— А разве я хозяин? — сказал Федя.

И долго они рассуждали промеж себя, пока не решили, что один из них оставит за собой все «сельцо» и выплатит другому его часть деньгами. Потом Федя вынул из кармана носовой платок, завязал на одном углу узелок, приложил к нему другой угол, без узелка, покрутил их и, улыбаясь, стал искушать брата. Брат Николай не без смущения и робости потянул один из выставленных ему кончиков и вытянул кончик с узелком — имение, значит, досталось ему.

— Дай бог тебе, Коля, всякого успеха, наживи еще такое же «сельцо», — сказал, обнимая и целуя его, Федя.

— Тяжело мне, Федя, будет тебе выплачивать, потому что папенька именье заложил уже, и я не знаю даже, как мне изворачиваться.

— А Фекла Дементьевна-то на что? — улыбаясь и грозя пальцем, в шутку ответил Федя, — я ведь все знаю...

Коля начал опровергать, говорить, что это одна сплетня, что ему мундир этого не позволил бы и проч., а что действительно у нее несколько раз занимал, но эти деньги при первой же возможности ей теперь отдаст, тем более что это она делала для него тайком, в то время, когда муж ее был в Нижнем на ярмарке.

Вслед за тем мы, соседи, узнали, что отныне сельцо «Большие Собачьи хвосты» принадлежит сыну Николая Петровича, Николаю Николаевичу, что он выходит в отставку, вероятно женится и поселится в имении. Все эти догадки и предположения действительно скоро оправдались. Осенью Николай Николаич уж приехал отставным, сделал всем визиты, и мы еще по «чернотропу» вместе с ним порскали по мерзлым зеленям за зайцами.

Это был отличный малый, веселый, гостеприимный, радушный, «шалун»; одним словом, соединял в себе все общедворянские добродетели. В доме все ожило, расцвело и все приняло такой задушевный характер, что, кажется, даже Сусанна перестала пугаться своих стариков и чуть-чуть не спрыгивала оттуда, со стены, к нам на колени. Усовершенствование в костюме прислуги, придуманное покойником, было одобрено и оставлено и теперь, впредь до дальнейших по сему предмету распоряжений. Страстно любя хореографическое искусство, Николай Николаич не жалел расходов, затрат и хлопот по заведению и здесь, в глуши, хотя малого балета. Выписанные из Петербурга две балетчицы, опытные в преподавании, по целым дням прыгали в зале, обучая двенадцать девиц дворового происхождения. Дядя Капитон Васильевич, о котором было упомянуто выше и который в последнее время, как разбитый параличом, жил в мезонине, понятно, не мог с прежней энергией следить за псовой охотой и несколько запустил ее, но теперь, в эпоху общего обновления, была «подтянута» и она и поставлена на высоту своей задачи. Это тем более необходимо было сделать, что на будущий год предстояли дворянские выборы, и в уезде у нас уж серьезно поговаривали об избрании Николая Николаича в предводители. «Смуругой» Катай и «аглицкая» Зорька хотя и значительно уж устарели для охоты, но зато дали такой прекрасный и многочисленный

приплод, что исполнение этой задачи, то есть собственно восстановление псовой охоты прежних качеств и в прежнем объеме, не стоило даже особых хлопот и затрат.

Из других предприятий и начинаний покойника Николай Николаич не продолжал ни одного почти: ни постройка бельведера, ни сооружение моста через пруд не были возобновлены. Он несколько раз даже нам высказывал свое удивление по поводу этих сооружений.

— Какая идея была у него? — в раздумье спрашивал он и себя самого и нас, и ни сам, ни мы не могли дать ему на этот вопрос никакого сколько-нибудь удовлетворительного ответа.

Но такое игнорирование строительной части с избытком возмещалось энергией и деятельностью его на других поприщах. Так, через какие-нибудь полгода, несмотря на упорно ходившие слухи о скорой эмансипации, что очень вредно отзывалось на успехах учениц, все двенадцать девиц уж очень порядочно танцевали, особенно «характерные» танцы, и если бы не обнаружившаяся у многих из них беременность, то, несомненно, достигли бы значительного совершенства.

Не меньшим успехом сопровождались и усилия его дать крестьянам музыкальное образование. Хоры, особенно женские голоса, тоже через какие-нибудь полгода выделывали такие фиоритуры, трели и проч., что все «мы» просто ушам своим не верили. А брат нашего уездного аптекаря Ивана Карлыча, Богдан Карлыч, приезжавший к нему на каникулы из Дерпта, был решительно поражен, когда услыхал пение, и чуть не женился на сопрано. И т. д., и т. д.

Трудно, конечно, сказать, чем бы кончились все эти преобразования и усовершенствования, если бы грянувший манифест об улучшении быта помещичьих крестьян не положил им конца. Тут у всех и все сразу изменилось... Не только по слухам, но даже из самого манифеста ясно было видно, что дальнейшие преобразования наши ни в каком случае не могут не только увенчаться полным успехом, но даже иметь какую-нибудь будущность. Понятно: кто же будет трудиться над делом, наперед будучи уверен, что никаких плодов от него не дождется? И потом, как известно это по истории, успех всякого дела непременно требует сильной и сосредоточенной власти, а

какую же власть мы из себя представляли, когда опасались собственной своей прислуги и при входе ее или умолкали, или продолжали разговор на одном из иностранных языков? Наконец, кроме всего этого, губернатор, по обычаю объезжавший и в этом году губернию для ревизии, на обедах у предводителей прямо говорил «нам», что занятия, подобные обучению крестьянских и дворовых девиц хореографическому искусству, хотя сами по себе и ничего недозволенного и вообще предосудительного не представляют, но все-таки гораздо приятнее было бы, если бы были прекращены, и чем скорее, тем лучше.

Таким образом, все начинания и усовершенствования Николая Николаича, желавшего превратить сельцо «Большие Собачьи хвосты» в новые Афины, были пресечены в самом начале. И действительно, вскоре и балет, и хоры, и «английские мальчики», как называл покойный Николай Петрович своих переодетых горничных, были распущены. Тут «кстати» следует заметить, что многие из горничных, и особенно балетных воспитанниц, успевшие уже полюбить искусство и сделавшие в нем, несмотря на беременность, значительные успехи, расставались теперь с своими наставниками и наставницами с непритворною грустью и даже со слезами. И это совершенно понятно. Что их ожидало? Вместо беззаботной и приятной «во всех отношениях» жизни пред ними являлась тяжелая и изнурительная полевая работа, грубая одежда, грубая пища!..

Удержав при себе только трех лучших балерин, Николай Николаич окружил их невиданной ими роскошью и тем вниманием, предупредительностью и радушием, какие присущи только истинно русской широкой натуре. Но и у этого, можно сказать, почти домашнего очага, он не находил, к сожалению, покоя. Мелкие дрязги, шпильки, зависть, эти вечные спутники и недуги театральной и вообще артистической жизни, отравляли его душу. Наконец, ко всему этому прибавилась еще доказанная неверность и неблагодарность двух балерин. Удалив недостойных, хотя и счастливых своих соперников, доезжачего Ваську и повара Яшку, на скотный двор, а неверных балерин возвратив к их прежним занятиям, то есть к полевым работам, Николай Николаич еще более почувствовал тоску и одиночество. Только предстоявшая зимой

баллотировка хотя немного еще интересовала его. Он знал наше уважение к нему и наше намерение избрать его своим предводителем в наступавшие тяжелые для нас дни и готовился с достоинством носить это высокое звание. От Гурина из «Московского» был сманен «второй» повар; два помощника к нему были переманены тоже из каких-то хороших трактиров. У Сазикова (кажется, уж он был тогда) было заказано серебро с гербами рода Свистовых (в червленом поле на одной ноге стоящий серебряный гусь; внизу два яйца), фарфор, фаянс, бронза, ковры и проч. были куплены в Москве и, тщательно запакованные, бережно доставлены в сельцо.

— Теперь вам, Николай Николаич, недостает только жениться, — говорили «мы», рассматривая покупки.

— Это еще не ушло, — отвечал он нам. — Да и время теперь не такое.

И действительно, время было «не такое»!

Тем не менее, однако ж, оставаться «дому» без хозяйки было невозможно, и потому Николай Николаич письменно пригласил некую Марью Михайловну Разлимонову, с которой познакомился в Москве, во время своей поездки за покупками. Вскоре она и прибыла вместе с горничной. Но и в этом выборе он не был счастлив. Разлимонова оказалась бешеной полувдовой комиссариатского происхождения и, приглашенная Николаем Николаичем к отправлению обязанностей, сии последние распространила не только на всех молодых и холостых соседей-помещиков, но и на многих женатых и даже на прислугу. Впрочем, все это обнаружилось уж позже; теперь же, будучи некогда сама помещицей, ныне прогорелой, она с честью и достоинством несла трудную обязанность хозяйки, и, что еще важнее, хозяйки-предводительши.

Николай Николаич оказался редким и тогда уже предводителем по своему радушию и «истинно русскому хлебосольству». К нему мы ездили совершенно как в трактир: был ли он дома, нет ли — все равно можно было приезжать, заказывать повару обед, требовать шампанского и т. д. Сам же он всецело предался политической жизни, отстаивая права дворянства, дарованные нам известной грамотой императрицы Екатерины. Он то и дело ездил то к губернатору, в наш губернский город, то в губернский по крестьянским делам комитет, то еще в какой-то

комитет, название которого я уж и не припомню теперь, то, наконец, в Петербург, к своему родственнику князю Петру Петровичу. Одним словом, он делал все, не жалея трудов и расходов, лишь бы отдалить или по крайней мере ослабить готовившуюся «катастрофу». Когда же, наконец, несмотря на все это, Положение 19-го февраля было объявлено и ничего нельзя было уж поделать, он обнаружил редкий политический такт. В предвидении этого события он заказал себе «русский костюм», состоящий из красной рубашки, бархатной поддевки и таких же штанов, и явился в нем в церковь в день объявления манифеста. При первых же словах манифеста, едва священник произнес: «Осени себя крестным знамением, православный русский народ», он не только осенил себя, но пал на колени и увлек к тому же всех присутствовавших своим примером. Потом истинно братски перецеловался со всеми своими бывшими крестьянами, ныне временнообязанными, и пригласил их всех к себе в дом на обед. Тут сам, сев рядом со старостихой, старосту, ее мужа, посадил рядом с предводительшей Разлимоновой, желая показать этим пример равенства и слияния сословий. К сожалению, многие из нас, неверно понимая его основную или, лучше сказать, тайную мысль, нашли его в высшей степени политичный поступок унизительным для дворянства и легкомысленно осуждали.

Впрочем, очень скоро, когда пришлось вводить уставные грамоты, мы поняли, какое неоцененное имеем в нем сокровище. Можно положительно сказать, что только благодаря ему одному очень многие из нас лучшие свои земли сохранили за собой, «предоставив» крестьянам обработку «более низменных и песчаных». Неутомимости и энергии его при этом поистине следовало удивляться; он положительно не выходил из тарантаса иногда по целым неделям, являясь, когда того требовали интересы дворянства, то в центре, то на одном, то на другом конце уезда, везде ободряя наш упавший дух, помогая советом и делом.

Но это служение обществу до забвения своих интересов, а равно и чрезмерное радушие и хлебосольство были причиной его материального расстройства: он впал в долги, и притом людям корыстным и не нашего сословия, как, например, шацкому второй гильдии купцу Подуголь-

никову и бывшему секретарю духовной консистории Сладкопевцеву. Через постоянную и довольно продолжительную переписку заемных писем и векселей, с припиской притом тяжких процентов, долги его росли с печальной быстротой и достигли, наконец, таких размеров, что он не мог покрыть их сполна даже и всей выкупной суммой.

В то же время ему суждено было перенести новое испытание и огорчение: привязавшись своей благородной душой к прелестям Разлимоновой, он был поражен, когда узнал всю недостойность поведения этой новой Мессалины. Тем не менее, любя ее и будучи слаб перед ее слезами и клятвами, простил и поверил ей, но она за все это вскоре отплатила ему самой черной неблагодарностью: в бытность его вместе с нею в Москве она бежала от него с татарином от Дюссо, похитив притом значительную сумму деньгами и процентными билетами, вымененными им на выкупные. Все эти материальные и нравственные неудачи и неприятности не могли не влиять и на здоровье и на энергию его; но и то и другое, казалось, было у него железное, ибо, перенеся все огорчения, он не только не упал духом, но еще возбуждал мужество в нас, собравшихся к нему со словами утешения. Так, когда почувствовался, вследствие Положения 19-го февраля, у нас в хозяйстве недостаток рабочих рук, он первый остановился на мысли заменить мужиков машинами и вообще завести в самых обширных размерах «рациональное хозяйство». Употребив выкупные на уплату самых вопиющих своих долгов, он поспешил в Петербург, где в то время открылось общество взаимного поземельного кредита, и перезаложил там «Большие Собачьи хвосты». Тут он позволил себе некоторый отдых, впрочем небольшой — около месяца, и, привезя с собой миловидную француженку Люси и множество сельскохозяйственных машин и орудий самых усовершенствованных систем, горячо и страстно предался этому роду деятельности. Любовь и вообще нежные чувства к миловидной Люси не мешали ему вставать с рассветом и, выпив стакан парного молока, отправляться в поле на работы. К сожалению, выбранная им, так же как и всеми нами, система «рационального хозяйства», несмотря на несомненные достоинства, имела тот очень важный недостаток, что требовала бесконечных

затрат, не принося никакого дохода, и потому деньги, полученные им из банка и оставшиеся от экипировки Люси и покупки машин, очень скоро истощились. Не «нам», конечно, упрекать его и осуждать за некоторую, быть может, легкомысленность и вообще слабость к прелестям прекрасного пола, поглотившим довольно значительные суммы. Вспомним, что это было единственной его отрадой среди неусыпных трудов, забот и огорчений!

Между тем недостаток в деньгах становился не только с каждым днем, а с каждым часом все более и более ощутительным, и, что самое скверное, несмотря на усиленный и явный «спрос», «предложения» не было решительно никакого. Подходил август — срок платежа в банк процентов и погашения; в сентябре наступал срок платежа по векселям Сладкопевцеву, в октябре — Подугольникову... Нависшие таким образом со всех сторон тучи, очевидно, должны были непременно разразиться грозой, и катастрофа была неминуема в самом непродолжительном времени. С своей стороны, мы ничего не могли сделать ему на помощь уже по одному тому, что сами, что называется, дышали на ладан. Таким образом, ему оставалась надежда только на провидение да на самого себя, на свою энергию. Он и действительно ни с кем из нас не советовался, ни у кого ничего не просил, наперед зная всю бесполезность того и другого.

Однако обо всем этом мы только догадывались; сам же он никому никогда на свои затруднения не жаловался и даже ничем не давал понять о существовании их. И теперь и в этом году, первого июля, в день своего рождения, он пригласил к себе весь уезд, и обед был приготовлен так же прекрасно, как и всегда.

По всему этому мы были совершенно спокойны за него и даже нисколько не сомневались, что и чрез год так же прекрасно проведем этот день, вновь собравшись к нему на радушный обед. Так крепка и непоколебима была в нас вера в его ум и находчивость! Но дни пребывания его между нами были уж сочтены...

Недели через две после описанного обеда в уезде вдруг стало известно, что неизвестно куда Николай Николаич уехал, взяв с собою некоторые предметы, по-видимому не первой необходимости; как, например, Сусанну, все чубуки, серебро и проч. В то же время рассказывали,

что и парк и сад рубят какие-то приехавшие из города мещане. Кроме этого, передавалось еще множество вещей уж совершенно несообразных...

Очень понятно, что все мы один за другим поспешили побывать в «Больших Собачьих хвостах» и на месте собрать точные сведения о происходящем. К сожалению, печальные слухи на этот раз имели основание. Уже версты за две не доезжая господской усадьбы было видно, что она стоит оголенная, лишившись своего лучшего украшения — парка и сада. При въезде во двор мы видели дом заколоченным, равно как и все флигеля, службы и хозяйственные постройки. Казалось, единственными живыми существами во всей усадьбе были старый кобель смуругой масти Катай и буфетчик Иван Степаныч. Этот последний и давал нам всем объяснения, водил нас по стогнам и, чвакая и шамкая своим беззубым ртом, рассказывал о последних минутах пребывания Николая Николаича.

— И изволили они позвать повара Василия. И говорят ему так ласково: «Поди, говорят, Васильюшка, налови мне с Ванюшей, — это значит со мной, — карасиков и зажарь их, как я люблю, в сметане с укропом, да чтобы поподжаристее были».

— Что ж, и Люси вместе с ним уехала?

— И мадама с ними-с.

— Да ведь она беременная?

— Как же-с, совсем на сносях-с. Они так и приказали говорить, если кто будет спрашивать, что рожать в Америку поехали.

— Куда?

— В Америку-с.

— Ну, а тебе самому-то он что говорил? Ведь он любил тебя, кажется.

— А это уж наше-с дело.

Но мы, разумеется, давали ему на чай, а Иван Степаныч, щурясь, улыбаясь и пряча деньги в карман, говорил:

— Известно, в «отхожий промысел» поехали.

— То есть как же это? куда?

— А уж этого-с и сам не знаю. Изволили сказать: еду я, Ванюша, в отхожий промысел, а больше ничего не объяснили.

— Да, а кто же сад-то с парком вырубил?

— А это, изволите знать купца Подугольникова? — так племянники его.

— Значит, Николай Николаич им продал еще?

— Беспременно-с. Иначе кто же бы им, псам, дозволил такую срамоту произвести.

— И все вещи с собою увез?

— Какие увезли-с, а какие продали.

— А Сусанну?

— Сусанну приказали из рамы вылупить, свернули в трубку и с собой взяли. Это, должно быть, память о покойном папеньке.

— Ну и что ж, веселый он уехал?

— Ничего-с, в расположении духа. «Я, говорит, не пропаду...»

И действительно, как мы увидим это дальше, он не только не пропал, но и не мог даже пропасть...

Таким образом, дело стало ясно. Дальше сомневаться нельзя уж было, что наш предводитель сбежал. Удивительного тут для нас, конечно, ничего не было, так как мы уж давно привыкли, что у нас сбегают не только уездные, но даже и губернские предводители, а все-таки нам было жаль его.

— Как это так: жил-был человек, ели, пили мы у него, и вдруг его нет? И в то же время он, несомненно, жив...

Потосковали мы по нем, посплетничали, разумеется, а тут вскоре, как-то месяца через три или четыре, слышим, что «Большие Собачьи хвосты» купил с аукциона, с надбавкой против оценки чуть ли не трех рублей, наш общий знакомый купец Подугольников. Прошло еще что-то с год или немного больше, и мы узнали, к общей нашей радости, где обретается наш бывший предводитель и каким отхожим промыслом он занимается.

Я нарочно подробнее рассказал и биографию Николая Николаича до его отправления в отхожие промыслы и судьбу «Больших Собачьих хвостов», с той целью, чтобы, рассказывая дальше похождения «наших» на промыслах, уже не повторять двадцать раз одного и того же, так как и биографии их до промысловья и судьбы их Осиновок, Стрекаловок и проч. в общем поразительно сходны друг с другом. Поэтому я прошу читателя предполагать у каждого из действующих лиц этих очерков подобное прошлое, так же точно как и у его Сосновки или Ивановки такую

же точно историю до перехода к Подугольникову или Сладкопевцеву. Повторяю: сущность у всех одинакова и различия самые мелкие, детальные. Исключение надо будет сделать разве только для одного брата Николая Николаича, Федора Николаича, не самостоятельно, без личного, так сказать, участия потерявшего свое имение «Малые Собачьи хвосты». С него мы и начнем, пока Николай Николаич устраивается на промыслах.

Хотя они были и родные братья, происшедшие от того же отца и той же матери, но сходства между собой не имели никакого даже и во внешности. Николай Николаич был высок ростом, мужествен, черты лица имел крупные, резкие, растительность волос повсеместно обильную, вспыльчив, неутомим, сластолюбив и вообще походил на отца. Брат Федор, напротив, роста был среднего, черты лица имел мелкие, кроток, растительность волос повсеместно имел слабую, был аккуратен, прилежен и хотя, подобно отцу и старшему брату, был сластолюбив, но зато, подобно своей матери, был застенчив и стыдлив. В собраниях и вообще публично никто никогда не видал его вольного обращения с девицами хотя бы самого зазывательного поведения. Для сего он любил уединение и прежде всего тщательно осматривал в нумере замки, задвижки, пробовал их крепость и удостоверялся, не проверчено ли где дырочек для нескромного наблюдения, тогда как брату Николаю на все это было наплевать.

Оба они получили воспитание и образование в только что открытом тогда училище статских юнкеров, и хотя из самого названия этого училища видно, что оно партикулярное, а не военное, тем не менее оба брата «променяли перья на шпаги» и в момент кончины родителя служили, как сказано, гвардии штабс-ротмистрами.

Выше было уже говорено, как и почему их обоих наследственное имение, сельцо «Большие Собачьи хвосты», досталось одному брату Николаю. Покончив раздел, то есть получив от брата векселя и заемные письма на сумму, равную стоимости половины «сельца», Федор уехал в Петербург, где и продолжал служить «шпагой». Но, будучи по природе нрава кроткого, а не воинственного, он почти не посещал трактиров и вообще более или

менее опасных мест, предпочитая уединение и наслаждение любовью втайне. Для этого последнего у него была некая Клеманс, француженка лет сорока, когда-то известная кокотка, но в данный момент за старостью сошедшая со сцены и содержавшая chambres garnies.[1] Теперь с каждым годом таких содержательниц меблированных комнат становится все больше и больше, но тогда они были наперечст и «делали отличные дела». У них останавливались вновь приезжие из Парижа француженки; у них они экипировались, сводили знакомство и начинали карьеру. Вследствие всего этого в подобных меблированных комнатах почти исключительно жили офицеры, кокотки и только что выпущенные воспитанники училища статских юнкеров. Там, в этих chambres garnies, всегда пахнет помадой, духами, все комнаты носят будуарный характер; на мебели, остатках прежнего величия хозяйки, преобладают, хотя уж и выцветшие и засаленные, цвета голубой, розовый; масса разбитых и склеенных фарфоровых фигурок на этажерках; везде наставлены когда-то несомненно дорогие, но теперь ободранные и изломанные бомбоньерки; эротом так и несет отовсюду. В таком-то гнездышке поселился и тихонько-смирнехонько проживал Федор Свистов, все свободное от службы и визитов время проводя в объятиях Клеманс, умевшей, несмотря на свои престарелые прелести, бесконечно разнообразить искусство любви. И жизнь их обоих текла до такой степени прекрасно и невозмутимо, что оба они ничего лучшего и не желали. По всей вероятности, так и пошло бы надолго, если бы их счастью не помешал, хотя и не злонамеренно, без умысла, брат Николай.

Подвижной, энергичный, вечно или раздраженный изменою любимой женщины, или преисполненный ненасытных вожделений к вновь намеченной, он — надо правду сказать — иногда бывал в суждениях и поступках своих легкомыслен и чересчур поспешен. Так точно было и в данном случае. Одна помещичья вдова, полюбив станового пристава, решила дать ему приличное образование «и вообще хорошие манеры», для чего и собралась с ним за границу. Обсудив серьезно свое намерение, она, однако, увидала, что имеющихся у нее средств для пребывания

---

[1] Меблированные комнаты *(франц.)*.

за границей и воспитания станового недостаточно, а потому с поспешностью начала продавать свое имение, доставшееся ей от покойного мужа. Едва Николай Николаич услыхал об этом, как тотчас же написал брату Федору, чтобы тот скорее приезжал и покупал вдовье имение. Нетерпеливой вдове была выдана какая-то ничтожная сравнительно часть наличными, а на остальную сумму она получила от Федора векселя брата Николая с его, Федора, ответственными бланками, и имение было куплено. Хотя, само собою разумеется, вдова вполне воспользовалась и выкупными и банковой ссудой, и имение, таким образом, представляло уж выжатый лимон, но с заведением «рационального хозяйства» оно должно было, по всем соображениям, расцвести и сделаться необыкновенно доходным. В этих видах брат Федор бросил службу, а Клеманс продала свои chambres garnies, и они явились хозяйничать в «благоприобретенное», названное в воспоминание о родовом, где сидел брат Николай, «Малыми Собачьими хвостами».

Ничего нельзя себе представить прелестнее этого уголка, каким его вскоре сделал Федор. Лужайки, мостики, газончики, дорожки — все это пестрело и услаждало взор. В каждом мало-мальски уединенном местечке сада были поставлены или удобные диванчики, а то и вовсе построены легкие и изящные беседки во всевозможных вкусах, со всевозможными приспособлениями. Миниатюрные и самого причудливого вида собачки резвились у ног их, когда они гуляли в саду. По настоянию Клеманс, он положил основание обширному зданию со стеклянной крышей, в котором предполагалось разводить виноград — этот любимый фрукт ее родины...

Но и здесь они вели жизнь уединенную, не бывая решительно ни у кого из соседей, кроме брата Николая. Под его же руководством и по его указаниям брат Федор накупил у Бутенопов сельскохозяйственных орудий и машин и с будущего года хотел серьезно заняться «рациональным хозяйством». Уже все было готово: куплена легкая и удобная панама, сшито несколько прелестных сереньких пиджачков, самых нежных цветов пестрые рубашки, так удобные в деревне; для Клеманс был куплен изящный плетеный кабриолет (она тоже хотела заняться рациональным хозяйством и, между прочим, в обширных

размерах засевать поля салатом, сельдереем и артишоками, которые так дороги у Бореля). Впереди все было розово, улыбалось... и вдруг, менее чем через год, вследствие «несчастия» с братом Николаем пришлось и брату Федору, бросив все и вся, лишиться, за неплатеж по векселям, не только «Малых Собачьих хвостов», но и тех усовершенствований и приспособлений, какие он уже сделал в имении. Известившись о катастрофе с предводителем, вдова, не окончив даже воспитания станового пристава, поспешно вернулась из-за границы. Начались взыскания, описи, и в конце концов брат Федор должен был сперва удалиться из имения в наш уездный город, так как «Малые Собачьи хвосты» были куплены с аукциона родственником станового, губернским секретарем Сладкопевцевым, а потом ехать в Петербург, тоже в отхожий промысел.

— Конечно, хоть я и на законном основании, покупкою, приобрел ваше имение, — говорил ему, прощаясь с ним при отъезде, Сладкопевцев, — но всё же вы не поверите, как мне неприятно видеть вас в горе, а уж особенно вашу мадам: берегите «их» здоровье — здоровье важнее всего. И потом, христианин никогда не должен отчаиваться — это грех...

С такими напутствиями покинул нас и Федор Свистов. Продолжать службу в штабс-ротмистрах на одно жалованье, очевидно, было бы абсурдом. Служить там, где он служил прежде, можно еще кое-как, получая несколько тысяч «из деревни»; но жить и «служить» на 86 рублей жалованья в месяц — это...

Как мы увидим дальше, Федор послушал совета Сладкопевцева, то есть, как истинный христианин, не допустил отчаянию овладеть собой, и благодаря этому избранный им промысел оказался и удачным и обильным. Но мы пока оставим его в покое: пусть он устраивается там и прилаживается.

Около этого же времени, не больше как через год, сбежал у нас из своего имения Вонючие Пруды еще один помещик, Дмитрий Васильевич Сольдеревский, тоже, конечно, отставной штабс-ротмистр. Это был мужчина лет тридцати, брюнет, высокого роста и железного здоровья. В уезде у нас он считался первым красавцем, и в этом все

были согласны: и барыни, и барышни, и чиновницы, и бабы, и девки крестьянские. Сколько он у нас завязал и развязал романов — это, кажется, и самому Дон-Жуану было бы не под силу, а он — ничего: каким проявился у нас розовым и цветущим, таким и «пропал». Относительно образования сказать что-нибудь определенное трудно, до того оно было оригинально. Он учился везде, в буквальном смысле этого слова. В Петербурге и в Москве нет того, кажется, частного и казенного учебного заведения, в котором бы он не был хоть одну неделю. Однажды около полугода он прожил даже в женском пансионе, куда, заметив грубость его характера и манер, поместил его отец, рассчитывая на влияние нежного пола и заботы содержательницы пансиона, какой-то их дальней родственницы. Но здесь пребывание его, как и следовало ожидать, кончилось печально уж не для одного его... Когда Митенька сделал эту «шалость», ему было уж шестнадцать лет, и потому родитель, испытав еще три-четыре учебных заведения, убедился, наконец, в тщете своих усилий и определил его на службу в какой-то гвардейский кавалерийский полк. Что ж мудреного после всего этого, что он и все знал, и ничего не знал. Два, впрочем, предмета он знал отлично: французский язык и лошадей. Одному его выучили кокотки у Бореля; другому научили дома еще, на заводе у отца. Если хотите, по-своему он был и добрый малый. В полку, говорят, его все любили, и товарищи и ростовщики: первые — за то, что он ставил за них сколько угодно бланки на векселях; вторые — за то, что отец его исправно платил по бланкам. Но, как ни велико было состояние отца, расшаталось, наконец, и оно: ссуда опекунского совета ушла на воспитание, а выкупные — на уплату по бланкам, так что сам Митенька, унаследовав Вонючие Пруды, проделал с ними только два последних эксперимента, то есть перезаложил их в обществе взаимного поземельного кредита и заложил по второй закладной какому-то Подугольникову. И обе эти операции он произвел скоро, года в три или четыре, не больше. Затем, нахватав, где удалось и сколько удалось, взаймы и не дожидаясь аукционной продажи Вонючих Прудов, в справедливом убеждении, что не стоит этого и дожидаться, покинул нас, казалось, навсегда. Рассказывали, впрочем, что накануне своего исчезновения он ку-

тил со своими приятелями, двумя известными на всю Россию лошадиными барышниками, и при этом хвастал им, что скоро они опять его будут встречать и опять у него куры клевать не станут денег.

— Да это он так, куражился только — где ему! — усмехался потом барышник, рассказывая про проводы. — Еду, говорит, я от вас не надолго; сердце мое предчувствует, что меня там счастье ждет.

— Да куда же он поехал? — спрашивали мы.

— Куда? Известно куда — на промысел какой. Здесь сидеть ему нечего, а на новом месте, может, что и промыслит.

— Да ведь он никакого дела не знает?

— И не нужно.

— Что ты, как не нужно, господь с тобой!

— А очень просто: в лихие люди пойдет — вот и все.

Есть пословица: «На погосте жить — всех не оплакать». Так и мне — всех не перечесть. Много нашего брата помещика сошло на нет. Много ушло «нас» на промыслы, и где теперь эти ушедшие искать счастья на новых местах — одному богу известно. Встречал я их и на ярмарках, и на железных дорогах, и в гостиницах, за конторкой пишущих по диктовке повара меню обеда и счета приезжающим; встречал их за границей, вечно ждущих каких-то денег из России. Чем они живут, на что они рассчитывают — господь их знает. Здесь же я выбираю только тех, которых хорошо знал и знаю, и притом самых крупных и типичных. То, что проделали «на промыслах» эти крупные в большом масштабе, масса мелочи проделала в масштабе маленьком. Поэтому я нахожу нужным взять для этого же очерка еще одного героя, прогремевшего и у нас, в глуши, и здесь, в Петербурге. Нового слова миру он, как и все они, конечно не сказал и с этой стороны не интересен, но любопытен как знамение времени и как самый крупный удачник на том промысле, на котором искали себе счастья многие из наших, да и до сих пор его ищут...

Под самым нашим городом, так верстах в пяти от него, стояла, и не так еще давно, очень скромная, запущенная, даже и похилившаяся усадьба, какие прежде обыкновенно

бывали у помещиков, владевших пятьюдесятью — шестьюдесятью душами. Но вокруг этой бедной и покосившейся усадьбы густо и роскошно разросся огромный сад, с толстыми и высокими липами, кленами, плакучими березами и целыми куртинами яблонь и вишен. Происхождение таких громадных садов у мелкопоместных помещиков объяснялось тем, что прежде когда-то в этом гнезде жил крупный барин; по смерти его дети землю и души поделили; каждый заново выстроился на своем новом месте, а эта старая усадьба с несколькими десятками душ и несколькими сотнями десятин земли досталась теперь одному из наследников, и вот отчего такая непропорциональность. В усадьбе, о которой идет речь, жил именно такой мелкопоместный барин, Михаил Михайлыч Поленин. Как стал я себя помнить — помню и его исправником. Это был тип тогдашних исправников. По первому зову помещика он летел к нему в имение и «усмирял». Обыкновенно эти усмирения состояли в том, что Михаил Михайлыч, в тарантасе с колокольчиками, бубенчиками, с рассыльным на козлах, как угорелый подкатывал к дому, сажен за двадцать еще крича во все горло с побагровевшим лицом: «Подайте мне «его» сюда!» «Его» «подавали». Михаил Михайлыч, ничего не расспрашивая, ничего не узнавая, с ужасным сквернословием накидывался на виновника своего беспокойства, вышибал ему несколько зубов, в кровь разбивал нос и сам чуть не замертво падал тут же. Затем рассыльный при помощи лакеев вносил его в кабинет, ставил ему куда-то горчичник, надевал чистое белье, и через полчаса Михаил Михайлыч уж совершенно спокойно сидел и пил чай с лимоном, немилосердно дымя трубкой. В то блаженное время такая собачья способность по заказу приходить в ярость и уродовать человека ни за что ни про что, и притом человека, которого никогда прежде и в глаза не видывал, — была присуща почти всем опытным исправникам и на выборах (исправники тогда были выбранные дворянами) ценилась особенно высоко. Оттого его и выбирали постоянно, без перерыва, вплоть до самой его смерти. Но вне этой способности и деятельности он был очень добрый человек и до тошноты радушный хозяин. Хотя в то время исправники с помещиков, кроме исключительных и редких случаев, взяток не брали, вполне довольствуясь данью с откупщика, государствен-

ных крестьян, раскольников и приношениями «граждан», то есть мещан и купцов, но, и несмотря на это, они жили на широкую ногу. Такая осетрина, такая селянка и такая икра, как у исправника, подавались, кроме предводителя, только у откупщика, городничего да у городского головы... Таких же точно нравов и взглядов, разумеется, держался и Михаил Михайлыч. Оттого у него в «Жеребячьем» — так называлось его имение — постоянно была, что называется, неотолченная труба; туда съезжались и в карты играть, и удивительную икру есть, и удивительные наливки пить, и любоваться, наконец, удивительной красотой мелкопсовых борзых все той же излюбленной смуругой масти. В такой обстановке родились и лет до десяти, до двенадцати прожили двое детей его — дочь Лиза и сын Костя, когда, в очень скверное осеннее утро, в Жеребячье привезли в тарантасе мертвого Михаила Михайловича.

— Да, такого другого исправника у нас уже не будет, — говорили «мы» потом, вспоминая его. — Как это он только показался еще за садом, гляжу, — уж стоит в тарантасе и орет: «Подайте мне его! Подайте!» Увидав Андрюшку, выскочил, «влип» в него и до того «зарьял», что даже и не ударил ни разу, так и подох на нем. Ставили и горчичники и кровь пускали — ничего не помогло. Рассыльный обмыл это его, переменил на нем уж на мертвом белье, подождали, пока окостенел, и отправили в Жеребячье.

Произошло это печальное событие года за два до 19-го февраля, и хотя до сих пор у нас исправники все хорошие, но совершенно в ином жанре, и другого такого действительно уж больше не было.

Тут как-то скоро Костю определили, за заслуги отца, на казенный счет в корпус, а Лиза осталась при матери в деревне. Каждое лето этот Костя являлся на каникулы и был такой чистенький, аккуратный, ласковый ко всем; даже уж слишком иногда. Видал и я его, разумеется, и мне тогда и в голову не приходило, что передо мной — будущая знаменитость. Потом я его как-то потерял из виду и встретил уж офицером, в форме какого-то армейского гусарского полка. Такой же ласковый, чистенький, «искательный»; на губах усики пробиваются; на цепочке брелоки, медальончики. Помню, еще в это время я получил

от него какое-то письмо, и меня поразил его почерк — совершенно женский. Повертелся тут у нас он что-то около месяца, поплясал кой у кого на именинах, влюбился в какую-то Сонечку или Катеньку — и пропал опять.

Года через три после этого приезда с Лизой разыгралась буквально такая же точно драма, какая рассказана Тургеневым в «Дворянском гнезде». Точно вот она сговорилась проделать шаг за шагом все то, что проделала *та* Лиза с *тем* Лаврецким. Вся разница была только в том, что здесь обе — и мать и дочь — пошли в монастырь. Развязка этого живого романа случилась поздней осенью, а по первопутью к нам приехал уж Костя, и одним отставным штабс-ротмистром у нас стало больше. Известно, каждый хоть немного наблюдательный человек сейчас узнает военного, недавно надевшего статское платье. Всегда оно как-то особенно и сшито и сидит на нем: не то узко оно ему, не то не привык он, что ли, только видно, что человеку в нем неловко, оттого он и какой-то сам неловкий и руки — то не знает куда их девать, то уж очень развязно, ухарски с ними распоряжается. Неприятно смотреть! У Кости же ко всему этому еще цепочки, колечки, брелоки, благовоние от головы и платка, и когда первый раз я увидал его в этот приезд, он мне показался ужасно хамоватым. А тут еще эта неприятная его ласковость...

Но все это мне, должно быть, только так показалось, а на деле этого не было, потому что все за ним ухаживали, так все сочувствовали «его несчастью»... И в нем — столько покорности судьбе, столько послушания, столько желания выслушать от всех советы, замечания. Все маменьки и тетеньки считали его примерным сыном и молодым человеком, которого бог знает за что постигло «такое несчастье».

— Это ужасно! Он еще почти мальчик, и такой скандал в семействе...

Сестру обвиняли, кажется, даже и в том, что она «зарезала» «своим поведением» его карьеру. Все это или говорилось ему почти в глаза, или доходило до него, и он молчал.

— Как же вы думаете, Костя (половина «нас», помещиков, и почти все дамы и девицы говорили ему «Костя»),

поступить с Жеребячьим? Ведь «они» обе в монастыре, стало быть, их части...

— Право, я ничего не знаю. Вы как посоветуете?

И советы так и лились. А он их всё слушал, слушал, раза два съездил в монастырь к сестре и матери, и в одно прекрасное или ужасное утро только мы узнали, что Жеребячье Костя продает Сладкопевцеву, и притом на каких-то необыкновенно хитрых и сложных условиях. Разумеется, мы все его жалели и решили, что это еще одна новая жертва этого «проклятого паука».

— Что ж вы думаете делать, Костя? Опять на службу?

— Опять. В Жеребячьем мне все так напоминает...

— Смотрите, Костя, будьте осторожны с деньгами. Вы еще так молоды, вас, при вашей доброте, так легко обмануть.

Наконец эта продажа совершилась. «Наличных» Косте осталось очень немного. Покойный Михаил Михайлович, несмотря на свои «обильные» доходы, со всех сторон к нему притекавшие, постоянно нуждался в деньгах. Оттого Жеребячье было, разумеется, заложено в опекунском, и кроме того были и так частные должишки, которые каким-то образом вдруг все очутились в руках у Сладкопевцева, и он «следуемые суммы полностью удержал». Так что всего-навсего Костя «выручил» тысчонки четыре или пять. Правда, он, как оказалось потом, дал матери и сестре что-то около 25 рублей на их долю, но во всяком случае для молодого человека из гусар что же за деньги и пять тысяч?..

Но Костя, как будет это видно дальше, оказался «мальчиком» серьезным и сумел не только сохранить свой «капитал», но и значительно его приумножить, мимоходом приобретая себе еще и всероссийскую славу...

Все это, однако, оказалось уж позже; теперь же проводили Костю «на службу» с самыми сердечными пожеланиями успеха и с грустным предчувствием, что «бедного мальчика» непременно оберут.

— Прощайте, Костя, пишите нам. Вы знаете, как вас все полюбили.

Костя целовался с мужчинами, у дам и девиц целовал ручки и хотя не плакал, но зато так сжимал брови и прикусывал себе нижнюю губу, что, казалось, вот-вот у него брызнут слезы. Почти у всех «нас» он был с прощальным

визитом: у кого обедал, у кого протостил целые сутки, у кого хотя на минутку, но все-таки побывал. Наконец кончился этот объезд и прощания, и Костя закатился.

— Да, ужасна его судьба! Мальчик — один. Это хуже, кажется, сироты, — решили наши дамы.

— Теперь выучится, с деньгами-то, в карты играть, так товарищи поразберут взаймы... Конечно, молодой человек без поддержки... — так решили «мы».

Прошло около полугода. От Кости ни строчки. По правде сказать, и «мы» мало-помалу тоже забыли его. Вдруг Семен Филипыч — есть у нас такой сосед — прочитал в «Инвалиде» что Полении Константин переводится в гвардию, в такой-то полк, и по своему обыкновению начал ездить с этой новостью от одного к другому, всюду показывая нумер «Инвалида» (Семен Филипыч ужасно врет, ему никто не верит, и потому он всегда ездит с вещественными доказательствами).

— Ну, вот и вышло по-нашему. «Мальчик» не утерпел, захотелось пофрантить в столице, и теперь пропадет, запутается в долгах. Разве можно без средств служить в гвардии?..

Так посудили, порядили мы о Косте и, разумеется, опять забыли: у всех и своего горя в то время было вдоволь, хоть отбавляй. Да и то сказать: разве один Костя был хороший человек? Их, этих «хороших», тогда «пропадало» страх что. То и дело, бывало, слышишь: тот «пропал», другой пропал, то есть они и не сбегали от нас, тут же, горькие, шатались, лишенные своих «владений», но все-таки как помещики «пропали»... Это время, то есть лет семь-восемь назад, было для нас особенно трудно. Теперь реже «пропадают» помещики. Кто уцелел — пообдержались, так сказать, изловчились, насобачились, за всякую штуку берутся, ну и держатся кое-как; все же, что было послабее, «подушевнее», — это все «пропало».

Прошло года два-три. Ни о братьях Свистовых, ни о Сольдеревском, ни о Поленине — ни слуху ни духу. Пропали они у нас все четверо почти что, можно сказать, разом, и, по странной игре случая, разом же обо всех четверых долетели до нас слухи, и один за другим появились они между нами, блеснули и опять закатились.

Была глубокая осень, холодная, сухая, до того сухая, что сентябрьская грязь теперь высохла от морозов и потрескалась: голые, не прикрытые снегом зелени казались такими тощими, жалкими, выветрившими.

— Если скоро снегу не будет — беда!

Но снегу все-таки не было, и к общему тяжелому настроению прибавились еще опасения за будущий урожай. И вот, скучные, убитые, мы, как сурки, забились в свои норы и сидели в них. Это было лет семь-восемь назад. В это время уж почти все «мы» выучились выписывать и читать журналы и газеты. Читали мы их, да и теперь читаем так, как в столицах никто их не читает. В Москве и в Петербурге газеты и журналы не читают, а «пробегают»; в деревне, особенно осенью и зимою, их чуть не учат наизусть. Так их у нас все читают, так читал их и я в ту пору. И вот в один из таких невеселых дней на последней странице газеты, просматривая, то есть правильнее, прочитывая объявления, я наткнулся на знакомую фамилию. Объявление было от полтавско-астраханской или уж бог ее там знает от какой дороги, и под ним подпись: *директор Н. Свистов.*

— Свистов... неужели это наш? Ведь для того чтобы быть директором, надо быть или крупным акционером, то есть быть богатым человеком, или если акционером не крупным, то уж опытным, практиком, дельцом... Ни тем, ни другим наш Николай Николаевич Свистов быть, казалось, не мог. Должно быть, это не тот, какой-нибудь другой, его однофамилец.

Понятно, это объявление прочитал и удивился не я один, а все у нас удивились ему и все в один голос решили, что это какой-нибудь другой.

— А может, и тот?..

— Да где ж это может быть?

— А почем знать — все бывает, особенно в Петербурге: на нас только говорят, что все чудеса лишь у нас, а там дела делаются еще почище нашего...

Но это высказывал отъявленный скептик, человек, который прямо отвергал уж здравый смысл... Тем не менее, однако ж, он оказался прав. Вскоре появилось другое объявление — протокол акционерного собрания, где было уже прямо сказано, что за выбытием директора, по очереди, согласно такому-то параграфу устава, была

произведена баллотировка, и на место выбывающего члена правления Николая Николаевича Свистова избирается большинством таких-то голосов Николай Николаевич Свистов, то есть он же, значит, опять.

— Да помилуйте, откуда же у него акции?

— А может быть, двести тысяч выиграл.

— Да, вот это разве...

Так рассуждали мы, положим, сегодня, а завтра нам пришлось воочию уж убедиться, что наш именно Николай Николаевич Свистов, а не какой-нибудь другой, и есть тот самый директор, который «пропечатан» в объявлении полтавско-астраханской — или какая она там — дороги.

Единственное развлечение в такую глухую осень — охота. Понятно, теперь «мы» охотимся уж не с борзыми и гончими, а с ружьем: это поскромнее, да и моцион... Пошел пешочком и я с одним моим соседом побродить по зеленям да по кустикам зайчиков поискать. Дальше да дальше, и ушли верст за пять от дома; устали, захотелось отдохнуть, закусить.

— А знаете, не зайти ли на станцию?

Теперь благодаря земству, как я уж рассказывал в одном из прошлых очерков, у нас вся губерния как сеткой покрыта железными дорогами, и, кроме удобства сообщения, они, эти дороги, еще тем нам милы и любезны, что теперь у нас вся степь вместо распаханного ковыля блестит трактирами-клубами, то есть станциями. Можно сказать, что это неоцененное приобретение. Не будь станций, мы, кажется, померли бы со скуки. Так и теперь мой сосед, конечно, с великим удовольствием согласился зайти.

— И почту кстати сами получим — посылать не нужно будет.

— Разумеется!

Пришли, закусили, выпили.

— А что же, — спрашиваем начальника станции, — почта получена?

— Нет, — говорит, — почтовый поезд задержался на той станции на два часа, чтобы дать пройти экстренному.

— Разве едет кто из...?

— Нет, комиссия едет открывать (он назвал какую-то дорогу). Теперь хорошо открывать: все замерзло, ничего не разберешь — все строители норовят сдавать дороги осенью.

— А кто строитель?

— Утробин. Он тоже в поезде. Через полчаса они тут будут. Посмотрите, свита какая с ним!

Действительно, минут через двадцать к станции подошел поезд, всего пять-шесть вагонов, но зато все первого класса. Начальник станции и все служащие как-то съежились, уменьшились в своем росте и так и замерли где кто стоял. Но вот дверки вагонов отворились, и из них один за другим начали выходить наши инженерные тузы и знаменитости, почти все с широкими погонами. Всё такие довольные, здоровые лица — сейчас видно, что люди работают на чистом воздухе, и работа не изнуряет их до истощения. Между ними несколько статских, тоже, очевидно, работающих на чистом воздухе, потому что у них не менее, если не более, здоровые и довольные лица... Один из них, весь в соболях и бобрах, подошел к начальнику станции и громко настолько, что я мог слышать шагов за двадцать, сказал ему:

— Пожалуйста, потише чтоб было. Звонков не нужно. Иона Титыч сейчас только заснул. Он вот в этом вагоне спит.

— Смотрите, ведь это наш Свистов! — чуть не во все горло вскрикнул мой сосед, так что барин в бобрах и соболях быстро обернулся в нашу сторону, посмотрел на нас, очевидно узнал, распустил улыбку и пошел к нам навстречу:

— Вот не ожидал кого встретить! Ну как живете-можете?

— Ничего, — говорим, — какое уж нам житье...

— Трудно?

— И не говорите. А вы как поживаете? Цветете...

Свистов действительно был цветущ; только одутловатость на щеках и под глазами да воспаленный цвет кожи намекали как бы на то, что, кроме чистого воздуха, этот излишек здоровья происходит и от некоторого знакомства с «крепкими спиртными»...

— Ничего, я устроился у Утробина. Жить можно.

— Директорствуете. Мы читали...

— Что такое? Где? Про меня?

— Как же! Читали, что вас второй раз выбрали в полтавско-астраханской дороге.

— А-а... — протянул он покойнее, — а я думал, пасквиль какой на меня вы читали в газетах. Нынче это того и гляди. Чуть не заплатил деньги или забыл, в какую газету объявление послать, — ну и жди, что напечатают мерзости. Ужасная продажность!.. Ну да черт с ними! Вы лучше скажите, как вы вот поживаете? Что Подугольниковы, Сладконевцевы?

— Все целы. Жрут нас.

— Да, теперь их царство... Бываете в «Больших Собачьих хвостах»? Ведь это тут где-то недалеко, в какую это сторону будет? — спросил он, вглядываясь вдаль.

Я указал ему.

— Бываете?

— Да, проездом иногда.

— А что Сусанна? — спросил мой сосед.

— Сусанна? Цела. Я продал ее Утробину. Теперь она у него в кабинете висит. Влюбился в нее. Жена его только терпеть ее не может — все сплевывает, как увидит...

Между тем инженеры и вся честна́я компания опять один за другим начали собираться в вагоны.

— Ну, прощайте, господа, и мне пора: сейчас поезд пойдет.

— Прощайте. Всякого вам успеха.

— Будете в Петербурге, ко мне милости прошу.

— Непременно. Разумеется.

В это время один из тузов-инженеров — видно, наскучило ему ждать — закричал, чтобы давали звонок для отхода поезда, и сторож пошел к колоколу. Свистов услыхал это и так и встрепенулся. «Стой! стой!» — замахал он руками и чуть не рысью побежал останавливать.

— Вот ты разбуди мне *его!*

Мы невольно переглянулись с соседом.

«Однако он их всех, кажется, в руках крепко держит», — невольно думалось при этом, глядя, как все на цыпочках ходили мимо окон его вагона.

Поезд действительно тронулся без звонка. Из окна еще раз показалась нам кивающая голова Свистова и скрылась.

— Да, этот «не пропал».

— Любопытно, как это он втерся.

Но об этом я узнал позже, почти через год, и об этом у нас речь впереди.

Как-то в эту зиму мне нужно было прожить около недели в нашем уездном городе. Зимой в деревне, конечно, мертвая тишина и скука; но, по-моему, все-таки веселей, чем в уездном городе. Там можно хоть читать, думать — никто не мешает; в уездном же городе и этого удобства нет. Поэтому всякий раз, когда мне приходится жить в нашем городе и чего-нибудь или кого-нибудь дожидаться, я по целым дням сижу в конюшнях то у одного, то у другого барышника. Тут хоть налюбуешься, насмотришься всласть на действительно великолепных лошадей. Так было, разумеется, и в этот раз. Пересмотрел я у одного барышника лошадей с полсотни, потолковали мы об них, поспорили.

— А вот теперь я вам покажу парочку, которую к праздникам надо будет в Петербург отправить.

Вывели пару превосходных караковых жеребцов, вершков пяти, длинные, правильные — загляденье!

— Цена?

— Четыре тысячи.

Мы обошли их кругом еще раз, внимательно осматривая. Лошади были действительно безукоризненно хороши и этих денег стоили.

— Продешевил...

— Да. В Петербурге за такую пару сейчас дают шесть тысяч.

— Нельзя было не уступить: ведь землячку проданы.

— Кому?

— Дмитрия Васильевича Сольдеревского помните?

— Ну?!.

— Ему-с.

— Да деньги-то у него откуда же?

— А уж это хитрое дело. Был это я недели две в Петербурге, тоже водил лошадей, и повстречал «их» на улице. Сейчас узнал меня, посадил с собою в санки и привез к себе. Живет царем. Одних лакеев, кажется, и не сосчитать. Квартира — двадцать комнат. По коврам не знаешь как и ступить. А сам все такой же ласковый,

как и был. «Я, говорит, сказал вам, когда уезжал на промысел, что не пропаду — видишь, пропал разве?..» Как же-с, живут — слава богу, и прежде так не жили...

— Да чем же он живет?

— А уж это «их» дело. Говорю вам, хитрость одна.

— Хитрость! Да разве хитростью можно жить?

— А вот живут же — стало быть можно.

— Может, в карты играет.

— Ни, боже мой — в руки карт и прежде не брал и теперь не берет. Говорю: хитростью.

Черт знает что... Как это хитростью жить? Я ничего не мог понять. Продолжал расспрашивать, и чем дальше, все туманнее.

— Корабли покупает... медь продаст...

— Как корабли?

— А очень просто. Обрекут какой корабль на продажу, он его сейчас и купит, разберет весь по косточкам и продает, а барыш себе в карманчик положит... Медью тоже занимаются... Покупают «старую» медь и потом англичанину и продают ее. Нам не продадут, а им сейчас продадут, потому они во всякое время и во всякое место вхожи...

— Молодец!

— А все через кого? — продолжал барышник, — все через прелесть свою. Посмотрел это я на них — красота да и только. Не в обиду сравнение — жеребец как есть. И смех «у них» такой приятный, лошадиный совсем... А женский пол это обожает больше всего, — заключил мой собеседник.

— Что ж, он, значит, на содержании, что ль?

— Нет-с. «Они» только через эту мадаму себе ходы всякие пооткрывали. Как какое дело «хорошее» где наклевывается по этому ведомству, так «они» сейчас тут как тут, уж и караулят его. Потом цап — и в карманчик... — Барышник показал, как Сольдеревский делает этот «цап» и потом попавшееся кладет в «карманчик»...

— Хорошее дело...

— То есть такое себе счастие нашли, что и рассказать невозможно. Другой раз прихожу к ним, и их нет дома — я и разговорился, пока дожидался, с их камердинером — он тоже здешний, нашей же губернии. «У нас, говорит, три таких мадамы, и что хочет барин, всё они для него


H.K.
1956

сделают. Если иная какая перед нами провинится, не велит пускать, пока своего проступка не исправит. Так уж она из шкуры вылезет, а устроит ему что нужно...» Одну я видел, при мне приехала.

— Старуха?

— Нет, старушка — это другая. Я которую видел — так, средственных лет, высокая, из себя полная, глаза навыкате... «Они» в голубом халате сидели и чай кушали, как она приехала, и я с ними сидел. Вижу уж в чем дело и хотел уйти, а они с ней по-французски говорят да увидали, что я за шапку взялся, засмеялись: «Сиди, говорят, ты не то подумал...» А уж я все вижу, куда она норовит-то... Эй ты, Ванюшка, — обратился он к конюху, выводившему нам какую-то лошадь, — отчего хвостик-то не замочил? Эх, горе с вами! Пошел замочи. Разве так выводят! А Константина Михайлыча Поленина изволите помнить?

— Ну?

— И «их» тоже видел...

— Ну, а этот что ж?

— Тоже-с и они в люди вышли...

— Тоже? И этот, значит, тем же промышляет?

— Нет-с, «эти» на другом промысле.

— На каком же на другом?

— А уж я и сам, признаться, хорошо ничего не мог понять. Придумали «они» новую какую-то игру и так в нее играют, что супротив них никто устоять не может.

— Ну, шулер, значит.

— Нет-с, это не в карты. Говорю вам, новая какая-то игра. Весь город к ним съезжается, «они» играют и за то деньги получают. Тоже живут, говорят, по-царски. Квартира не квартира, лошади не лошади.

«Что бы это такое было?» — думал я и, разумеется, не мог догадаться.

— Он в офицерском платье? — спросил я.

— Как же-с, офицером.

Это уж совсем меня сбило с толку. «Костя, Костя, что это ты, голубчик, измыслил?» — раздумывал я и никакого объяснения не мог прибрать... А ларчик, как мы увидим дальше, открывался, по обыкновению, просто.

В ту же зиму кое-что мы услыхали и узнали и про четвертого героя — Федора Николаевича Свистова. Тоже,

прочитывая «насквозь» какую-то газету, я наткнулся в публикации одного книжного магазина на странного названия книгу: о *питании* стрелковых рот патронами, сочинение (чин и звание) Ф. Н. Свистова, и потом о *питании* линейных батальонов штыками, сочинение того же автора, цена такая-то... Слыхал я, что солдат на войне иногда кормят, то есть, пожалуй, «питают» гнилыми сухарями, но чтобы «питали» их патронами и штыками... Черт знает что такое!..

А между тем до нас дошел какой-то сбивчивый, отдаленный слух о необыкновенных успехах и карьере автора этих удивительных сочинений.

Следующую зиму я всю прожил в Петербурге; понятно, встретился со всеми ими и хорошо мог наблюдать их на их промыслах. Теперь и перейдем к рассказам о них.

VII

НА ПРОМЫСЛАХ

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай...

Осень у нас в тот год стояла такая сухая, ясная и хорошая, что лучше иного лета. Перепадет дождик, ну, разненастится дня на два, на три, и опять — солнце, голубое, чистое осеннее небо — прелесть! Совершенное, говорю, лето — только жары, духоты летней нет.

— И ведь счастье ему, проклятому, какое!..

— А что?

— Да как же, помилуйте? У меня в прошлом году неурожай был. Осень-то какая была? Все вымерзло. В третьем году все вымокло, а вот как продал Подугольникову Ивановку, так все и повернулось. Еду сегодня мимо своей землицы, пшеницей она, матушка, засеяна, и какие зеленя!.. И все это псу достанется...

— Да, жалко!..

— И ведь если бы это человеку досталось...

— Напрасно продавали.

— Ничего не поделаешь!.. Нельзя.

— Да как же вот Подугольников-то?

— Ах, помилуйте! Точно вы не знаете, что это за человек! Разве у него есть крест на шее? Ведь он с живого и с мертвого станет драть, а разве наш брат дворянин на это способен?

— Всякие есть и у нас.

— Да не такие.

— Есть и такие.

— Ну, уж это, извините пожалуйста.

— А Поленин? На живом человеке подох...

— Это большая разница. Это не то совсем. Во-первых, это «на службе», а потом — горячность...

— Да я и не говорю, что от благоразумия и хладнокровия он умер. Я говорю только, что покойник зверь был, другой только породы, вот и все.

— Да-с, порода совсем другая! Порода — великая вещь... Оно, конечно, бывало, иной раз и «толконешь» в зубы, но ведь это разве то же самое, что теперь вот Подугольниковы и Сладкопевцевы делают? За тычком мужик не гнался; он понимал, от кого он его получает...

Одним словом, как ни поверни — все выходило, что наше время прошло, что теперь настало царство и пора других людей и что с этими другими людьми ничего не поделаешь, и надо где-нибудь что-нибудь и как-нибудь приискивать себе другое.

— Что именно?

— А уж это — что бог даст.

— Как же так: что бог даст?

— Да так-с.

— Надо же что-нибудь знать.

Штабс-ротмистр обижается, улыбается и доводит до вашего сведения, что он «тоже» учился в корпусе и даже записан там на какой-то доске.

— Не то, Иван Петрович, теперь нужно.

— А позвольте вас спросить, — ядовито улыбаясь, говорит он, — где учились, например, Кокорев, Губонин, Поляков, Варшавский?..

— Где бы, Иван Петрович, они ни учились, а житейскую-то школу они не нашу с вами прошли. По-своему, они получили самое что ни на есть современное образование, оттого они и стали теперь такими великими людьми.

— Поэтому, значит, и Подугольников тоже современное образование получил?

— Непременно.

— И Сладкопевцев?

— И Сладкопевцев.

— Да ну, если вы смеяться хотите...

— Нисколько. Я вам докладываю только, что эти господа знают свое дело, а вы их дела не знаете и если пойдете с ними вместе или пойдете против них в каком деле — все равно они вас непременно съедят так или иначе, то есть в качестве друга или как врага. От этого ведь вам легче не будет...

— Почему же это они меня съедят?

— А очень просто, потому что если вы в каком деле пойдете против них, им следует вас съесть, чтобы вы им не мешали; а если пойдете вместе с ними, они вас съедят, чтобы получить и вашу долю добычи.

— И это вы называете образованием?

— И даже самым современным.

— Что же тогда делать?

— То, что вы умеете.

— Что же я умею?

— Это уж ваше дело.

И мне кажется, если бы всех «нас» спросили, что мы умеем делать? — ей-богу, вместо ответа мы сами спросили бы это! Одно знание несомненно есть у «нас» у всех, это знание сигналов кавалерийских и эскадронной команды. Я по крайней мере убежден, что любого из нас спросите, и он без ошибки на губах сейчас же заиграет: тра-та-та-та, или скосит глаза, скривит как-то особенно рот, и вы услышите: равнение напрррр...

Тем не менее, однако ж, как ни твердо это наше знание, оно до такой степени специально, что вне службы решительно нигде не применимо. Ограничиться им одним еще можно было до 19-го февраля, когда вся сельскохозяйственная мудрость заключалась в отдаче каких угодно приказаний старосте и во взыскании за неисполнение оных, но теперь — теперь этого знания положительно стало недостаточно. Спрашивается: как же и чем же прикажете жить тем из нас, которые заложили и продали уже свои Ивановки и, кроме вышеупомянутого знания кавалерийских сигналов и эскадронной команды, ничего не знают? Мне кажется поэтому, что хоть и наивно отвечает Иван Петрович на вопрос, что он намерен делать? — «а что бог даст», — тем не менее отвечает совершенно верно и откровенно.

Я не знаю, приходила ли кому-нибудь в голову мысль сравнить «нас», бывших помещиков, с бывшими

дворовыми. Я по крайней мере часто об этом думал и нахожу, что положение тех и других совершенно аналогично. «Мы» ничего не знали, но кое-что во всем понимали; так точно и наши бывшие дворовые.

— Мишка! пошел на конюшню! — и Мишка — кучер сидит на козлах и правит. Какой он кучер и как он правит — это другой вопрос; но он — кучер, и в этом он сам убежден.

— Мишка! пошел на кухню! — и Мишка — повар, и т. д., и т. д. Я не говорю уже о массе таких специалистов, как домашние портные, музыканты, балетмейстеры, доезжачие, живописцы и проч. Все эти бедные люди, искренно воображавшие, что они действительно балетмейстеры, музыканты и живописцы, с наступлением нового порядка очутились в положении раков на мели и кончали или кончают свою горькую жизнь в страшной нужде, перебиваясь чем бог пошлет и заливая горе водкой. Жили люди, что-то работали, награждали их за эту работу, и вдруг — трах! — все перевернулось, и оказалось, что эта их работа никому ни на что не нужна и даже ничего, кроме насмешки, не вызывает.

— Дармоеды! готовый хлеб ели! Попробуйте-ка сами его себе достать, господа теперь не дадут, — смеются мужики...

«Мы» тоже всё знали. «Мы» и на виолончелях играли, и рисовали, и стихи писали, и равнение напра-а-а-аво знали, и тоже — крах, и оказалось, что все это выеденного яйца не стоит, что любой кочегар обеспечен более большей половины из нас.

Вдумайтесь во все это, и вы увидите, что в судьбе наших бывших дворовых и нашей собственной много общего, очень даже много.

И мы и дворовые могли существовать только при крепостном мужике. Раз стал он свободным, и мы и дворовые начали пропадать, как тараканы. Ни у «нас», в смысле известного типа, ни у бывших дворовых — ничего впереди, кроме вымирания, обязательного, безостановочного, рокового...

У «нас» это сознание теперь, в данный момент, уже не редкость. Теперь, кажется, мы уже всё испробовали, всё испытали, и потому в таком сознании, хотя и несколько позднем, нет ничего удивительного; но восемь-

десять лет назад что-то такое еще мерещилось впереди, надежда на поправку, какую ни на есть, все еще была, и люди ею, этой надеждой, тогда жили. Оттого, поставленные в тупик вопросом: «что же вы знаете?», они еще «ершились», топорщились, обижались и спрашивали, где кончали курс Губонины, Кокоревы, Варшавские, и проч., и проч.

Поэтому, когда семь-восемь лет назад в разговоре с Иваном Петровичем или Петром Ивановичем мы доболтались до вопроса: что же, однако, мы знаем, и за какое дело «нам» приниматься теперь, после продажи Ивановки? — мы оба невольно остановились и задумались.

— Что бог даст...

— Разумеется. Его святая воля!..

Но такое минорное настроение тогда, то есть восемьдесять лет назад, повторяю, было явлением более или менее редким, и мы ходили хоть и с выщипанными уже хвостами, но все-таки те несколько перышек, которые в них еще торчали, торчали гордо, заносчиво.

— Помилуйте, уж если Сольдеревский сделал себе карьеру, я думаю, Петенька и подавно ее сделает. Одно образование — какая разница: Сольдеревский нигде не кончил курса, а ведь Петенька вышел вторым из училища статских юнкеров!.. И потом — манеры...

Или:

— Помилуйте, уж если Свистов, этот кутила, мот, с пустейшей головой, попал в директоры дороги, я думаю, мне не откажут. Он ни одного катуха́ во всю жизнь свою не выстроил, а я на нашу земскую дорогу тогда ведь сколько шпал поставил? Ведь весь парк я «им» тогда на сруб продал!

Или, наконец, так рассуждали:

— Поеду к князю Петру Петровичу, он тогда, при мне, командовал вторым взводом, а я уж был эскадронным — и прямо скажу ему: «Ваше сиятельство! Вы теперь в силе; неужели я ни на что не гожусь?..»

И заложенная, перезаложенная Ивановка летела побоку, на полученную «разницу», то есть каких-нибудь пять-шесть тысяч рублей, покупались билеты выигрышного займа, из которых несколько штук обязательно застревали по дороге в Москве, у Гурина и проч., и Иван Петрович являлся в Петербург.

Этот Drang nach Petersbourg,[1] когда мы узнали о карьерах «орла», братьев Сапоговых, Свистова, Сольдеревского, Полепина и других, дошел одно время до того, что, казалось, скоро вся губерния сбежит на промыслы.

Приезжает ко мне как-то вечером мой сосед Семен Филипыч, и я уж вижу по лицу, что привез какую-нибудь свеженькую новость. Улыбается.

— Слышали?

— Что такое?

— Недобежкин назначен в Петербурге директором банка...

— Перестаньте, что за вздор!

— Нет-с, не вздор. И он сегодня же сам к вам прощаться приедет. Я сейчас от него.

Действительно, через час какой-нибудь, гляжу, к крыльцу подъехал действительно Недобежкин.

— Что он такое рассказывает? говорит, вы директором банка назначены?

— Гм... то есть да, почти.

— Это какими же судьбами?

— А вот видите: Сольдеревский ведь мне по жене приходится двоюродным братом, и он теперь живет с А—вой, а она на содержании у... (он назвал очень громкий административный пост), так я его просил устроить мне что-нибудь; вот он и предлагает мне...

— И вы едете?

— А что же?

— Так, на слово верите ему и едете?

— Еду...

Отговаривать его и вообще вмешиваться в эти малые родственные одолжения мне, разумеется, не было никакой надобности, и я пожелал ему счастливого пути и полного успеха на новом поприще. Понятно, Недобежкин в директоры не попал, тем не менее, однако ж, свою Осиновку ухнул и отправился в Петербург.

Повторяю, Drang nach Petersbourg был ужасный, и один наш уездный остряк на земском собрании предложил, ввиду этого обстоятельства, ходатайствовать о прикреплении дворянства к земле или по крайней мере

[1] Стремление в Петербург *(нем.)*.

об издании какого-нибудь распоряжения вроде известного Юрьева дня.

— Ну, смотрите! Попомните мое слово: все через год разбегутся.

Разбежаться, положим, все мы не разбежались, но половина «нас» наверное уж побывала «там», то есть в Петербурге, и попытала счастья на промыслах. А тут, как на грех точно, еще выстроили железную дорогу. Ну, как удержаться, не съездить?..

Когда я приезжал в Петербург на короткое время, я всегда останавливался в «Hôtel Demouth»: относительно недорого, в центре города, главное — покойно, тихо. Точно так же и этот раз, прямо с Николаевского вокзала я поехал в эту гостиницу. Поезд пришел утром, так что я рассчитывал успеть в тот же день побывать кой у кого, где мне было нужно. Я занял наверху маленький нумерок, наскоро умылся, переоделся и пошел вниз по лестнице в буфет чего-нибудь закусить. На площадке второго этажа я услыхал знакомые голоса.

— Сергей Николаевич!

Передо мной точно из земли выросли трое земляков. Я невольно изумился.

— Здравствуйте, господа!

— Вы здесь стоите?

— Здесь.

— Давно приехали?

— Сейчас, то есть часа полтора-два. Утром.

— Ну и отлично! Нас тут человек десять.

— Больше! Иван Петрович, Петр Михайлыч, Василий Михайлыч, Михаил Иванович, — и т. д., целый реестр соседей и земляков.

— Очень рад, — говорю, — только что же это за съезд у вас?

— Дела, батюшка...

Я думал, опять какая-нибудь общественная затея вроде дворянского банка или земской дороги, и полюбопытствовал узнать.

— То есть как же дела? Разве опять что надумали? Может, еще какую дорогу?

— Нет-с, довольно нам и одной. Теперь нас не проведешь! Нет-с, шалишь!

— Да как же это так все десять человек вместе съехались? Случайно?

— Совершенно. И знаете, ведь это не в этой только одной гостинице, а и в других тоже. Везде битком набито нашими саратовскими, пензенскими, симбирскими, орловскими. Воронежских тоже много.

— И все по делам?

— Да что ж прикажете делать? «Там» (то есть это значит в деревне) теперь делать нечего. Там наша роль кончена. Теперь надо каждому себе дело какое ни на есть приискивать. Под лежачий камень вода не течет, — и т. д., и т. д. — Вы куда это собрались?

— В буфет иду — закусить чего.

— И отлично. Только не в буфет, а ко мне в нумер: нам сюда всё принесут.

— Я спешу. Я наскоро чего-нибудь съем, а к вам уж в другой раз позвольте. Ужо вечером, может.

Но «истинно русское хлебосольство» не такая легкая штука, чтобы от него можно было сейчас и отделаться, как захотел только. Разумеется, начались приставанья, уверения, что задерживать меня не станут, и я хоть нехотя, а попал в нумер к Недобежкину. Попал и застрял. Нумер он занимал большой, дорогой, в четыре комнаты. Беспорядок был изумительный. На всех стульях что-нибудь лежало: подтяжки, сорочки, штаны, галстуки; на всех столах — бутылки вина, до половины выпитые, тарелки с остатками еды; на окнах какие-то чертежи, брошюры, кирпичи, завернутые в бумагу, ламповые горелки, громадные куски каменного угля.

— Вы чего прикажете подать? — спросил меня хозяин, надавливая пуговку в стене.

— Все равно, ну хоть котлетку, что ли.

— Котлетку! — закричал он вошедшему лакею. — С чем?

— Да право же, все равно.

— С гарниром! А вина какого?

— Никакого. Я не пью.

— Ну, уж этого здесь нельзя. Вы знаете, как здешняя вода на приезжих действует. Вон Михаил Иванович так себя этой проклятой невской водой расстроил, что после две недели болен был. Вино необходимо! И рюмку водки.

— Водки уж я совсем не пью — ведь это вы знаете?

— Это «там», а здесь, при здешней воде, нельзя. Мы все с вами за компанию выпьем. Принеси графинчик водки, да этих раков, знаешь, с этим соусом... Как его? Ну, вот что я люблю-то...

— Провансаль? — заикнулся лакей.

— А черт его знает, кажется что так.

— Вина какого же прикажете?

— Господа! Какого вина выпьем?

В нумер набралось между тем уж человек семь или восемь, и вопрос о вине вызвал некоторые дебаты. Наконец порешили на шампанском.

— Нельзя же. Надо вновь приезжего спрыснуть. Это уж у нас такое обыкновение: как новый землячок проявится, сейчас его спрыскивать.

— Господа, ведь мне, ей-богу, некогда, — попытался было я освободиться; но эта попытка ни к чему не повела, конечно.

— Э, полноте. Что у вас, дети плачут, что ли? И завтра всё успеете. Дело не медведь — в лес не уйдет. Мы тоже всё о делах здесь хлопочем, а выпить — отчего и не выпить?.. Вы по какому делу? Не секрет?

Я сказал, зачем я приехал.

— Да, да, рассказывайте! Вы говорите лучше прямо. Перебивать мы не станем. Если один из нас уж захватил какое дело — другой не мешает: у нас уж уговор такой.

— Да уверяю же вас, что другого никакого дела и нет у меня.

— Ну, не хотите — не говорите. Воля ваша. А вот мы с Михаил Ивановичем угольные копи покупаем и на днях, должно быть, кончим это дело. Посмотрите-ка, каков уголек-то? А?

— Ведь я ничего не понимаю в этом.

— Да тут и понимать нечего. Вы посмотрите только, каков излом-то. А? А твердость-то какая? Возьмите-ка, попробуйте-ка разломить.

— Ну вот и разломил.

— Разломил! разумеется, всегда разломите — не в том дело, а как тяжело ломается и не крошится совсем.

Иваны Петровичи и Петры Иванычи обступили хозяина и начали рассматривать уголь, нюхать его; кто-то попробовал на язык.

— Что, сладко?

Хохот, остроты, всем весело.

Наконец явились лакеи с водкой, раками, стаканами и шампанским. Принесли и мне котлетку.

— Во-во-во! Эти самые раки и соус тот же, — обрадовался Недобежкин. — Как он называется?

— Провансаль-с.

— Запомним. Провансаль, провансаль... Ну, господа, по рюмочке, милости прошу.

Выпили по рюмочке и начали сосать и шелушить раков.

— А у нас не умеют в Тамбове так раков делать. Раки есть, а соусу такого не сделают.

Кто-то припомнил, что у покойного козловского предводителя, Сергей Иваныча Терпигорева, подали раз таких точно раков, но после обеда двух стошнило.

— Это не от раков — это от мухи. Муха, должно быть, туда попала.

— Нет, от раков! Я помню, он даже хотел повара за это наказывать, да так уж как-то позабыли вечером, перепились тогда.

— Наказывать! Да это уж было после эмансипации. Тогда уж было насчет этого того-с...

— Нет-с, извините, это было до эмансипации. Это было, я вам без ошибки скажу когда, я эти вещи помню. Это было, когда мы собирались выбирать депутатов в крестьянский комитет. Это, стало быть, было до эмансипации, и тогда все наказывали.

— Нет, уж не то было! Если и накажешь, бывало, так уж через исправника разве...

— В последнее время и исправники стали отказываться...

— Распоряжение было секретное от губернатора.

Наконец раки все были съедены, начали вытирать пальцы, губы и вспомнили о шампанском.

— Эй! — во всю глотку рявкнул Недобежкин.

— Тише! Что ты? — остановил его кто-то. — Точно в деревне. Тут, братец, пуговки для такого раза заведены.

— Черт знает! Я все забываю про них.

— Чего изволите? — спросил лакей, испуганно появляясь в дверях. Очевидно, он шел по коридору и услыхал этот могучий вопль.

— Откупоривай!

Шампанское розлили по стаканам, и губерния наша пошла писать... Немного погодя опять раздалось: «Эй!» Опять кто-то вспомнил о пуговке, позвонили и опять: «Шампанского!» Разговор вертелся на воспоминаниях невозвратно улетевшего прошлого; вспоминали свои Осиновки, Ивановки, в которых теперь сидели и «хозяйничали» Сладкопевцевы и Подугольниковы, и я не заметил особой грусти при этом у бывших их владельцев. И вообще, а уж особенно под влиянием вина, будущие финансовые, каменноугольные, кирпичные, торфяные и всякие иные комбинации представлялись в таком розовом цвете, что не только не думал никто об утрате Осиновок и Ивановок, но, я уверен, никто не думал даже и о том, что при таком кутеже скоро выйдут и те несчастные четыре-пять тысчонок, которые остались еще у него и на которые он теперь живет в гостинице. О «делах» тоже никто ничего не говорил. Вероятно, так бы все это и продолжалось, если бы к обеду не начали являться какие-то потертые и странные личности. Явился какой-то отставной капитан первого ранга в очень поношенном форменном сюртуке, без погонов. Оказалось, как узнал я это из разговора, он взялся устроить Недобежкину поставку его будущего угля в морское министерство. По словам его, со всеми адмиралами он на «ты», со всеми приятель, и они для него не только кому угодно отдадут поставку каменного угля, но, пожалуй, по его указанию подарят ему или его протеже и весь флот. Все слушали и верили ему. Капитан посидел с полчаса, выпил стакана два или три вина и стал шептаться с Недобежкиным. Потом оба они ушли в другую комнату, и затем через несколько минут капитан уехал.

— Что, новость какая?

— Гм... да, то есть...

— А денег просил?

— Сто рублей дал.

— Сто рублей для такого дела не деньги! Лишь бы устроил.

— Обещает наверно.

— Он — славный малый. Намедни каково он плясал-то!.. Чудак!

Немного погодя явился Казимир Карлыч — не то жид, не то немец — не разберешь, высокий, довольно плотный мужчина, гладко выбритый, необыкновенно серьезного вида, с тяжелой цепочкой на брюхе, весь в перстнях. Его встретили с особым уважением.

— Я вам привез маленький телеграмм от мой доверитель, — начал он и вынул из кармана громадный, толстый бумажник и когда раскрыл его, мы все увидали, что он полон деньгами и какими-то записочками. — Вот он, этот самый телеграмм, — необыкновенно серьезно проговорил он, подавая телеграмму Недобежкину.

Этот взял, развернул и немного смутился.

— Это как же?..

— А это по-английски... я вам переведу. Пойдем в тот комнат.

Недобежкин и жид или немец ушли.

— Это кто же? — спросил я.

— А это и есть доверенный того господина, который продает свои копи Недобежкину и вот Михаилу Ивановичу. Это — такая умница. От него все зависит.

Из другой комнаты, где беседовали Недобежкин с Казимиром Карловичем, послышался смех последнего, но смех деланный, притворный, «пущенный на е»: «хе-хе-хе! хе-хе-хе...» Минут через десять или немного более они оба вышли веселые, улыбающиеся. Казимир Карлович даже потрепал Недобежкина по плечу, когда они что-то шепотом договаривали на пороге той комнаты.

— Ну, теперь выпить надо, Казимир Карлыч!

— О нет! Я сейчас к графу Кшикшицкому должен ехать. Потом меня дожидается барон Штиглиц; потом Самуил Соломонович...

— Один стаканчик!

— Ну, бог уж с вами. Какой вы угощать любите!

— Ну что ж, кончили? Поздравить можно? — спросили Недобежкина, когда ушел этот господин.

— То есть... в сущности, кончили. Доверитель его телеграфирует, чтобы он делал, как знает. Все в его волю отдает.

— А он-то хочет?

— Хочет. Только, шельма, свой куртаж вперед требует.

— А ты не даешь?

— Боюсь что-то. Просил его до завтра подождать. Сегодня день тяжелый — понедельник. Не люблю в этот день.

— До завтра недалеко.

— И потом этот капитан все мямлит. Купить-то мы купим уголь, а потом куда с ним деваться, если морское министерство не возьмет?

— А ты приструнь капитана-то хорошенько: если хочешь, мол, делать, так делай, а то и без тебя обойдемся.

— Без тебя! Ведь он уж рублей тысячу перебрал по сто да по двести.

— А этот много хочет?

— Весь куртаж.

— То-то сколько?

— Десять тысяч...

— Фю-фю! Смотри, брат! Ведь это последние у тебя.

— Это бы ничего, что последние. Дело золотое. Если он его устроит да капитан устроит по такой цене, как обещал, поставку, так ведь это миллиончиком пахнет. Тут рискнуть-то можно.

— Осторожно.

— Я и то на всякий случай предлагаю ему только половину. Да нет, все, говорит, подай.

— А ты упрись и не давай.

— И он упрется, а то и вовсе другому продаст. Намедни я был у него, так двух разом покупателей встретил. При мне ему сказали: «Если у вас с ними, то есть со мной, это дело разойдется, дайте нам знать — мы сейчас пойдем на это предприятие...» От хорошего дела никто не прочь.

Еще немного погодя дверь тихонько в нумер отворилась, и кто-то выглянул.

— Войдите, кто это?

— Это я-с, — послышался скромный, тихий голос, и перед нами предстал худощавый, бледный молодой человек с белой бумажной коробкой от конфект.

— Вам кого угодно? — спросил Недобежкин.

— Я от Казимира Карлыча... Вы господин Недобежкин?

— Я-с. Что прикажете?

— Казимир Карлыч мне говорили, что вы желаете заказать для вашей супруги такие же вещи из каменного угля, какие вы изволили видеть у них.

— А! Милости прошу. Пожалуйста, садитесь. Это, господа, я вам скажу, знаменитый художник, — обратился к нам Недобежкин. — Он такие вещи делает из угля, что просто не поверишь.

Молодой человек скромно поместился на стуле, открыл коробочку и поставил ее на стол. Там на вате чернели разные брошки, серьги, булавки. Мы, разумеется, кинулись их рассматривать и удивлялись.

— Нет, мне такую точно брошку сделайте, какую я видел у супруги Казимира Карлыча.

— И такую можно. Это я образцы вам принес. Может, понравится вам больше в этом роде?

— Хорошо сделано!

— Удивительно!

— А цена? — слышалось со всех сторон.

— Только вы мне сделайте из «моего» угля. Я хочу ей подарить из угля «собственных» наших копей.

— А уголь у вас этот?

— А вот на окне, сколько хотите.

Молодой человек подошел к окну, взял в руки глыбу угля и стал им восхищаться.

— Это такой уголь, что из него можно что угодно сделать, хоть кружева можно вырезать. Это лучше английского. Я не видал еще такого угля, — решил он.

Недобежкин сиял и самодовольно поглядывал на нас.

— А вы мне после подарите несколько кусков его? — спросил молодой человек.

— Сделайте одолжение! Хоть сто пудов.

— О нет. Зачем мне столько, — испугался он. — Мне и пуда на всю жизнь хватит.

— А скоро будет брошка готова?

— Когда закажете? Недели через две. Работа ведь тонкая, трудная.

— Когда закажу? Сейчас, разумеется.

— В таком случае я могу взять с собой вот этот кусок, или прикажете отколоть часть его?

— Берите весь.

Молодой человек завернул уголь в газету и начал прощаться.

— А задаточек? — спросил он.

— Извольте. Сколько прикажете?

— Двадцать пять рублей вас не стеснит?

— Нисколько! А кстати, что́ вы возьмете за всю-то работу?

— Коронку над вензелем прикажете сделать?

— Непременно.

— Дворянскую или баронскую?

— Нет, дворянскую. Мы — русские дворяне! хе-хе!..

— В таком случае брошь и серьги вместе будут вам стоить семьдесят пять рублей... Не дорого? — заикнулся молодой человек.

— Говорю вам: нисколько не дорого; сделайте только хорошенько и поскорей.

— Будьте уверены... Мое почтение.

— Мое почтение... Да! А не выпьете ли с нами стаканчик шампанского? Пожалуйста! без церемоний.

Молодой человек взял стакан и с таким наслаждением потянул вино, что я невольно улыбнулся. Немного погодя он снова поднялся, распрощался и ушел.

— Ну что? слышали, что про «мой» уголь-то говорят? Ах, если бы этот капитан поскорей кончил с поставкой! — ломался Недобежкин.

Начались опять воспоминания, опять: «шампанского!» Мне, наконец, все это порядочно-таки надоело. Очевидность обмана, самой наглой эксплуатации и вымогательства у степного дурака была очевидна до такой степени, что присутствовать при всем этом становилось просто невыносимо.

— Ну, господа, прощайте!

— Погодите, вместе пообедаем! Ну куда же? — и так далее.

Но на этот раз я отстоял свою свободу и, как из угарной избы, чуть не выскочил от них из нумера.

Я поехал к одному своему приятелю, обедал там, засиделся часов до двенадцати ночи, потом съездили с ним куда-то поужинать, и я довольно-таки поздно вернулся домой и лег спать.

— Будить завтра в котором часу прикажете? — спросил лакей.

— Часов в десять.

Дорогой я не могу спать, и теперь мне хотелось хорошенько выспаться. Скоро действительно заснул как мертвый. На рассвете, так, должно быть, часов в семь — дело происходило в ноябре, — слышу стук в дверь и какие-то голоса; потом опять стук. Сразу я ничего не сообразил.

— Кто там?

— Мы. А вы всё спите? Осьмой час — вставать пора. Отоприте-ка.

И целая компания, человек пять или шесть, с Недобежкиным во главе, ввалила ко мне в мой маленький нумер.

— А знаете, мы еще не спали. И где только мы не были!

— Веселились...

— Черт знает где были! Послали после вас за капитаном... винища этого вылопали — страх! Потом он нас повез по китайским монастырям... И какую штуку мы видели! Вот, батюшка, женщина-то!..

— Да-с.

— Если бы ее к нам в Тамбов, так сам губернатор бы рот разинул.

— Где же это, — говорю, — вы такую редкость нашли?

— Кого? Наталью Осиповну-то? А уж я и не знаю. Вон Михаил Михайлыч записал адрес. Ужо вечером опять туда обещали приехать.

— О-бя-за-тель-но! — промычал Михаил Михайлович, отыскивая адрес удивительной женщины.

— Ну да вставайте. Пойдемте к нам чай пить. Водочки надо выпить.

— Ложитесь лучше спать, — посоветовал я.

— Когда? теперь спать? А дело-то делать когда?

— Ну какие ж дела теперь?

— Ничего! Ну пойдемте же.

И уж, наконец-то, насилу кое-как я выпроводил их, обещая прийти через два, три часа.

«Однако дело мое — дрянь», — думал я. Ведь если эта музыка заведена у них на каждый день, значит они ежедневно будут и ко мне являться, а это развлечение вовсе в мою программу не входило. Оставалось, по-видимому,

одно средство: переехать в другую гостиницу. Но ведь и там они найдут? И там, говорят, битком набито ими же!

На другой, на третий день, разумеется, как я и ожидал, повторилось то же самое, то есть такие же точно занятия «делами» и такое же безрассветное, безобразное пьянство. К личностям, продававшим угольные копи и устраивавшим поставку угля в морское министерство, прибавились еще, в том же вкусе, личности, продававшие торфяные болота, какие-то необыкновенные кирпичные заводы, и проч., и проч., одним словом это было какое-то удивительное сборище пьяных шутов гороховых и всевозможных комиссионеров и проходимцев. И вся эта сволочь пила у них, ела, чуть не ночевала. Ни до, ни после я ничего подобного не видывал и, конечно, никогда не увижу. Теперь я нигде даже и физиономий таких не встречаю. Казалось, весь мошенничающий Петербург собрался вместе, сговорился и сделал на них колоссальную общую облаву, ускользнуть из которой никому из них не представлялось никакой возможности. Михаил Михайлыч, положим, «занялся» кирпичами. Дело, кажется, не имеющее ничего общего с торфяными болотами, «делом», которым «занимается» Иван Петрович, ан нет-с! Выходит так, что в одно прекрасное утро и кирпичи и торф вдруг оказываются принадлежащими одному и тому же, где-то за границей живущему капиталисту, которому надо телеграфировать, который, в свою очередь, сам присылает телеграммы, назначает поверенных, эти поверенные берут на расходы, пишут какие-то условия, расписки, потом начинают грозить этими расписками, и дело доходит до того, что, по-видимому, ни один юрист в мире не разобрал бы всей этой удивительной путаницы прав и отношений. И объектом всего этого — отставные поручики и штабс-ротмистры, понятия не имеющие ни о каких торфяниках и добыче из них торфа, так же точно, как и об усовершенствованных кирпичных заводах и каком-то каменном угле неслыханно высоких качеств, необходимо нужном для морского министерства!.. Для кого-нибудь все это, может быть, покажется просто смешным, но на меня, созерцавшего эту картину, что называется, в упор, производило тяжелое впечатление. Почти у всех у них были жены, дети, которых я знал чуть не с малолетства, и теперь, ни в чем не повинные, они, очевидно, неминуемо

должны были потерять и те последние жалкие крохи, что остались от ликвидации Осиновок и Ивановок.

Но как ни тяжело мне было видеть все это безобразие — все-таки горю помочь я ничем, конечно, не мог; советы и разъяснения, разумеется, не действовали, да, наконец, что я мог советовать или отсоветовать при покупке торфяников или кирпичных заводов с новыми усовершенствованиями, когда и сам понятия не имел и не имею ни о чем подобном. И, наконец, какой бы гений и профессор таких дел я ни был, разве под силу одному человеку образумить рехнувшееся сословие нескольких губерний?.. Однако мне надо было заниматься, а они решительно ни днем, ни ночью не давали покоя.

— И давно это началось у них? — спрашиваю лакея.

— Как приехали-с, с того же самого дня. Вот уж второй месяц пошел.

Ничего не поделаешь — надо переезжать. И вот я отправился путешествовать из одной гостиницы в другую.

— Скажите, пожалуйста, стоят у вас тамбовские или саратовские помещики? — спрашиваю швейцара.

— А вот фамилии выставлены — извольте посмотреть.

— Нет, не то мне нужно. Вот вам рубль. Пожалуйста, узнайте, стоят ли у вас приезжие и кутят ли они?

Швейцар берет рубль, куда-то отправляется, наводит справки и возвращается с ответом, для меня убийственным: и стоят и кутят. Еду дальше, в другую гостиницу, там опять то же поручение швейцару и тот же ответ. С таким успехом я объехал чуть не все известные мне гостиницы, и везде действительно оказалось: и стоят и кутят. Мне остался, таким образом, один выход — переехать куда-нибудь в chambres garnies.

Через несколько дней я шел по Большой Морской. Было около часа. Накануне выпал первый снег; выпало его много; дорога сразу «установилась» на санях; все как-то посветлело, повеселело; даже бледные петербургские лица казались не такими бледными — точно и им снег прибавил жизни. Несмотря на ранний для Петербурга час, и гуляющих и катающихся было уже много. Я искал себе комнату и посматривал на билетики у ворот и подъездов. На одном из домов, недалеко от Дюссо,

сбоку ворот я остановился и стал читать один из таких билетиков: «Отдаются две прекрасно меблированные комнаты со всеми удобствами. Можно получать и домашний обед». То же самое было написано по-французски и по-немецки. Нумер квартиры был какой-то маленький, очевидно вход с улицы, по парадной лестнице.

— Это здесь? — спросил я швейцара.

— Здесь, пожалуйте в третий этаж.

— Что это, действительно хорошие комнаты, тихо?

— Хорошие, у нас плохих нет. Там прежде господин Поленин стояли.

— Поленин? как его зовут? Константин Михайлович?

— Они и есть.

— Не знаешь, куда он переехал?

— Они тут же-с, у нас же живут, только теперь сняли бельэтаж, потому общество у них, по их предприятию, большое собирается, им и тесновато-с.

— Какое же у него предприятие?

— Да ведь, если вы их, сударь, изволите знать, так... известно-с... а впрочем, нам почем знать? Приезжают господа, спрашивают; наше дело указать, высадить да посадить...

Швейцар, очевидно, что-то сообразил, спохватился, что сболтнул лишнее, и начал скрытничать. Как ни хотелось мне узнать, что за «предприятие» у «Костеньки», однако расспрашивать дольше показалось неловко, и я пошел наверх.

Комнаты отдавала одна из тех француженок, о которых я говорил в прошлом очерке, то есть, несомненно, бывшая некогда кокотка, а теперь за старостью вышедшая из употребления и занявшаяся «делами», то есть меблированными комнатами, продажей по случаю кружев, платков, перчаток и проч. У них всегда действительно очень хороший домашний обед во французском вкусе. Обедать дома для меня огромное удобство: я, по деревенской привычке, люблю спать после обеда и потому ценю так это. Комнаты оказались немного дороговаты, но вот это обеденное-то удобство меня уж очень подкупало, и я покончил, дал задаток. «Ах, вот у кого узнаю про Поленина», — догадался я.

— Скажите, кто у вас прежде занимал эти комнаты?

— M-r Поленин. Я так тужу об нем, это такой хороший был жилец.

— А теперь куда же он девался?

— Он тут же внизу живет, в бельэтаже.

— Зачем же он уехал от вас?

— Ах, ему нельзя. У него теперь собираются...

— Он что же делает?

— А вы разве не знаете м-г Поленина?

— То есть, как вам сказать? Нет, знаю...

— Только вы не говорите, что это я вам сказала...

Что за чертовщина? Все знают, все хвалят его, все на что-то намекают, а сказать точно боятся. Разумеется, это меня только еще больше дразнило узнать, в чем дело.

— Я слышал, у него какое-то предприятие...

— Да, слава богу, он такой добрый. Вот м-lle Marie знаете? Он ей такие серьги, такую брошь подарил — прелесть! Он очень добрый и щедрый для женщин, — заключила француженка.

— А в чем же состоит его предприятие?

— Вы не скажете, что это вы от меня узнали?

— Хорошо, не скажу.

— Вы даете слово?

— Да что же у него там за предприятие такое, что и говорить об нем нельзя? — невольно вырвалось у меня.

— Ах, знаете... нынче так строго... За границей это позволено, но здесь, в России... Оно, конечно, полиция знает, но... ему может выйти неприятность.

— В таком случае не говорите мне, если это уж такой секрет.

— Ах, нет, вы благородный человек, и я вам скажу: у него собираются молодые люди лучшего общества, ну... кокотки... ужинают... у него рулетка! — выстрелила, наконец, француженка. — Только, ради бога!..

— А! так вот чем кончил наш «милый мальчик»! Да, так и должно было быть. Это на него похоже, — рассуждал я про себя, но, должно быть, настолько громко, что моя хозяйка услыхала и опять начала:

— Только, ради бога! — и проч.

— Ничего, не беспокойтесь: это не опасно...

Я обещал в тот же день прислать вещи и раскланялся с нею.

— А к м-г Поленин не зайдете? Он теперь дома. Он поздно встает: всю ночь играют...

— Нет-с, сегодня мне некогда. Да как-нибудь уж наверно встретимся.

— Изволили видеть комнаты? — спросил меня швейцар.

— Видел, ничего.

— Изволили нанять?

— Изволил.

— Уж вы господину Поленину не говорите, что от меня про них слышали...

— Эка вы его боитесь все как?

— Не то чтобы боялись их, а так, они барин для нас хороший, щедрый.

Дня через три я столкнулся с ним на подъезде, вечером, часов в одиннадцать.

— Наконец-то, — обрадовался он и так ласково потянулся ко мне. — Я вас раза три уж видел, как вы сюда подъезжали. Вы у кого здесь бываете?

— У себя. Я живу здесь наверху.

— У m-me Malvine? И не грех вам ко мне не зайти? Давно приехали? — расспрашивал он, когда мы поднимались по лестнице.

— Я занят очень. Дела много.

— Ну, уж теперь-то вы зайдете ко мне. Теперь, ночью, какое же дело? Ну что ваши, все здоровы?

— Благодарю вас, слава богу.

— Милости прошу. — И он остановился перед открытой лакеем дверью.

— В другой раз как-нибудь. Спать хочется.

— На минутку хоть. Я не знал, что вы здесь живете. Я бы давно был у вас.

Сцена перед дверьми выходила уж глупая, и я шагнул за порог. Огромная передняя; прямо и направо двери в большие высокие комнаты, богато меблированные, с коврами, с бронзой; вся квартира ярко освещена. К нам кинулось несколько лакеев.

— Кто и кто? — спросил Костя и, звякая саблей, в фуражке пошел дальше, с легкой изящной грацией увлекая и меня за собой.

— Сегодня у меня собираются, — говорил он. — Вы в карты не играете? Ну так поболтаем. Старину вспомним.

Я шел по комнатам и все поглядывал, не стоит ли где рулетка. Я не только никогда не упражнялся, но даже и не видывал этого инструмента.

— Что ж это у вас сегодня — званый вечер или так, jour fixe? [1]

— Fixe. Собираются, играют... И, о ужас! играют в рулетку!.. — делая в шутку испуганное лицо, болтал Костя. — Ведь у нас все запрещено... За границей, сами знаете, рулетку найдете чуть не в каждом городе — и ничего; а у нас в карты можно играть, а в рулетку почему-то нельзя. Ох, матушка Россия! — вздохнул он.

— Ну, положим, и за границей не в каждом городе имеется это развлечение, а есть.

— Почему же, я вас опять спрошу, в карты можно играть, а рулетка запрещена?

— А уж ей-богу не знаю. Я ни во что не играю, и это меня нисколько не интересует.

— Хорошо, вы не играете, а кто играет?

— Те пусть и проигрывают.

— Зачем же непременно: «проигрывают»? — немного обиделся он.

— А это, кажется, выгодно? — спросил я, оглядывая действительно богатую квартиру.

— Риск, и потом... — Он нагнулся и пошептал мне на ухо. — Всем, всем! Кому сто, кому двести, кому пятьсот рублей в месяц...

В третьей или четвертой комнате сидело человек десять. Кто пил чай, кто вино. Все это были люди того общества, которое принято называть «порядочным». У всех расчесанные головы, потухшие глаза, разговор — точно каша во рту, и т. д., и т. д. Когда он знакомил нас, я услыхал почти сплошь известные, громкие фамилии. Один из них оказался моим соседом по имению, хотя и никогда в нем не бывал от роду.

— Скажите, хорошее это имение? — спросил он.

— Вам лучше знать. Вы же доход получаете.

— Представьте — ничего.

---

[1] Приемный день *(франц.)*.

— Съездите посмотрите.

— Я и то хочу отпуск взять и съездить. Если министр мне позволит... — затянул золотушный юноша.

«Господи, — невольно думалось, глядя на это жалкое, изношенное лицо с пошло-надутым выражением, — ну, какому министру можешь быть ты нужен, и для чего и для кого это говорится?..»

— Наверно, позволит...

— Вы думаете?

— Даже убежден, — улыбнулся я.

— А я напротив. У нас столько дела в министерстве. Во Франции опять партия Гамбетты... мы должны следить... Сегодня князь пришел такой озабоченный.

Я едва удержался при мысли, как он следит за Гамбеттой, и еще воображает, что дело делает. Ни один из этой публики мне ни на черта не был нужен: поотстал я порядочно-таки от этого «порядочного» общества, и мне они казались все даже занимательными: ведь это тоже всё помещики, хоть и не живут и не бывают даже в имениях.

Между тем то и дело приезжали новые гости. Почти все они были знакомы друг с другом, так что, исключая меня, «Костя» никого друг другу не представлял. Приехало несколько француженок, две-три немки и тоже две или три русские той же, очевидно, профессии. Начались сальности, визготня, наконец все — и мужчины и дамы начали говорить, что пора «начинать».

— Надо же приготовить. Сейчас. А хочется выиграть? а, князь? — Костя потрепал приятельски по плечу какого-то юношу с необыкновенно изящными манерами и неопределенным взором. — Вы тот раз, кажется, проиграли?

— Пустяки, тысячу двести или тысячу триста рублей. Не помню.

Дамы просили золотых для счастья. Кавалеры отказывали, уверяя, что перед игрой никогда не следует ни дарить денег, ни давать взаймы. Но дамы, разумеется, этим не урезонились и урывали, смотря по щедрости и глупости каждого. Все это выходило очень недурно и занятно. Скоро в другой комнате все было «готово», и общество столпилось там вокруг столов; в ход были пущены две рулетки.

— Объясните мне, пожалуйста: я никогда не видывал, как играют, — попросил я Костю.

— Серьезно? Это так просто.

Он попросил кого-то посторониться и протискался со мною к столу. Чтоб не мешать играющим, он начал объяснять мне суть игры почти шепотом. Действительно, замысловатости никакой я не заметил и понял дело почти сразу.

— Не хотите ли теперь что-нибудь поставить? — предложил он, улыбаясь.

— Нет, это уж пусть другие, что ж вам мешать? А штуку во всяком случае вы выдумали занятную: развлечение самое дворянское, и главное, для них вовремя.

— А что?

— Ничего: вовремя, говорю.

— А-а-а! — догадался он наконец. — Да не все ли равно им куда ни спустить деньги? Вы посмотрите, что они тут в Петербурге проделывают. И сколько их понаехало — страх: все гостиницы набиты битком нашими, орловскими, саратовскими.

«Знаю», — думаю себе. — А что, они у вас бывают?

— Гм... да; но это истинное несчастие, когда какой из них приедет.

— А что?

— Держать себя не умеют. Сейчас напиваются, начинают спор, невозможные анекдоты. С ними беда, — заключил Костя.

— Да вам-то что за дело: играли бы себе да платили бы исправно.

— А, нет, не говорите! Сегодня скандал и крик в квартире, завтра такая же история, послезавтра опять; ну и прихлопнут. Я и так жду чуть не каждый день, что велят закрыть.

— А что, разве были уж скандальчики?

— Нет, скандалов-то, благодаря бога, еще никаких особенных не было, но Живашов интригует: много из его клиентели ко мне перешло.

— А кто это Живашов?

— Живашов? У него тоже играют. Только у меня рулетка, а у него карты. У него связи огромные, — грустно закончил Костя.

— Закон конкуренции...

— В том-то и беда, что не конкуренция, а просто связи, протекция...

— Что ж, у того это заведение давно существует? — полюбопытствовал я.

— У него уж старое «дело» — лет десять уж...

Вдали показались новые гости, и он поспешил к ним навстречу. Я заметил какое-то особенное к ним внимание. Вообще он держал себя со всеми совершенно непринужденно, с большею частью был на «ты»; теперь же вдруг сказалось что-то заискивающее, подобострастное. Это все объяснилось очень скоро: один из вновь прибывших оказался посланником, правда очень маленького и скромного царства, но все-таки, как хотите, посланник. Костя был так любезен, представил меня и ему. Посланник, небольшой пузатенький господин с рубенсовской бородкой и добродушным взглядом серых глаз, сказал мне несколько ничего не значащих фраз и вмешался в толпу возле одного из столов. Заметив, что его больше уж нечего занимать, Костя подошел ко мне.

— Не правда ли, какой он милый?

— А господь его знает. Да, кажется.

— Страстный игрок.

— И много проигрывает?

— Он должен много... Содержание получает небольшое...

— Вам бы как-нибудь заманить французского или английского посланника, — посоветовал я.

— Да! Нет, тем нельзя...

— Досадно, а из них соку больше бы можно нажать...

Вдруг Костя испуганно уставился вдаль.

— Ну вот, радуйтесь, напророчили! — с отчаянием почти воскликнул он.

Я сразу не понял в чем дело и спросил:

— А что?

— Да вот «наши» приехали: Михаил Иванович, Иван Петрович, Григорий Филимонович... — перечислял он.

Действительно, к нам приближалась группа человек из шести — почти вся демутовская компания. Багровые, загорелые, усатые лица, невозможные галстуки, удивительного цвета перчатки... и несомненно, даже очевидно, в сильном подпитии. Я взглянул на Костю. Он был бледен и нервно кусал свои маленькие усики.

— А мы были сейчас в театре и слышим: то тот, то другой собираются всё к тебе ехать, — начал, подходя к нам и здороваясь, Недобежкин. — Ну, мы одного какого-то, черт знает его кто он, и приструнили: «А что, мол, сегодня за бал такой у Кости?» — «Да у него, говорит, по четвергам собираются в рулетку играть, потом ужинают». Мы и поехали... Ничего, не помешаем?..

— Очень рад, только... здесь посланник... надо осторожней быть...

— А господь с ним! Нам-то какое дело: в политику мы не мешаемся. Это вот жаль, что Семена Иваныча нет, — тот любит действительно все о политике. Он бы с ним поговорил. А нам вот если бы с холоду этак водочки по рюмочке да икорки... хе-хе, не жаль?..

Костя что-то рассеянно забормотал об ужине, что водку непременно подадут и проч.

— Перед ужином-то особь статья, а ты нам теперь, братец, вели подать. Или, может, к шкафчику вместе пойдем? Ты пьешь?

— Кто же в это время пьет? Это перед завтраком, обедом, — лепетал он.

— А перед ужином разве нельзя?

— И перед ужином можно, я и говорю.

— Ну так и прикажи подать. Что тебе, в самом деле, жаль что ли?

Пока шли эти пререкания у него с Недобежкиным, остальные один по одному прошли в ту комнату, где шла игра, и я уж слышал оттуда их смех и разговор.

— Костя, — послышалось вдруг оттуда, — поди-ка сюда...

Я явственно разобрал голос Ивана Михайловича и заметил какое-то необычайное общее движение в толпе, обступившей стол. Я пошел туда. Костя чуть не рысью тоже побежал.

Иван Михайлович между тем, заложив руки в карманы, рассказывал кому-то, что рулетка ни к черту не годится, а вот у них в полку была так действительно штука, и много господ офицеров тогда проигрались. Приехал какой-то жид и предлагал на биллиарде играть не киями, а брать шар в рот и выпускать его так, чтобы он, ударяясь о другой, клал его в лузу. «Так вот, из всех господ офицеров, бывших тогда в полку, один лишь его, —

он указал на подошедшего Костю, — отец обыграл жида. Тогда что-то, я помню, недели три мы пили без просыпу», — заключил он совершенно наивно и нисколько не замечая того впечатления, какое произвел своим рассказом. Сцена была очаровательно хороша, и я век не забуду ее. Как сейчас вижу эти презрительно удивленные лица молодых людей «порядочного» общества, эти уставленные на него лорнетки, монокли. Все замолчало и остановилось. Француженки, ломаясь, точно чего испугавшись, жались к кавалерам. Посланник опустил глаза вниз и так и застыл в этой позе. Одни только «наши» дружным закатистым хохотом приветствовали рассказчика и наперебой начали что-то вспоминать и рассказывать. Не знаю почему, но мне пришло в голову сравнить появление «наших» с прилетом диких уток к стаду домашних. Порода, несомненно, одна и та же. Понимать, по-видимому, должны друг друга, а между тем разная жизнь до того разъединила их, что, пожалуй, даже и не понимают одна другую, о чем кричат. Так точно и тут. И «мы» — дворяне, и эти, то есть «порядочные», тоже большею частью, если не сплошь, — дворяне, а понимать почти что не понимали теперь друг друга. Как не художник, я, разумеется, не могу передать хоть сколько-нибудь образно эту сцену; но, повторяю, она была очаровательно хороша. Я уж не помню, как удалось Косте восстановить вновь порядок, нарушенный так оригинально и неожиданно. Помню только, что «наших» он повел к буфету, и они уж больше не показывались. Он, кажется, «надорвал» их водкой, потому что из столовой послышались вскоре «сени», «лучинушка» и проч.

— Ну вот, видели? Можно разве их принимать, — спрашивал Костя, когда кое-как все уладилось и угомонилось.

— Ничего, все, бог дал, обошлось, — утешал я.

— Именно бог дал. А ведь могли бы и скандал устроить. Я не знаю, как их теперь из столовой мне выпроводить.

— Да, это трудно будет, кажется.

— И зачем они явились сюда, в Петербург? Ну, сидели бы себе в своих Ивановках, а то, извольте видеть, делами приехали заниматься! — горячился Костя.

Как он их выпроводил из столовой — это, конечно, трудно сказать. Но этот вечер судьба, очевидно, сжалилась над ним и прислала ему спасителя. Так, через полчаса или немного более после рассказанной сцены в комнату перед той, где шла игра, вошел высокий красивый статный брюнет лет тридцати пяти.

— Здравствуйте, — проговорил он, пожав Косте руку. Потом что-то спросил у него и, весело улыбаясь, пошел ко мне.

— Вы, кажется, не узнаете меня?

Тут только я признал его: это был Сольдеревский. Он отпустил небольшую круглую черную, очень красивую бороду, и она сильно его изменила.

— Меня борода ваша сбила с толку.

— Что делать? стареть стал.

— Ну, постареть-то вы не много постарели.

— А, нет, не говорите; теперь, ночью, не видно, а днем посмотрите, что седых — страх! — проговорил он, запуская пальцы в волосы.

— Уж очень бурную жизнь ведете...

— То есть?

— Да так: слухом земля полнится.

— А вы что слышали?

— Мало ли что? Кутите, говорят, очень.

— Вы где это слышали: тут, в Петербурге, или «там»?

— Кое-что и тут, а то еще «там».

— И я вам скажу, от кого. Хотите?

— Говорите.

— От Ивана Федорова Селезнева, барышника?

— Да. И он рассказывал.

— Дурак! Он черт знает что про меня там, говорят, рассказывал. Он вам что говорил?

— Да вот, что вы здесь отлично устроились, кутите, какие-то корабли всё покупаете...

— А еще что?

«Сказать ему разве про барынь его? — подумал я. — Впрочем, к чему? Может, еще поссорю его с этим барышником». — Больше ничего, — ответил я.

— Неправда, отчего не говорите? я ведь знаю, что́ он врал там про меня. Про барынь рассказывал?

— Так зачем же вы спрашиваете, если знаете? — рассмеялся я.

— Эдакий болван! — И он, смеясь, покачал головой. — А впрочем, — продолжал он, — пусть там себе думают что хотят. Мы свое дело делаем и «им» не мешаем. Ну что, все «там» живы, целы? Вы давно оттуда?

— Недели полторы.

— Вы знаете, «наших» тут страх что понаехало. Наслышались они вот про «орла», про Свистова, про Сапоговых да вот про нас с ним, — он кивнул на Костю, — и потянулись все сюда. Думали, что здесь только ходи да загребай деньги.

— Знаю, — говорю, — это ужасно тяжелая история: я на них спокойно смотреть не могу.

— Ничего не поделаешь. Все равно...

— То есть, как все равно?

— А так, очень просто: успокоятся только тогда, когда всё до последнего рубля спустят.

— А дети?

— Славные ребята выйдут.

— Надо еще воспитать их прежде...

— Ни на что не нужно. Будут кочегарами, столярами, кузнецами. Посмотрите еще, какие работники-то выйдут, чудо! Вон меня во всех учебных заведениях обеих столиц учили, а чему выучили?

— Стало быть, хорошо выучили, когда после краха опять сумели пристроиться и на ноги встать...

— Ну, это не вам бы говорить...

— А что? Разве неприятно слушать?

— Очень приятно.

— «Сени новые, кленовые!»... — донеслось до нас из столовой. Костя вздохнул и направился туда.

— Это что такое? — спросил Сольдеревский, обернувшись в ту сторону.

— Это «наши» там.

— Как «наши»? Что же они там? Запер он их туда, что ли?

— Пьяны, мешают «делу»...

— Так пойдемте же к ним. Вы не играете? Так черт ли тут оставаться! Те хоть душевный народ, а ведь это всё...

— Нет, уж ты, ради бога, туда не ходи, — стал упрашивать его Костя. — Ты их там взбудоражишь, и они опять сюда явятся.

— Ничего, не беспокойся, я все улажу. Ты хочешь от них отделаться, я вижу?

— Разумеется.

— Так это же так легко! Вино там есть?

— Сколько угодно.

— Отлично! Пойдемте же.

— Только вперед говорю: пить я не стану, и, пожалуйста, не приставайте.

— Да ладно.

В столовой, большой длинной комнате с дорогой, резной дубовой мебелью, с буфетом, уставленным серебром, посередине стоял нераздвинутый и даже не накрытый скатертью круглый «банкетный» стол. Кругом сидели «наши». Вместе с ними сидели еще какие-то три-четыре личности, которых прежде я не видел. На столе стояла целая батарея всяких водок, коньяков, вина. На тарелках громадные куски икры, сыру, окорок ветчины, жареные рябчики. На раскрытом ломберном столе две свечи и целая груда карт; колоды с две рассыпано по полу.

— Митька! — завопили все, как только увидали Сольдеревского. Начались обнимания, целования. Он сразу вошел в нужную колею и сразу овладел обществом.

— Ведь сколько раз мы у тебя были и всё никак застать дома не могли.

— Понятно, не могли застать, когда я в имении был.

— Слышали, слышали.

— Я третьего дня только приехал. Ну, выпьем, что ли?

— Разумеется! Фу, какая жара однако!

— А вы что ж сюртуков не снимете?

— Да черт, братец, тут хозяин — баба какая-то: и рад нам, и потише. Посланники какие-то тут у него. Врет, должно быть?

— А нам-то какое дело?

— «Уж я сеяла, сеяла»... — вдруг затянул Иван Петрович и стал притопывать. Все подхватили, и Сольдеревский во главе всех.

— Голос у тебя, подлеца! душу бы за него отдал. Ну, поцелуемся.

Сольдеревский обнялся и стал целоваться по-русски.

— Мы сегодня загуляли. Я ведь дело-то свое кончил, — начал Недобежкин, — то есть почти уж кончил. С Казимир Карловичем условие подписали, половину куртажа

ему дал, и расписочку в том имеем. Вот она тут. — Он хлопнул рукой по боковому карману. — Капитан мой тоже работает. Вчера всю ночь пили... Дело пошло уж к докладу министра... Вот как миллиончик-то заполучим!..

— «Эх, вы, Сашки, канашки, разменяйте», и т. д., — подхватили все хором. Сольдеревский пел и время от времени поглядывал на меня, подмигивая то на того, то на другого: каковы, дескать, ребята!

— А вот мои кирпичные заводы, так это, я вам скажу... — начинает кто-то, но Сольдеревский прерывает, замечая, что теперь нечего говорить о делах. Об этом надо говорить утром, а теперь надо пить и петь.

— Нет, вы поймите, что в один час одна печь может до ста тысяч кирпичей...

— Да черт с ними!

— После!

— Надоело!

— Целый день все о делах!

— Постой, не мешай. Сто тысяч кирпичей в один час обжигает... Это сколько будет в месяц?

Хохот. Кто-то кричит:

— Пять миллиардов!..

— Больше!

— Меньше!

— «Торговали кирпичом и остались ни при чем!» — запевает Сольдеревский. Опять хохот, пение... Шум, наконец, поднялся невообразимый, и в дверях показался Костя:

— Господа...

— Уйди! — кричит ему Сольдеревский. — Мы тут магарычи пьем. Сегодня столько дела понаделали, что тебе с твоей рулеткой и в десять лет того не нажить!..

Вслед за Костей показывается несколько человек, и, между прочим, вошел и остановился посреди столовой тот самый бледный юноша, который рассказывал мне, что ему поручено следить за Гамбеттой. Он как-то глупо остановился, вставил монокль, сделал кислую физиономию и начал рассматривать «наших». Как ни пьяны все были, однако кто-то заметил, что это немножко не годится: мы не звери, чтобы так нас рассматривать.

— Вам что угодно?

Молодой человек, не отвечая, продолжал рассматривать. Сольдеревский смекнул, что может сейчас выйти



история, подошел к нему и что-то пошептал на ухо. Тогда он лениво, небрежно переваливаясь с ноги на ногу, пошел к дверям.

Немного погодя опять показались наблюдатели. На этот раз выглянула и женская голова.

— Однако знаете что? Их надо увезти отсюда куда-нибудь. Скандал выйдет непременно, — шепнул мне Сольдеревский.

— И отлично сделаете.

— Нет, серьезно. Ведь они все добрые ребята, так зачем же их подводить и давать на посмеяние разной сволочи?

— Я и говорю: увезите их.

— А вы разве не поедете с нами?

— Нет уж, увольте. Я спать пойду наверх.

— А вы разве тут живете?

— Не тут, а наверху.

— У m-me Malvine? Где прежде Костя жил?

— Как раз в тех же комнатах.

— Я не знал. Я как-нибудь к вам заеду. Ко мне милости прошу.

Я обещал заехать и стал прощаться.

— Господа, — начал Сольдеревский, — что нам здесь киснуть-то, не прокатиться ли по первопутью-то? а?

Все нашли, что эта мысль богатая, и решили сейчас же послать за тройками.

— Не нужно посылать, это длинная история — сейчас сами наймем.

— Сами, так сами; кстати пройдемся немного.

— Как бы нам пройти прямо в переднюю, — спросил Сольдеревский лакея, — чтобы не проходить по тем комнатам?

Лакей показал, и Иваны Петровичи, Михаилы Иванычи и т. д. под предводительством Сольдеревского двинулись в путь, покачиваясь и рассуждая об угле, кирпиче и проч.

— Наконец-то! Слава тебе господи! — чуть не крестясь от радости, воскликнул Костя. Он стоял все время за дверями и дожидался конца. — Это ужасно!

— Когда бы кто из этих господ ни приехал, — приказывал он лакею, — меня дома нет. Тут с ними каждую минуту надо беды ждать.

— Какой же беды? Они — смирные.

— Как какой? Помилуйте! Ведь вы сами видели, собирается все порядочное общество; ведь это цвет нашей молодежи, и вдруг... Нет, это избави господи...

— А у «них», у ваших «порядочных», разве скандалов не бывает?

— Скандалы везде бывают, но... не такие же. И ведь это они будут безобразничать так, пока не проживутся дотла. А потом начнут взаймы просить: я ведь это знаю, — авторитетно порешил Костя. — Эти примеры-то уж бывали.

— И вы давали им взаймы?

— Двум дал пятьдесят рублей и билеты до Тамбова. Надо же было их сплавить, а то лезут чуть не каждый день... У меня и своего дела по горло, а тут еще с ними возись.

— Ну, ваше-то дело легкое.

— Это, Сергей Николаич, кажется так, а вы попробуйте-ка!

— Нет-с! очень благодарен, уж увольте, пожалуйста.

— Так вот и все. А попробовали бы хоть недельку какую в моей шкуре побывать — другое заговорили бы. Смотри и за тем, чтобы скандала какого не вышло и чтобы проигрыша какого безобразного сразу не случилось... А, да что тут рассказывать! — И он махнул рукой.

— А если это так тяжело, вы бы другой какой промысел избрали.

— Какой же, позвольте узнать?

— Да вот Сольдеревский живет же.

— Да-с, но ведь для этого его здоровье нужно. У двух сам на содержании, да трех содержит. При такой жизни меня и на год бы не хватило. Да потом, вы думаете, у него забот тоже никаких нет? Извините, иной раз голова небось кругом идет. Я бы вам показал его, как он растерялся, когда А—ва заболела.

— А что?

— А то, что ходит как сумасшедший. «Дело» с медью у него уж было все подстроено тогда, как следует, только вот еще один шаг, и вдруг все остановилось: она заболела.

— Все-таки удалось в конце концов?

— Разумеется, удалось, когда она выздоровела; а что он за это время перенес, передумал!.. Ну, избави господи, умри тогда она — ведь он нищим бы был теперь.

— А теперь-то есть у него что-нибудь?

— А как же? Имение купил, и деньжонки, хоть небольшие, а все тысчонок сто или двести найдется.

— Вот как!

— Да, это у него наверное найдется... Легко никому ничего не достается, — продолжал он рассуждать.

— Поищите полегче промысла.

— Скажите, какой?

— Ну мало ли какой!

— То-то — какой?

А ведь и в самом деле, ну на что другое он годен?

В столовой между тем убирали объедки, пустые бутылки, отворили форточки — было страх как накурено.

— Ужинать накрывайте скорей, — приказал он лакеям, — все проголодались.

— Кончили разве игру?

— Нет, еще рано, половина второго только.

— Это рано? Нет уж, бог с вами, прощайте; я и то засиделся да засмотрелся.

— А поужинать?

— Я не ужинаю.

— Ну так посидите; может, чего и захочется.

— Нет, не захочется. Прощайте.

— До свиданья. Вас когда можно застать?

— Я всегда почти дома. Да вы не беспокойтесь о визитах.

— Нет, уж вы позвольте зайти!

— Сделайте одолжение.

И Костя действительно заходил ко мне раза три или четыре. Придет и начнет рассказывать. Иногда это очень интересно у него выходило. Обдрал он в эту зиму много народа, но драл всех постепенно, не сразу, чтобы не было говору в городе о безобразно большом проигрыше. Скандалов особенно пикантных тоже не было слышно; одним словом, вел «дело» осторожно, степенно, солидно, умно, что называется. Мы почти каждый день встречались с ним на лестнице, и иногда завязывался разговор, но к нему я больше уж не попал ни разу.

— Ну что, как вчера, в выигрыше?

— Ничего, слава богу. — И смеется.

— Много?

— Порядочно-таки.

— Однако?

— Тысячи три.

Иной раз скажет: тысяч пять; и только один раз я слышал от него, что он ободрал кого-то на сорок тысяч в вечер. Так тихо, мило и прилично прошла у нас вся зима. Костя был такой свежий, розовый, веселый, полный; стал даже обзаводиться маленьким брюшком, что очень шло к нему, придавая больше солидности. Наступил апрель. Я приехал откуда-то поздно вечером. На подъезде меня встретили швейцар и двое городовых.

— Что такое?

— Так-с... Не все благополучно.

— Пожар? — испугался я.

— Никак нет-с — обыск.

— У кого?

— У Константина Михайлыча...

— Попался, значит! — вырвалось у меня.

— Точно так-с. Власти все у них в квартире теперь заседают.

На другой день вся Костина история сделалась газетным достоянием, и он стал всероссийской знаменитостью. Мое сердце, как тамбовца, конечно радовалось: одним великим мужем у нас стало больше...

После этой печальной истории я уж его не встречал нигде, не потому конечно, что он никуда не показывается, а так как-то не приходилось и не приходится до сих пор. Кто-то — не помню — мне рассказывал вскоре после обыска, так через полгода что ли, что Костя будто бы в Испании.

— Что ж он там делает?

— Он поехал к Дон-Карлосу; хлопочет о концессии на рулетку — хочет там открыть.

— Вы шутите?

— Нет, серьезно.

Я право уж не знаю, шутки это были или в самом деле он ездил к Дон-Карлосу, но во всяком случае, так как дело у них у обоих не выгорело, Костя снова вернулся на берега Невы. Я не знаю также, чем он теперь промышляет.

Столько уж написал я о моих дорогих земляках, а между тем ни разу еще ни слова не сказал о присущей всем нам, тамбовцам, слабости к лошадям. Конечно, не теперь, когда и половины нас, пожалуй, уж не уцелело, а какие и уцелели, тем не до того, но прежде, то есть до 19-го февраля и даже первое время после реформы, — лошади и собаки для всех нас были такой отрадой и утехой, которых ничем не заменишь. Не только я, человек отчасти акклиматизировавшийся для другого климата и другого дела, но люди, по-видимому дышащие совсем уж не нашим воздухом, живущие для иных совершенно целей и интересов, наши земляки — профессора университетов, академики и проч., являясь в свои тамбовские деревни, встречаются с своими любимыми лошадьми, ей-богу, ничуть не менее радостно, чем с родственниками. И это нисколько не утрировка; это факт, который очень легко проверить каждую зиму на бегах на Неве. Тут каждый раз все «мы» бываем в полном сборе, то есть те, конечно, кто в Петербурге: нарочно приезжать для этого из Тамбова, несмотря даже на «свою» земскую дорогу, мы, разумеется, не можем; теперь это уж давно нам не по карману... Но зато те счастливцы, кто живет зиму в Петербурге, или те несчастные, которые должны жить в Петербурге (служат, работают, судятся и проч.), — все обязательно налицо. Скачки — это совсем другое дело, но рысистые бега — это важнейшее священнодействие нашего культа. Не надо забывать, что до 19-го февраля ведь не было у нас почти ни одного помещика, у которого не было бы своего конного завода или заводика и собачьей охоты, ну хоть нескольких борзых и гончих. Господа! Ведь если «мы» «легкомысленно» распорядились выкупными, земельным кредитом, и проч., и проч., так ведь теперь, оставшись «на ветру», как говорят про нас мужики, мы от всего этого натуры своей, право, ничуть не изменили; наше миросозерцание (честное слово, оно есть и у нас), так же как и наши печали, радости и утехи, остались при нас. Редко лишь приходится нам отводить души наши утехами, но когда такой случай представляется, что ж удивительного, что мы им дорожим: ведь это все, что «нам» осталось теперь!..

В этот год, о котором идет речь, то есть восемь лет назад, как я докладывал уже читателю, у всех почти у «нас» еще были деньжонки, и смотреть бега мы могли не так, как смотрит их большая часть теперь, то есть сидя верхом на заборе, а из беседки, комфортабельно, то и дело навещая буфет, кушая горячие блины с отличной икрой и запивая их ледяным шампанским. Теперь даже и эта относительно скромная роскошь, повторяю, стала для многих одним приятным воспоминанием, конечно возвышающим душу и бодрящим упавший дух, — однако не более того; но в ту пору, особенно в виду каменноугольных, торфяных, кирпичных и всяких других комбинаций и надежд, мы еще могли прилично явиться на наше священнодействие, и действительно явились.

Конечно, я очень хорошо знал, отправляясь на бега, что непременно встречу «наших» всех до одного, что непременно обязательно произойдет выпивка, от которой невозможно будет спастись; тем не менее я чувствовал в то же время и понимал, что я, как плоть от плоти их и кость от костей их, должен, обязан быть на бегу. Ко всему этому я должен еще присовокупить, что в первый же день бегов бежала дядина лошадь — того самого «дяди» Мити, что так огорчил покойницу тетушку, привезя с собой из Москвы ни на что не нужную гувернантку. Не знаю уж право, из предусмотрительности или по каким другим причинам, но «дядю Митю» покойница из деревни в Петербург не отпустила, и теперь возиться с лошадьми поневоле пришлось мне. Лошади этого привода были действительно очень хорошие, и, зная противников, я наверняка рассчитывал на приз, а следовательно, на поздравления и т. д., то есть на необходимость и пить и поить, ужасно поить. «Предчувствие было — и жребий свершился!»

Я приехал на бег, разумеется, до начала. Публики, то есть тех, кто будет смотреть, было еще очень немного — человек двадцать, и эти двадцать — все до одного «наши». Конечно, все уж успели пропустить «по одной», а более нервные и вообще впечатлительные и по две, и по три, и даже, кажется, более, и оттого были еще впечатлительнее и восприимчивее. Оживление было полное, и у буфета разговор шел во всю глотку, спор разгорался с каждой минутой сильнее и сильнее.

— Ну вот, хорош хозяин! Разве можно так опаздывать?

— Ведь теперь сейчас начнется, а он, пожалуй, сегодня и лошадь свою еще не видал!

— А вот я ее сейчас пойду посмотрю. Я и в самом деле не видал ее уж несколько дней.

— А вы противника-то знаете своего?

— Разумеется. — Я назвал и лошадь и заводчика.

— Нет, не то. Знаете, кто наездник?

— Кто?

— Василия Ивановича сын, Вася.

— Так что ж? У меня тоже отличный наездник.

— Не то! Вы знаете, ведь он нанялся к графу-то. Сто рублей в месяц получает.

— Очень рад. Он — недурной, кажется, человек.

— Да что ж, вы не хотите понять, что ли?

— Помилуйте! На что ж это похоже? Василия Ивановича сын в наездники нанимается!

— Ведь это, господа, позор для целой губернии, для всего дворянства, — и т. д., и т. д.

Что мог, я возражал; говорил, что все мы сами наездники, сами объезжаем лошадей, любим их; что делать то дело, которое знаешь и любишь и которое само по себе ничего дурного не представляет, нисколько не позорно и проч., — ну, словом, все, что тут можно было возразить; но со мной никто не хотел согласиться, и кругом шел ужасный гвалт. Кто-то из «наших» предлагал, чтобы все мы, тамбовцы, отправились к президенту бегового общества и опротестовали такой казус.

— Ну и останетесь с своим протестом.

— Нет, не останемся! Это — оскорбление дворянства. Это интрига чья-нибудь, — и т. д.

— Никакой интриги нет — просто человеку жить надо, а жить нечем; не воровать же ему!

— Воровать нельзя, а оскорблять дворянство разве можно?

Если бы я всю эту ерунду слышал у нас в Тамбове на дворянских выборах или на земских собраниях, по всей вероятности я бы нисколько не удивился: там это до того обычно, до того, так сказать, к лицу и к месту, что, зная эти лица и эти места, собственно и удивляться-то нечему; но тут, в Петербурге, мне стало как-то даже

неловко; я начал оглядываться и почти с ужасом заметил, что начавшая уже собираться публика заинтересовалась нами и слушает наши рассуждения о дворянской чести и вольности. Недоставало только, чтобы кто-нибудь из «нас» заговорил, по обыкновению, об известной грамоте о дворянстве императрицы Екатерины II. Вот, думаю, утешим-то народ!

— Нет, да вы поймите...

— Нет-с, это ведь не шутка!

— Нет-с, позвольте, — и т. д.

— Сейчас, господа, позвольте только сходить лошадь свою посмотреть.

В средней большой комнате беговой беседки я встретился с Сольдеревским. Он был в высоких сапогах, в полушубке, отороченном широкой полосой бобрового меха, в бобровой шапке; это очень шло и к его лицу и к его высокому, стройному росту. Мы поздоровались.

— Вы сами едете?

— Нет, наездник.

— А я сам хочу. Семен у меня заболел что-то. Да поезжайте и вы сами. У меня противником будет Сергей Васильевич, а у вас вы знаете кто?

— Как же, — говорю, — слышал; Вася К—ов.

— Отличная бы штука была!

— Очень хорошая, да не могу: и лошади не знаю, и с полгода уж не ездил, да и не в чем ехать — не в шинели же?

— Досадно!

— Очень досадно. Вы послушайте-ка, что там про Васю-то говорят!

— Где, кто?

— «Наши», у буфета.

— Что такое? Пьяны, должно быть?

— Нет еще, не пьяны. Подите-ка послушайте. Вы с ними умеете ладить — урезоньте. Ужасную чепуху несут.

— Потешный народ! — проговорил он и пошел к буфету.

Лошади, как и люди, бывают, что называется, тупые. Она и красива, и правильна, без пороков, и сильная рысь у нее, а все-таки «тупая». Это очень трудно сказать, что, собственно, разумеется под этим термином, тем не менее

тупые лошади есть, и они — истинное божеское наказание для наездников. Такая вот именно лошадь попалась на этот раз и Васе. Для мало-мальски опытного глаза сразу стало видно, что он проиграет, — и он действительно проиграл. Несмотря на то, что выиграла своя, мне было ужасно досадно за него. Так минут через двадцать он отдал, вероятно, лошадь конюхам, а сам, как был на бегу, в полушубке, запушенный снегом, пришел в беседку погреться. «Мы» сидели и ели блины; лакей наливал в стаканы шампанское; Сольдеревскому очередь ехать приходилась еще через час, и потому он сидел тут же с «нами», ел и пил. Разговор вертелся все о том же, и мне показалось, Вася, проходя мимо нас к буфету, кое-что слышал. Это было уж очень...

— Вы незнакомы? — спросил меня Сольдеревский.

— Нет. Так, знаем друг друга, а незнакомы.

— Господа! он должен с нами и закусить и выпить сейчас, — продолжал Сольдеревский. — Сергей Николаич, надеюсь, вы ничего не будете иметь против?

— Очень рад, разумеется. Пожалуйста.

— Вася! — крикнул он. — Что ж, к землякам-то и подойти не хочешь?

— Погоди, сейчас. Озяб ужасно — хочу еще выпить рюмку.

Как и следовало ожидать — потому что всегда это так бывает, — ребром поставленный вопрос испугал противника: Васины критики не протестовали. Я любовался на Сольдеревского. Я знал, конечно, что он за птица, чем живет, и знал все это очень подробно и основательно, тем не менее история с Васей пришлась мне ужасно по сердцу. И тогда, у «Кости», на рулеточном вечере, когда он бросил всех этих титулованных юнцов, следящих за Гамбеттой, и пошел сидеть к «своим», признанным неприличными, так точно и теперь, когда эти «свои», в свою очередь, стали брезгать одним из своих же, он принял сторону слабых, и сделал это не из фатовства, а искренно, просто, естественно. Очень хорошо вышло!

Вася подошел и начал здороваться. Сольдеревский, конечно, нас познакомил. Стали говорить о лошадях. Он жаловался на свою, говорил, что она тупа.

— Зачем же ты поехал на ней?

— Хозяин велел ехать — я и поехал.

— Вот-с, извольте это слушать! — не вытерпел Недобежкин, и пошла писать.

— Вы, молодой человек, дворянин...

— Вы, молодой человек, носите такую фамилию...

— Вы, вы... Конечно, ваш батюшка расстроил и потерял имение, но это ведь не по его вине, мы все разорены теперь... Дворянство во всей империи... Тем не менее русский дворянин, — и т. д., и т. д. Черт знает что!..

— Да что же, господа, прикажете мне делать? — оправдывался Вася. — Я — поручик в отставке. Ничего не знаю. Куда я денусь? Чем прикажете мне жить?

— Для русского дворянина двери открыты...

— Русский дворянин, если он не хочет позорить...

— В полк опять!

— На железную дорогу!

— Поступайте в интендантство!

Вася растерянно-изумленно смотрел на них; Сольдеревский хохотал во всю глотку. Мне было и неловко и жалко. Вопрос — чем жить — неминуемо, обязательно для всех них должен был предстать во всем ужасе своем непосредственно вслед за последним проеденным рублем, а их, этих рублей, уж немного, ах! так немного оставалось... Я начал что-то говорить на эту тему, но мне в ответ посыпалась со всех сторон такая чепуха, такой пустозвон, такой храп... да, они были ужасно жалки.

— Нет-с, ошибаетесь, Сергей Николаевич. Я скорей пойду дрова рубить, но уж ни к кому не наймусь...

— А дрова рубить для кого же вы будете?

— Для кого?.. понятно для кого — кому нужно.

— Стало быть, вас наймут... не все ли равно?

— Нет-с, извините. Большая разница. Я дрова изрубил, и я знать никого не хочу, а нанялся на место какое — хозяин может мною помыкать.

— Самое лучшее знаете что?

— Что?

— Поступайте в монастырь!..

Хохот. И весь дворянский гонор пропадает моментально и заменяется игривым настроением, с пошибом на самоосмеяние и даже самооплевание.

— Ну, какие, позвольте у вас спросить, мы теперь дворяне?

— Ивана Петровича выбрали в предводители. Какой же он, спрашивается, делает обед? Щи из баранины, котлеты из баранины, жаркое баранина и на пирожное клюквенный кисель. Ей-богу! Ведь это позор...

Эти переходы от мажорного тона к минорному меня всегда удивляли и, несмотря на порядочную-таки, кажется, уж привычку к таким разговорам, продолжают удивлять всякий раз и до сих пор. Я никак не могу понять, каким путем работает у них мысль и отчего она, эта мысль, делает такие совершенно неожиданные антраша. Тем не менее это — факт, который я наблюдал очень внимательно тысячи раз и продолжаю наблюдать, хоть и реже, и «по сей час»...

С переменой настроения, разумеется, сейчас же переменились и отношения к Васе. Все начали его чуть не целовать, а иные действительно целовали. Вспоминали его отца, какие он давал «нам» обеды, когда он был предводителем, какая была у него на заводе удивительная лошадь «Кролик» и какой дивный мелкопсовый кобель «Роброй» — на псарне.

— А что ж, и в самом деле, ему делать?

— Сто рублей в месяц — ведь это тысяча двести рублей в год.

— Да-с, извольте-ка вы их из имения-то извлечь по нынешним-то временам.

— Ведь это жалованье мирового судьи.

— А кроме того, еще «доходы», «поводковые»...

— Ну, какие же доходы? А поводковые...

Вася улыбнулся.

— «Доходы», про которые вы говорите, я, конечно, не стану собирать, а «поводковые» отчего же и не взять?..

— И возьмешь?

— Возьму.

— И это — дворянин? От какого-нибудь барышника чтоб я взял «поводковые» — ни за что! — и опять в мажорный тон и так далее.

«Мы», то есть бывшие уже и еще пока уцелевшие тамбовские, саратовские, орловские и пензенские помещики, сидели все в куче, сдвинув два-три стола, и было нас человек двадцать. Вина, то есть, правильнее, пустых шампанских бутылок, было видимо-невидимо. Понятно, разговор шел, как всегда это у нас заведено, во всю глотку,

и мы обращали на себя общее внимание. Но тут уж ничего не поделаешь — просто выноси молча общие удивленные взгляды всех и каждого — и только. Кое-кто из здешних знакомых, то есть из петербуржцев, подходил ко мне, здоровался и с любопытством рассматривал моих Иван Петровичей и Петр Ивановичей; прислушивались к нашему разговору.

— Ой-ой-ой, как вы пьете...

— Да-с, — вмешивается не без гордости Михаил Иваныч или Иван Петрович, — умеем пить! Не присядете ли к нам? Ну хоть стаканчик! — предлагает он совершенно незнакомому ему человеку.

Тот странно улыбается, благодарит, уверяет, что ничего не пьет, и чуть не спасается от нас бегством. Но вот в дверях показалась широкая фигура Утробина в богатой ильковой шубе, в картузе, в высоких сапогах.

— Утробин.

— Смотри — Утробин.

— Вон и Свистов с ним.

— Николай Николаич!

Действительно, за Утробиным, немножко сбоку, проходил сквозь толпу и Свистов. Он сильно постарел на мои глаза; еще более одутловато стало лицо, ясно показывая, что частенько-таки случаются с ним загулы...

Утробин подошел к столику, распахнул шубу, сел.

— Эй, молодец, как бы нам блинков. Николай Николаевич, садись!

Свистов нас, конечно, сразу и заметил и узнал всех до одного, но ему как-то неловко было встретиться с нами и начать пить при Утробине. Он, конечно, подошел, поздоровался со всеми, и когда его начали потчевать и просить пить, наотрез отказался, объявив, что сейчас едет с Утробиным куда-то по делу и пить ему нельзя.

— Стаканчик-то один?

— Ни одного.

— Да перестань! Что ты ломаешься? Ты один ведро целое выпьешь.

— В другой раз, не теперь. Теперь дело есть, и пить не буду.

— Ну, черт с тобой, так садись.

— Нельзя, к «барину» надо, — тише чем вполголоса сказал он.

— Куда?

— К «барину», — и он глазами показал на Утробина.

— Ты что ж, в услужении у него разве?

— Не в услужении, а служу, — начальство.

— И он тебе пить не позволяет?

— Не любит...

— Да ты-то любишь?..

— Мало ли что я люблю!..

— Понимаем. Вон и Вася тоже нанялся и тоже слушается хозяина: на тупой лошади на бег выезжает.

— А то как же? Нанялся — продался.

— Нет-с, а мы уж лучше будем пустые щи хлебать, а в кабалу не пойдем. Есть пословица: «хоть щей горшок, да сам большой».

— Слыхали мы это, да с этим, по нашему времени, господа, далеко не уедешь.

— И не нужно. Ну, нейдет дело в деревне — сюда приехали, здесь понабрали дела. Какой углем занялся, какой кирпичом, какой торфом. Ничего — жить можно.

— Это еще мы увидим, что у вас из таких дел-то выйдет. Я уж на них, на эти дела-то, насмотрелся, — огрызался Свистов, которому уж вовсе не по душе был весь этот разговор.

— Николай Николаевич, иди блинки-то есть, пока горячие! Простынут! — послышался голос Утробина.

Свистов быстро оглянулся, сейчас же встал с своего стула, на который только что было присел, и, отшучиваясь, пошел к Утробину.

— Не умеете вы, господа, устроиться сами хозяевами, — рассуждал Недобежкин, обращаясь к Васе. — Ну, какие «мы» можем быть работники? «Мы» не для этого совсем воспитаны.

— Для чего же?

— Для чего? Мы привыкли распоряжаться, ну и выбирай себе такое дело по своему характеру да по душе. А то что это за дело: человек пить хочет, а при «барине» — какой барин нашелся! — не смей пить, и кто не смей! Настоящий барин не смеет при вчера еще бывшем мужике пить!..

Опять начались возражения, что «дел» по душе вовсе не так много, и притом таких, где бы был сам хозяином; что теперь на каждое такое дело имеется тысяча кандида-

тов, и проч., и проч. Но люди, которые через два-три месяца потом едва-едва нашли с чем уехать домой и теперь с грехом пополам пристроились, кто в качестве приживалки у не совсем еще прогоревшего родственника, каким-нибудь несчастным помощником начальника дорожной станции, кто управляющим у своего бывшего соседа, — эти люди, можно сказать, накануне своего очевидного и неминуемого нищенства еще рассуждали именно так, чуть не слово в слово, как я здесь рассказываю.

Я, конечно, не могу и не хочу даже утверждать, что так рассуждали все без исключения; это было бы и несправедливо и невероятно; но я говорю про большинство, и оно было именно так невообразимо легковерно и легкомысленно. В одном из прошлых очерков я рассказывал и цифрами доказывал, как легкомысленно мы растратили почти полтора миллиарда ссуды, выданной нам под землю казной, то есть опекунским советом, и выкупным отделением, и потом частными земельными банками, и все-таки не научились нисколько обращаться с деньгами. Теперь «мы» тратили последние крохи, и тратили их с тем же непонятным, невероятным и необъяснимым ни для кого апломбом и легкомысленным ухарством. Но это так было, и этого факта никто не оспорит. Замечательнее всего здесь то, что ведь это не был кутеж человека с отчаяния, хорошо понявшего, что будущего у него уж нет почему-либо, и вот он теперь зажмуривается перед этим будущим, заливает горе. Нет-с, это кутили люди, твердо уверенные, что они могут кутить, что этому кутежу и конца не может быть, потому что вот капитан какой-то обещал устроить невероятно выгодную поставку угля, и т. д., и т. д.

Это отношение к факту, то есть, собственно, к себе самим и к своему положению, замечалось и сказывалось во всем и постоянно. Во время, например, рассуждений о дворянстве в минорном тоне вы могли услыхать страшно ядовитые насмешки над самими собой, над тем положением, в котором «мы» находимся в данный момент; будущее же — розовое, потому как же это так могут без нас обойтись? «Нас» обидели, ограбили и проч., но это скоро поймут и вновь к нам обратятся; и уж тогда мы, извините пожалуйста, не будем такими слюнтяями и простаками. Нет-с, тогда мы себя покажем!.. и т. д... В этом отношении смерть «наша» была завидная: мы и не воображали, что

она так неминуча и так близка. Мы до последнего рубля-вздоха верили в жизнь свою и ждали, что вот-вот случится наше полное, полнейшее выздоровление, и опять селянки, осетрина, икра, шампанское и шампанское!

Люди, наблюдавшие кокоточный мир, говорят, что и русские и француженки этой профессии тоже кончают именно так, то есть с полной верой, что их золотые дни еще вовсе не прошли, что «это» только временное затруднение, которое скоро и непременно кончится, и затем опять пойдет по-старому...

Наконец, то же самое, то есть о такой же надежде на жизнь и ее радости впереди, я слышал от докторов и про чахоточных: все надеются жить, и жить весело, долго...

Сольдеревский в тот день тоже выиграл, и выиграл правильно, красиво. День был ясный, морозный, лошади бежали легко, казалось, едва касались полозья до снега — летели санки. Наши тамбовские сердца и с любовью, и с радостью, и с гордостью бились все время. По окончании бега он пришел с нами вместе в буфет, весь седой от инея и снега, и залпом выпил два или три стакана шампанского.

— Фу, как хорошо!.. Ну, теперь, господа, милости прошу ко мне.

Никто, конечно, не возражал, все согласились, дождались конца бега, «раскритиковали» в пух и прах чьи-то бежавшие тогда тройки и начали разъезжаться, чтобы через час вновь начать и продолжать попойку.

— Николай Николаевич, заедешь ко мне? — спросил Сольдеревский Свистова уж на подъезде павильона, когда тот усаживал чуть не собственноручно Утробина в санки.

Свистов кивнул головой в знак согласия и метнул глазами в сторону Утробина: тише, дескать, говори, — неловко!

— И боится же он его, должно быть! — невольно сорвалось у меня.

Сольдеревский тоже рассмеялся — было действительно очень уж комично.

— Что же прикажете делать? человек подневольный. Деньжонки ему порядочные от «барина»-то перепадают, человек он уж не молодой, ни на какое другое дело, как

и все «мы», не годится — поневоле будешь дорожить. Другого Утробина не скоро найдет...

— Да уж очень-то что-то робеет.

— Ничего, это вам с непривычки так кажется. А вон посмотрите-ка у Самуила Соломоныча, кто в услужение попал из наших — те еще более в струне себя держат.

— А есть разве и там?

— А то как же. «Они» все теперь завели себе свиту из прогорелых дворян. Охотников ведь сколько хочешь можно набрать. И не всякого возьмут еще. Ведь они тоже денег стоят, ведь их и кормить и поить надо и место какое-нибудь дать. Больше всё выбирают из прогорелых предводителей да из тех, что владели прежде большими состояниями.

— Это для чего же нужно?

— Что такое?

— А вот, чтобы в прошлом значилось, что много прокутил на своем веку?

— Как же — это необходимо. Для того ведь их и берут, чтобы они устраивали обеды, гостей занимали. Ну, представьте себе, съедутся к Утробину разные превосходительства — об чем он с ними будет рассуждать? Чем он их будет угощать? А Свистов все это знает, и всё при нем как следует и вовремя подадут. «Они» необходимы «им». Это еще к счастью «нашему», что теперь такие «места» открылись, а то бы что такому вот Свистову делать?

— А много таких разве мест?

— Ну, много не много, а все-таки кой-кто попал на них и кормится, да еще с почетом.

— Уж почет-то какой.

— Не говорите. Все-таки у него название есть: директор астраханско-балаклавской дороги. Кто всей этой музыки-то не знает, пожалуй, подумает, да и наверно, что ведь он что-нибудь там в правлении-то и значит.

— А ничего не значит?

— Разумеется. Ведь он на утробинских акциях сидит; что велит, то и делай.

— А как сбежит он с этими акциями?

— Ну, уж вы как про мазурика какого говорите. Куда же он сбежит? И расчету нет... Впрочем, — прибавил он, — тоже ведь меры против этого принимаются: акции-то

не у него в руках, а только записаны на него. Один, впрочем, несчастный случай я слышал: действительно, сбежал, но это еще при самом начале таких дел было, когда не знали, как их в законную и безопасную форму можно облекать.

— Теперь научились уж?

— Слава богу, пора уж, кажется этому выучиться — не бог знает ведь какая мудрость!..

Я тоже обещал Сольдеревскому приехать к нему на сегодняшний обед и через час был у него.

— Вот-с и избенка наша, — говорил он, ведя меня под руку по своей роскошно и со вкусом убранной квартире.

— Ничего, недурна «избенка».

— Красна, батюшка, изба не углами, а пирогами.

— Пирогов-то пока еще не отведал, а углы очень хороши в вашей «избенке».

— Все трудами да заботами нажито, — смеялся он.

— А много трудов-то положено?

— Страсть! и не говорите лучше.

Я посмотрел ему в глаза.

— Не смотрите. Что там смотреть? Ведь слышали, всё знаете?

— Да разве это правда?

— Ну, правда ли, нет ли — это уж ваше дело; а вам скажу три пословицы, вы их и сообразите.

— Какие?

— А вот какие: во-первых, «не всякому слуху верь», а потом, две таких: «нет дыму без огня», и «от трудов праведных не наживешь палат каменных». Поняли?

— То есть грех был, но меньше, чем болтают?

— Ей-богу, меньше... Но был, и до сих пор есть грех.

— Что же не бросите? ведь довольно уж, кажется, — спросил я. Мне жаль его было.

— Брошу. Надо подождать только немного еще. Вот еще одно дело проведу, и — баста. Все равно: за семь бед один ответ.

«Наши» явились, разумеется, все в полном комплекте. Обед он нам «закатил» роскошный, и всё наши любимые блюда. Воображение невольно переносилось в те блаженные времена, когда нас то и дело угощали такими обедами

предводители и откупщики. Конечно, вспоминали эти времена, но по обычаю, разумеется, и надеялись на скорую их реставрацию. Сольдеревский к обеду пригласил цыган, и мы ели и пили совершенно в родной, домашней атмосфере. После обеда сюртуки, разумеется, были сняты, началась уж совсем безобразная музыка, пляс, песни. Дворянство наше пришло в полное самозабвение и отдалось восторгам.

— Пусть попляшут да потешутся, — вполголоса говорил мне Сольдеревский, смотря, как выбивали «наши» дробь с какой-то Матрешей или Стешей, — скоро ведь закатятся их золотые дни...

Не теряйте дни златые,
Их не много в жизни сей! —

вдруг звучно, громко начал он. Все подхватили; всё смешалось...

— Нравится вам эта песня? — спросил я кого-то из наших.

— Смерть как люблю! Сколько «истинно русской» удали в ней, проклятой, и сказать невозможно! — ответил он, ничего не подозревая в моем вопросе...

VIII
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Мы с подругой Вильгельминой
Знаем всё, что нужно знать...

В прошлом очерке я говорил, что все «мы» до страсти любили и теперь любим собак и лошадей. Конечно, теперь уж не то, что было: всякая любовь, как известно, поддерживается главнейше взаимностью; ну, а какая же может быть взаимность, когда теперь ни у кого почти и нет не только мало-мальски «приличной» псовой охоты, но редко-редко встретишь у кого одну или двух неизвестно уж какими судьбами уцелевших борзых. То же самое почти следует сказать и про конные заводы: их и десятой доли не осталось. Одним словом, за отсутствием необходимой «второй половины» любящихся догорает и сама любовь. А эта любовь к «благородным» животным была некогда до того сильна, что ею одною, по-моему, достаточно объясняется преобладание между «нами» штабс-ротмистров — чина, как известно, кавалерийского. И действительно, капитаны и штабс-капитаны хотя и встречались и поныне еще встречаются между «нами», но и чины эти не пользовались популярностью, и сами носители их не авторитетны у нас. В большинстве это были «мелкотравчатые», и по выходе в отставку их обыкновенно выбирали в исправники, в заседатели и в какие-то «непременные» члены. Что за птицы были эти непременные члены, я и сам хорошо не могу теперь объяснить себе; знаю только, что воротники у них на вицмундирах были зеленого цвета, а пуговицы желтые; потом помню еще, что

они появлялись только в парадные дни, держали себя необыкновенно скромно, усиленно и усердно улыбались всякой пошлости, кто бы ее ни сказал, за обедом сидели на концах стола, где вино было похуже, и вообще были ужасно жалки. Капитаны и штабс-капитаны, попадавшие в исправники, очень скоро, конечно при «поддержке» со стороны откупщика и обывателей, переставали быть жалкими; получали слабость к икре, осетрине, шампанскому; делались радушными и достигали, чрез более или менее продолжительное упражнение, довольно значительных успехов в «истинно русском» хлебосольстве. Но таких счастливцев много не могло быть уж по одному тому, что прежде считалось за глаза достаточным одного исправника на целый уезд. Их, то есть исправников, по числу не больше и теперь, но зато теперь больше становых и потом — урядники. Благосостояние от этого распределяется теперь, конечно, несравненно правильнее. Прежде один исправник поедал почти все то, чем теперь сыты и становые и урядники. И это, вероятно, никого не обременяет, ибо как ни благодарны и радушны обыватели, но при таком обилии охранителей их спокойствия они, понятно, не могут же удесятерить сумму своей к ним благодарности, а только дробят ее на большее, чем прежде, число частей...

Так вот, за исключением исправников, впереди у «пехотного помещика» ничего и не было. Но их, то есть этих пехотных помещиков, никогда почти не унижали, не презирали штабс-ротмистры. Напротив, были добрые, хорошие отношения, при всегдашней готовности помочь. Это факт несомненный, и вот ему несколько подтверждений. Как известно, кавалерия прежде почему-то всегда стояла в Польше и смежных с нею губерниях, где более или менее чувствуется польский элемент. По крайней мере почти всякий рассказ отставного штабс-ротмистра начинается стереотипной фразой: «Когда стояли мы в Польше» и т. д. Под этим «и так далее» следует разуметь прескучное и предлинное описание того, как у какого-то пана была необыкновенной красоты дочь, и эту дочь штабс-ротмистр-рассказчик, в сообществе с другими штабс-ротмистрами, при непременном участии вахмистра с хохлацкой фамилией, какого-нибудь Пубенко, хотели увезти или даже увезли. Эти рассказы, полагаю, всем известны. Но иногда штабс-ротмистры, особенно какой поразвитее

и поосмысленнее, рассказывали и свои наблюдения. Они все в один голос говорили, что в Польше и кругом ее «мелкотравчатые» помещики в ужасном загоне у крупных; что у нас и понятия не имеют о таких к ним отношениях; что у нас они «совсем как равные». Я не знаю, как было прежде, но помню, что лет двадцать назад это было действительно так: во всяком случае их не обижали и не унижали уж как-нибудь особенно ехидно.

Понятно, они бывали у богатых чаще, чем богатые у них: визитами, разумеется, они не считались; но ведь это такое общее правило, что оно одинаково практикуется и наблюдается и у купцов и у мужиков — у всех. Но чтобы они были предметом издевательства — это вздор. У нас никогда не было ничего такого, что составляло характерную черту в отношениях польского магната к его мелкотравчатым соседям. Эта черта бросалась в глаза нашим штабс-ротмистрам, и я могу засвидетельствовать, что она и не нравилась им и не практиковалась никогда. Конечно, были исключения, но исключения есть и во всем.

Немного выше я говорил, что штабс-капитаны, попавшие в заседатели и в какие-то непременные члены, очень уж смирно сидели за столом и вообще были не в особенном почете, хотя и были нашим начальством. Это объясняется совершенно тем, что, во-первых, они от нас вполне зависели, и потом эти места были до такой степени подлы и так в обычае было, сидя на них, воровать и взяточничать, что, разумеется, тут и удивляться нечему, что не могли их почитать и уважать. Я говорю о мелкотравчатых, неслужащих. Возле крупного помещика, обладателя двухсот — трехсот душ (в нашей губернии это уж крупный), сидела масса мелких, владевших пятьюдесятью, двадцатью и даже десятью душами, и все они у этого крупного бывали запросто, чаще, чем он у них, конечно, но и только. Но зато отношения мелких к своим крепостным были положительно невозможные. Надо вообще принять за аксиому, что чем мельче был помещик, тем хуже и тяжелее жилось его мужикам. И это совершенно верно и совершенно понятно: сто душ, конечно, могли легче прокормить своего барина, чем сделать то же самое десять душ. Мне могут возразить, пожалуй, что у богатого и затей было больше, чем у мелкотравчатого, и что поэтому он высасывал из мужиков столько же, сколько и мелкотравчатый; но этого,

то есть такого же точно высасывания, не могло быть и не было на деле уже по одному тому, что крупный не стоял никогда так близко к домашнему обиходу мужика, как мелкий. Опять оговариваюсь: я имею в виду большинство, а вовсе не исключения. Эта близость мелкого помещика к домашнему обиходу мужика была для этого последнего тем невыносима, что он у него был весь на виду: он от него ничего не мог уберечь и схоронить. Каждая овца, каждая курица была известна барину и дразнила его аппетит. Я уж не говорю, что за ад представляла эта близость в том еще отношении, что давала полную возможность барину мешаться в дрязги семейного мужицкого быта. Я насмотрелся слишком достаточно примеров того и другого и глубоко убежден в справедливости своих слов. Я, например, никогда не забуду тех сцен, на которые я насмотрелся у моего соседа из мелкотравчатых, Запупырина. Едешь, бывало, мимо и чуть не всякий раз натыкаешься на какую-нибудь глубоко возмутительную историю. Раз я видел такую драму из-за овцы, что никогда ее не забуду. Запупырин облюбовал овцу у своего мужика Ермолая (у него было восемь душ, и жили они в двух дворах), к чему-то придрался и в виде штрафа решил отнять у него овцу. Другой мужик, Петр, был послан привести этот приговор в исполнение. Ермолай овцу не отдавал, и Петру, разумеется, не оставалось ничего больше, как пойти в третью, более просторную избу, где жил Запупырин с семьей, и доложить о таком сопротивлении власти. Запупырин, вероятно, знал наперед, что так и случится, потому что моментально оттуда выскочил с своим сыном, здоровым болваном из недорослей, и теперь уж втроем пошли отнимать овцу. Ермолай стоял у плетня и держал овцу за задние ноги; она билась у него и кричала. Он смотрел вперед на приближавшуюся группу и ничего не замечал. Было видно, что он на все решился и разве мертвый отдаст овцу. Дело происходило на самом берегу узенькой, сажен в десять, речки. Я стоял с ружьем и с собакой на другой ее стороне и слышал каждое слово, видел каждое движение. Запупырин подошел к нему и ударил.

— Ты не отдаешь? А? Петрушка, бери у него овцу!

И только Петр хотел ее ухватить, Ермолай нагнулся и вытащил из-за голенища, но что, я не мог разглядеть.

— Не подходи...

— Петрушка, бери, не смеет! — кричал Запупырин.

Петр что-то начал говорить Ермолаю скороговоркой: отдай, дескать, покорись.

— Петрушка, тебе говорят — бери! — продолжал кричать Запупырин.

Петр перекрестился и кинулся к овце. Я видел, как Ермолай ударил его — и не особенно размахнулся — в бок рукой, продолжая в левой держать овечьи ноги. Петр взмахнул руками и упал навзничь. Запупырин с сыном отскочили прочь сажен на пять. Он попал ему, должно быть, ножом прямо в сердце, потому что когда я перебежал мостик — ну, прошло самое большое минута, — Петр был уже мертвый. Это было года за три, за четыре до 19-го февраля. Я был тогда гимназистом, и этот запупыринский Ермолай был мой закадычный приятель: мы чуть не каждый день бродили с ним вдоль этой самой речки и стреляли песочников (маленькие серенькие кулички). Он, следовательно, хорошо меня знал, но когда я подошел к нему, он проговорил только: «Отойди!» Он не узнал меня.

Его очень долго держали в остроге. Мой отец был предводителем, и мне разрешили свидание с моим приятелем. Потом мне говорили, что палач его высек и его сослали... Наш учитель русского языка всегда, когда мы уезжали домой на каникулы и на праздники, давал нам «тему», на которую следовало написать сочинение и представить ему по возвращении. Этот раз он нам дал тему: лето в деревне. В это лето самым крупным для меня событием была, разумеется, сейчас рассказанная сцена, и я ее описал, должно быть, очень тенденциозно, потому что инспектор погрозил мне исключением.

Или еще вот пример в таком вкусе. Как стал я себя помнить, помню и Людмилу Васильевну. Это была наша соседка, бедная дворянка и девица. Но здесь не следует понимать, что она была странствующая бедная дворянка. То был тип совершенно особый, и Людмила Васильевна под него не подходила. Людмила Васильевна владела пятью или семью душами, земли у ней было десятин пятьдесят, должно быть, или около того. Она всю ее обрабатывала этими семью душами при помощи трех-четырех государственных крестьян, бывших у нее в вечном

неоплатном долгу. Усадьба ее была возле самой нашей сельской церкви, и притом очень веселенькая, с садом, в котором росли необыкновенно сладкие яблоки, которые, когда поспевали, она всегда нам присылала. У нее была тройка очень откормленных вороных лошадей, необыкновенно блестевших на солнце. Я помню, что она каждое воскресенье после обедни приезжала к нам на этих блестящих лошадях или одна, или с матушкой, то есть с попадьей, а иногда и втроем, то есть и с батюшкой. Она всегда привозила нам детям, что-нибудь: или яблок своих, или по конфетке, все равно, какую-нибудь дрянь, но уж непременно привезет, и мы ее за это очень любили. Я поэтому никак не понимал, за что наши няньки терпеть ее не могли и называли кровопивицей. Скоро, однако, я это понял. Людмила Васильевна унаследовала от родителей капиталец рублей в пятьсот и делала им обороты, то есть просто ростовщичала. Эти четыре государственные души, о которых я упоминал выше, были положительно ее крепостными, она так просто и искусно опутала их, как редкий из современных Подугольниковых или Сладкопевцевых, несмотря на прогресс во всем, сумеет опутать мужика и теперь. А она умела это еще тогда, лет двадцать назад, когда не были разработаны так, как теперь, формы «свободного» найма батраков. Но характернее всего ее отношения к «своим собственным» душам. У нее было всего две семьи. Одна семья состояла из отца и двух сыновей, другая — из отца и трех сыновей. И всех их, то есть этих сыновей, она одного за другим продала в солдаты. Тогда это делалось очень просто и легко. Надо какому-нибудь кабатчику-мещанину сдавать сына в рекруты. Отдавать его ему жаль, деньги есть, он и едет к мелкопоместным дворянам покупать рекрута. Мелкопоместные все более или менее занимались этим, но Людмила Васильевна превзошла, кажется, их всех на этом поприще. Приезжает к ней такой покупатель, она сторговывается с ним, он высматривает свою жертву, дает задаток, если сладились в цене, и затем происходит такая процедура. Людмила Васильевна дает «обреченному» отпускную, которая, однако, пока не свидетельствуется и не утверждается в суде. Обреченный едет с мещанином в город, в рекрутское присутствие, там заявляет, что идет по вольной охоте за сына такого-то, его принимают и одновременно

утверждают отпускную. Подобные комбинации никогда не расстраивались в силу того обстоятельства, что «обреченный» очень хорошо знал, что если он заартачится, она все равно сдаст его в рекруты, продав в казну (казна выплачивала 600 рублей), и он ничего не получит; теперь же он получал «наградных» рублей двадцать пять и кроме того несколько дней пил и кутил на счет мещанина-покупателя. Понятно, такие мерзости можно было проделывать только при том мерзостном составе судов, какой был в то время. У обоих мужиков сыновья подросли как-то дружно, так что она «ликвидировала» оба семейства года в три или в четыре. Два старика (отцы) остались, разумеется, при ней. Один был вдовец лет пятидесяти, и она женила его, в расчете, кажется, на дальнейший приплод. Но тут через несколько лет пошли слухи об «эмансипации», потом грянуло 19-е февраля, и планы ее рушились сами собою. Я помню очень хорошо рассказы соседей, как, распродав таким образом свои души, она начала подыскивать себе еще несколько семейств, само собою разумеется опять-таки с тою же целью. Но во имя справедливости я должен сказать здесь, что сколько она ни хлопотала и ни искала, никто ей не продал ни одной семьи, и уж она насилу достала где-то в Рязанской губернии опять-таки старика отца с тремя сыновьями. Она не успела их покончить: 19-е февраля положило конец этому ужасу... После рассказанного, мне кажется, не стоит распространяться о том, что и самая жизнь у нее этих несчастных, до продажи их в солдаты, была не особенно сладкою.

Повторяю, никогда и нигде крепостное право не достигало такого апогея своего ужаса, как у мелкопоместных. Они ели, пили вместе или почти вместе с своими крепостными, жили, часто при полной безграмотности, совершенно одною с ними жизнью и были в то же время безапелляционными судьями их и палачами. Надеюсь, мне нечего оправдываться в том, что я вовсе не защищаю крепостного права в его практике у крупных помещиков: я говорю только, что у этих последних как ни ужасно оно было, но все-таки легче переносилось, чем у мелкопоместных.

Таким образом, мелкопоместные уже задолго до начала общего дворянского оскудения обратились к промышленности. Одни промышляли и торговали душами, как я вот сейчас это рассказывал, другие служили из жалованья и

взяток. Служили и «мы», крупные, но мы служили «из чести» и если при этом получали жалованье, как, например, в качестве гвардейских или армейских кавалерийских офицеров, то это уж так, просто из приличия не отказывались от него. Всякий очень хорошо понимает, что на это жалованье нам жить было невозможно: его не хватило бы и на месяц. Следовательно, мы «служили на свои доходы», и такая служба в результате имела всегда и у всех накопление долгов, с которыми мы и являлись, по смерти родителей, в свои Ивановки и Петровки. Затем, здесь «мы» служили по выборам, то есть предводителями и попечителями гимназий, уездных училищ и проч., то есть тоже не только не из-за денег, но просаживая еще свои, расстраивая долгами еще более и более родные Ивановки, Степановки и проч. Мелкопоместные наоборот: их служба и промышленность дополняли нехватки их доходов, и они промышляли и служили.

Так было все у нас до 19-го февраля. Тут жизнь разом пошла по другой колее, то есть, правильнее, выскочила из старой, и мы начали примериваться и прилаживаться к новым условиям нового быта. В прошлых очерках я, кажется, довольно подробно рассказал, что́ мы предпринимали, чтобы отстоять возможность дальнейшего dolce far niente.[1] Читатели, может быть, помнят, что все эти усилия наши и планы, как ни смелы и оригинальны они были, не привели ровно ни к чему. Теперь мы поговорим о том, что нам удалось, что дало результаты, хотя иногда и не совсем чистенькие и порядочные, но все-таки в материальном отношении и обильные и для многих завидные.

Служба «из чести» после 19-го февраля показалась нам всем почти вдруг комичною. Это факт. С этого момента «мы» очень скоро и очень основательно усвоили себе взгляд мелкопоместных на службу. Первые служебные места, которые открылись в это время, были места мировых посредников. В это время мы еще не совсем верно (в смысле взгляда мелкопоместных) понимали прелесть службы, и потому в мировые посредники вначале попало много, и очень много, положительно честных и бескорыстных людей, глубоко и искренно преданных делу и принципам великой реформы. Эти люди хлопотали быть избран-

---

[1] Ничегонеделания *(итал.)*.

ными и пошли служить, нисколько не думая о жалованье в полторы тысячи рублей. Но, как всегда это с нами и у нас бывает, первый порыв, необыкновенно сильный, честный и горячий, скоро сменяется усталостью, разочарованием в возможности чуть ли не в один год исправить то, что портилось целые столетия; наконец является апатия, скука, и дело бросается кому попало и как попало. Все это, разумеется, случилось и тут. «Чудаки» один за другим устали, почувствовали какую-то кисло-сладкую истому, разочарование, и кто уехал в Петербург, кто в Москву, кто за границу отдыхать от понесенных трудов, огорчений, неприятностей или в бесцельном шатании искать врачевания душевных ран, нанесенных разочарованием. Как ни мало сделали эти люди, все-таки они хотя что-либо да сделали хорошего, и путного, и честного. Люди же, сменившие их, были уж совсем иного закала, образа и вкуса. Эта вторая смена почти сплошь состояла из крепостников, озлобленных Положением 19-го февраля, и своими неудачами по заведению рационального хозяйства, и вообще всякими неудачами при опытах чем бы то ни было заменить теперь вышедшего из крепостной зависимости мужика. Из них никто почти не попал в первую смену, потому что тогда еще неизвестно было, чем разыграется «объявление», и они трусили, боялись встретиться лицом к лицу с свободным мужиком: ведь все мы ждали чуть не поголовного своего истребления. Теперь этот страх прошел, все мы успокоились, увидав, что «свободный» мужик ничуть не утратил своих драгоценных качеств — бесконечного терпения и выносливости. Теперь настало время писать уставные грамоты, сочинять всякие добровольные и обязательные соглашения, и проч., и проч., словом, настало время — и мы это отлично поняли, — когда надо и можно воспользоваться всеми обмолвками с одной стороны и вот этими «драгоценными» качествами мужика — с другой. Поняли мы это, и работа закипела. Люди этой смены — надо отдать им справедливость — были много и усидчивее и энергичнее первых. Эти не так скоро уставали... Мне кажется — и я даже убежден в этом, — что этих мировых посредников правильнее всего было бы сравнить с привилегированными помещиками, почему-то сохранившими за собой уничтоженное для всех остальных крепостное право. Они, каждый в своем участке, положительно восстанови-

ли — разумеется, для себя лично — крепостное право. Такого, например, абсолютного деспотизма, бесправия и жестокости, которые установил в своем участке один из наших посредников, Р—в, решительно не практиковалось ни одним из помещиков и даже им самим до 19-го февраля... Сечение происходило у него на дворе каждую неделю два раза, и чтобы дать понятие о размерах этого упражнения, полагаю, достаточно будет, если я скажу, что, кроме ординарных, так сказать, рядовых мужиков, каждую субботу он непременно сек человек пять сельских старост и раз в месяц какого-нибудь волостного старшину. Это последнее обстоятельство, то есть сечение старост и старшин, вызвало однажды для него маленькую неприятность в виде жалобы кого-то из них губернатору. Само собою разумеется, жалобе этой никакого хода дано не было, и он продолжал едва ли не с большей еще лютостью сечь их, проделывая притом только следующую канцелярскую, так сказать, формальность. Староста, присужденный им к сечению, им же, в силу посреднической власти, сменялся, то есть с него снимали цепь и медаль, клали, в качестве рядового мужика, на скамейку, драли чуть не до полусмерти, потом поднимали. Он издевался над ним и производил его тут же вновь в старосты, то есть надевал опять цепь и медаль. Со старшинами процедура была несколько более сложною, так как для их смены и избрания требуется губернаторское утверждение, но он с терпением — как выражаются в «передовых» статьях — достойным лучшего дела, проделывал и эту формальность и драл их без конца и милосердия. Я не знаю, как было в других губерниях, но в нашей это был вовсе не единственный пример такого беспримерного и совершенно безнаказанного издевательства над высочайше утвержденным Положением 19-го февраля о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.

Это было издевательство над Положением 19-го февраля — если можно так выразиться — в сфере нравственной, то есть над личными правами людей; такое же точно издевательство с книгой Положения в руках чинили они и в имущественном отношении. Я мог бы привести в пример множество так называемых «полюбовных соглашений», где такое полюбовное соглашение происходило вовсе не между помещиком и его бывшими крепостными, а между

мировым посредником и обратившимся к нему за одолжением помещиком. Какие переселения мужиков устраивались, какая земля им отводилась в надел — это, кажется, осталось известным только одному богу — и разве им одним, при его милосердии, может быть прощено.

В нашей по крайней мере губернии это было тяжелое время. В помещичьем быту все расклеилось и продолжало разрушаться и гнить. Надежда поправить свои промахи, нехватки и убытки «рациональным хозяйством» к этому времени оказалась уже вполне несостоятельной: глупость и непрактичность затеи была очевидна. Оскудение в деньгах было ужасное, и конца ему не было видно: земельные банки появились еще года через два, а теперь ходили о них какие-то смутные и совершенно несообразные слухи: им и верили и не верили. Кулаки Подугольниковы и ростовщики Сладкопевцевы уже народились и начали свою работу, день ото дня смелее и наглее сжимая нас и наседая на «нас» и на мужиков.

— Кто виноват во всем?

— Ох уж эти «меньшие братья»!

Да, эти «меньшие братья» людям того образца, о котором идет речь, и которые теперь владели ими, представлялись виновниками всех бед. Страх перед ними, то есть перед этими меньшими братьями, прошел, и вот чаще и чаще стали слышаться фразы о бараньем роге, ежовых рукавицах и т. п.

— Нет-с, наш народ распусти только!

— Помилуйте, разве это люди!

— Сергей Васильевич — это вот посредник, у него мужик за версту его чует.

— Вам хорошо с таким посредником, а вот что прикажете нам делать? Распустил до того, что он едет по селу — они шапок перед ним не ломают.

И Сергей Васильевич, пользуясь полной безнаказанностью, действительно крутил в бараний рог, очень чутко услышав, что из Петербурга повеяло новым духом... Отвратительное было время. Это совсем неправда, что всякое новое веяние в провинции или совсем не чувствуется, или чувствуется очень и очень слабо. Напротив, провинция слышит его, повторяю, очень чутко и тотчас же воспринимает и потом воспроизводит, правда, иногда очень уж

грубо, карикатурно, но зато тем ярче и очевиднее становятся все его недостатки и безобразия...

Вот, например, что проделывал в это время один из поклонников принципа бараньего рога, человек относительно еще молодой, бывший воспитанник училища статских юнкеров, следовательно — позволительно предположить — кое-что слыхавший о праве.

Был набор. С нашей деревни должны были идти в рекруты четыре человека. Кто именно — это должен был решить сельский сход приговором. Меня в это время не было в деревне; я приехал недели через три.

— Ну, кого же назначили?

— Вчера уж и сдали.

— То-то кого?

— Ивана Семенова, Федора Егорова, Ефима...

— Как Ефима? Да ведь он единственный сын!

— Не могу знать, — вертится староста, — должно, он пошел за Гришину семью... Старшина...

Я не знал, как это вышло, но чувствовал, что здесь не без греха. Вечером пришел отец Ефима с его женой. Плачут, кидаются в ноги. Наутро я поехал на деревню. Был какой-то праздник, обедня только что отошла, и весь народ толпился еще возле паперти. Я остановил лошадь, и меня, по обыкновению, сейчас же обступили.

— Что же вы это сделали? Как же это так вы Ефима-то сдали? Ведь двор разорен...

— Да уж это там не наш грех...

— Как не ваш? Вы же приговор писали.

— А что ж что мы? Мы разве грамотные?

— Да руки-то вы давали?

— Мы не назначали Ефима.

— Кого же вы назначили?

— Мы из Гришиной семьи назначали.

— А как же вышло, что Ефим попал?

— Это уж там, в волостном, устроили...

Перед этим месяца за три по какому-то делу был у нас на деревне посредник и собирал сход. Ефим что-то много рассуждал и не соглашался с посредником. Тот на него, говорят, раскричался и припрозил. Я слышал об этом тогда же, но теперь мне и в голову, конечно, не приходило искать тут какую-нибудь связь. Я объяснил просто взяткой, которую дал Гришин, чтобы вместо его сына сдали

другого. Я в тот же день написал в волостное правление, вызывая к себе старшину. Наутро он явился. Это был очень ловкий и сметливый мужик. Приехал он не один, а, конечно, с писарем.

— Что же это, голубчик, у вас делается?

— Что такое-с?

— Как что? А вот Ефима-то сдали.

— А уж это не могу знать-с. Ведь это по сельскому приговору...

— Покажи этот приговор.

Прочитал: действительно, верно, все как следует, по форме. Но у меня при этом совершенно случайно взгляд упал на подпись, то есть, собственно, на имена подписавших, правильнее, дававших писарю руки для подписи; в числе их я прочитал имена и прозвища двух мужиков, уж около года назад умерших и, следовательно, никакой возможности не имевших присутствовать три-четыре недели назад на сходе и подписывать этот приговор. Подлог был очевиден. Не объясняя ничего, ничего не спрашивая об этом открытии, я потребовал себе засвидетельствованную копию с приговора и, разумеется, сейчас же ее получил.

— А как же это, — спросил я тогда старшину, — под приговором-то у тебя мертвые подписываются?

— Помилуйте, это невозможно...

— Читай: Иван Фирсаев, Кузьма Миронов...

Короче, он мне тут же и повинился и все рассказал. Ефима велел отдать в солдаты посредник. Со старика Гришина, кроме того, взяли сто рублей, а мертвые попали сюда потому, что приговор писался за глаза и руки не отбирались на него у наших мужиков, а чтобы не ошибиться и не пропустить кого, писарь ставил имена в подпись по ревизским сказкам, где числились еще и покойники. Дело, кажется, выяснилось за глаза достаточно.

— Ну, так-то, можешь ехать... А Ефим чтобы был возвращен. Как вы его с посредником сумели отдать, так теперь сумейте и возвратить, — посоветовал я старшине. — Так этого я не брошу.

Прошло с неделю. Об деле ни слуху ни духу. Опять послал к старшине, опять явился.

— Ну что же Ефим?

— Невозможно-с.

— Посреднику ты говорил об этом?

— Говорил-с.

— И про приговор он знает, то есть знает, что он фальшивый?

— Знают-с.

— Говорил, что я взялся за это дело?

— Говорил-с.

— И что же?

— Они говорят, что вернуть его теперь невозможно.

— Да ведь ты понимаешь, что за это будешь отвечать?

— Они говорят, что это по ошибке.

— Так пусть исправит ее.

— Невозможно-с. Опоздали...

Я решил вооружиться терпением и для начала дела написал письмо к посреднику. Он очень любезно через несколько дней заехал и начал с того, что выразил мне свое непритворное удивление, как это я могу интересоваться подобным делом. Я, в свою очередь, удивился ему.

— Помилуйте, ведь кроме того, что целый двор разорен, неужели это вас не интересует, наконец, просто как юриста?

— Да, оно, конечно, факт небезынтересный... вот эти мертвые-то...

— Говорят, что это сделано по вашему приказанию...

— Говорят?!. Но какие же доказательства...

Мне ничего больше не оставалось, как жаловаться в губернское по крестьянским делам присутствие, и через неделю такую жалобу я туда и отправил. В то время я посылал корреспонденцию в одну большую петербургскую газету, очень распространенную и тогда уже, и рассказал там этот случай. Корреспонденции все у нас читали; члены губернского по крестьянским делам присутствия читали тоже, и тем не менее я целых два месяца не получал никакого известия о деле. Наконец я собрался и поехал в наш губернский город с жалобой уж к его превосходительству. Мы были вверены тогда очень милому человеку, с необыкновенно изящными манерами, поклоннику прекрасного пола, притом тонкому гастроному и вполне компетентному ценителю fine champagne. [1]

— Могу я видеть его превосходительство? — спросил я дежурного чиновника.

---

[1] Шампанского *(франц.)*.

— Ваша фамилия?

Я сказал. Чиновник пошел докладывать и скоро вернулся с просьбой его превосходительства немного повременить. Я сел на какой-то диванчик, стоявший в приемной, и принялся ждать. Чиновник прошелся несколько раз из угла в угол, все поглядывая на меня, наконец не вытерпел, должно быть, и начал:

— Извините, пожалуйста, это вы посылаете корреспонденцию в (он назвал газету)?

— Я-с. Ведь вы читали, вероятно, подпись (корреспонденции я всегда подписывал)?

— Ошибка... безграмотный волостной писарь... а между тем его превосходительству так неприятно...

Скоро меня позвали, и я пошел в кабинет. Его превосходительство встретил меня с какой-то иронически-сладко-сонной улыбкой, опершись на стол правой рукой, в позе, в которой изображают на портретах великих мужей из служащих. Я раскланялся и начал объяснять дело. Сладкая улыбка продолжала плавать по его лицу, с сигары вился легкий синий дымок.

— Это были ваши корреспонденции?

— Мои-с.

— Скажите, что это, выгодно?

— Так себе.

— И за это платят деньги?

— Разумеется. Даром я ничего не делаю. Да, вероятно, и вы, ваше превосходительство, не даром служите?..

Улыбка при этих словах исчезла, и я услыхал без всякой сладости в голосе и во взоре, что все от него зависящее и законное будет сделано. Затем — поклон, и мы расстались.

Ефим попал в полк, стоявший в смежной с нами губернии, верст за полтораста от своей деревни. Его жена несколько раз туда ходила. Как-то уж летом мне сказали, что она пришла и хочет меня видеть.

— Что, матушка?

— Ефим приказал долго жить...

Прошел год. Мы были вверены уж другому администратору и продолжали наслаждаться постепенным, и даже очень уж постепенным, прогрессом под его руководством. Это лето я жил в Петербурге и как-то раз в Демидовом саду столкнулся с нашим бывшим превосходительством.

Мы сидели в кругу общих знакомых за одним и тем же столом.

— А помните этого?.. гм... как его звали?..

— Ефим.

— Да, да, Ефим, Е-фим, — растянул он. — Ну что же?

— Приказал вам долго жить...

— Серьезно? А сколько было неприятностей...

Я бы, разумеется, не стал рассказывать этот случай, если бы он был простым чиновничьим злоупотреблением, небрежностью, результатом взятки и проч. Нет, это было делом нового тогда веяния, в силу которого было найдено необходимым поднять авторитет посредников и вообще укрепить «основы», «благоустройство», «постепенность» и т. д. Почему и как поддержка бесправия считалась средством, укрепляющим постепенность и основы, — этого я, разумеется, не могу объяснить. Я указываю только на пример такого... своеобразного взгляда.

Результатом подобных мероприятий явилось, конечно, то, что и должно было явиться, то есть извращение Положения 19-го февраля в его практическом применении. Собственно для «нас», с известной точки зрения, это было, разумеется, очень выгодно, а в частности для посредников еще выгоднее: уставные грамоты пеклись у нас как блины, «без рассуждений»; в имениях же мировых посредников таких рассуждений было еще меньше, и при этом, следовательно, печенье получалось еще вкуснее. Таким образом, «поддержка основ» была делом не только возвышенным в смысле принципов, но и небезвыгодным...

Служба в мировых посредниках была первою службою с жалованьем, и этою службой дебютировали наши штабс-ротмистры. Конечно, мелкого и даже крупного (я говорю вообще, а не об исключениях) взяточничества при этом не было, и «мы», совершая вопиющий грабеж мужиков и практикуя бесправие, по виду были не в пример величественнее штабс-ротмистров, подобно курочкам, клевавшим каждое, даже самое малое зернышко, но это ведь «величие» и «порядочность» могут быть найдены, пожалуй, гораздо ниже и пакостнее всякого мелкого взяточничества полуголодного чиновника... Дальнейшее наше материальное оскудение вскоре значительно поубавило даже и эту внешнюю величавость, приблизив нас к нашему прототипу «заседателю» и «непременному члену». Брезгливость при

наживе — качество очень преходящее, как это оказалось вскоре...

Когда уставные грамоты были, наконец, везде введены, всякие полюбовные и обязательные соглашения состоялись и мы почувствовали и даже убедились в том, что решительно ничто не угрожает ни основам, ни постепенному прогрессу и проч., — тогда очень охотно уступали свои места посредников следующей смене. Люди этой генерации были уж совсем не брезгливы и с большим успехом и прилежанием принялись практиковать служебные принципы и даже приемы штабс-капитанов — заседателей. Наше слияние с мелкотравчатыми шло быстрыми шагами. С одной стороны, нас подгоняло к ним оскудение, становившееся с каждым годом все более и более чувствительным и неприятным, а с другой — утрата брезгливости и общее снисходительное понимание слов: доход, благодарность и проч. Короче, я не думаю, что это будет сказано резко и не совсем справедливо, если я скажу, что состав посредников, при которых совершилось, наконец, упразднение этой должности, не мог назваться безупречным, даже в таком малом мелком взяточничестве, как согласие на прием от мужиков, в виде благодарности, кур, поросят и проч. Последние годы эта прекрасная по Положению 19-го февраля должность была, во-первых, в полном смысле слова синекурой, а потом, вследствие окончательной, от практики, потери нами не только брезгливости, но даже и стыдливости, — чем-то до того мертвым, опошленным и оскандаленным, что, право, немного в чем уступала заседательской... Теперь, в эти последние годы, рвались попасть в посредники для целей уж чисто, прямо и непосредственно наживных и мздоимных. Некоторые возвышались над предрассудками до того, что, вытравив в себе всякое понятие о стыдливости, прямо через волостных старшин и сельских старост облагали деревни «легким оброком», чем-нибудь вроде сбора по одному поросенку, одной курице, фунта масла, десятка яиц и проч. с каждого двора. Мужику, вероятно, больших денег это все не стоило, а между тем он выражал этим вперед и на всякий случай благодарность человеку, который мог пригодиться.

Когда должности мировых посредников были, если можно так выразиться, почти уж на исходе, прошел слух,

что скоро мы получим новый — скорый, справедливый и милостивый суд.

— А куда же посредников?

— Довольно. Фюить!..

— Ну, а в случае каких столкновений между помещиком и мужиками?

— К мировому судье.

— Это, значит, будет тот же посредник, только под другим названием.

— Нет-с. Это штука поядовитей будет. Мировым посредником может быть только наш брат помещик, а в мировые судьи может попасть всякий, кого выберут.

— А кто же будет выбирать?

— Все. И «мы», и купцы, и мещане, и мужики — все, одним словом.

— И всех будут судить?

— Всех.

— Будут ездить, или к ним надо будет приезжать судиться?

— К ним приезжать.

— И буду я стоять на одной доске перед ним с моим лакеем, если он на меня вздумает пожаловаться?

— Будете.

— Однако это, кажется, ветер-то опять потянул оттуда?

— Дошутятся!

— И скоро этого ждать надо?

— Должно быть! Вон и в газетах...

Все эти вопросы, сомнения и догадки, конечно, сильно нас озабочивали и заставили опять ломать голову над самозащитой, которая предстояла, по-видимому, неминуемо. Как ни побиты были мы морозом 19-го февраля, но тем не менее все-таки храпу и гонору в нас тогда было еще столько, что перспектива стоять в новом суде «на одной доске» с своим же лакеем казалась до того оскорбительной, что одна уже мысль об этом приводила нас в крайнее смущение. Это была одна из самых веских причин, в силу которой на первых выборах в мировые судьи попали почти сплошь самые богатые и авторитетные помещики: мы хоронились за их авторитет, прятались от угрожавшей «опасности»... Я мог бы, конечно, рассказать здесь массу примеров и нашего храпа и в то же время нашего

перепута. Были случаи и высококомичные, были и очень гаденькие — все было. Но теперь для нас дело вовсе не в этом. Важно то, что и тут, то есть с мировыми судьями, повторилось то же самое, что и с мировыми посредниками, то есть вначале места эти достались людям более или менее богатым, и попали они на них в силу нашего соображения и расчета, что именно они, а не кто другой, отстоят наши интересы материальные и охранят посягательства на нашу честь и достоинство. Во всяком случае это были люди хоть и комического, но все-таки принципа, а не просто промышленники. Я, например, знаю несколько случаев, когда отделка камеры обходилась дороже всего трехлетнего жалованья. Заказывались в Москве трибуны орехового дерева, с которых должны были говорить тяжущиеся, дубовые скамейки для публики, громадная золоченая рама для царского портрета, и проч., и проч. Таким образом, и здесь вначале мы показали себя если и не юристами, то уж во всяком случае с шиком, с гонором. Помню, я поехал на первое заседание к нашему судье. Это было целое представление: собрались почти все соседи его, был торжественный молебен с окроплением камеры и всех нас, присутствовавших, святой водой. Потом, по обычаю «истинно русского хлебосольства», завтрак, очень похожий на обед, с обильным возлиянием и даже с речами. Когда «мы» все достаточно напитались, радушный хозяин угостил нас даровым спектаклем, в виде открытия действия суда.

— Господа, сегодня, для начала, я хочу разобрать хоть одно дело, а потому и милости прошу в камеру.

И мы из столовой, красные, иные осовелые, иные очень игриво настроенные, потянулись вслед за хозяином смотреть его судейский дебют. Все обошлось, впрочем, очень мило. На этот раз судья был милостив и походил больше на благодетеля и «благородного отца», чем на сурового и нелицеприятного стража закона. Разбирал он какую-то ссору двух мужиков, закончившуюся дракой с разбитием носа и ободранием головы, и по поводу этого случая произнес «прекрасную и прочувствованную речь», в которой ничего не было упущено и все было упомянуто: и значение дворянства, и грубость нравов, и т. д., словом, повторяю, все было.

— Я не хочу, чтобы первое же дело, которое я разбираю, не кончилось миром. Я требую «именем закона», чтобы вы сейчас помирились! — возгласил он.

Мужики, ровно ничего, вероятно, не понявшие в его речи, теперь поняли однако, что судья приказывает им помириться, и, разумеется, подчинились его решению.

— Слушаем. Воля ваша.

— Поцелуйтесь!

Мужики поцеловались.

— Не так! По-русски, три раза!

Мужики поцеловались трижды.

— Ну, отлично. За это получите по стакану водки. Заседание закрыто, — объявил он, снимая цепь.

Суд действительно был и очень скор и очень милостив. Те из «нас», кто не успел еще заснуть в камере во время разбирательства и судейской речи, очень одобрили судью. Мужики, выпив по стакану водки, тоже, вероятно, одобрили новый суд, потому что когда судья спросил их, нравится ли им его решение и не хотят ли они еще водки, сейчас же похвалили и решение и предложение выпить.

— И объявляю я, — возгласил судья, — что все, кто придет ко мне судиться и у меня в камере помирится, будут получать даром водку.

Это остроумное решение нашего Соломона так понравилось подсудимым, что месяца через два или три камера была превращена положительно в кабак с даровой выпивкой и закуской. Понятно, это скоро ему надоело, и такое положение сердечной кротости было прекращено, но слава разнеслась на всю губернию. Таких казусов было множество, но со всем этим еще можно было бы мириться: гадкого и грязного, «заранее обдуманного», тут ничего не было. Следующая смена, или, лучше сказать, серия мировых судей была уж не та: тут уже замешались люди второго сорта, но все-таки до цинизма такого, какой практиковался после, еще не доходили. В то время я по крайней мере не слышал ни о взятках, ни о поборах. Правда, «своим» мирволили, но это делалось, так сказать, из принципа... Потом пошло проще: принцип был оставлен в силу, вероятно, совершенно справедливого соображения, что он устарел, и вместо его при решениях принималось во внимание нечто более осязаемое и необходимое...

Несколько лет тому назад меня поразил в этом смысле один из наших туземных судей, относительно молодой человек и при этом «получивший высшее образование». Что он «приемлет», это ни для кого не было секретом, да и «мы» за это время так успели свыкнуться с подобным «практическим» взглядом, что решительно никто не удивлялся, слушая рассказы про взяточничество суда: точно речь шла о каком-нибудь квартальном, становом приставе, интенданте и проч. Ужасно упростился взгляд и на людей и на вещи.

Понятно, в виду этой простоты в воззрениях судьи на себя самого так же просто стали смотреть на него и другие. Отсюда ряд, и очень длинный, неприятностей, известных под именем оскорблений действием. Очень понятно, что теперь и следа не осталось того уважения к мировому суду, какое чувствовалось вначале. Кто в этом виноват, то есть судьи ли, что их не уважают, или мы, что выбираем таких людей, которых нельзя уважать, — вопрос довольно темный и очень напоминающий другой — кто произошел из кого: курица из яйца или яйцо из курицы. Во всяком случае, кто бы тут ни был виноват, но это факт, что теперь у нас установился взгляд на судью как на очень прибыльный промысел, а вовсе не как на общественного деятеля.

Таким образом, мирно и постепенно мы упростили взгляд на мировой суд и теперь пожинаем плоды такого упрощения: одной доходной статьей у нас стало больше. Серьезно, в уезде, с городскими судьями все-таки наберется человек семь, следовательно, вот уж семеро из «нас» «обеспечены», сыты, и если кто не глуп, сумеет отложить кое-что и на черный день... Да, на судей мы смотрим с экономической, так сказать, точки зрения, а не с какой другой — и это верно. Я полагаю, что если мы и дальше будем так же мирно и постепенно упрощать наши взгляды на судей, очень скоро эта простота доведет до того, что наши судьи совершенно подойдут под уровень бывших заседателей разных земских и уездных судов и непременных членов. Уж и теперь перед выборами вовсе не в диковину услыхать такой, например, ответ на вопрос: «Будете ли вы баллотироваться в судьи?» — «Помилуйте, за кого же вы меня считаете?..»

К таким результатам пришли мы в области правосудия, и винить тут решительно невозможно никого, кроме «нас»

самих: ни мужики, ни купцы не могут нести и десятой, даже сотой доли ответственности: они у нас или безграмотны, или полуграмотны, во всяком случае мы грамотнее их, и волей-неволей судей они должны выбирать из нас и под нашим просвещенным руководством. Для свежего человека, конечно, непонятно, как это так люди не дорожат такой, по-видимому, дорогой вещью, как правосудие, делают из него черт знает что, имея полную возможность устроиться очень порядочно и удобно; но это удивительно только именно для свежего человека; мы же, туземцы, вследствие своих упрощенных постепенностью взглядов ко всему давно уж привыкли и ничему не удивляемся. Оно, действительно, иногда бывают от этого некоторые недоразумения, неудобства и неприятности, но это все с избытком вознаграждается для одних из нас наживой, для других — философским полусном и ленью, в уверенности, что и кривая вывезет...

Так мило, умно и удачно распорядились мы с двумя учреждениями, то есть посредниками и судьями, которые, в силу разных обстоятельств, условий и законоположений, попали исключительно в наши помещичьи руки. «Мы», конечно, интеллигенция, «мы», передовое сословие, всему прекрасному и прогрессивному несомненно сочувствуем, не прочь даже и от пожертвований; но лишь только все это выходит из области слов, «истинно русского хлебосольства» и т. п. и приходится приниматься за осуществление на деле того, о чем так горячо спорили и чего так, по-видимому, страстно желали, по поводу чего столько съели обедов и столько выпили шампанского, одним словом, тут же, сейчас же, как только примемся за работу, она нам уж и надоедает, и становится тяжела, и дело теряет всякий смысл и интерес. Мы скорее поэтому миримся с какими угодно вопиющими безобразиями, бесправием, с чем угодно — лишь бы не работать только. Очень понятно, что при таких условиях наше собственное, кровное, так сказать, дело попадает черт знает в какие руки, которые тут же запускаются в наши карманы, тащат оттуда что попало, а мы, имея полную возможность избавить себя от них, довольствуемся и ограничиваемся лишь тем, что учиняем «беспредметное» самооплевание и шумим, шумим...

Я глубоко убежден, и говорю это совершенно искренно, что если земские учреждения и не настолько еще опошлились, как покойные посредники и благополучно здравствующие судьи, — это потому, и притом исключительно потому лишь, что в это учреждение больше участия и сил могли внести другие сословия, менее нас не любящие работу. Не будь этого прилива свежих сил, хотя и несомненно слабых, все-таки, — господи! что бы это было такое... Мне кажется, и я едва ли ошибаюсь, — что если бы нас сделали попечителями народными и поручили бы нам все то, что теперь ведают земские собрания и управы, — лет через десять во всей России ни одного бы моста не осталось, ни на одной дороге проезда не было бы! Мне как-то приходилось уж говорить, как мы встретили слухи о том, что̀ нам дают земские учреждения. Мы, совершенно как дети, ждали этих учреждений, фантазировали, строили невозможные комбинации, предъявляли невероятные требования, запрашивали, ели обеды, пили на них, говорили. Наконец дали игрушку, именно игрушку. Она очень скоро надоела. Я не понимаю только, как это мы еще не сломали ее. Потому, вероятно, она еще цела, что не одним нам она принадлежит...

Мы с двух точек посмотрели на земские учреждения: с «завиральной», как выражались в тридцатых и сороковых годах, и потом с чисто наживной. Как уж это совмещалось в наших головах, этого, конечно, никто никогда не объяснит, как и очень многое в нашей помещичьей натуре...

Очень много ждали мы от земских учреждений с завиральной точки зрения, но гораздо больше бежали у нас слюнки, когда мы начинали смотреть на них с «экономической». Эта сторона казалась несравненно привлекательнее «завиральной». Затруднения наши в то время были уж велики, как не один раз я докладывал об этом читателю, и потому опробование и смакование «практической» стороны земских учреждений, понятно, началось с должным вниманием и старанием. Мужики и «духовные», как известно, призваны были тоже участвовать в земских дебатах и мероприятиях, и хотя поэтому имели тоже голоса самостоятельные, но от всякой самостоятельности они уклонялись и, заседая вместе с нами, только лишь икали, вздыхали, перекладывали ноги и вертели то большим пальцем

левой руки вокруг большого пальца правой, то наоборот. Дальнейшего участия, по крайней мере в первое время существования нового учреждения, не принимали. На это, разумеется, были причины, и при ближайшем рассмотрении предмета можно было их легко заметить. Они были довольно уважительные, их было две: духовные держались в стороне потому, что их было мало и ни к кому они примкнуться не могли; мужики вздыхали и икали потому, что они были в полнейшей зависимости у мировых посредников, а эти, как мы видели выше, никакой самостоятельности не намерены были им давать и не давали...

Отсюда вышло то, что сразу образовалось две партии: «мы» и купцы. Мы, конечно, были сильнее, потому что, в силу вышеупомянутой причины, очень удобно располагали голосами всех гласных мужиков. «Мы», разумеется, всё это очень скоро смекнули и этим воспользовались. Эта сметливость наша на первых порах дала нам ту выгоду, что почти все прогорелые из нас получили места в управе и при управе, словом, гнездо было свито удобно, и мы могли располагаться там с каким угодно комфортом. Так именно мы и расположились: всем известно, как живительно действует теплота родственных отношений...

Председателями земских собраний были «мы», то есть наши предводители. «Мы» — «старшее» сословие, и поэтому нам это предоставлено положением о земских учреждениях. Председателями земских управ опять-таки «мы», потому что, как говорилось об этом выше, большинством голосов безусловно располагали мы. Членами управ были, опять-таки в силу большинства наших голосов, или «мы», или люди вполне от нас зависимые: волостные старшины и проч. Канцелярии — тоже из «нас», но уж из прогорелых. Таким образом, на первых порах мы заняли позицию безусловно неприступную. Занять — заняли, но что же с ней делать? Отчасти мы догадались сами, отчасти научили и помогли нам в этом наши противники — купцы...

Любя, по своей натуре, все грандиозное и вообще возвышающее ум, сердце и душу, сами «мы», то есть лучшие из нас, додумались до земских железных дорог. Как мы додумались до этого, как взялись за дело и что из этого дела вышло, я уже рассказывал в одном из прошлых очерков, и повторять здесь мне нечего... Купцы же, как

люди с менее возвышенными чувствами и притом не обладающие таким величественным и смелым полетом воображения, как мы, сами обратили сперва свое внимание, а потом и наше на предметы хотя и не столь грандиозные, как постройки железных дорог по сумасшедшей цене, с земской гарантией, по рецепту Саламатова, тем не менее очень вкусные и притом вечно свежие. Такими предметами в первое время были мосты, постройка школ, почта земская и вообще все то, что можно было взяться ставить, строить, чинить и проч.

Но так как подобные занятия были, во-первых, делом не совсем дворянским, а потом мы ничего тут толком не понимали, то и сочли за лучшее ограничиться лишь «проведением» подрядов на все вышеупомянутые предметы и занятия. Это было и небезвыгодно и законно — я чуть-чуть не написал почетно: я бы не много ошибся, потому что «проводители» были у нас действительно в почете: денежное оскудение и небрезгливость к этой поре уже сделали свое дело: «проведение» подрядов, поставок и т. п. с явным ущербом для интересов всего земства уже не считалось ни мошенничеством, ни воровством, а просто «делом».

— Петр Иваныч-то, слышали, какое «дело» обделал своему Подугольникову?

— Какое?

— Тарабеевский мост ему сдали за семь тысяч выстроить.

— Что ж, это разве очень выгодно?

— Помилуйте, как же не выгодно, когда его прежде за три строили, и то наживали!

— Может, плохо строили, а этот хорошо выстроит.

— Кто, Подугольников-то? Да что ж, он дурак, что ли? Разумеется, выстроит еще хуже при такой поддержке...

И действительно, мост строился не только не лучше, но положительно хуже, и кроме того, вследствие ходатайства Петра Иваныча и «явных» убытков, понесенных строителем Подугольниковым, этому последнему делалась прибавка сверх сметы.

Сперва эти «дела» мы устраивали с Подугольниковым за наличные; потом пришлось устраивать за отсрочки в платежах; потом за отсрочки во взысканиях.

— Подугольников-то, слышали, описал все у Петра Иваныча?



Проходит сколько-то времени, встречаешь Петра Иваныча с Подугольниковым, и такими друзьями сидят и вместе лакомятся селянкой; водочка, икра, осетринка стоит. Потом является и шампанское.

— Стаканчик ну хоть один с нами выпейте, — пристает Петр Иваныч.

Подугольников сидит тут же весь красный, лоснящийся и широко осклабляется.

— Откушайте стаканчик-то с нами, не побрезгайте, — просит и он.

— С какой вы это радости? Помирились?

— «Дело», батюшка, сделали, — хитро улыбается Петр Иваныч.

Взыскание Подугольников прекратил, выдал расписку, что все получил, а Петр Иваныч переписал свои векселя на новый срок и кроме того получил, то есть вымолил у Подугольникова, несколько сот рублей наличными. Трудно поверить, за какую ничтожную сумму мы продавали при этом свою совесть и какую в то же время огромную выгоду получали Подугольниковы от этой продажи.

Трудно, конечно, также сказать, до чего дошли бы мы в делании таких «дел» и что сталось бы теперь с земством, если бы не были уничтожены мировые посредники, поставщики наши мужицких голосов. Тут дело разом переменилось. При первых же следующих выборах и «мы» и Подугольниковы поняли, что́ мы потеряли с посредниками...

— Теперь «порядочному» человеку совестно и идти-то в гласные.

— А что?

— Да как же, поезжайте-ка в управу — одно мужичьё почти сплошь.

— Да ведь они и прежде были.

— Прежде! Прежде разве то было? Прежде мужик чувствовал, что́ он за птица; он знал, что над ним есть власть, а теперь орет, горланит.

Действительно, положение наше стало несравненно хуже с этого времени. «Проводить дела», конечно, можно еще и теперь, но уж приходится делиться добычей — это раз; а потом, таких дел, как прежде иногда бывало, теперь уж совсем не проведешь. Понятно, с потерей нами авторитета в земстве мы потеряли и всю привлекательность в глазах Подугольникова, а это для многих из нас было

равносильно почти что смертному приговору. Ужасно ослабел в иных местах этот наш авторитет. В таких местах мы сохранили за собой только один, можно сказать, «почет»: «мы» сочиняем там адресы от имени земства своего, произносим от его имени речи при встречах и на обедах и проч., но ведь это, по выражению Калхаса, всё одни лишь цветы и цветы!.. Известное обращение к нам бывшего министра народного просвещения гр. Толстого, поручавшего нам следить за духом учащегося юношества, конечно, прочитать было лестно, но и только; конечно, мы могли, следя за духом юношества и преподавателей, проникать в школы и, находя в них дурной дух, заводить хороший, то есть сгонять одних учителей и сажать на их место других, своих протеже, но ведь что же из этого? Существенного, питательного-то ничего это не могло дать, и потому в большинстве случаев мы посмотрели на это обращение тоже как на цветок, хотя и душистый...

— Удивительное, право, это дело...

— Что такое?

— А вот это обращение к нам. Допустили нас до разорения, не поддержали вовремя, а теперь мы спасай!..

— Ну, спасать-то, положим, не от чего, а все же, знаете, внимание... приятно... Все-таки чувствуете, что вы призваны и стоите на страже.

— Было время — стояли-с. Не нравилось тогда это, а теперь и прикажут стоять, так и то ничего не поделаешь, потому что никакой силы для стояния нет: животы нам всем от этого оскудения подвело.

— Сами виноваты, Петр Иваныч.

— Да чем-с виноваты-то?

— А вот в своем оскудении.

— Рассказывайте!

И ужасно обидны нам все эти обращения. Они предполагают в нас какую-то силу, которой в действительности, как это доподлинно всем нам известно, у нас нет; все близко знающие нас тоже это отлично знают, читают обращения к нам, смотрят на нас и смеются.

— Откуда это вы, Иван Петрович? — спрашивает Подугольников въезжающего в город в тарантасе Ивана Петровича, запыленного, в фуражке с красным околышем (дворянская: тоже выгоды и страха от нее никакого теперь нет по нашему времени).

— Школы осматривал.

— Так-с, понимаем: злой дух изгоняли?..

И ведь глумится в глаза! Что мы перечувствовали тогда и сколько огорчения принес нам этот циркуляр — лучше уж об этом не говорить.

— И чудной, прости господи, народ эти господа, — рассуждали про нас Подугольниковы, — имение в рабочую пору бросил и за злым духом гоняется...

Спрашивается: каково это нам было выслушивать?

Таким образом, с упразднением мировых посредников мы потеряли всякую почти возможность пользоваться питательной стороной земских учреждений, и никакие цветы нам заменить эту потерю не могли, ибо приносили только одни напрасные и незаслуженные огорчения и, кроме того, расходы: цветы вообще дороги...

Около этого же времени, «для воспособления справедливым нуждам стесненного землевладения и земледелия», было признано необходимым утвердить Саламатову с Пудельсоном и компанией берлинских и варшавских жидов проекты тульско-казанского, рижско-иркутского, ревельско-симбирского и т. д. до бесконечности земельных банков. Что из этого вышло собственно для землевладения и земледелия, я уж рассказывал, но вот что вышло для тех из нас, кто занимался при этом кустарной промышленностью.

Каждый банк вообще — очень сложный организм, и если его представить себе в виде паука, то тогда только хоть отчасти поймешь, сколько ему необходимо иметь для своего движения и существования ног, ножек, щупальцев и проч. У действительного паука все эти ножки и щупальцы помогают ему и двигаться и ловить добычу; одним словом, приносят ему пользу: он живет благодаря им. У банков, особенно таких, как наши поземельные, все эти ножки и щупальцы, называемые кассирами, агентами, оценщиками, напротив, живут на его счет и, как это известно всем и каждому, в большинстве случаев в конце концов засушивают, так сказать, главное тело, и когда при кончине разрезывали ликвидаторы его желудок, то есть кассу, то не находили при этом ничего в нем,

кроме пустоты и предметов, совершенно неперевариваемых, вроде втридорога заложенных имений и т. п.

Как все это выходило, я и хочу здесь рассказать. Это очень поучительно и, мне кажется, любопытно. Во всяком случае это была настолько одно время видная отрасль нашей кустарной промышленности, что умолчать о ней нельзя.

Саламатов с Пудельсоном, измыслив устроить у нас «для воспособления землевладению» земельные акционерные банки, обратились с этим проектом к берлинским и варшавским жидам. Железные дороги в это время хотя и были делом еще «очень недурным», но, во-первых, уж далеко не таким сочным, как первое время: поверстную цену уж наполовину почти «сбили», и потом «свободных капиталов в Европе» было еще так много, что они не могли поместиться в железнодорожных предприятиях и, следовательно, охотно могли пойти на поземельное ростовщичество и спекуляцию. Так и вышло: жиды дали согласие и поручили Саламатову с Пудельсоном сочинять и писать уставы и проекты и потом «проводить» их.

Это только с первого раза, и то для не посвященного во все тайны человека, кажется, что слово «провести» у нас дело легкое, плевое: дал, дескать, взятку, и готово. О нет, это очень длинная процедура. Есть, конечно, люди, которые сразу накидываются на добычу: подойдет к ней, откроет рот, схватит им кусок и опять его захлопнет и уж молчит, не мешает «делать дело». Этих людей дельцы очень «обожают», но они недолго сидят на своих местах, потому что дурная слава про их алчность распространяется, и скоро становится уж положительно невозможным дальнейшее служение их отечеству, и их увольняют по прошению в отставку. Большинство же ведет игру совершенно иначе и к добыче подходят, во-первых, не сразу, и потом глотают ее медленно, осторожно, оглядываясь и обливая потоками патриотического красноречия. Это ужасно скучные люди, и возиться с ними иногда становится просто даже тошно: знаешь, что «приемлет», значит, возьмет непременно взятку и все сделает как надо для дела, а между тем томит, томит до одурения, так что подчас даже такие опытные проводители дел, как Саламатов, и те теряли терпение...

«Нужные» и «полезные» люди такого вот фасона требуют непременно, чтобы «дело» было хорошо и совершенно благопристойно «обставлено». Конечно, они сразу отлично понимают всю суть проектов с воспособительными целями, но тем не менее извольте им эти проекты обставлять, выписывать и группировать декорации. Саламатов с Пудельсоном знали, разумеется, все это и ранее и потому предложили жидам такую сделать к проектам обстановку: во-первых, дворянства и земства должны были издать вопли о «неотложной надобности для края» устройства на первое время таких-то и таких-то земельных банков; потом приезд и представление депутаций; потом формальное ходатайство, и, наконец, при увенчании «дела» успехом, поднесение «нужным» и «полезным» людям почетного гражданства и т. п., не считая затрапезного «ура», качания и проч. Жиды, разумеется, одобрили проекты и уставов и их «проведения». И вот один за другим начали раздаваться вопли из всех концов «нашего обширного отечества». «Публицисты» вроде Кастрата Васильевича Чубукова, конечно, «радушно» и бескорыстно отворили столбцы своих газет для передовых статей, сочиненных Саламатовым в поддержку земским и дворянским воплям. Словом, дело пошло. А «мы» пошли в него вот как и вот почему. Во-первых, выкупные у нас у всех в это время были уж давно съедены, мы сидели без денег, и, следовательно, надо было закладывать уж «оставшуюся» от надела землю. Банки, значит, кстати — это раз. Во-вторых, потому пошли, что «нам» были обещаны места в банках: директорские, управляющих, оценщиков и т. п.

Это последнее обстоятельство, то есть принятие нас к себе на службу, жиды, конечно, совершенно справедливо находили большим неудобством, но тем не менее делать было нечего: без наших воплей и без постановки наших фамилий «во главе предприятия» проведение этого самого предприятия, несомненно, и затянулось бы и обошлось бы им гораздо, гораздо дороже. Они помирились, и мы вдруг сделались финансистами совершенно неожиданно и для себя и для всех, кто нас хоть немножко знал и понимал.

Как неопытные банковые деятели, мы несколько оригинально поняли и дело, орудовать которым теперь пришлось, и свои к нему обязанности и отношения. Тем не

менее, однако ж, эта оригинальность понимания нами банковых операций не была нам в ущерб... Но зато жиды так и ахнули, так и взвыли, когда увидали, что̀ за музыку мы затянули, «сидя на их акциях» и распоряжаясь их добром, то есть теми деньгами, которые они внесли за акции. И как ни встревожили мы их нашими финансовыми приемами и оборотами, но ничего поделать с нами не могли, конечно, раньше первых следующих директорских выборов. Это вышло удивительно, неподражаемо хорошо, в комическом, конечно, отношении: акции у жидов, они нас сделали директорами, управляющими и т. д.; мы начали, что называется, «с места» по-своему «ахать» их деньгами, они видят всё это и ничего не могут с нами поделать. Саламатов с Пудельсоном ошалели не менее их, увидав, что̀ за игру «мы» затевали, и тоже, конечно, ничего не могли с нами поделать. Разумеется, мы поцарствовали и попировали недолго — всего одно лишь трехлетие, но зато уж так попировали, что и до сих пор эти банки живота надышать себе не могут!..

В «наших» банковых операциях больше всего поражает, конечно, простота приемов и потом внесение нами в такой сухой предмет, как залог имения, — душевности. Ах, что за простота и что за душевность была тогда в банках! В покойном опекунском совете много было этой простоты и душевности, но «мы» в наше управление банками развели ее не в пример больше.

Положим, управляющим банка Иван Петрович; Михаил Иваныч, Иван Михайлович и т. д. директорами. Для шпионства на всякий случай придан им в помощь какой-нибудь Владислав Осипович. Агенты, оценщики — всё сплошь жиды и прогорелые помещики из штабс-ротмистров и запутавшиеся при погоне за карьерой разные Петеньки, Феденьки, сбежавшие от долгов из департаментов и эскадронов. В такую вот компанию, называемую правлением, является помещик Василий Михайлович, человек знакомый, земляк.

— Ивана Петровича могу я видеть? — не совсем смело и уверенно спрашивает он швейцара.

— Господина управляющего?

— Да-с.

— Пожалуйте наверх, там подождите в приемной. «Они» в три часа приезжают.

Василий Михайлович идет наверх и попадает не в правление, а истинно в родственное семейство, где, здороваясь с ним, чуть-чуть не целуются все.

— Давно приехали?

— Ну что наши?

— Охота как в нынешнем году?

— К нам закладывать приехали?

Василий Михайлович едва успевает отвечать на все эти вопросы и сразу чувствует себя как дома в халате. И действительно, все дело в халате. Наконец, приезжает и *господин* управляющий банком, Иван Петрович. Жиденок из служащих в правлении, одетый по модной картинке, необыкновенно серьезно несет за ним громадный дорогой портфель. Увидал Иван Петрович Василия Михайловича, расставил руки для объятий и так словно замер на несколько мгновений:

— Василий Михайлович!

— Вот к вам приехал, — вновь несколько смутившись, путается засидевшийся в деревне земляк.

— Ко мне в кабинет, вот сюда.

И господин управляющий и приезжий земляк исчезают за огромной дверью роскошного, богатого, массивного директорского кабинета правления.

— Сигарочки? — угощает управляющий, подвигая ящик с фейковскими регалиями. — Ну что, давно приехали? Закладывать к нам?

— Что делать, деньги нужны.

— Можно, можно. Документы все захватили с собой?

— Все... только тут нет со мной, на квартире...

— Понимаю. Я спрашиваю, из деревни-то захватили ли вы их?

— Да, все, все...

— Это мы всё живо произведем. «У меня» насчет этого молодцы!.. Да ведь всё «наши же» больше. Ну, жиденяты тоже есть...

Первый день свидания проходит, конечно, в одной этой болтовне, не имеющей ничего общего даже с залогом имения. Потом обед, клуб, ужин и т. д.

Дня через три-четыре, когда Василий Михайлович, наконец, «прочухается» от всех этих обедов и ужинов, он снова приезжает в правление, на этот раз уж с планами и документами. Опять, разумеется, такая же душевная

встреча и не менее душевный разговор такого содержания и формы:

— Да вы уж говорите прямо: будете платить или хотите того?..

— То есть, как же это?

— А очень просто: если не хотите платить, так берите как можно больше денег и прощайтесь с нами навеки... Не понимаете?

— То есть...

— Ах, какой вы чудак! Вы совсем банковских операций еще не знаете, — снисходительно улыбаясь, говорит уж такой опытный финансист, как Иван Петрович. — Все дело в том, что вы просите «специальной» оценки. «Мы» пошлем к вам нашего агента, ну... понимаете?.. вы там ему... за труды... ну, и готово. Там у вас в Петровке окажутся чуть не золотые россыпи... а ведь это все увеличивает стоимость имения...

— Да, вот как... теперь понимаю, понимаю, — радуется Василий Михайлович. — Так вы, Иван Петрович, уж скажете, к кому мне обратиться тут?

— Ни к кому. Мы здесь сейчас же всё покончим с глазу на глаз, то есть приблизительно, разумеется, ошибемся на пустяки.

Затем происходит такая выкладка.

— У вас сколько десятин? — спрашивает Иван Петрович.

— Тысяча четыреста.

— Тысяча четыреста... это будет по «нормальной» оценке сто двадцать шесть тысяч рублей. Мы даем девяносто рублей за десятину. Ну, а если хотите заложить по «специальной», — эту цифру можно и того-с... хе-хе-хе... нам жидовских денег не жаль...

— Я очень буду благодарен. Деньги страсть как нужны.

— Всем нужны... Так вот, если хотите, и притом поделитесь с нами, так и по рукам.

Дело кончается тем, что вместо 126 000 рублей ему выдают, то есть назначают выдать, после «специальной» оценки Петровки, в недрах земли которой действительно оказываются необыкновенные богатства, — 175 000 рублей. Тысяч двадцать — тридцать идет в раздел в

«радушном» правлении, и все довольны, ужинают, целуются, обнимаются.

Кто не знает, как это просто делалось и притом душевно-открыто, тому трудно даже вообразить... до того это было хорошо «для нас» и удобно.

В ту пору «ценность» земли, вследствие подобных порядков, разумеется, ужасно поднялась у нас. Не зная истинной причины «этого отрадного во всех отношениях явления, прямо указывающего на развитие у нас хлебопашества, вызванное великой реформой 19-го февраля», петербургские публицисты и экономисты совершенно чистосердечно поздравляли отечество с преуспеянием...

Жиды бледнели и в испуге ждали, когда будет можно положить конец этой срамоте и расхищению их добра, то есть когда кончатся сроки нашего директорства...

Они, конечно, дождались этого времени и как попало, только бы поскорей, развязались с нами.

В следующем очерке я расскажу, куда, в какие «тихие пристани» мы удаляемся, а некоторые уж и удалились, после такого бурного плавания...

IX.
ТИХИЕ ПРИСТАНИ

Оскудевшие дворяне-помещики должны быть разделяемы собственно на две категории: помещики с полетом фантазии и без полета. До сих пор я занимался первой категорией. Я должен был сделать это в силу одного того обстоятельства, что люди нашего сословия, награжденные от природы пылким воображением и чуткой, восприимчивой душой, будучи пристигнуты Положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, не только не сложили лапки и не запросили пардону, но, напротив, предались такой энергичной и вместе разнообразной деятельности, что положительно поставили в тупик всех неверующих и сомневающихся. Общее внимание как нас самих, так равно и посторонних наблюдателей было сосредоточено на этих героях, и ничего нет страшного, что при этом утопающие второй категории, то есть те из нас, которые были лишены дара фантазии, утонули в волнах нового положения, никем не замеченные. В то время, когда «мы», «проникнутые святостью своего дела», старались чуть не каждому встречному напомнить о «бескорыстном служении дворянства престолу и отечеству» и указывали при этом кстати и некстати на известную грамоту императрицы Екатерины II; когда мы составляли и проводили проекты дворянских банков; когда мы заводили «рациональное хозяйство»; когда, тоже, вероятно, в силу принципа бескорыстного служения отечеству, строили для варшавских и берлинских жидов железные дороги с земскими гарантиями; когда, наконец, директорствовали в земских

банках, устроенных теми же жидами «для воспособления нуждам стесненного землевладения и земледелия»; когда, и проч., и проч., — они, эти скромные люди без полета, «сходили на нет» молча, никем не замеченные, погибли, можно сказать, крадучись...

— Слышали: Иван Степаныч-то все пораспродал и вчера уж уехал.

— Как уехал?

— Уехал-с.

— Куда же?

— А никто доподлинно и не знает, куда именно: одни говорят — в Калугу, другие — в Тверь, к женину брату...

Был человек, и нет его, даже следа никакого не оставил!

Едешь, бывало, и удивляешься, что так долго не попадается Василья Иваныча усадьба. Должна она быть вот сейчас за этим оврагом, а между тем ее нет, не виднеется даже. И уж только поравнявшись как раз с самым тем местом, где она стояла, видишь, что «ее уж нет» и в самом деле. Начинаешь наводить справки.

— Куда же он девался?

— А бог его знает. Сперва в город переехал, а потом, одни говорят, в Таганрог, другие — в Казань.

И то и дело так.

«Мы» погибали по крайней мере эффектно, с громом, с треском, чуть не при бенгальском освещении; они же, как снеговые точно, таяли и испарялись. Судя по себе, мы с некоторым основанием заключили, что все они или погибли в нищете, спились, или, подобно нам, пресмыкаются у дальних родственников, прогорание которых почему-то затянулось.

— Он, конечно, человек не ахти какой, звезд с неба не хватал, а все-таки жаль, потому все же свой брат, дворянин — не Подугольникову чета!

— И главное: заметьте, человек без образования почти; жена, дети — ну, куда он денется! — соболезновали мы.

— Так и будет перебиваться: от одного родственника к другому будет переезжать. Куда-нибудь в управляющие пойдет...

— Да, ужасно, ужасно!

Но что действительно замечательно: люди первой категории, то есть с полетом фантазии, которые считались са-

мыми интеллигентными и самыми энергичными, те, которые хлопотали о банках, дорогах, заводили «рациональное хозяйство» и проч., — все они в конце концов прогорели, спились и даже вымерли. На их местах теперь сидят Подугольниковы и Сладкопевцевы, и если вы этих последних спросите: не доходили ли до них хоть слухи о том, где теперь прежний владелец? — и они вам ничего не ответят.

— Надо так полагать, что умер, — скажет Подугольников.

— Господь его знает. Конечно, расточительность «их» погубила, а души прекрасной были! — ответит Сладкопевцев — и только.

Люди же без полета фантазии, тоже в большом числе исчезнувшие из наших рядов, по-видимому начинают выплывать. Нет-нет да и услышишь кое-что, из чего можно ясно заключить, что теперь-то вот они только и попали на свою настоящую дорогу...

Положение 19-го февраля, конечно, не было и для них находкой. Они и удалились в силу его; но они удалились более или менее целыми. «Мы» тратили и проедали «оставшееся», волновались, пробовали и покинули «поле битвы» уж тогда, когда, кроме пустого вязаного кошелька в кармане, ничего не осталось. Они сразу смекнули, что в нашей помещичьей жизни все перевернулось, что тут никакой силой ничего не обернешь на старый лад и потому самое лучшее загодя подобру-поздорову убраться и приютиться туда, в такую среду, где никакой ломки не предстояло и где до сих пор действительно ее нет, а есть одно только мирное и постепенное совершенствование, — в мир операций и подвигов чиновно-городской буржуазии. Они удалились туда отчасти и потому, что там, в этой среде, жили их симпатии и в ней же хранились их традиции. Люди этой второй категории были преимущественно из нового дворянства: или сами дослужившиеся до Владимира четвертой степени, или отцы их. С «землей» у них еще не успела окрепнуть связь. Они сделались помещиками, то есть купили себе поместья в силу того, что помещику жилось в то время «вольготней» всех. Когда же эта «вольготность» от него отошла — вся прелесть помещичьей жизни для них сразу пропала. Остались одни неприятности и лишения, бороться с которыми они не привыкли, и потому они так рано, легко и благоразумно

и ретировались. «Земля» не была и не могла быть им дорога, а с потерей крепостных удобств деревенская жизнь показалась неизмеримо тяжелее, неприятнее, чуть ли даже не дороже городской. Вот они и потянули в город, на старые гнезда.

Теперь эти люди начали мало-помалу опять возвращаться в деревню, то есть начали покупать именьица, присматриваясь очень сочувственно к приемам Сладкопевцевых.

«Мы» же, то есть «коренные», «столбовые», если уж раз пропадали, так пропадали действительно, и примеров воскресения или возвращения в деревню не бывало, если не считать случаев получения прогоревшими наследства или чего-нибудь подобного. Одним словом, «мы» не расставались с «землей» в силу планов и предположений устроиться где-нибудь удобнее и лучше. Хотя неумело, глупо, пошло, но мы старались устроиться на «земле»; мы на ней горели и прогорали дотла... Я знаю несколько примеров, когда совсем уж прогоревшие, понукаемые чуть не пинками, уезжали и уходили из своих бывших деревень, унося с собой в ладанках зашитую землю...

Был у нас один помещик с очень старинной фамилией; звали его, положим, хоть Михаил Михайлыч. Разумеется, он был отставной штабс-ротмистр какого-то гусарского или уланского полка, был женат и имел детей. Человек был вообще добрый, радушный и страстный охотник «с борзыми», любил лошадей, даже имел когда-то свой собственный завод, вообще был отличный сосед, и я с ним иногда очень охотно просиживал вечер до поздней ночи, хотя он и не мудрствовал лукаво. Как и у всякого живого человека, были, разумеется, и у него кой-какие страстишки. Любил коньячок, то есть, собственно, пунш, и когда, бывало, выпьет стаканчиков пять-шесть, ужасно помолодеет: на щеках румянец, и сейчас начинает рассказы о том, как стояли они в Польше. Если эти рассказы он начинал в присутствии своей жены, Надежды Петровны, и дочерей, «взрослых девиц», то она обыкновенно грустно вздыхала, вставала, звала дочерей и уходила. Михаил Михайлыч бывал этому всегда рад и продолжал рассказ о своих походах за прекрасным полом с необыкновенным

увлечением и живостью: то и дело вскакивал со стула, показывал, как он падал со стены, возвращаясь с какого-то свидания, или как он висел на сучьях в ожидании свидания, и проч.

В позднейшее время, будучи уж женат, когда Надежда Петровна была однажды «тяжела», он завел одновременно две интриги: одну в девичьей, другую на птичьем дворе. Я уж, разумеется, не знаю, как это вышло, но Надежда Петровна узнала все досконально, до самых мелких подробностей, и, возмущенная «такой низостью», начала отвергать его ласки и говорить ему «вы». Так протомила она его что-то около полугода; весь уезд, разумеется, узнал об этом от него же самого.

— Ну что, Михаил Михайлыч, как насчет того?

— Плохо, плохо! А все-таки я ее вчера за щечку ущипнул.

— И что ж, не защищается?

— Нет, прогнала.

Надо, однако, полагать, что она все-таки его простила, то есть перестала прогонять и запираться, но «ты» уж больше ему не говорила.

Когда она стала опять «тяжела», Михаил Михайлыч опять попался; она опять думала его проучить тем же способом, но он «плюнул на все» и «начал обходиться без нее»... Я слышал массу его похождений в этом роде и от него самого и стороной, и все они обыкновенно носили пошловатый характер, но ни о каком насилии, ни о каких злоупотреблениях при этом помещичьей властью и речи не было. Короче, это был человек самого распространенного у нас типа.

Надежда Петровна была дама хотя и серьезная на вид, но, во-первых, вовсе не старая и потом несколько «идеальная». Она воспитывалась в каком-то петербургском институте или пансионе, и какая-то богатая придворная дама, приятельница ее матери, брала ее к себе в отпуск. Потом она какими-то судьбами очутилась опять у родителей в Осиновке; здесь посватался за нее Михаил Михайлыч, она «отдала ему руку и сердце»; их повенчали, и она начала из года в год «тяжелеть». Эта прозаичность любви и дальнейшего сожительства ее с Михаилом Михайлычем, то и дело попадавшимся в «измене», привела ее, наконец, к тому, что она иногда совершенно переселялась во вре-

мена давно минувшие, и если в такой час к ним кто-нибудь приезжал, она начинала нескончаемую повесть о своих страданиях, о том, как за ней ухаживали, когда она была еще в пансионе, и приезжали в отпуск к этой придворной даме кавалергард князь А., лейб-гусар граф Б., преображенец барон Г., и т. д., и т. д. И уж только когда, бывало, дойдет в рассказе дело до того, как граф Б., «взяв ее руку в свою», уставил на нее какой-то особенный взгляд, она иногда замечала, что возле сидят ее дочери, «взрослые девицы», догадывалась почему-то, что это им слушать не следует, и под разными предлогами выпроваживала их в разные стороны с разными поручениями.

В то время я бывал у них довольно часто и чуть не наизусть знал и его и ее рассказы о любовных интригах. Дочерям было тогда лет тринадцать одной и лет четырнадцать другой. Все прочие дети у них отчего-то рано умирали. Так они жили — очень хорошее было состояние из средних — до нового положения.

Слух об «эмансипации», помню, не особенно как-то тревожил и Надежду Петровну и Михаила Михайлыча. Он даже настолько был легкомыслен и равнодушен ко всем этим слухам и известиям, что как раз в самый разгар их настолько испортил гувернантку-немку с музыкой и французским языком, что Надежда Петровна, не желая оставлять такой дурной пример на глазах дочерей, «взрослых девиц», отправила ее обратно в Москву.

В это время, то есть незадолго до «объявления», бабы, выведенные из терпения действительно возмутительным поведением с—ского приказчика, совершили над ним одну из самых мучительных казней и этим навели страх на всех тех из «нас», кто был хотя несколько подобен ему в своих увлечениях. Желая хотя немного остепенить супруга, Надежда Петровна, бывало, начнет его пугать этим примером.

— Вот уж вы дождетесь, что с вами они когда-нибудь тоже это сделают, — начинала она.

Но Михаил Михайлыч не пугался и сейчас же принимался успокаивать ее, уверяя, что этого с ним бабы никогда не сделают уже по одному тому, что он — «враг насилия».

Разумеется, мы, слушатели, смеялись: Михаил Михайлыч смеялся с нами; Надежда Петровна брезгливо пожималась, делала презрительную гримасу, уходила и уводила с собой своих дочерей, «взрослых девиц».

И действительно, ни на нее, ни на него «объявление» не произвело никакого потрясающего впечатления. Все осталось как будто по-старому. Мужики так же кланялись и снимали при встрече шапки, называли батюшкой-барином, даже повторяли всем известную фразу: «вы наши, а мы ваши». Но изменилось одно обстоятельство, и, как оказалось впоследствии, очень важное: с ограничением числа мужицких рабочих дней пришлось наполовину почти уменьшить запашку. Следовательно, наполовину же уменьшился и доход. Если бы Михаил Михайлыч помирился с этим обстоятельством, то есть потеснился бы в прожитке, конечно он благодушествовал бы и до сих пор. Но он, подобно всем нам, пустился в поиски за суррогатом мужика, узрел его в рациональном хозяйстве, в бутеноповских машинах, заложил свою Михайловку в земельном банке, дальше да больше, запутался, затянулся, попал, наконец, в лапу к Подугольникову, который и купил у него Михайловку за семь тысяч, с переводом на себя, разумеется, всех его долгов.

Что делать? чем жить? где, наконец, жить?

Все это совершилось как-то так быстро, так даже, повидимому, неожиданно, что и он и она совершенно растерялись. Разумеется, переехали в город, наняли квартиру, перевезли из Михайловки мебель (Подугольников оставил им ее) и продолжали совершенно такую же точно жизнь, как и в деревне. Они опомнились, впрочем, скоро, когда у них осталось уже тысячи три. Еще около полугода такой жизни — и выходи хоть на улицу...

Вскоре «мы», еще сидевшие пока в своих Ивановках и Петровках, услыхали, что Х—ва открыла модный магазин и красильную...

Хотя Х—вы и были моими близкими соседями, но разных уездов. Они теперь переехали в свой уездный город, в котором я бываю очень редко. И прошло по крайней мере года два, когда я попал туда. Мне приходилось прожить там около недели. Я вспомнил о Х—х и пошел их отыскивать.

— Скажите, пожалуйста, — обратился я к какому-то проходившему мимо человеку, — где тут у вас модный магазин Х—х?

— А вот как раз на углу Московской, вот в этом деревянном домике — изволите его видеть? Вам что же? — полюбопытствовал он.

— Так, хочется навестить: это мои старые знакомые.

— Это у нас первый-с магазин. Они и на голову шьют и на исправника; господа помещики тоже заказывают...

— И хорошо у них дело идет?

— Большие деньги должны наживать, потому вся «аристократия» у них заказывает...

Это известие меня очень порадовало; я поблагодарил и пошел к серенькому домику на углу Московской.

Этот серенький домик был очень маленький, разумеется, одноэтажный, с мезонинчиком в одно большое полукруглое окно, как строят до сих пор в наших глухих городках. Окна в нижнем этаже со ставнями; на этих ставнях навешены железные листы, на которых нарисованы дамы в пальто, дамы в бальных платьях декольте, шляпки, чепчики и проч. Над окнами вывески: «Модный магазин и красильное заведение». Я отворил дверь в «магазин». Довольно просторная комната с двумя неуклюжими черными крашеными шкафами с стеклянными дверцами. Прилавок; на прилавке на столбиках висят чепчики и две или три шляпки. Возле стоят два стула и кресло — старые знакомые, остатки мебели, вывезенной из Михайловки. Трюмо на столбиках красного дерева — тоже давно знакомое. Какая-то девочка лет десяти, в темненьком платьице с беленькой пелеринкой, выглянула из двери, противоположной той, в которую я вошел, и сейчас же опять спряталась. Я стоял посредине магазина, дожидался, что кто-нибудь выйдет, и посматривал на шкафы, на шляпки, на чепчики. Вскоре в ту же дверь выглянула другая девочка, точно так же одетая, но уж постарше.

— Вам кого?

— Михаил Михайлыч дома?

— Они отдыхают.

Было часа три. Очевидно, они, пообедав, по деревенской привычке совершают послеобеденный отдых.

— А Надежда Петровна?

— И они отдыхают. Вы что? Если с заказом, так их сейчас можно разбудить...

— Нет, пожалуйста, не нужно, — остановил я ее. — Я зайду в другой раз.

— Нет, уж лучше я разбужу, а то они будут сердиться. Намедни тоже приходили с заказом, а их не разбудили и упустили заказчика — к Матильде пошел.

— Это что за Матильда?

— А тоже модный магазин. Это только одно название у нее, что Матильда, а она здешняя же, прежде была господская, да вышла замуж за цирюльника и стала называться Матильдой. Там только дерут, а делают хуже нашего, — болтала девочка.

— Нет, я не заказчик и к Матильде не пойду, — успокоил я ее, — я просто их старый знакомый и зашел проведать. Когда они свободны?

— Теперь все время свободны. Это вот перед праздниками или если к свадьбе...

Я дал ей свою карточку и сказал, что зайду уже вечером.

Обедать мне было еще рано; дома, в гостинице, скука, я и пошел бродить по улицам. Где-то очень недалеко я прочитал вывеску конкурентки Надежды Петровны, «Мадам Матильды», вывешенную над окнами такого же убогого серенького деревянного домика. Мне захотелось вдруг посмотреть, как тут идут дела, и я зашел.

— Скажите, это магазин г-жи Х—вой? — спросил я высокую худую женщину, вышедшую ко мне навстречу.

— Нет-с, это мой магазин: мадам Матильда. Все равно и мы не хуже сделаем, — презрительно улыбаясь, заметила она.

— Мне там поручили заказать.

— Позвольте, уж если хотите, так я вам по правде скажу: там только испортят, потому та хозяйка не за свое совсем дело взялась. Она никогда и в портнихах не была, а так, прогоревшая помещица. И потом дерзкая, совсем не умеет и обращаться с заказчиками... Все обижаются на нее. Одно только смущение, и больше ничего.

Я что-то такое еще соврал относительно порученного мне заказа и ретировался.

Вечером, часов в восемь, я опять пошел к Х—м. Меня, очевидно, ждали. Обнаружить передо мною свою убогую нищету, отовсюду так и глядевшую, им не хотелось, и все эти дыры они позаткнули и замаскировали. Но немного наблюдательный человек не мог этого не заметить сразу же. Уж очень все как-то скоро подавалось, находилось, показывалось, и потом, то и дело они проговаривались о таких вещах, которые может знать только человек, хорошо испытавший нищету или по крайней мере самую суровую нужду...

В «магазине», то есть в первой комнате с крашеными шкафами и с чепчиками на столбиках, в кресле сидел Михаил Михайлович и держал в руках книгу. Были сумерки, и хотя не настолько еще стемнело, чтобы зажигать лампу, но и читать было уж трудно без свечи. Выбрал, значит, и позу, в которой меня встретить. После обнимания и проч. он как-то торопливо и путано начал говорить о посторонних для нас обоих вещах, то и дело некстати улыбаясь. Я больше рассматривал его, чем слушал. На рукавах и на бортах сюртука, довольно еще хорошо сохранившегося, виднелись складочки, какие обыкновенно бывают на платье, когда оно долго лежало в чемодане или в сундуке; для меня вынули его и надели на него. Он не особенно много поседел против прежнего, но как-то съежился, умалился весь и потом подсох. На пальцах и на щеках на коже показался какой-то беловатый налет: он бывает только у стариков. Этого прежде не было. Черненькие небольшие усики (он и прежде их всегда красил, но теперь уж очень много навалил краски и, должно быть, сейчас только проделал это) торчали аккуратно и бойко. Минуты через две или три я спросил его:

— А Надежду Петровну можно видеть?

— Как же, как же. Она очень рада вам будет. Ведь вы с ней приятели были... Мы к ней пойдем, на ее «половину».

Эта «половина» вся заключалась в одной комнате, очень тесно уставленной знакомой мне мебелью. Попали мы туда не через ту дверь, в которую утром выглядывала и вела со мной переговоры маленькая девочка, а через другую, рядом почти с тою, но которую я тогда почему-то не заметил.

Надежда Петровна сидела в знакомом мне (очень хорошо я его помнил) шелковом платье и в шали. Положим, и платье это уж не новое и шаль не новая, но не может быть, чтобы она всегда дома запросто сидела в турецкой шали. И она, значит, *оделась* для меня.

Она тоже *удивилась*. Я заметил, что ей было очень приятно, когда я, здороваясь с ней, почтительно поцеловал ее руку. Это, мне показалось, даже ободрило ее: уважает, дескать, по-прежнему...

— Я, Сергей Николаич, так рада, что вы к нам заглянули. Садитесь сюда. Будем чай пить. Лиза! Прикажи там чай давать, — говорила она дочери с некоторой торжественностью. — Ну, расскажите, как вы поживаете? Мы давно не виделись. Вы в наш город ведь никогда не заглядывали?

— Ничего-с, все по-прежнему, помаленьку.

— Так же по целым месяцам пропадаете из дома с ружьем?

— Все так же-с.

— Ах, вот вы бы куда съездили на охоту! У нас под самым городом, говорят, такое есть болото, что там этих дупелей и уток просто перестрелять даже невозможно... — и т. д.

Словом, разговор и тут пошел совсем не подходящий: она меня, что называется, «занимала». Наконец довольно грязная кухарка почти бегом принесла самовар, шлепая босыми ногами. Надежду Петровну шлепанье покоробило, и она ей «заметила».

— Ужасно здесь трудно достать порядочную прислугу, — обратилась она ко мне. — Все равно, сколько их не меняй, такие же все.

Явилась Лиза и принесла сухарницу с «печеньями».

«И это для меня же куплено», — подумал я.

— Вы не узнаете Лизу? Она ужасно похудела: все что-то нездорова, — смотря на нее, говорила Надежда Петровна.

Лиза начала возиться с чашками, заваривать чай. Я и ее внимательно рассмотрел. Тоже и она как-то полиняла; грудь стала совсем плоская, как у мужчины; глаза усталые, без блеска.

— Вы с чем хотите чай пить? — спросила она, — с лимоном или со сливками? У нас все есть.

— С ромом Сергей Николаич любит, — хитро как-то щурясь, ответил ей отец. — Помните, в Михайловке-то? — продолжал он, обращаясь уж ко мне, — две ложечки на стакан...

Надежда Петровна сверкнула на него глазами. Я понял и поспешил с заявлением, что не буду пить с ромом, а гораздо вкуснее с лимоном.

— Ну да, с лимоном и немножко рому туда, — опять начал Михаил Михайлыч. — Ключи, мой друг, от шкафчика у тебя? — обратился он к жене, — я сейчас принесу.

И уж встал, чтобы идти к шкафчику, но Надежда Петровна сказала: «Сидите, и без вас подадут», отдала ключи Лизе, и та пошла и принесла графинчик с ромом. Я начал догадываться, в чем дело...

При условиях, при которых я теперь угощался, ужасно неловко отказываться, заставлять просить, угощать. Таким отказыванием обижаешь, оскорбляешь людей, даешь им повод думать, что делаешь это, щадя их бедность, и именно тогда, когда они изо всех сил стараются замаскировать эту бедность. А потому, хоть я вовсе не люблю чай с ромом, теперь, делать нечего, влил в стакан ложки две. Михаил Михайлыч тоже взял графинчик и начал лить из него в стакан уж непосредственно, без помощи ложечки. Лиза посмотрела на него с каким-то упреком. Надежда Петровна сделала усилие улыбнуться и проговорила:

— Михаил Михайлыч...

— Ах, господи, да я же ведь не маленький и сам знаю, сколько надо.

— Ему это очень вредно, — сказала Надежда Петровна, — а он так любит...

«Боже мой, неужели он еще пить начал?» — подумал я, и драма померещилась мне еще мрачнее. Разговор поддерживался искусственно, но уйти так скоро было неловко.

— Надежда Петровна, пожалуйте на минутку, — тоненьким голоском позвала ее девочка в беленькой пелеринке, немного приотворив дверь.

— Хорошо, сейчас, — ответила она и, для чего-то помедлив немного, встала и пошла.

Михаил Михайлыч проводил ее глазами, потом опять хитро подмигнул мне, поймал, именно поймал, а не взял графинчик с ромом и почти половину «ухнул» его в ста-

кан. Лиза медленно, с большим упреком подняла на него глаза и долго посмотрела.

— Ну что ты на меня смотришь?

— Ничего, — проговорила она и вздохнула.

— Так вот-с, иду я, — продолжал он что-то рассказывать и чуть не в два глотка осушил стакан. — Лиза, налей мне чаю, — обратился он к ней как ни в чем не бывало.

Лиза налила стакан и подала ему. Он опять поймал графинчик, отлил на блюдечко половину чая и ухнул в стакан все, что было в графинчике.

Лиза молча встала и ушла в ту же дверь, куда и Надежда Петровна. Мы остались одни.

— Право, она за мной точно за маленьким следит! — начал он. — Выдумала, что мне вредно. Сорок лет я пью пунш, а теперь вдруг стало вредно! Это она пошла ей сплетничать на меня...

Он такими же крупными глотками торопился выпить и этот стакан и все поглядывал на дверь, откуда должны были возвратиться жена и дочь. Наконец допил, встал, взял пустой графинчик, приподнял лежавшее на столе чайное полотенце и осторожно, чтобы не зазвенело, взял забытые Лизой под этим полотенцем ключики от шкафчика.

— Я сейчас. Я все их похоронки знаю, — чуть не шепотом, подмигивая и улыбаясь, сказал он мне и на цыпочках юркнул под драпировку, разделявшую пополам комнату, в которой мы сидели.

Ключик щелкнул; потом я услыхал бульканье рома, лившегося, должно быть, из бутылки в графинчик; потом что-то он уронил, и зазвенело. В дверях показалась Надежда Петровна с Лизой.

— А где ж Михаил Михайлыч? — спросила она, подходя к столу.

Лиза быстро приподняла полотенце, и руки у нее так и опустились.

— Я, мой друг, здесь, — откликнулся из-за перегородки Михаил Михайлыч.

Надежда Петровна пошла туда.

— Что вы тут делаете? Это совсем не ваше дело. Вы могли сказать мне или Лизе.

— Ты, мой друг, занята была... Лиза тоже ушла.

— Могли бы подождать...

— Подождать! Сергей Николаич тоже допил, и я хотел ему налить... давай же графинчик...

— Идите, бессовестный! я сама при-не-су, — едва уж выговорила она, и неудержимые, почти истерические рыдания и всхлипывания раздались из-за перегородки. Лиза кинулась туда.

— Как это глупо! — пожимая плечами и неся с собой заветный графинчик, рассуждал Михаил Михайлыч. — Из всякого вздора непременно у нас история. Это, однако, уж надоело... Давайте я вам чаю налью.

— Нет, благодарю вас. Мне сейчас домой надо, как-нибудь в другой раз, завтра, — ответил я.

— Ну вот видишь, мой друг, из-за твоих капризов и Сергей Николаич хочет уходить! — крикнул он жене.

— Мне просто надо домой...

— И совсем вам незачем домой. Это я уж знаю. Помните, как в Михайловке-то я прятал у вас шапку. А хорошая была жизнь!.. и вот как пришлось теперь, на старости-то...

Он очень ловко и скоро налил мне и себе еще по стакану чая, потом ухнул себе рому, сделал большой глоток и сел. Всхлипывание за перегородкой прекратилось. Михаил Михайлыч что-то рассказывал из воспоминаний о Михайловке. Я сидел и ждал, дождаться не мог, когда они оттуда выйдут, чтобы распрощаться и уехать. Дольше оставаться было уж совсем невыносимо. Наконец бедные женщины вышли. Надежда Петровна с красными глазами, с носовым платком в руках — и улыбается, то есть старается улыбнуться.

— Вы меня извините. Ему это так вредно... он так ослабел последнее время. Вы видите сами, вот он уж и заснул.

Я оглянулся — он уж и в самом деле спит. Голова опустилась на грудь, руки повисли на ручках кресла, сидит смирнехонько и только тихонько сопит в свои черненькие, крашеные усики.

— Как у него это скоро! — невольно удивился я, — ведь он сию минуту еще говорил.

— Да, и вдруг заснет. Это всегда так. И теперь его до утра уж не разбудить... Доктор уж давно нас предупреждал, что если он будет пить этот пунш, с ним непременно будет удар.

— Зачем же вы ему даете?

— Кто ж ему дает? Он сам, вы видели, как изловчился.

— А водки он не пьет?

— Нет, этого еще, благодаря бога, нет. Тогда я бы, кажется, уж совсем с ума сошла.

Я посидел еще немного и стал прощаться.

— Вы еще долго пробудете у нас в городе?

— Еще дня четыре или пять.

— Пожалуйста, заходите. Ей-богу, только и есть одна отрада, если кто из старых соседей вспомнит и завернет в нашу тихую пристань... Сегодня нам не удалось поговорить по душе, а мне много хочется рассказать вам. Пожалуйста, заходите.

Наконец я раскланялся и ушел.

«И она называет это еще «тихой пристанью». Хороша тихая пристань!» — мелькало у меня в голове, когда я шел по совершенно темным улицам непробудно спавшего городка...

Дня через два, тоже вечером, когда уж смеркалось, я пошел погулять по городской набережной. Тихий, чудный был вечер. На набережной кое-где стояли простые деревянные скамейки. Я прошел довольно далеко, закурил сигару и сел на одну из таких скамеечек. Гуляющих почти никого не было; я сидел, курил, глядел на широкий разлив реки, на рыбацкие огоньки, засветившиеся на том берегу, задумался и не заметил, как подошла ко мне Лиза.

— Что же вы к нам не заходите? А мамаша так ждала вас сегодня! — вдруг заговорила она.

— Да как вам сказать?.. некогда все это время было. Я зайду завтра. А вы тоже погулять вышли?

— Да, устала; сегодня работы много было. Нездоровится мне. Какой здесь воздух чудный!

Я встал и пошел с ней гулять по берегу. Она мне показалась словно возбужденной, как будто ей хотелось что-то мне высказать, спросить меня о чем-то. Я начал налаживать разговор на откровенный тон. Она не отнекивалась, отвечала охотно.

— Вы меня простите за любопытство?

— Что такое? в чем?

— Хорошие дает средства ваш магазин?

Она грустно усмехнулась:

— Кое-как еще можно бы было перебиваться... другим, но не нам.

— Отчего же не вам?

— Ах, тут много причин.

— Конкуренция? Тут еще есть магазин мадам Матильды какой-то?

— Нет, это всё пустяки. Чем Матильда могла бы помешать? Матильда — не помеха.

— Так что же?

— Сами мы не можем с делом справиться...

— Мастериц нет хороших?

— И мастерицы есть. Все есть...

— Тогда за чем же стало дело?

— За уменьем взяться за него...

— То есть как же это так?

— А очень просто. Это не дворянское дело. То есть, я не так выразилась. Теперешние дворяне, бывшие помещики, не должны за эти дела браться: они у них никогда не пойдут...

— Почему?

— А потому, что они всё еще воображают, что они помещики.

— Ну и пусть...

— Нет, это не годится. В этом-то и вся суть.

Мне припомнились слова Матильды: «не умеет обращаться с заказчиками».

— Неужели заказчики требуют унижения? — спросил я.

— Не унижения, а поменьше гонору надо перед ними показывать.

Мы прошли шагов двадцать молча.

— А ведь мамаша что делает! Приедет какая купчиха, начнет заказывать платье — ну, хоть положим зеленое с желтой отделкой, — а она или начнет говорить ей, что это безвкусица, или просто прямо скажет в глаза, что она в этом ничего не понимает и чтобы положилась на нее.

— Да ведь и во всех магазинах и советуют и отсоветывают...

— Только не так, как она это делает. Начнет спорить, горячиться; начнет рассказывать, что ее учить нечего, что

она видала, как и придворные дамы одеваются, а не только обыкновенные смертные.

— Да, теперь понимаю...

— Прозвали ее бабкой-труболеткой, рассказывают, что она злющая, а разве мама злая? Вы сами знаете... Нет, это совсем не дворянское дело... То есть, вы понимаете, что я хочу этим сказать?..

— Отлично понимаю. Только что же делать, за что же браться? Ведь надобно же чем-нибудь жить?

— Я не знаю... Только это не наше, то есть не для нее это дело.

— Ну, а вы как же? Ладите с заказчиками?

— Я что? Конечно, лажу. Если бы она меня одну оставила и не выскакивала сама в магазин, у нас, право, пошло бы дело. Поговорите вы ей об этом! Знаете, стороной, между прочим, только не покажите, что это вы от меня знаете...

— Очень щекотливое поручение вы мне даете.

— Ничего, она вас любит и, может быть, послушает. Ведь это для ее же пользы. Пожалуйста, я вас прошу...

— Ну, а Михаил Михайлыч не пробовал пристроиться на службу или заняться чем?

Лиза горько усмехнулась:

— Вы ведь его видели?

И в самом деле, я сделал глупый вопрос. Ну, каким делом может он заняться?..

Года четыре тому назад я опять попал в этот же городок. Я знал, что и Михаил Михайлыч и Надежда Петровна уже умерли. Он от удара, она от водянки. Магазина уж не было. Я слышал, что Лиза служит чем-то во вновь открытом женском городском училище, и отыскал ее там. Ко мне вышла до невероятности худая девушка, с желтым лицом, с синими, даже и не с синими, а с какими-то сине-желто-серыми кругами под глазами, как бывает от ушибов. Я едва узнал ее.

— Я чуть было не умерла, — сказала она, — но теперь мне лучше. Вот, бог даст, придет весна, я совсем поправлюсь...

Мы долго говорили. Вспоминали стариков, вспоминали «тихую пристань»...

— «Тихая пристань»! ведь выдумали же назвать!

В день отъезда я опять зашел к ней проститься. У меня было что-то вроде предчувствия, что я больше уж не увижу ее.

— Вы в Петербург едете? — спросила она.

— Да, на месяц, а там думаю пробраться за границу...

— У меня к вам маленькая просьба, — нерешительно начала она.

— Сделайте одолжение. Что прикажете?

— Вот видите... Я ведь много уж, кажется, испытала. Хочу еще одно испытать...

— Что такое?

— Вот что: я попробовала написать маленький рассказик... это про нас... как вот мы жили...

— Отлично, — ободрил я ее.

— Нет, вы еще не знаете, отлично ли... У вас, кажется, есть знакомые писатели. Отдайте им, может и напечатают. Только, ради бога, чтоб не поправляли. Или все, или ничего...

Я, разумеется, взялся передать. Когда я пришел домой, я прочитал эту тетрадку. Написано уж слишком наивно-горячо. В большом журнале, куда я обратился сперва, у меня не приняли, да я и не рассчитывал, что примут. Я напечатал этот ее рассказ в одной из новеньких газет, очень задорной, и ей выслали какой-то грошовый гонорар...

В ту же весну и она умерла в чахотке...

Очень многие из «нас» кончили так трогательно. Можно сказать, даже большинство кончало так или почти так. Но, разумеется, были и счастливые исключения. Есть люди, которые причалили к настоящей пристани и если не наслаждаются жизнью, как им следовало бы по прежним правам, то и не несут особенных лишений, не бьются из-за куска хлеба. Я знаю очень много таких примеров. Дворянское звание им тут иногда бывает несколько неудобно, но более умные и практические над этим не только не задумываются, но даже самое это неудобство обращают себе на пользу.

Был у нас один драгунский штабс-ротмистр Стратон Алексеич Бубнов, или, как его все называли, Бубновый. Это был человек довольно состоятельный. служил прежде

на Кавказе и лет десять подряд был ремонтером. Лошадей он покупал, разумеется, в наших же краях и у заводчиков и у барышников. Кутила был отчаянный, жевал рюмки, ел всякую гадость, удивительно счастливо играл в карты, был ранен на войне в правое бедро (в мягкую часть) и на дуэли в плечо (тоже в мягкую часть). Эти раны его все мы видели по нескольку раз, и уж бог его знает, правда ли или притворялся он, только иногда в ненастную погоду жаловался на них, волочил как-то ногу и носил руку на черной перевязи. У него и ордена были всякие, даже какие-то немецкие, но он носил только Владимира в петлице. В штанах у него всегда был засунут громадный бумажник, битком набитый пачками мелких ассигнаций, не выше десятирублевок. Он был вдов и имел дочь, которая года за четыре до 19-го февраля вышла замуж за нашего помещика. В тот же год они рассорились с зятем, и, помнится, все говорили, что он, то есть Бубновый, надул его: обещал дать в приданое за дочерью хутор и ничего не дал. В свое оправдание он обыкновенно только спрашивал: «А когда я умру, возьму разве что-нибудь с собой? Все ей же с мужем останется!»

Вообще его любили, и эта история с зятем нисколько ему не повредила в общем мнении.

У него всегда можно было «перехватить» денег — не много, а так сотни две-три. Были между нами и такие, которые были ему должны тысячи по две, по три. Эти, уж разумеется, платили ему проценты, но какие-то самые ничтожные. В любовном отношении он не был, подобно иным, необуздан и обходился одной Настюшкой, своей же «крепостной девицей», с бедрами и «фронтоном» (его выражение) удивительно развитыми. Слухи об эмансипации, потом слухи о скором «объявлении» и, наконец, самое даже «объявление» особенно не тревожили его. Когда потом мы собирались на выборах и рассуждали о значении дворянства и об известной грамоте императрицы Екатерины, он никогда в эти рассуждения не вмешивался, но ужасно горячился, бил себя в грудь, как-то особенно выворачивал белки и начинал говорить о своих ранах. Потом, обедая в этот день где-нибудь в трактире, вдруг спрашивал шампанского и совершенно неожиданно предлагал тост «за русское дворянство!» Тут он очень много говорил о дворянстве, но это все было до такой степени туманно

и бессвязно, что его не понимали даже лучшие наши ораторы и специалисты по этой части. Всё больше восклицания одни были. За распитое нами вместе с ним шампанское он никому не позволял платить и потом долго вспоминал о том, как славно мы в этот день урезали. Мы все, конечно, помнили, что это урезание было оплачено им, и потому выходило не то чтобы неловко, а как-то скучно.

«Мы» все ужасно врем, и не только об охоте, а вообще врем — это уж от воды или от почвы черноземной с нами. Но «мы» врем вообще добродушно, без задней мысли, просто по привычке и даже по вдохновению. Он, разумеется, тоже завирался, но у него во вранье звучала какая-то неприятная нотка: ему все хотелось — это неуловимо чувствовалось — как можно подешевле произвести больше эффекта. Такое именно впечатление он производил и на меня и, кажется, на многих других. Всегда было что-то подозрительное в его ширине и размахе. И потом, так вот и казалось, что он сейчас выйдет в другую комнату и начнет пробки считать.

«Объявление», как я уже сказал, он встретил довольно спокойно, гораздо по крайней мере спокойнее очень многих. В таком же точно спокойствии он продолжал пребывать и тогда, когда почувствовался недостаток в рабочих руках. Мы начали метаться, выписывать немцев, машины, нубийский ячмень, мекленбургских баранов, а он просто «заложил» часть земли, которую не по силам было обрабатывать, и зимой возил и продавал в город сено. Очень умно и практично поступил по тому времени. На наши «опыты» с бутеноповскими машинами его приглашали, он всегда приезжал, восторгался ими, но ни одной себе не купил.

— Отчего же вы не купите себе, не заведете? — бывало, спрашивали мы его.

— А зачем мне? Я одинокий. Вот после меня все дочери достанется, тогда пусть они с зятем и заводят все это.

Мы находили, что он, пожалуй, и прав, и продолжали его приглашать на опыты, а он продолжал восторгаться ими.

Но перст божий тяготел и над ним, как и над всеми нами. Мы прогорели с рациональным хозяйством, а он подавился вот этими самыми земельными банками, что были

основаны у нас «для воспособления справедливым нуждам стесненного землевладения и земледелия». Подавился он вот как.

В прошлом очерке я рассказывал, что вначале, когда «мы» директорствовали в поземельных банках, там можно было получать под имения ссуды чуть не вдвое большие против стоимости имения, которое закладывалось. Понятно, ловкие и практические люди очень скоро смекнули, что это очень вкусная операция, если повести ее как следует, правильно... Поняли и начали скупать в изобилии продававшиеся тогда помещичьи владения и потом закладывать их. В числе уразумевших эту финансовую комбинацию был и Бубновый. Но он чуть-чуть опоздал. Имения-то он купил, но в банках пошли уж другие порядки, — он и сел как рак на мели. Скоро подошли сроки платежей, денег у него своих не хватало, и он кончил тем, что должен был продать даже и свое собственное родовое поместье, лишь бы развязаться. Тогда у него остался в городе очень хороший, но все-таки деревянный дом и тысчонок пять денег. Туда, в одну из квартирок своего дома, он и переехал. Но время от времени проявлялся между нами и в уезде. Имение у него купил какой-то из Подугольниковых, и — это чуть ли не единственное исключение — он сохранил с ним настолько хорошие отношения, что из города всегда приезжал прямо к нему, в свою бывшую Бубновку, и уже отсюда совершал потом свои экскурсии по соседям. Его все очень охотно принимали; он проживал по неделе, по две, просил, чтобы ему дали лошадей до такого-то соседа, ехал к нему и точно так же и у него застревал на неделю или на две. Летом Настюшка приезжала в Бубновку к Подугольникову, привозила с собой сахар и сколько угодно варила варенье. В штанах у него по-прежнему был засунут тот же огромный складной засаленный бумажник и тоже по-прежнему был набит пачками мелких ассигнаций. Одним словом, он был между нами в одно и то же время и прогорелый и как бы не прогорелый. Когда мы съезжались на мировой съезд или на земское собрание в город, он был постоянно в нашем кругу и нисколько не стеснялся поставить бутылку и две шампанского. Точно так же можно было и «перехватить» у него сотняшку-другую.

— Ему что! Одна голова не бедна.

— Помилуйте, а дочь-то?

— Что же дочь? Дочь замужем: у них свое есть имение.

— А где же приданое-то?

— Ну, это уж их дело: свои люди — сочтутся.

В эти же приезды наши в город он всегда угощал нас у себя дома необыкновенно вкусно приготовленными в сметане грибами, которые удивительно запекала Настюшка. Ну, решительно все шло по-старому. Вся разница была лишь в том, что казалось, будто теперь он заживается в городе дольше, чем прежде, — и только.

У нас ужасно скучный уездный город, хотя и один из самых богатых в губернии. До последнего времени не было ни сада, ни бульварчика, где бы можно было погулять, подышать хотя сколько-нибудь не пыльным воздухом. Его превосходительство — не теперешний, а прежний, — когда, объезжая для ревизии вверенную ему губернию, посещал нас, то всегда спрашивал:

— Неужели, господа, вам не стыдно, что у вас даже общественного гулянья никакого нет? Ведь город, кажется, богатый?

— Ничего-с, богатый... — докладывал исправник.

Мы же хотя и стыдились, но ничего не предпринимали. И так было не один раз.

— Ведь вам, я думаю, скучно? — продолжал он нас усовещивать и расспрашивать.

— Скучно, ваше превосходительство... Так скучно, — отвечал городской голова, — что осмелюсь даже, если позволите...

— Говорите, говорите...

— Наш козел при пожарной команде приучился у солдат водку пить и так к ней пристрастился, что недели две из кабака не выходил, а вчерашнего числа уж бог его знает как попал на колокольню и при всем народе сбросился оттуда... Надо полагать, от скуки. [1]

Его превосходительство, разумеется, хохотал, опять повторял, чтобы мы себе устроили какое-нибудь

---

[1] Истинное происшествие, как и все, впрочем, о чем здесь говорится. *(Прим. автора.)*

увеселительное заведение, и с тем и уезжал. На будущий год повторялось то же самое, и все толку не выходило.

Несколько лет назад оказалось, что это происходило вовсе не от того, чтобы мы были мрачного характера и чуждались увеселений, но потому, что до сих пор не находилось между нами человека «с частной инициативой». Увеселяться же мы всегда были рады, несмотря ни на какие напасти и беды.

В тот год, когда появилось у нас это усовершенствование, я засиделся очень долго в Петербурге и приехал в родные палестины уж поздно, в конце июня. Прежде чем попасть в деревню, мне надо было дня па два остаться в нашем городе. После обеда в «Северной Пальмире» я услыхал, что обедавшие рядом со мною собираются ехать в «сад». «В какой же такой сад? — подумал я. — Это что за новость?» — и спросил лакея.

— Стратон Алексеевич открыли.

— Где же это?

— А изволите знать монастырскую рощу?

— Ну?

— Так вот в ней-с.

— Как же монахи позволили?

— А уж это они так всё подстроили, что им разрешили. Конечно, всё деньги-с... а потом, сделали пожертвование, вклад...

Разумеется, поехал посмотреть, что за штуку он устроил.

Стратон действительно очень хитро провел монахов при помощи какого-то «отчуждения» части их рощи и теперь обнес это место забором, расчистил дорожки, посыпал их песком, выстроил эстрадку, полдюжины беседок, наставил скамеечек, повесил фонарики, привез из Москвы хор немок, одел их в куцые платья с невозможно вырезанными лифами — и пошла писать.

Когда я приехал, сад был уж битком набит. Все «мы», кто только был в городе, были там в полном сборе. Я прошел несколько шагов и прямо наткнулся на целую компанию «наших», заседавших за тремя-четырьмя сдвинутыми вместе столиками. Стратон сидел с «нами» же и командовал, чтобы подавали скорей то, что заказывалось кем-нибудь из заседающих. Он был совершенно на своем

месте. Понятно, я сейчас же попал в объятия. Стратон меня чуть не задушил, облобызал раз пять и повел показывать «заведение». Обошли всё. Я, конечно, хвалил, и мы вернулись к столикам.

— А Касандру видели?

— Это что за Касандра?

— Ах, батюшка! Это прелесть! Стратон! что ж ты его не познакомил?

— Она одевается. Сейчас петь будет.

— Посмотрите, посмотрите. Вот так женщина!

Действительно, скоро на эстрадку вышла сверху и снизу до последних пределов сголепная немка и запела «Du hast Diamanten und Perlen...» [1] Раздались «Браво, бис!» — а наконец, и чисто лошадиное ржание.

— Стратон! — кричит кто-то. — Ну что за мерзость эти штаны у ней? На кой их черт?..

Стратон улыбается, качает головой и грозит приятельски пальцем.

— Нет, серьезно, ну зачем?

Касандру заставили пропеть еще какую-то любимую песенку, и она, наконец, ушла одеваться.

Я просто любовался Стратоном. Он до того вошел в роль, что изменил даже манеры: теперь он удивительно походил не то на фокусника, не то на полномочного метрдотеля французской петербургской гостиницы. Только владимирский крест, болтавшийся у него на борту сюртука, портил «иллюзию».

— Нет, в самом деле, оно, конечно, не бог знает что, а по крайней мере есть где подышать чистым воздухом, послушать музыку, пение... — говорили «наши». — И за то тебе, Стратон, спасибо.

— А вот скоро приедут две француженки из Москвы... — и он щелкнул языком.

— Настоящие?

— Настоящие.

— Не врешь?

— Чудак! зачем же врать! Разве нельзя будет узнать, настоящие они или нет?..

Между прочим, мы коснулись здесь также и вопроса о том, прилично ли или неприлично заниматься «таким

---

[1] «У тебя бриллианты и жемчуга...» *(нем.)*.

делом» дворянину? «Мы» решили, кажется, что, принимая во внимание, что Стратон, во-первых, вдовец, а потом уж не помещик больше, то отчего же не заняться: дурного тут ведь ничего нет?

— Я честным трудом зарабатываю мой хлеб. Я все потерял, и разве было бы лучше, если бы я теперь протягивал руку за подаянием?.. — благородным жестом ударяя себя в грудь, говорил Стратон, и «мы» с ним соглашались.

Наконец это мне надоело, и я уехал.

В течение лета я был еще раза два в городе и как-то опять попал к нему. Те же немки, но уж с придачей двух шибко подержанных, безголосых француженок и трех-четырех жидов с музыкой на стаканчиках. Опять все «мы» были в полном сборе у Стратона.

— Его превосходительство были у меня, когда были здесь на ревизии.

— Ну и что ж, — понравилось?

— Для первого начала, говорит, и это хорошо.

— Конечно, теперь козел уж не бросился бы с колокольни. Вы бы его не выжили отсюда...

— Какой вы насмешник! — И он приятельски потрепал меня по бокам.

— Вы бы что-нибудь для них придумали и к зиме. Зимой ведь еще скучнее, — посоветовал я.

— Думаю-с, думаю. Только ведь это больших затрат будет стоить.

— Каких же? Наймите попросторнее помещение, напустите туда этих вот немок, жидов, и отлично пойдет.

— А-а, нет-с! Это совсем не то будет. Это можно на чистом воздухе, а там кабак выйдет. Мне это неприлично. Я, конечно, хоть и разоренный, но все-таки дворянин, и потом... — Он взялся пальцами за свой крест и многозначительно оттопырил губы. — Нет-с, я хочу исходатайствовать у его превосходительства разрешение на что-нибудь вроде этакого маленького какого театрика, ну и чтобы танцы были, как в клубе...

Я знаю, что он и в самом деле исходатайствовал нечто по этой удивительной программе, и всю осень и зиму «наши» там развлекались.

Когда осенью я уезжал в Петербург и был проездом в городе, мне не удалось побывать там, но я слышал, что он действительно сделал большие затраты. Потом уж в Петербурге мне кто-то из наших говорил весной, что Стратон прогорел на этом театре.

Следующее лето я опять был в деревне, и через два или три дня по приезде у нас было назначено какое-то земское собрание, на которое я должен был поехать. «Для удобства», то есть чтобы не мешать другим делать, и «от жары» летом мы собираемся в земство по вечерам. Лорды в палате заседают даже ночью; отчего же нам нельзя заседать вечером?

Помню, что, между прочим, у нас шла речь о школах, читался какой-то отчет или проект. Потом перешли к известному циркуляру графа Толстого, поручившему «нам» следить за развитием юношества и вообще за обращающимися у нас идеями, и очень долго спорили об этом. Одни находили, что, принимая во внимание наше оскудение, нельзя допустить и мысли, чтобы это обращение к нам было серьезное, что это простая любезность со стороны графа — и только. Другие, напротив, не отвергая и любезности, находили, что это очень важный «шаг».

Наконец часу в одиннадцатом все отчеты были утверждены, проекты приняты, мнения согласованы; захотелось ужинать. Куда ехать?

— Да поедемте к Стратону. У него теперь только начинается. Вы поедете?

Ничего не подозревая, я согласился, думая, что попаду опять в его сад. И вот человек двадцать «нас», с премьером во главе, прихватив с собой двух или трех купцов, исправника и еще кого-то, уселись в экипажи и тронулись в путь. Я ехал с нашим мировым посредником, исправником и еще одним помещиком.

— Нет-с, какие, я вам доложу, у него спальни, так ведь это хоть бы в столичном заведении, — начал исправник.

— Как спальни? Какие же спальни в саду? — удивился я.

— В каком саду? Не в саду-с, а в заведении.

Я ничего не понимал. Про какие это он спальни мне рассказывает.

— Да-с. Это он с весны открыл... Этих самых немок он...

— Так зачем же мы едем туда? Я не поеду, — заупрямился я.

— Ну вот, что за вздор. Ведь и мы все так только, для одной шалости. Ну, выпьем там у него. Он нас грибами угостит. Конечно, он за такое дело взялся... а ведь он рубаха, душа человек!.. Вы думаете, он наживает что? С нами же пропивает!

«А и в самом деле, отчего же и не посмотреть? — сообразил я. — Где этакую картину увидишь: настоятель китайского монастыря принимает и угощает у себя чуть не в полном составе все земское собрание после дебатов о воспитании юношества!..»

— И как он их содержит! — продолжал похвалять его исправник. — Провизия какая им идет! Он забирает в той же лавке, где и я, так приказчики просто не надивятся: все первый сорт требует...

— Да он, я вам говорю, душа малый, — поддакивал сосед.

— Ну, а его превосходительство-то, когда был у вас весной на ревизии, узнал об этом?

— Как же-с, доложили...

— И что ж?

— Ничего-с. Не ожидал, говорит, что он будет в этом направлении...

Стратон нас встретил с самым «легким сердцем». Он по-прежнему со всеми почти был на «ты». Мне показалось только, что он как-то обрюзг, в лице явился отек от постоянного пьянства и бессонных ночей. Крестик висел по-прежнему.

— А я, признаться, вас поджидал сегодня. Ну, куда, думаю, они денутся? Ужинать если — так ведь это и у меня можно заказать: не хуже чем в Пальмире приготовят. Вчера нового повара нанял, — весело рассказывал он.

«Мы» объявили ему, что и в самом деле голодны и чтобы он распорядился и насчет закуски и ужина.

— Грибы чтоб были!

— Вели хорошенько запечь!

— Уж не посрамим себя!

Он щелкнул языком, крякнул и пошел распорядиться. «Мы» между тем разбрелись по комнатам, осматривали, одобряли. Исправник предложил сходить «наверх» посмотреть. Это услыхал возвратившийся к нам Стратон и уж стал не предлагать, а почти требовать, чтобы мы отправились «наверх», и, предшествуемые «радушным хозяином», мы начали гуськом подниматься по крутой деревянной лесенке.

— Я прежде всего обращаю внимание на чистоту и на воздух, потом на пищу, — объяснял он. — «Девица» — тот же человек и должна быть обута, одета и сыта. Иначе от нее и требовать ничего нельзя...

Когда мы осмотрели все заведение во всех подробностях, «радушный хозяин» предложил нам закуску в ожидании грибов и прочего ужина. Очень хорошая была закуска. Грибы и цыплята, когда их, наконец, подали, тоже оказались превосходно приготовленными. «Мы» ели и одобряли.

— И хорошо это у вас идет? — спросил я.

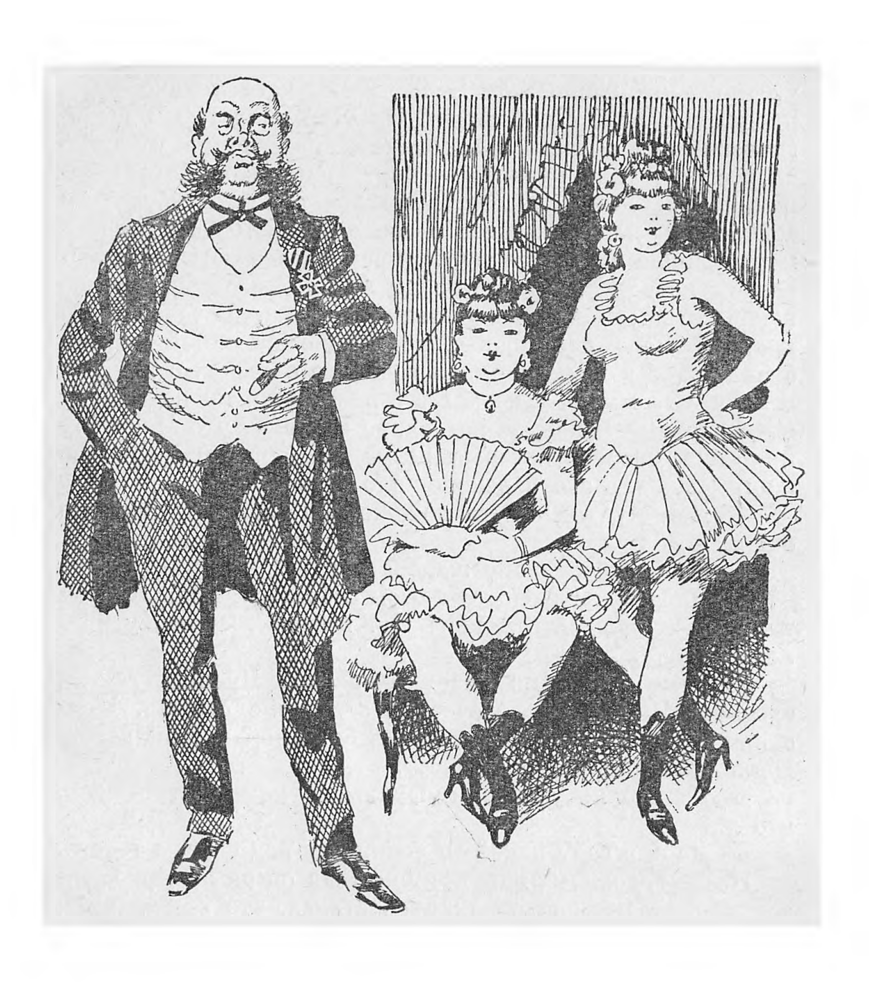
— Слава богу; кормиться могу, не обижаю людей... Оно, конечно, другой бы на моем месте втрое получал бы, но я не могу-с. Нет-с, мы «торговать» как следует не можем. Не наше дело. Вы спросите их, худо ли им у меня жить? Вот эту черненькую-то, что у зеркала сидит, на той неделе выкупил Подугольников, так что же-с? Не прожила на воле и пяти дней — сюда же пришла. «Мне, говорит, Стратон Алексеич, у вас было как в раю жить...» Плачет, просится... Ну, знаете, из жалости принял...

Когда мы все поели и хорошо выпили и стали собираться по домам, нам подали счет, совершенно как в гостинице.

— Ну, а ты отчего в мою пристань никогда не причаливаешь? — спросил он исправника.

— Да вот теперь будет посвободнее после ревизии, буду заглядывать почаще.

На другой день я видел Стратона в городе (его «пристань» за городской чертой); с ним все раскланивались публично, нисколько, по-видимому, не шокируясь его знакомством.



Верстах в десяти от меня есть село Покровское. Очень недавно — всего каких-нибудь семь-восемь лет назад — оно принадлежало некоему Порфирию Ивановичу Чемезову; теперь, разумеется, принадлежит Подугольникову. Чемезов был один из тех странных людей, которые, доживая до седых волос, остаются способными на какое угодно вертопрашество. Я не знаю, чего только он не проделал в этом Покровском. Он устраивал там и зоологический сад, и цирк, и водолечебное заведение, и какие-то механические кузницы — черт знает что. Читает какую-нибудь книгу, газету, вычитает там что-нибудь — и сейчас ему подавай. Идея о зоологическом саде, например, пришла ему в голову, как сам он это нам рассказывал, по поводу прочитанного им в газете известия, что из какого-то зверинца где-то вырвался лев. В течение по крайней мере полугода я не помню ни одной встречи с ним, чтобы он не начинал говорить о львах, о клетках и проч. Эта мысль угнетала его постоянно, ни на минуту не давая ему покоя. И вот вдруг слышим, что Чемезову привезли зверей, которые ревут на барском дворе всю ночь. Известие это переполошило весь уезд.

— Помилуйте, на что похоже! Он их сдуру нарочно еще выпустит.

— Надо губернатору жаловаться.

— Надо к предводителю всем собраться. Ведь эдак он что народу погубить может! Ну! избави господи, у него лев выскочит...

За зиму все звери подохли однако. Прошло с год, слышим, Чемезов водолечебное заведение открыл. Приехали какие-то немцы и лечат всех одной чистой водой. Пить дают и потом окачивают.

— Да что ж, у него минеральные ключи открылись, что ли?

— Да-с, в саду какой-то родник из-под березы течет...

После водолечебницы — цирк. Был он на ярмарке, видел там наездников и так прельстился, что зазвал их к себе и сам начал учиться.

Когда «мы» занялись «рациональным хозяйством», он решил, что все эти бутеноповские машины ужасно дороги и потому он их будет делать у себя дома. Для этого он устроил механические кузницы. Но верхом совершенства было принятие магометанства. Эта история переполошила

уж не нас, а все власти. Я как сейчас помню испуганное лицо исправника, приехавшего ко мне прямо от него.

— Что с вами? — невольно спросил я.

— Помилуйте! Ведь и до беды недалеко. Это уж не шалости. Разве этим можно шутить?

— Да в чем дело?

— Все Чемезов! Вы слышали — магометанство принял!

— Как магометанство?

— Очень просто-с. Сам над собой, по ихнему закону, обрезание совершил, на голову чалму надел, да и сидит поджавши ноги... Уж мы его с попом уговаривали, уговаривали — ни за что, говорит, не вернусь в православие. Вот как выздоровею, поеду, говорит, в Москву и привезу себе оттуда жен... Не знаю, что и делать! Надо его превосходительству донести... Поп к благочинному поехал. Они архиерею напишут...

Дня через два я был в той стороне на охоте и заехал к Чемезову. В самом деле, сидит поджавши ноги, голова повязана платком в виде чалмы, в зубах трубка, на коленях книга: «Жизнь Магомета» Вашингтона Ирвинга.

— Что это за фантазия у вас? — говорю.

— Нисколько не фантазия.

— Как же так ни с того ни с сего... вдруг?

— Нет-с, я уж давно об этом подумывал.

— Правда ли, что вы обрезание совершили?

— Правда! Что это вас всех удивляет?

— Как что, помилуйте!

— Не понимаю...

В магометанстве он пребывал, однако, недолго: месяца два или три.

— Надоело?

— Нет, не то чтоб надоело, а там, в коране, глупостей уж очень много...

— Так только понапрасну, значит, испортили себя?

— Это ничего, это ведь...

И все это он проделывал, будучи уж лет пятидесяти, если не больше.

Да не подумает читатель, что я рассказываю про какого-нибудь сумасшедшего. Нисколько. Он был у нас вовсе не единственный в этом роде. В нем только ярче проявилась «наша» общая черта. Один выкапывал пруд

перед домом и потом строил через него мост. Другой строил при въезде во двор триумфальную арку и т. п. Прочтите воспоминания бывшего губернского предводителя, князя Ю. Н. Голицына («Отеч. зап.», 1870 г.), что он выделывал — а разве он был сумасшедший?.. Да притом же князь и десятой доли не рассказал своих начинаний и предприятий... Точно так же не был сумасшедшим и Чемезов.

Все эти эксперименты стоили, разумеется, денег, и иногда сравнительно очень больших. Покровское досталось ему от отца уж заложенным в опекунском совете. Когда открылись «с воспособительной целью» частные земельные банки, он перезаложил его в одном из них и дополучил разницу, что-то около пятидесяти или шестидесяти тысяч. И, кроме всех упомянутых сейчас дурачеств, они все почти ушли еще на заведение тонкорунного овцеводства, на немцев, машины и «рациональное хозяйство».

Когда, таким образом, и выкупные и ссуда были покончены, — он, подобно всем нам, обратился к частному кредиту, то есть к Подугольниковым и Сладконевцевым. С ними он пропутался года два или три, и Покровское с аукциона попало к одному из Подугольниковых.

У Чемезова была сестра, девица почти одних с ним лет. У нее недалеко от Покровского было небольшое именьице, то есть небольшое сравнительно с Покровским, но во всяком случае дававшее ей тысячи две или три годового дохода. Туда он теперь и переселился.

Все «мы», конечно, пожалели, узнав об его несчастии: он был очень добрый человек и отличный, тихий сосед.

— Это еще слава богу, что ему на старости лет такая тихая пристань нашлась.

— Зла только ведь она непомерно.

— Все-таки не чужая — сестра!

— Это конечно.

С барышней Чемезовой я хоть и был знаком, встречаясь у соседей, но у ней никогда не бывал. С Чемезовым у меня тоже никакой особенной дружбы не водилось; он же, как попал к ней, никуда не стал показываться, и я его года три не видал.

Раз поздней осенью, в конце октября, возвращаясь с охоты, я ехал мимо их усадьбы. Вдруг лошадь чего-то

испугалась, подхватила и понесла; я вывалился в канаву с водой и, что называется, до костей промок. Из усадьбы выбежали люди, лошадь поймали, но ехать десять верст мокрым я побоялся и стал спрашивать, где бы пообсушиться.

— Да вы, сударь, лучше бы у нас переночевали, — предложил кто-то из людей, помогавших нам поймать лошадь.

— Конечно, хорошо бы, да я у вашей барышни никогда не бывал.

— А вам к ним зачем же? Мы вас прямо к Порфирию Иванычу в комнату проведем. Там чайку можно заварить и все такое...

Я подумал, согласился и пошел вслед за каким-то самого жалкого вида человеком, взявшимся меня проводить.

— А Порфирий Иваныч здоров? — спросил я.

— Ничего-с, слава богу.

— А барышня?

— И барышня здорова.

Домик у них был небольшой, низенький, довольно длинный. Окна уж были заперты ставнями, так что нельзя было видеть, есть ли там свет или нет.

— Может, уж спать они легли? — спросил я.

— Нет-с, помилуйте! Порфирий Иваныч почти всю ночь сидят.

— Что же он делает?

— Читают, пишут-с, коробочки клеят...

— Какие коробочки?

— Разные-с; а потом в городе продают их. Этим они и живут-с.

— То есть, как этим? Коробочками?

— Так точно-с.

Жалкого вида человек, когда взошли мы на крыльцо, постучался в дверь. Изнутри послышался женский голос:

— Кто там?

— —ский барин к Порфирию Иванычу.

И в передней опять все стихло. Мы простояли по крайней мере минуты две или три. Холодный ветер, да еще вся мокрая одежда, — я совсем продрог.

— Может, они и в самом деле спать легли? Я бы лучше в избу к вам пошел.

— Нет-с, как можно. Сейчас отопрут.

Действительно, скоро послышалось топанье босых ног, потом щелкнул крючок, и какая-то девчонка лет пятнадцати отворила нам дверь, держа в одной руке высоко поднятую над головой сальную свечку. Она так и отшатнулась, когда увидала мою мокрую, всю залепленную грязью фигуру.

— Это кто же будет? — спросила она моего провожатого.

— Это они и есть, —ский барин, — ответил он.

— Вы уж не удивляйтесь, а проводите меня лучше в комнату к Порфирию Иванычу, — сказал я.

Девочка еще раз посмотрела на меня и повела куда-то по коридорчику.

— Вот они — тут, — сказала она.

Я отворил дверь в довольно просторную комнату, слабо освещенную одной сальной свечкой, стоявшей на каких-то подмостках, вроде тех, что употребляются штукатурами, когда они белят потолки. Множество бумажек, картонных обрезков валялось на полу, на этих подмостках, на столе. В комнате был какой-то сыроватый запах не то плесени, не то краски. Посреди ее стоял в ситцевом ваточном халатике, запахиваясь и поправляясь, Порфирий Иваныч.

— Пожалуйте, милости прошу, садитесь, — говорил он, указывая рукой на стул.

— Вы извините меня, что я в таком виде и в такую позднюю пору, — начал я извиняться, — я ведь весь мокрый.

— Осенняя погода-с. На охоте были?

— Нет, это уж не погода; я у вас в канаву упал.

— Поскользнулись? — И он собрался усаживаться на стул.

Он был какой-то словно одичалый, оробелый, и притом страшно исхудавший. В лицо я бы его, разумеется, всегда узнал, но меня поразила перемена в манерах, в речи, в выражении лица. Явилось что-то детское — улыбка, например, — и потом что-то жалкое, невыразимо жалкое, молящее.

Мне вдруг стало досадно на себя. И зачем это я попал сюда? И им помешал, и мне не будет у них покоя. Лучше бы обсушился в простой избе, и делу конец.

— Вы извините, я вам помешал, кажется? — спросил я. — Вы занимались?

— Чем-с? Нет-с, это я так, от скуки...

Что же это он не предложит ни обсушиться, ни чаю, ни водки? Неужели надо напоминать? Я повременил еще немного. Ничего, молчит. Ну, спрошу сам.

— Порфирий Иванович, можно у вас обсушиться?

— Отчего же-с? Только вот печка у нас сегодня не топлена... — И опять молчит, глядит и робко улыбается.

— А нельзя у вас чистого белья достать?

— То есть, как вы сказали?

Я повторил.

— Это надо у сестрицы спросить...

— Ну-с, а водочка есть?

— Вот-с уж этого не могу вам сказать; это надо тоже у сестрицы спросить... — И ни с места.

Я еще немного помолчал. Меня это начало уж злить.

— Так нельзя ли у сестрицы-то спросить? я, ей-богу, весь мокрый насквозь...

— Как же-с, как же-с. Можно. Я сейчас Ульяшу позову. Ульяша, а Ульяша! — тихо, как-то шепотом, позвал он ее, немного приотворяя дверь.

— Вот она-с, — указал он мне на вошедшую девочку, ту же самую, которая меня впустила.

— Спросите, милая моя, нет ли где у вас водки да нельзя ли мне хоть какую-нибудь рубашку достать? — обратился я к ней.

— У барышни спросить?

— Уж я не знаю. У кого хотите, только достаньте.

— У барышни, конечно у барышни. Все у нее... — подтвердил Порфирий Иваныч.

Ульяша подумала немного, что-то проговорила и вскоре принесла мне чистое Порфирия Иванычево белье.

— А водки, барышня говорит, — нет. Она приказала сказать, если хотите — муравьиный спирт у них есть, а больше ничего нет.

— Да мне не натираться; мне выпить надо, чтоб согреться.

— В этих случаях перцовка... лучше нельзя! — вдруг как-то неожиданно сказал Порфирий Иваныч. Я оглянулся на него.

— А разве у вас есть перцовка?

— Перцовка есть. Один день я натираю ногу муравьиным спиртом, а другой — перцовкой. Потому, от муравьиного спирта...

— Так дайте же мне, ради бога! — чуть не взмолился я.

— И потом чайку?

— Да вы пока хоть водки-то дайте.

— Сейчас, сейчас; водка у меня здесь, и чай у меня есть.

Он вдруг точно проснулся, ожил и начал суетиться. Принес перцовку, сказал Ульяше, чтобы как можно скорее самовар ставила. Я смотрел на него и удивлялся этой неожиданной перемене. Когда, наконец, все он собрал, принес и поставил, то сел и стал на меня смотреть и улыбаться.

— А вы меня извините... ведь я вас сейчас только узнал. Смотрю: лицо знакомое, а кто, не могу припомнить... Честное слово.

«Господи, уж не тронулся ли он?» — невольно подумал я.

— Ей-богу-с... уж сколько времени не видались.

Я переменил белье, он дал мне накинуть какой-то барашковый тулупчик. Ульяша принесла самовар, посуду; я выпил стакан перцовки, и сразу стало как-то светлей и теплей. Мы оба уселись возле самого самовара. Порфирий Иваныч тщательно перемыл и вытер полотенцем чайник, стаканы, блюдечки. Потом развязал и раскрыл четвертку чаю и осторожно ложечкой стал брать его оттуда и сыпать в чайник, словно боясь потерять каждую порошинку.

— Теперь отлично чайку напиться, — начал он будто про себя. — Я раз пять его в день пью... согреваюсь...

— У вас тут сыро. Надо чаще топить.

— Это уж не мое дело-с.

— Как же не ваше? Чье же?

— Это уж как сестрица. — Он немного помолчал и улыбнулся.

— Знаете, и вы бы перцовочки выпили, — посоветовал я.

— Нет-с. Ни водки, ни вина я не пью. Мне пить? Нет! Мне ни под каким видом пить не следует.

— Отчего же? Немного — это даже полезно.

— Нет, нет, — точно испугавшись чего, заговорил он. — Вот чай — это дело другое. А водку? Нет, нет! В моем положении водку нельзя пить. Это может скверно кончиться! Только начни я... Вы, может, рому хотите? Это хорошо с холоду.

— А есть у вас разве? Дайте.

— У меня все есть...

Он где-то порылся в углу и достал чуть начатую полбутылку рому.

— Вы не жалейте, пейте больше. Это я держу на случай, если бы кто заехал когда.

— А у вас часто таки бывают гости?

— Нет-с, «с тех пор» — вот вы первый еще... это на святую у нас попы были с образами, так они отпили... тоже слабость.

— Отчего вы сами никуда не показываетесь? Ко мне бы когда заехали... Мы жили — не ссорились. А то ведь скучно все одному-то...

— Оно действительно... а с другой стороны...

— Что же с другой стороны?

— Покойнее.

— Ну, какое же это беспокойство проехать пять-шесть верст до соседа.

— Надо лошади просить... запрягать ее будут...

— Да ведь у вас же свои лошади?

— Это у сестрицы. У меня ничего нет... — И потом вдруг, точно спохватившись, что сказал то, чего не следует говорить, прибавил: — Мне ничего не нужно, я всем доволен, у меня все есть.

— Что же вы делаете? — продолжал я допытываться.

— Читаю, ну и другие занятия есть...

— Вы, говорят, удивительно хорошо... — я хотел сказать: «клеите коробочки», и заикнулся. Он испуганно смотрел на меня.

— Вот из этого, из картона, делаете...

— Это я так, для одного удовольствия... А вы что же, слышали?

— Ничего-с, вот только, как я вам сказал, хвалят все.

— Кто же это вам говорил? У меня никого не было, и я никому не показывал.

— Не помню уж кто, только я слышал.

Я никак не мог понять, почему это так его встревожило.

— Это только так, одно развлечение у меня. И кто это мог вам сказать?

— Право, не помню. Да что это вас так тревожит?

— Изволите видеть: это сестрице неприятно. Она дала мне приют, я ей всем обязан, всем я доволен, а про нее бог знает что рассказывают. Будто она для меня каждого куска жалеет, холодом морит... Это неправда. Это — мое дело. Я ведь никому не жалуюсь. Выдумали, что я на продажу коробки клею и этим только и живу...

— Но если бы и так, что ж тут дурного?

— Ничего дурного, только это не «наше» дело. Для этого есть мастеровые, ремесленники. Я могу благодаря сестрице прожить, нисколько не унижаясь...

— А разве клеить коробочки и продавать их значит унижаться, по-вашему?

— Нисколько-с, я это сам понимаю, а все-таки, знаете, «нашему брату»... как-то неловко...

— Эта пора прошла уж.

— Ах, не говорите, нет-с! Эта пора для «нас» никогда не пройдет.

— Ну тогда, значит, и пропадем все.

— Пропадем! Все пропадем. Это непременно! Вы попомните мое слово, все пропадем... — Он необыкновенно воодушевился, несколько раз переменил позу и тихонько забарабанил пальцами по столу. — Пропадем, непременно все пропадем, только не от этого! — продолжал он как бы про себя.

— А отчего же, по-вашему?

— Отчего-с? — переспросил он.

— Да, отчего же?

— Оттого, — начал он шепотом и наклоняясь ко мне, — что не «мы» стоим теперь у кормила правления...

Я уж никак этого не ожидал.

— Что вы, господь с вами, кто же кроме нас. И до сих пор всё «мы».

— Мы?

— Да, разумеется.

— Нет-с, не «мы». Позвольте вас спросить: где Скуратовы, где Воротынские, где Курбские, где они? Я вот на-

медни читал историю Карамзина и сделал, знаете, на память себе списочек... когда-нибудь пригодится...

Я смотрел на него: и жалок он был, и рассмеяться мне хотелось.

— Где же вы их будете теперь собирать, когда еще Иван Грозный половину их порешил.

— А отчего он их порешил?

— Разно толкуют.

— Нет-с, не разно толкуют. Оттого порешил, что они ему мешали.

— Да если бы и так; все равно, кроме их, «нас» еще довольно осталось у кормила...

Это минутное возбуждение у него вдруг прошло, он опять точно спохватился, как-то умалился, присмирел.

— Я ведь так это сказал. Оно, конечно. Я ничего... я всем доволен.

Мне хотелось попытать его дальше, и я сказал:

— Отчего же не говорить? Об этом можно; да нас никто и не слышит здесь...

— А для чего говорить? Ведь нас не послушают, если бы и услышали?

— Ну так для себя.

— А для себя «мы» всё и без того знаем...

— Вон Павел Глебыч говорит же. И намедни в земском собрании опять говорил об екатерининской грамоте...

— Ну и что ж хорошего? Все и смеются над ним.

Я еще что-то спросил. Он видимо неохотно ответил и стал предлагать еще чаю. Потом начал что-то рассказывать уж совершенно про другое.

Я смотрел на него и невольно вспоминал одно за другим все его предприятия: зоологический сад, водолечебницу, наконец магометанство. Все это прошло, и вот теперь клеит коробочки, потихоньку продает их и мечтает о Шуйских...

Мне приготовили постель с пуховиком и с холодной сырой простыней, провонявшей серым мылом. Я насилу согрелся в ней и кое-как заснул. Когда утром, часов в девять, я проснулся, Порфирий Иваныч был уже умыт, тщательно причесан, в том же коротеньком ситцевом ватном халате; он тихонько — очевидно, чтобы не разбудить меня — занимался вокруг самоварчика. В комнате было

необыкновенно светло, как это кажется всегда, когда выпадет первый снег.

— Что это, вы уж встали?

— Как же-с — я рано ведь встаю. С зимой поздравляю.

Я начал одеваться, умываться. Он налил мне чаю.

— А где мне теперь моего егеря отыскать? — спросил я.

— Он уж тут, приехал. Вы к сестрице не зайдете?

— В этаком уборе-то?

— А что ж такое? На охоте все бывает. Ведь вы к ней не с визитом приехали.

— Если вы находите, что можно?

— Так вы зайдете к ней?

— Отчего же, с удовольствием.

— Знаете, лучше так. А то она бог знает что подумает...

— То есть что же?

— Ну, что я вам жалуюсь на нее... продаю это вот... — Он не выговорил даже «коробочки». — И потом, вы не говорите ей, о чем мы вчера рассуждали. Она этого ужасно боится... Тут какого-то арестовали у нас — вы слышали? — Ну так вот с тех пор.

— Хорошо-с. Я ничего ей не скажу, — невольно улыбаясь, успокоил я.

— Нет, знаете, оно, может быть, и не опасно, а всетаки лучше быть осторожным-то.

— Разумеется.

— Так вы сейчас к ней пойдете? Она в гостиной.

Я допил стакан чаю, застегнул залепленную грязью венгерку и, стуча толстыми сапогами по старинному домашнему паркету, отправился к ней на сеанс.

«Сестрица» сидела в гостиной, тоже кушала чай. Перед ней вокруг самовара стояли сливки, булки, крендельки. По всем соображениям, я должен был признать, что это угощение приготовлено для меня, и она действительно начала потчевать. Я, конечно, не отказывался.

— Какая с вами неприятность-то случилась! Ведь эдак, избави господи, можно и до смерти ушибиться. Еще хорошо, что в воду упали, а если бы на сухое-то место? — начала она.

— Пустяки. На охоте все бывает.

— Ах, боюсь я этих ружей. Вон у меня в прошлом году Порфирий Иваныч тоже было вздумал с ружьем начать ходить, так запретила, боюсь.

— Что ж тут страшного? Ведь он не мальчик!

— Как что? А потом скажут: хороша сестра — приютила брата и усмотреть за ним не могла. На меня и то уж плетут бог знает что. Впрочем, что ж людей винить, когда мы сами про сестру родную готовы что угодно рассказывать. Я уж воображаю, что он вам про меня наговорил? — И она вдруг замолчала и уставилась на меня.

— Он вам, напротив, благодарен, помилуйте!

— Кто? Он-то благодарен? Вы его, значит, не знаете. И я поверю, что он вам меня не бранил?

— Даю вам слово.

— Не говорил, что он мне даже за комнату платит, что пьет, ест на свои деньги, что тем и жив, что заработает? Очень много на этих коробочках он может достать!

— Первый раз слышу от вас.

— И вы не шутите? — недоверчиво улыбаясь, но уж спокойнее спросила она.

— Нисколько.

— Ну, это удивление. А то всем, всем рассказывает.

— Да кто же у него бывает? Кому же он рассказать может.

— А я разве знаю, кто у него бывает? К нему можно пройти так, что и не услышат, особенно летом. Если подъехать к саду, потом перелезть через канаву, садом — и прямо в окошко... Он хитрый, он уж придумает. А то и так можно: выйдет он на дорогу и мало ли кого может там встретить и рассказать. Он и не такие еще вещи рассказывает. Его уж за этот язычок когда-нибудь заберут. Он вам ничего не говорил?

— О чем?

— А вот обо всем этом... нынешнем-то...

Я притворился, что совсем не понимаю, так что она мало-помалу успокоилась. Потом перешла в другой тон.

— Что ж, бог с ним! Он меня не объест. Мне бог пошлет за него, а умру — все ему же останется, с собой ничего не возьму. Бог с ним. Сколько я из-за него сраму приняла тогда, помните, как он вздумал магометанство-то принять! Помилуйте, на что это похоже! Сестра — девица, и вдруг такую подлость устроил. Ведь он обо мне

не подумал тогда, а когда господь его наказал, у кого он нашел себе тихую-то пристань?..

Я опять начал ее уверять, что он ей бесконечно благодарен.

— А коробочки эти он вам не продавал?

— И не видал даже никаких коробочек.

— Странное дело. Кому же это он делает?

— Не знаю уж.

— Вчера он уходил гулять в сад, так я так просто взошла к нему в комнату, без всяких, знаете, даже мыслей, вижу, шкаф отворен — он всегда его запирал, — а там три больших коробки стоят и четыре маленьких, и по всему видно, что это заказные...

— Не знаю-с.

Когда я отысповедался, раскланялся и уж уходил, Порфирий Иваныч из коридора поманил меня пальчиком:

— Ну что? спрашивала?

— Спрашивала. Я все, как следует, сказал.

Он молча пожал мне руку.

— Она, знаете, добрая, только такая... странная. Ну, идите, прощайте, — сказал он вдруг, — а то она вон уж смотрит из залы, беспокоится...

Лошадь моя была уж готова и стояла у крыльца. Выпавший за ночь снег ровно покрыл землю, и непривычному глазу даже больно было смотреть, особенно под солнце. Зима как есть.

— Если бы ночью еще хоть немножко подпало снегу — вот завтра была бы пороша-то! — сказал мне егерь, когда, стуча колесами по мерзлой земле, наша тележка отвалила, наконец, от «тихой пристани».

X
БРОДЯЧИЕ

Не все мы, однако, сумели найти себе даже и такие «тихие пристани». Очень печальны и грустны они, но есть между нами много таких, которые с завистью смотрят и на эти живые кладбища. Много нас осталось, как говорят мужики, совсем уж «на ветру». Эти ведут теперь жизнь чисто цыганскую: они положительно кочуют и по нашей губернии и вообще по всей России. Более смелые и предприимчивые проникают даже за границу, где уж одному богу известно, чем и как существуют. Я по крайней мере встретил двух таких — одного нашего, тамбовского, другого саратовского — в Париже, и сколько ни присматривался к ним, никак все-таки не мог понять, на какие средства они там живут. Денег они у меня взаймы не просили, да и профессиональной любознательностью не занимаются, как оказалось это по справкам. Славится наша губерния, между прочим, шулерами самой высокой школы, так вот разве этим? Но это, впрочем, одно предположение, а я не имею никаких данных утверждать, что «мы» пропагандируем эту специальность в Европе. А живут довольно сносно. Конечно, того апломба уж нет: ясный взор и загорелый румянец — все это осталось утраченным навсегда, но все же сохранились некоторые из особенно характерных привычек: «благородный образ мыслей», ширина размаха и, главное, те же плечи, то и дело вздрагивающие от привычки носить эполеты — привычки, воспоминания о которой, как известно, не покидают «по гроб нашей жизни».

Кроме Парижа, «наши» мне нигде не попадались. Одурелых и прогорелых соотечественников, конечно, везде много, но таких, которые бы «оставались на ветру» и жили за границей одной, так сказать, игрой ума, не получая ниоткуда никаких ресурсов, повторяю, кроме двух упомянутых выше, я не встречал. Говорят, их много попадается в Германии, в игорных городках. Там они будто бы водятся целыми станичками, как караси, лини, например. Я там ни разу не был и потому ничего не могу сказать об этом. Впрочем, очень может быть, что это и правда.

Оба индивидуума, виденные мною в Париже, оскудели в один и тот же год, лет десять тому назад, попали сперва в Москву, остановились там где-то в меблированных комнатах и ежедневно ходили к Гурину, в «Московский трактир», пока не проели все до последнего рубля. Потом около месяца ходили туда же «в кредит», и когда наступило время прекратить это занятие, они на очень короткое время вновь проявились каждый в своей губернии и в своем уезде и затем пропали из виду совсем. Я наткнулся на них в Париже лет через пять-шесть после этого исчезновения, и, как заметил выше, они утратили очень много из наших характерных особенностей. Даже «благородный образ мысли» — и тот несколько пострадал. Вообще они до того отстали от нас, что если бы их привезти на родину и вновь посадить в их Ивановки, то они не были бы обрадованы этим и всё озирались бы и оглядывались, нельзя ли как-нибудь опять удрать в Париж. Замечательно они там акклиматизировались. И что всего оригинальнее, эта акклиматизация совершилась вовсе не в идейном смысле: людям, дескать, дышать свободнее, а чисто в желудочном отношении, как акклиматизировались там же в Париже, в Jardin des plantes,[1] страусы, казуары и проч. И те и другие едят теперь, в сравнении с прежним, конечно, всякую дрянь, но едят и похваливают. Я убежден даже, что если бы их привести опять в «Московский трактир», заказать по порции селянки, а самому отойти в сторону и оттуда наблюдать, то они не съели бы и десяти ложек, а поболтали бы в тарелках и начали бы глазеть кругом себя.

---

[1] Ботаническом саду *(франц.)*.

Особенно поразил меня в этом отношении один из них (не наш, а саратовский). Жил я уж второй месяц в Париже, наскучили мне и бульоны, и устрицы, и зелень, и кролики. Выдался как-то свободный денек, я и отправился обедать в «Русский ресторан», тогда только что открытый юсуповским или шереметевским поваром где-то недалеко от Opéra Comique.[1] На дороге встретил Семена Иваныча.

— Вы еще не обедали? Пойдемте вместе, — позвал я его туда. Он посмотрел на меня и, мне показалось, даже удивился.

— Тяжело, — проговорил он.

— То есть как это?

— Вообще эта кулебяка, щи, каша...

— И селянка?

— Гм... да, и селянка.

Я смотрел на него и ни глазам, ни ушам своим не верил. Семен Иваныч, положивший, можно сказать, живот за селянку, теперь отказывается от нее... Я знаю пример, что при встрече с некогда безумно любимой женщиной отказывались от нее, несмотря на то, что она делала глазки и перебирала бедрами; но никогда не допускал и мысли, чтобы что-нибудь подобное могло произойти при встрече Семена Иваныча с селянкой. Да и не одного Семена Иваныча, а вообще каждого из нас...

— Да ведь вы любили ее, помните?

— Помню, как же... Нет, теперь не могу.

— Тяжело?

— Тяжело.

— И водку не пьете?

— Нет, водку пью. Полынную пью. Сам и собираю ее. За городом, во время последней войны, были батареи устроены, теперь их упразднили, так вот на этих насыпях-то и растет полынь. Только нехорошая, мелкая — наша лучше.

— Все-таки вы говорите: «наша», — ну, слава богу! — поймал я его.

— Ну да... то есть это я вот с вами в разговоре сказал... а то уж чего там!

Однако мы оба пошли в «Русский ресторан». Я, разумеется, спросил и кулебяку, и икры, и щей, и каши; мне

[1] Комической оперы *(франц.)*.

дали даже очень хорошего квасу. Но Семен Иваныч смотрел, не обнаруживая решительно никакого позыва ни на икру, ни на кулебяку, ни на что. Он спросил какой-то зелени и стал питаться ею.

— И давно это с вами? — спросил я.

— Это с «нами» делалось постепенно, — объяснил он. — Сперва начинает противеть все жирное, потом мучное и соленое.

— И с Михаилом Петровичем то же?

— То же самое. Он еще больше моего отвык. Когда мы в Италии были, так он одними слизняками жив был. Пойдет на берег, сядет на камешек и сосет ракушки.

— А вы ракушек не сосали?

— Я? Нет. Я вот всего еще четвертый год устрицы-то начал есть. Никак прежде не мог себя пересилить.

— Теперь любите?

— Теперь люблю. Теперь каждый день ем. Меня в Риме выучили их есть.

— В Риме? Что вы там делали?

— Так... В Колизее были.

Такая же поразительная перемена произошла с ними и в рассуждении благородных чувств. Я очень хорошо помню, что и Михаил Петрович, а в особенности Семен Иваныч одобряли преимущественно высоких, толстых и грудистых баб. Даже после 19-го февраля он уж чисто любовью и лаской еще долгое время удерживал при себе трех таких баб-солдаток, и только наступление совершенного оскудения заставило его потерять их одну за другой. Представьте же теперь мое удивление, когда, придя раз к нему, я заметил молоденькую сухую, носастую, как галчонок, француженку, нисколько не считавшую нужным скрывать от меня, что сердце Семена Иваныча принадлежит ей. Когда это обстоятельство она достаточно выяснила и Семен Иваныч подтвердил его своей счастливой улыбкой, я полюбопытствовал узнать, неужели все жирное так же скоро противеет в Париже и в этой области ощущения?

— То же самое... А впрочем...

— Что: а впрочем?

— Это, то есть жирные женщины, и здесь хороши... — Он вдруг задумался, точно забылся. — А что, вы Пра-

скульку мою не видали? — спросил он, как бы пробуждаясь.

Я знал, что Праскулька его сошлась с нашим кабатчиком и живет теперь у него в качестве работницы, но у меня не хватило духа сообщить ему об этом, и потому я ответил, что ничего не знаю.

— Эта была ничего... эта вот... — раздумывая и что-то припоминая, бормотал Семен Иваныч.

— А больше вам ничего «там» не жаль?

— Одиннадцатого октября я именины ее всегда справлял, — продолжал он вспоминать, не слушая моих вопросов, — теперь, может, уж и умерла...

Маленькая черная носатая француженка с большими «подведенными» глазами и огромным ртом сидела на стуле и смотрела на нас, ничего не понимая.

— А хотели бы вы опять увидеть Праскульку?

Он посмотрел на галчонка, улыбнулся, и глазки у него умаслились. Он сделал ей «буку» и захихикал.

Вообще они живут очень мирно. Семен Иваныч с каждым годом стареет и потому, разумеется, более и более порабощается. В следующий мой приезд в Париж я опять с ним столкнулся и узнал, что он начал даже плодиться. Я не видал этого удивительного потомства, но воображаю, что это должно быть нечто весьма любопытное.

— Что же, вы думаете здесь их и воспитывать, или повезете в Россию? — поинтересовался я.

— Нет, уж здесь. И Люсенька так хочет...

— Черненькие они у вас вышли?

— Черненькие, все в нее.

— Напрасно. Отечество их все-таки Россия.

— Нет! Что вы! — вдруг вскрикнул он, — уж я три года как и подданство французское принял.

Я так и ахнул. Он до того радостно сообщил мне об этом пассаже, что я смотрел на него и решительно недоумевал.

— Значит, вы теперь республиканец?

— Да-с... теперь уж настоящий республиканец. В душе-то, впрочем, я уж давно...

— С девятнадцатого февраля? Как «обидели» — с тех пор?

— А что ж, по-вашему, разве не обидели?

— Конечно, «обидели», — согласился я.

— Именно обидели; оттого теперь и идет такое во всем расстройство.

Я, разумеется, не стал спорить...

Михаил Петрович нрава более неукротимого, независимого, а потому и самую жизнь вел на другой манер. Он и у нас был таким. В то время когда Семен Иваныч ограничивался тремя бабами, Михаил Петрович был в этом отношении капризен и беспределен. То и дело, бывало, видишь у него все новых ключниц, и притом совершенно разных типов. Он не отдавал никакого предпочтения толстым перед худощавыми, брюнеткам перед блондинками и проч. Даже годы для него ничего не значили.

— Помилуйте, — бывало, скажешь ему, — ведь это уж старуха?

— Это ничего не значит: из старых кур навар гуще...

Одним словом, отвергал не только семейную жизнь, но даже всякое подобие ее. Раз как-то, давно уж это было, прошел у нас слух, что он будто бы женится. Ему было тогда уж лет под сорок, и уездные сплетни назначили в невесты ему одну очень хорошо сохранившуюся вдову-помещицу с очень круглым состоянием и не менее круглыми формами. Но только поговорили, а дальше ничего не вышло. Впоследствии, когда Михайловку купил Подугольников и надо было уезжать из нее куда-нибудь, он совершенно равнодушно расстался со всеми бабами и не пожелал даже проститься с ними. Такое же черствое сердце обнаружил он и в Москве, когда жил там с Семеном Иванычем в меблированных комнатах и ходил обедать к Гурину в «Московский». Рядом с их комнатой жила офицерская вдова с малолетним сыном, которого возили по разным учебным заведениям, подвергая его везде приемным экзаменам. Экзаменов этих он не выдерживал, и она, как мать, разумеется, огорчалась этим, все ее горе знали и по мере сил сочувствовали, и так как она платила взаимностью, то этим манером кое-как и перебивалась. Семен Иваныч, по душевной теплоте, вскоре так расчувствовался, что через какой-нибудь месяц офицерская вдова уже перенесла к себе в номер чемодан с его бельем, разобрала, что нужно починила, заштопала, остальное запи-

сала и отдала прачке. Поэтому, когда все было съедено, когда кончился кредит у Гурина и пришлось уезжать из Москвы, то Семен Иваныч мог по крайней мере увезти с собой теплые воспоминания об офицерской вдове. Между тем Михаил Петрович, ничего не сделавший для вдовы, кроме грубого и оскорбительного для благородной женщины предложения, лишен был и того утешения.

Семен Иваныч, прибыв из Москвы в свой уезд перед исчезновением, пожелал еще раз, в последний конечно, взглянуть на свою Семеновку, и с этой целью ночью, как вор, тихонько подъехал к саду, перелез через канаву, озираясь, походил по липовой аллее, вырезал кусок дерна, завязал его в носовой платок и так же крадучись сел на беговые дрожки и уехал к соседу, у которого гостил. На другой день тоже ночью он таким же секретным образом опять приехал, пробрался к Праскульке, которая в это время служила по найму в «куфарках» у Подугольникова, и хотя никому не известно, что́ у них на этом свидании происходило, тем не менее факт поездки остается несомненным.

Михаил Петрович поступил совершенно наоборот. Приехав в свой уезд, он не только не побывал в своей бывшей Михайловке и не взял себе на память оттуда землицы, но даже не поинтересовался узнать, живы ли и здоровы ли его бабы. Он побывал лишь у соседей, да и то единственно с тем, чтобы «перехватить» у них сколько можно деньжонок... Таким же бобылем живет он и за границей. Семен Иваныч обедает почти ежедневно у своего галчонка, в кругу какого ни на есть, но все-таки семейства; Михаил же Петрович обедает где попало, затем идет на бульвар, пьет кофе, шляется и заводит ежедневно новые знакомства с гуляющими девицами. Никакого признака, что он когда-нибудь остепенится, не было заметно. Напротив, года сделали его скорее еще более бродячим и враждебным семейным началам. Так же мало общего имел он с Семеном Иванычем и в рассуждении политической благонадежности. В то время когда Семен Иваныч под влиянием Люси и в виду своего приплода сделал, конечно, нехорошую вещь, приняв французское подданство и обратившись в республиканца, Михаил Петрович пребывал нам верен, но эта верность тоже выеден-

ного яйца не сто́ит, ибо она холодная и безучастная. Мне приходилось говорить с ним о «текущих» вопросах, и я заметил, что он о них или ничего не знает, или если и знает, то обнаруживает совершенное равнодушие. Человек видимо одеревенел, так что, наконец, я не стерпел и однажды спросил его:

— Отчего же вы, получив такое равнодушие к судьбам своей родины, не выберете себе, подобно Семену Иванычу, нового отечества?

— Это что за глупости? Не все ли равно.

— Помилуйте, для нас вы стали мертвым человеком. Может быть, сердце ваше лежит больше к Франции и, сделавшись ее гражданином...

— И делаться не хочу. И до Франции мне никакого дела нет.

— Вы, значит, признаете только человечество, вне всяких национальных подразделений.

— И до человечества мне дела нет... а вот эта брюнетка вчера в Folies Bergères такую штуку выкинула, что ей просто овацию сделали. Представьте, явилась совсем без оных, так что все, ну как есть все...

Словом сказать, удивительно загадочный сделался у него характер...

Когда у нас зашел однажды разговор о Москве и о пище, он и тут обнаружил возмутительное равнодушие. Семен Иваныч сделался равнодушен к селянкам, кулебякам под влиянием отвычки, а этот в силу, так сказать, закоснелости.

— Мне все равно, — говорил он, — я все ем.

— И селянку?

— Отчего же и нет? Здесь только хорошей не приготовят.

— А то бы съели?

— Разумеется.

— Ну, а это правда, что вы в Неаполе сидели на берегу и сосали какие-то ракушки?

— Правда. Это вам Семен Иваныч говорил?

— Да, он.

— Все там их едят, и я ел.

— Все-таки, согласитесь, это не то, что у Гурина?..

— Разумеется, не то; какие же у Гурина ракушки!

— Нет, вы не так поняли. Я говорю, что у Гурина можно вкусно поесть.

— Совсем разные вещи. И то хорошо, и это хорошо.

Так-таки я ничего положительного и не добился. Когда затем мы уже прямо перешли к женскому вопросу, он хотя и воодушевился, но по всему видно было, что это воодушевление непрочное и скоропреходящее.

— Оно, конечно, — говорил он, — наши русские женщины, с одной стороны, разумеется... но с другой — и француженки и итальянки, если разбирать беспристрастно... Вот в Испании я еще не был.

— А немки как? Одобряете?

— Что же, и немки... конечно... Э, да все равно!

Наконец, когда мы стали говорить вообще об отечестве и когда я, желая тронуть его сердце, сказал ему, что незадолго до отъезда я случайно встретил его бывшую ключницу Авдотьюшку, которая (я солгал) вспоминала о нем чуть не со слезами, то он совершенно равнодушно ответил, что и она не без недостатка, так как никогда в чистоте себя не содержит и под конец до того растолстела, что вместо одного живота у нее сделалось три...

— Так что вас совсем на родину к нам не тянет? — спросил я.

— Нет.

— И никогда больше к нам не приедете?

— Зачем?

Перебрав, так сказать, все самые живые вопросы, я позволил себе в заключение заглянуть в самый тайник его души и спросил, не намерен ли он хоть вступить в брак с какой-нибудь достойной девицей или вдовой, а потом — признает он православие или отвергает его и не склоняется ли к католичеству... Но и тут встретил тоже полнейший индифферентизм. И обычаи предков и самая вера их оказались для него не только утраченными, но даже как бы не существующими.

— Ведь это ужасно, — сказал я. — Вы мертвец между живыми.

— Скоро и все таким образом помрут.

— То есть как это?

— А очень просто. Все «мы» помрем, разной только смертью. И Семен Иваныч помрет, и все помрем. «Мы» обречены на смерть. Вы же сами мне рассказывали, что

«мы» с каждым годом всё более и более исчезаем, ну, наконец, и исчезнем.

— Я вам говорил это в имущественном, в поместном отношении, то есть что «мы» выводимся как помещики.

— Понимаю-с. И я то же говорю. Физически-то и я жив, и Семен Иваныч, и вы живы.

— А вы душой умерли?

— Да, если меня заставили умереть...

— Это вы про новое положение?

— Ну, конечно.

— Можно бы поискать какой-нибудь исход.

— Какой же исход? Никакого исхода нет. Ну, скажите по совести, на что мы годимся?

— Мало ли на что? Образованных людей у нас ведь не много.

Он покосился на меня, пожал плечами и проговорил:

— Нет-с — мы были когда-то инстанцией, теперь эту инстанцию упразднили, и... — Он запнулся.

— И? — спросил я.

— И мы упразднены.

В следующий мой приезд в Париж Семена Иваныча я отыскал, но Михаила Петровича уже не было в живых.

— В больнице умер, — рассказывал Семен Иваныч.

— Один?

— Совершенно. Он и меня под конец начал чуждаться. Бывало, приеду к нему, сяду в ногах на койку и о чем ни начну говорить — или молчит, или: да, нет. Посижу эдак у него с полчаса — вижу, что в тягость ему, и уеду. Раз десять был в больнице. Ничего, говорит, мне не нужно: здесь все есть...

— Были у него какие-нибудь средства?

— Небольшие, а были. Я и в числе душеприказчиков был. Просто страшно было, когда мы пошли исполнять его волю...

— То есть?

— Он ведь это завещание года за три до смерти еще составил. Мы думали, что он шутит...

— Странное было разве?

— Не странное, а страшное, я вам говорю.

— Да в чем же дело?

— А вы разве ничего не слыхали? Об этом тогда в газетах даже писали.

— Нет, ничего не знаю.

— Как же-с. У него осталось восемь тысяч франков.

— Откуда же он их приобрел? Ведь он, я помню, у нас кой у кого занял тогда на заграничную-то поездку?

— Этого уж никто не знает, откуда они у него явились. И я не знаю. Раз спросил его, так он меня просто оборвал: «Это не ваше, говорит, дело: украл. Не все ли вам, говорит, равно, откуда они у меня?»

— Ну-с, так что же? чем же завещание-то страшное?

— А вот-с чем. Все эти восемь тысяч он поручил нам отдать первой публичной женщине, которая в тот день нам, душеприказчикам, на глаза попадется.

— Так вы и сделали?

— Его ведь воля. Просто страшно было, когда вечером мы пошли по бульварам...

— И утвердили ему это завещание?

— Оно ведь «простое» было. По здешним законам надо непременно указать лицо, которому завещаешь. Завещание, стало быть, на нашей совести оставалось. Он написал его, а я и еще двое знакомых французов свидетелями подписались и обязались исполнить его волю в точности. Оно и до сих пор у меня цело. Так вот-с, — продолжал Семен Иваныч, — умер он часов в семь утра; мне сейчас дали знать, а я уж от себя известил этих двух французов. Приехали мы все в больницу, видим — действительно умер: лежит мертвый, один глаз так и застыл незакрытым, смотрит на нас. Распорядились мы насчет похорон. А на похороны велел истратить никак не больше ста франков. На эти деньги и место ему купили, и гроб, и всё сделали. Распорядились мы и начали между собой совещаться насчет духовной. Я, признаться, не хотел исполнять, и один из французов тоже не хотел, но другой заартачился. «Нельзя, говорит, нам и рассуждать даже об этом. Воля покойного — закон. Почем мы знаем, кому эти деньги его достанутся? Может, несчастной какой? может, спасем ее?» Мы-то с тем французом хотели отдать эти деньги в какое-нибудь богоугодное заведение; ну, а как этот заспорил, мы и порешили исполнить завещание буквально...

— Кому же досталось?

— А вот как это вышло. В шесть часов эти женщины выходят обыкновенно на бульвары и ходят взад и вперед,

ищут. И мы втроем вышли тоже в шесть часов на Итальянский бульвар. Идем. Прошли этак шагов пятьдесят и видим, навстречу одна из таких бежит. Подобралась, закутывается — дождик в тот вечер накрапывал. Мы сейчас к ней. Она было сурово с нами обошлась, подумала, верно, что мы пристаем к ней ради одной шутки. «Нам, говорим, вы по делу нужны, и очень хорошему для вас. Может быть, от этого ваша жизнь переменится». Зашли мы с ней в кафе. Начали ее расспрашивать, где и как и чем она живет. А она все еще не догадывается. «Да вам, говорит, какое дело? Хотите идти ко мне, так пойдемте, тогда и адрес мой узнаете». Ну, я, наконец, рассказал ей, в чем дело-то, так и тут не верит, смеется. «Таких, говорит, дураков нет на свете». — «А вот, говорю, есть...» И вот, верьте не верьте, вдруг с ней как точно что поделалось. Остановилась, уставилась на нас и молчит, смотрит. Так прошло с полминуты.

«Я его знаю. Это русский. С полгода назад он как-то был у меня и говорил, что после своей смерти велит все отдать первой женщине, которую в тот день встретят на бульваре... Это, наверно, он и был. Высокий, худой, седой?..» Начали мы ее дальше расспрашивать — видим, знала его... надо же было, чтобы так случилось!

— Ну и что ж?

— Ей и отдали. Пошли к ней на квартиру; живет одна со старухой кухаркой. Посидели у нее, передали деньги, она нам дала расписку, что получила присланные ей в подарок таким-то после своей смерти восемь тысяч франков — и только.

— А встречали ее после?

— На похоронах была. Привела с собой еще двух своих приятельниц. Потом мы все зашли в ресторан и по «нашему», по русскому то есть обычаю, помянули его — выпили...

— Еще один вопрос: не знаете, пошли ли ей впрок эти деньги?

— Вот этого уж не знаю. Недели через две я заходил нарочно к ней, так ее уж на этой квартире не было: на родину, говорят, к себе, в свою провинцию, уехала. А впрочем, может, это и так мне соврали... Не знаю-с.

Что касается самого Семена Иваныча, то он жив и до сих пор, то есть в последнюю мою поездку в Париж, два года назад, он был жив, и я с ним виделся.

Был у нас, в нашем же уезде, только далеко от меня, в свое время очень богатый помещик, Сергей Константинович Илагин. Я был очень мало знаком с ним. Мы были друг у друга всего раза по два, по три, да и то визиты эти были чисто деловые: мы покупали друг у друга лошадей. Про него ходили слухи, что он ужасный деспот и с людьми обращается до отвращения жестоко. Понятно, упражняться в этом он мог лишь до 19-го февраля. Познакомился я с ним года за три до «объявления», когда слухи об эмансипации уж мало-помалу превращались в вероятную и даже близкую действительность. Помню, в разговоре с ним об этих слухах я заметил, что они производят на него самое удручающее впечатление. Близко знавшие его говорили, что с появления этих слухов он изменился до неузнаваемости. Прежде это был деспот, но в то же время и «угар-малый», то есть радушный, веселый, безобразник — качества, в то время бывшие у нас в самой высокой цене. Я уж не застал его таким. Когда я был у него в первый раз, меня поразили чистота, порядок и мертвая тишина и в доме, и на дворе, и на конюшнях. Люди ходили точно не по земле, а по воздуху, и все это безмолвно. Он с ними тоже ничего и ни об чем не говорил, кроме отдачи самых коротеньких приказаний.

Он был холостой, в то время лет под сорок. Росту он был высокого, плечистый, брюнет, с красивым, выразительным, энергичным лицом. Служил он в каком-то гвардейском кавалерийском полку и когда, лет за десять до 19-го февраля, умер его отец, то вышел в отставку и приехал в имение. Лето обыкновенно жил в деревне, а осенью уезжал в Петербург, в Москву и за границу. По-своему это был, пожалуй, даже и образованный человек, только очень уж странное было это образование. Оно, например, нисколько не мешало ему для развлечения загонять дьячка в конопляник и «брать» его оттуда гончими и борзыми. Раз он был на охоте, и ему кто-то рассказал, что не в нашем, а в соседнем уездном городе есть

квартальный, такой изобретательный взяточник, что от него никому житья нет.

— Что ж его не выпорют? — спросил он.

— Да как же его выпороть?

— Как? Очень просто. Хотите, я его выпорю, при всех, на улице, в городе?

И он действительно его выпорол. Тут же с «места», как был в охотничьем платье, верхом, один, с нагайкой, отправился в город верст за семьдесят. Одни смеялись, подзадоривали, другие останавливали, советовали бросить глупую затею, но он поехал.

— А что я его выпорю — это вы все узнаете: я его буду сечь при всех.

Я уже сказал, что это был плечистый, сильный человек. На охоте волка, «взятого» собаками, он обыкновенно убивал кулаком в лоб. У него была превосходная казацкая гнедая кобыла, на которой он постоянно ездил на охоту. На ней он отправился и сечь квартального. Приехал в город на другой день, отдохнул, покормил лошадь на постоялом дворе, расспросил, где и когда можно встретить на улице этого самого квартального, отправился, подтянулся и выехал на базарную площадь, где, по расчету, должен был попасться ему навстречу искомый субъект. И точно: он его встретил. Снял шапку, поклонился, назвался гуртовщиком и стал просить, чтобы его долго не задерживали с гуртом, а поскорей бы освидетельствовали, здорова ли скотина, и пропустили. Квартальный сидел на дрожках во время этого разговора. Вдруг Илагин нагнулся, схватил его за шиворот, вскинул к себе на седло, ударил по лошади и проскакал вместе с ним чрез всю базарную площадь, немилосердно стегая его нагайкой по чем попало. Потом бросил его оторопевшей и изумленной толпе — и по тех пор его и видели.

Эпизод этот знает вся наша губерния, и он сам до сих пор любимый герой народных рассказов. Об нем у нас и теперь вспоминают положительно с какой-то любовью: были, дескать, да вывелись — таких уж нет.

— Что это у вас за фантазия была? — как-то раз спросил я его об этой истории.

— Какая же это фантазия? Негодяй был, а негодяя надо учить — и только.

Знаменитый jus primae noctis,[1] как известно, не практиковавшийся у нас в России и в старину, у него соблюдался строжайше почти до самого обновления. Это факт, тоже известный не одному мне: его знает и помнит весь наш уезд. Кроме того, каждый год, когда он был зимой в Петербурге, ему присылали пять-шесть девушек, которых он по надлежащем усовершенствовании и возвращал обратно. И это тоже факт, который в любое время можно подтвердить показаниями до сих пор еще живых людей.

Удивительнее всего для меня было и остается то обстоятельство, что у него в имении ни разу не было ни бунта, ни восстания; не было, кажется, даже случаев единичного протеста... Хоть я боюсь, что это будет очень смело сказано, но, право, его даже любили. Все безобразия он совершал над своей многочисленной дворней; мужиков же почему-то не обижал, хотя jus primae noctis, конечно, распространялся и на них.

За год до «объявления» в нем начали замечать разные странности, которых прежде он не проявлял. Человек вообще не религиозный, он ни с того ни с сего вдруг начал строить у себя в селе вторую церковь, и притом какой-то удивительной архитектуры.

— Для чего это вам?

— Это уж мое дело.

Потом немного погодя мы услыхали, что он заводит у себя войско. Поехали смотреть и увидали человек пятьдесят одетых в форму, очень похожую на французских кирасиров. Все как следует, даже каска с конскими хвостами. Это его предприятие вызвало даже замешательство между нашими властями: следует ли ему позволять иметь свое войско или нет?

— Для чего это вам нужно?

— Мое дело.

— Но ведь вы не имеете права этого делать.

— Это я развлекаюсь...

— Помилуйте, какое это развлечение?

— Какое? мое — вот какое!

Войско это, впрочем, просуществовало недолго. Он, кажется, заводил его на всякий случай в виду «объявления».

---

[1] Право первой ночи *(лат.)*.

Оно, по-видимому, должно было играть роль конвоя. Вероятно, со временем он догадался, что если бы и в самом деле вспыхнуло восстание, то положиться на этих импровизированных кирасиров нельзя, да и что могут поделать каких-нибудь пятьдесят человек против села в несколько сот душ? Во всяком случае армия эта вскоре была распущена. Мы вспоминали и смеялись, а исправник и прочие власти, узнав о прекращении мобилизации, вздохнули свободно и успокоились. Это распущение произошло весной, ровно за год до «объявления». Потом он зачем-то уехал в Петербург, пробыл там месяц, вернулся опять домой, и скоро по уезду пошли какие-то странные слухи, очень для всех неприятные. Дошли они, разумеется, и до предводителя и до исправника и крайне их встревожили.

— Он никакого права не имеет этого делать.

— Ведь так он, пожалуй, и восстание произведет.

— Тогда уж прямо спасайся куда попало.

— Помилуйте, что же это такое?!

И власти и «мы» не только испугались его затеи, но положительно растерялись. Да и было от чего. Речь шла ни более ни менее как о даровании Илагиным конституции своим мужикам. И теперь-то половину «нас» если спросить, что за птица конституция, так едва ли сумеют ответить. Представьте, что же было тогда, двадцать лет назад. Слово казалось нам до такой степени страшным и мы так перепугались его, что совершенно не сообразили даже всей бессмыслицы илагинской затеи. Я живо помню такие вот рассуждения.

— В таком случае нам всем выход один, — говорил дядя покойник, бывший в то время нашим уездным предводителем, — придется и нам дать своим мужикам тоже конституцию. Иначе — восстание наверняка.

— А по-моему надо его уговорить во что бы то ни стало.

— Помилуйте, он полоумный. Разве он кого-нибудь послушает?

— Надо его освидетельствовать и потом в опеку взять.

И все эти проекты не только обсуждались совершенно серьезно, но мы ездили к нему, друг к другу, собирались у предводителя, доносили кому следует и даже не следует, просили пресечь зло в корне и т. д.

Илагин между тем на все расспросы о его предприятии, на все просьбы и увещевания отвечал одно:

— Это мое дело.

Наконец стало известно, что эту штуку он намерен выкинуть в свои именины, то есть 5-го июля. Числа этого, право, мы боялись тогда едва ли не больше, чем самого 19-го февраля.

— Тогда хоть, вероятно, примут какие-нибудь меры по безопасности, — рассуждали мы, — а ведь он валит напролом, как Пугачев.

Подсылали особенно доверенных людей к илагинским мужикам узнавать у них, не знают ли они чего-нибудь по этому делу нового; но, разумеется, мужики слушали, кашляли, сморкались, чесали в затылках, говорили: «оно, конечно... тово... а впрочем...»

Я не знаю, то есть, правильнее, забыл уж теперь, что получил исправник в ответ от его превосходительства, когда донесли ему о готовящемся 5-го июля сюрпризе. Тогда мы были «вверены» человеку в стиле Людовика XV, беспечному сластолюбцу, и только по этой причине, я думаю, не было у нас административного переполоха. Сиди на этом месте в то время человек энергичный, с предупредительно-пресекательными наклонностями, — черт знает что бы могло выйти. Я помню наш тогдашний переполох и убежден, что если бы в эту историю вмешалось тогда еще и его превосходительство, каша заварилась бы ужасная.

К счастию, этого не случилось, и мы, предоставленные своей собственной участи и уповая лишь на заступничество бога, с трепетом и ужасом ожидали рокового числа.

За неделю до 5-го июля, говорят, была сделана еще раз попытка «образумить» и «усовестить» Илагина, и для этого ездил к нему предводитель с достойнейшими и авторитетнейшими из нас. Но он и на этот раз остался глух к голосу рассудка. Помнится, при этом произошел какой-то скандал. Илагин не дал им, этим депутатам, даже обеда или, кажется, велел подавать им экипажи — не помню хорошо; но что-то такое в этом роде было, и это ужасно всех возмутило и оскорбило.

Наконец настал и так напряженно всеми ожидаемый день 5-го июля. Сам я в это время был далеко от места

действия, но слышал много рассказов об этом поистине удивительном событии. После обеда велено было всем мужикам, бабам, даже дряхлым старикам и ребятишкам собраться на барский двор. Разумеется, все они собрались. Имение у Илагина было большое, и потому весь двор был запружен народом. Вокруг дома были расставлены столы с пирогами, жареными баранами, гусями, курами. Тут же стояли две сороковых бочки с водкой. Был, конечно, призван и батюшка. Когда все было в порядке, на балкон вышел Илагин и молча простоял, смотря на народ, минут пять. Мужики были без шапок и, решительно не понимая в чем дело, несколько раз становились даже на колени. Он смотрел и продолжал молчать. Наконец, взял в руки толстую большую тетрадь — «Конституция села Илагина», и громко, не спеша, начал ее читать. Мужики стояли на коленях и время от времени кланялись и крестились. Он читал долго, около часа, и когда кончил, подозвал старосту:

— На, возьми и храни!

Староста начал было отказываться, опять упал на колени и со слезами умолял, чтобы его «ослобонили», но Сергей Константинович был неумолим. Взглянул на него, крикнул, топнул, и староста с книгой, переплетенной в красный бархатный переплет с золотыми украшениями, пошел в толпу. Послышались неистовые рыдания, мольбы, все попадало ниц и заголосило. Ни увещания самого Илагина, ни батюшкины увещания — ничто не помогло.

Так пробились до вечера. Несколько раз уходил и вновь приходил Илагин, объясняя и растолковывая свое сочинение. Принимался несколько же раз за это неблагодарное дело и батюшка. Пробовали усовещивать водкой и закуской, но и это не помогло. Водку пили, пироги ели, но едва заводили речь о конституции, опять один за другим валились на колени и руками и ногами открещивались от даруемых прав. Наконец стало уж смеркаться. Чтобы как-нибудь выйти из дурацкого положения, Илагин объявил мужикам, что дает им три дня на размышление. Староста начал просить, чтобы он взял от него обратно книгу конституции, и когда Сергей Константинович отказался, ссылаясь на то, что раз дарованные права он не берет обратно, староста положил ее на траву среди двора.

Через три дня та же комедия была повторена и опять так же торжественно провалилась. И исправник и «мы» вздохнули, наконец, полной грудью.

— Это чисто бог спас, — говорили «мы».

— Будь мужики поумнее, ужасная могла бы выйти история.

— То есть, чем же ужасная?

— Как чем? Помилуйте: в одном имении «конституция», в другом — «по-старому» — что же это такое?

Выше я сказал, что меня не было на этих спектаклях. Когда я вернулся домой, то есть в деревню, и услыхал об этом удивительном приключении, я нарочно ездил к Илагину расспросить его, как это все произошло, но он был в это время уж почти помешанный. Двое из «нас», бывших при этом представлении, могли мне передать лишь картину события и церемониал провозглашения, одним словом, то, что я сейчас рассказал. Но в чем заключалась суть дела — содержание акта, прочитанного Илагиным, — этого ни мои почтенные соседи, ни мужики передать мне не могли.

— Где же эта книга?

— Неизвестно. У него, должно быть, спрятана, — отвечали «мы».

— Неизвестно. Разное болтают. Одни говорят, что он ее на воду ночью пустил, и она сейчас, как камень, потонула... Староста сказывал потом, что как взял, говорит, я ее в руки, так насилу удержать смог...

— Тяжела?

— Страсть! уж это бог нас спас тогда! — говорили мужики.

— Чего же вам было бояться?

— Как чего? Разве это шутка, милый человек, такую книгу на себя принять?

— Об чем же в ней говорилось?

— Обо всем.

— То есть, как же это обо всем? — допытывался я.

— Так, обо всем: и как косить, и как молотить, и как с барином говорить... обо всем!

Должно быть, это было нечто удивительное, но, к глубокому прискорбию моему, ни оригинала, ни копии я не мог получить.

Месяца через два, в начале осени, мы услыхали, что Илагин уехал, но куда — никому не было известно. Он пропадал почти до самого «объявления». Вернулся ночью, велел осветить весь дом и до утра ходил по комнатам. Когда рассвело, лег спать. С этого раза он не спал уж больше ни одной ночи. Чуть начнет смеркаться, в доме зажигают массу свечей, и он ходит всю ночь напролет из одной комнаты в другую и все смотрит, озирается на темные окна. Понятно, всем хотелось узнать, что он делает в это время, ну и подкрадывались к окнам, смотрели на него. Раз чуть было не случилось беды. Он заметил чье-то лицо; должно быть, ему показалось, что лезут к нему воры или восставшие крестьяне, он схватил пистолет и начал стрелять в окна. Разумеется, сбежались люди, произошла страшная суматоха, и уж насилу догадались, в чем дело. С этих пор он стал еще более мрачен и подозрителен. На окна сделали железные ставни; на всех четырех углах дома поставили караульных, и они всю ночь колотили в чугунные доски. Дом по-прежнему ярко освещался внутри, но один он уж не мог оставаться: в каждой комнате, стоя прислонившись к дверям, всю ночь дремали лакеи.

Одну такую ночь провел и я с ним. Это было — самое большее — недели за две до 19-го февраля. Помню, я приезжал к нему купить лошадь, и он упросил меня остаться ночевать. Я слышал уже об его бессоннице; странная картина безмолвного как гроб, ярко освещенного дома меня интересовала, и я остался. Действительно, чуть начало смеркаться, железные ставни закрылись, и комнаты одна за другой начали освещаться множеством свечей. Он был очень рад товарищу такого бдения, был весел, даже разговорчив, только избегал говорить об ожидавшемся со дня на день событии. Я, разумеется, тоже избегал этого, и мы провели ночь довольно весело. Чтобы как-нибудь убить время, мы сели ужинать часов в одиннадцать вдвоем в огромной его столовой. Комната была буквально залита огнем: горело свечей до ста. Даже жарко, наконец, стало от такой массы огня. Понятно, мы больше пили, чем ели, и к рассвету, то есть часам к шести, когда заскрипели, застучали железные ставни и отворились, мы оба с большим удовольствием легли спать...

После завтрака, так часа в два, когда я собрался уезжать домой, он начал меня просить остаться у него еще и эту ночь.

— Не могу. Мне надо быть дома сегодня. В другой раз как-нибудь.

— Ну, пожалуйста!

— Право, не могу.

— А если я вас не выпущу?

Я, разумеется, думал, что он шутит, и отвечал тоже какой-то шуткой, но когда я вгляделся в его глаза, то увидал, что он и в самом деле способен меня запереть с собой в этом гробу. Я понял, что надо спасаться какой-нибудь хитростью. Главное, мне надо было вырваться из дому, но как это сделать?

— Хорошо, — согласился я, — хотите, я у вас целую неделю проживу, только с одним условием.

— С каким?

— А вот с каким. Я сейчас поеду на своих лошадях домой, распоряжусь там, велю запрячь другую тройку, а вы вышлите своих на подставу. Идет? Тогда я поспею назад сюда к вечеру.

Он очень доверчиво согласился на это предложение, велел поскорее высылать своих лошадей на подставу, и я спасся из плена. Но так легко и скоро удалось отделаться только мне. Некоторые из его соседей, неосторожно попавшие к нему, жили у него недели по две, прежде чем им удавалось бежать.

Исправник, сломя голову скакавший по уезду из угла в угол в то время, когда в церквах читали манифест 19-го февраля, заехал на второй день и к нему. И как он ни бился, но Илагин выпустил его лишь на пятые сутки, да и то заставил поклясться, что к вечеру опять вернется.

Известие о том, что факт объявления воли совершился, говорят, не произвело на него никакого впечатления. Ему сказали об этом уж на другой день. Он послал за священником, читавшим манифест, прочитал его сам, не спросил ни слова о том, как приняли волю мужики, и вообще отнесся, к общему удивлению, совершенно спокойно.

Сумасшедшим, в строгом смысле слова, его, пожалуй, нельзя было назвать. Он рассуждал обо всем совершенно так же, как и прежде. Только одна беспредметная, так сказать, боязнь его выдавала. Во имя, или, правильнее,

в силу ее, он делал невозможно дикие вещи. Показалось ему, например, что могут зажечь сад вокруг его дома и он сгорит. Наутро вся деревня «сгоном» рубила великолепнейший сад с столетними дубами, липами, и к вечеру вокруг усадьбы не стояло и не лежало ни одного даже срубленного дерева: все было куда-то чуть не за версту увезено. И таких диких чудачеств он много тогда понаделал. В гостиной у него висела картина, изображавшая Мазепу, привязанного к хвосту дикой лошади, которая его треплет и бьет. Он, говорят, глаз от нее не отрывал и все повторял, что это, должно быть, ужасная смерть. Кончилось тем, что он получил непреодолимый страх к лошадям, послал в город за барышниками и за какую-то невозможно дешевую цену продал весь свой завод, считавшийся у нас одним из лучших в то время.

И так пошло у него во всем. Этим, разумеется, пользовались и тащили кто что мог. Наконец мы услыхали, что он выписал к себе монахов каких-то, сшил себе рясу, клобук и так и ходит в этом уборе. Рассказывали, что он и дни и ночи сидит за божественными книгами, а в часы отдыха там, в этих освещенных комнатах, слышится пение божественных песен. Монахов между тем прибывало к нему с каждым днем все больше и больше. Тут были и настоящие монахи из наших монастырей, и какие-то греки, и афонские бродячие монахи, и армянские монахи. Это продолжалось года два после «объявления». Стоили они ему, должно быть, больших денег, потому что он все занимал и занимал почем попало и у кого попало.

Когда открылись земские банки, он и там взял денег. Наконец мы услыхали, что Илагин отправляется пешком в Иерусалим и что в этой экспедиции ему будут сопутствовать все его греки, армяне и монахи. Было очевидно, что они сговорились, наконец, разом обобрать его и потом бросить. Путешествие это затеяно было недели через две или через три после получения ссуды из банка, следовательно, у него должен был быть еще большой куш. Кое-кто из соседей, и особенно предводитель — в то время нашим премьером был очень порядочный молодой человек, — несколько раз нарочно ездили к нему, чтобы уговорить отказаться от приведения в исполнение этой мысли, но греки и монахи, разумеется, пересилили, настояли на своем, и в один прекрасный день честная компания в ва-

ленках, чтобы не натереть ноги, с пением псалмов тронулась в путь. Эту картину я видел уже сам.

Дело происходило в начале июля, в самый разгар рабочей поры и дупелиной охоты. На этой последней, то есть на охоте-то, я и был, когда повстречал удивительное шествие. Где-то выше я сказал, что Илагин был высокий, сильный, красивый мужчина. К этому надо добавить, что у него был великолепный баритон и он очень любил петь. Само собою разумеется, что прежде он пел обыкновенные светские песни, даже исключительно почти народные. Теперь же я услыхал уж совсем иное. Он шел, как и все, в белых валенках, в черном подряснике, который у него был атласный, с палкой с серебряным набалдашником, какие обыкновенно бывают у благочинных, и в черной бархатной скуфейке. Он шел впереди и пел: за ним, отступя шага на два или на три, шли армяне, греки и наши монашествующие и тоже пели. Шли они по большой дороге, а я сидел возле нее на краю болота и, усталый, закусывал. Разумеется, я сразу догадался, что это не кто иной, как Илагин, и он очень рад был, когда я подошел к нему. Сделали привал. Ехавшие назади тарантас и три подводы с провизией, одеждой и проч. тоже остановились, и вышло нечто вроде табора. Мы посидели около получаса, и он мне показался таким, каким кажется человек, которого считаешь не жильцом на этом свете. Бывают иногда такие странные предчувствия. Человек совершенно здоровый, бодрый, а смотришь на него и твердо убежден, что видишь его уж в последний раз. Я объясняю это просто известной чуткостью и наблюдательностью. В лицах у таких людей является какое-то особенное, необъяснимо спокойное, торжественное выражение. Я много раз наблюдал это явление и редко ошибался. Так было и теперь. Никакой у нас дружбы с ним никогда не было, да и быть не могло, но теперь что-то теплое, задушевное было для меня в его лице; глаза смотрели спокойно, пристально, задумчиво.

— Неужели вы серьезно хотите пешком всю дорогу сделать? — спросил я.

— Всю. Отчего же и нет?

— Ничего. Я только спрашиваю.

— Что это вы вздумали? — опять спросил я. — Ведь вы, кажется, никогда особенно-то религиозным не были.

— Мало ли что! Когда-нибудь всё узнаете, всё, всё...— пророческим тоном ответил он, опустив голову на грудь, задумался, помолчал немного и потом, как бы пробудившись, вдруг поспешно начал прощаться.

— Однако пора и в путь, пора, прощайте!

Все поднялись, и шествие тронулось. Пройдя шагов сто, они опять запели. Я долго провожал глазами эту удивительно оригинальную группу.

В Иерусалим он, разумеется, не попал и дальше Воронежа не ушел. Там он заболел, пролежал около месяца или даже более в нервной горячке, и его, страшно исхудалого и уж почти седого, привезли домой. Греки и прочая братия, конечно, бросили его. Я не знаю, все ли деньги они у него вытащили или постарались об этом и другие кроме их, только он вернулся к себе без денег. С этих пор он стал жить уж совершенно отшельником, которому, повидимому, ни до чего не было дела. Так прошло года два. Наконец, мы услыхали, что имение его описывают за банковые и другие долги. Еще через сколько-то времени услыхали, что уж и продано оно. Купил «новый барин» из породы Сладкопевцевых. Случилось это зимой, когда я был в Петербурге, и кто-то из «наших» рассказывал, что Илагин, когда в его имение приехал новый владелец, надел ваточный подрясник, скуфейку, взял палку и один, пешком, вышел из дому на большую дорогу.

С тех пор он живет, как говорят про него у нас мужики, «на ногах». Его везде принимают, конечно; он никогда не говорит ни о душе, ни о святых местах, ни о чудесах, как делают это обыкновенно все «странники», черноризцы и проч. Теперь вот уже восемь лет, как он так живет. Иногда пропадает неизвестно где по полугоду и более, потом вдруг опять проявится. По странной случайности, мне ни разу не удалось его видеть за все это время. Я не заставал его, иногда опаздывая несколькими минутами. Или случалось так: я уеду, а вслед за мной он придет. Теперь около года я не имею об нем уж никаких сведений и даже не знаю, жив ли он.

Есть у нас в уезде деревня Орехово. Лет семь или восемь назад ее купил с аукциона за долг какому-то земельному банку один из Подугольниковых. Теперь имение это,

разумеется, усовершенствовано в известном смысле, то есть сад и парк вырублены, дом перевезен в город, там вновь собран, и в нем помещается трактирное заведение. Всему остальному придан соответствующий новому владельцу отпечаток, так что теперь имение это едва ли узнает и сам бывший владелец его, Василий Васильевич Орехов.

Это очень любопытный субъект. Он вдовец, имеет сына, который служит, в силу каких-то непонятных обстоятельств, в Калуге. Этого сына мы все видали, когда он был гимназистом. Очень ласковый и прилежный был мальчик, до крайности почтительный и аккуратный. Затем, не кончив курса, он вдруг как-то очутился на службе, и почему-то в Калуге. Он всего только раз был в Орехове, то есть с тех пор, как стал служить. И служит он там в каком-то странном месте. Есть какой-то совестный суд — так вот там.

— Отчего он в своей губернии не служит?

— Да так уж...

— Вы бы, Василий Васильич, перевели его.

— Куда же перевести? У нас и суда такого нет...

Я уж, право, не знаю, есть у нас такой суд или он в самом деле только в одной Калуге, но он служит, кажется, до сих пор там.

Оскудение Василия Васильевича — явление совершенно необъяснимое. Это аккуратнейший человек, какого я когда-либо встречал. Ни кутила, ни мот. Отроду в карты не играл, ничего не пьет. Одобряет, правда, женский пол, но ведь это в деревне ничего не стоит, да к тому же и все его романы известны: ни одной героини не было по общественному положению выше дворничихи, так что решительно непонятно, как и в чем мог он запутаться. А между тем запутался до того, что имение продали с аукциона...

Орехово было очень порядочное имение, так что давало тысяч пять годового дохода. Хозяин он был не ахти какой — это правда, но при скромности и аккуратности ему и не нужно было много. Когда, бывало, ни приедешь, он постоянно чем-нибудь занят: или задвижку у окна прибивает, или крючок какой-нибудь прилаживает — все равно, но непременно чем-нибудь занят, а преимущественно по столярной части. У него даже верстак стоял

в кабинете со множеством всяких пилочек, стамесок, буравчиков и проч. Если, бывало, приедешь к нему и он увидит, что у тарантаса что-нибудь отскочило, оторвалось, отклеилось, просто обрадуется даже этому, сейчас сам все приколотит, приладит.

Орехово было продано дороже банкового долга, так что ему пришлось еще получить тысячи две или три рублей. Кроме этого, он «спас» от описи разную рухлядь и, между прочим, огромную двухспальную кровать красного дерева, с резными изображениями на спинке амуров, стрел и проч., и тележку одноколку с любимой лошадью, мерином Васькой. И Васька этот был такого же аккуратного и тихого нрава, как и барин: бежит не спеша, под горку спускается тихо — очень покойная и смышленая лошадь. При ней состоит в качестве кучера бывший крепостной живописец, тоже Васька. Когда продали Орехово, все это удивительное семейство начало вести кочевую жизнь. На деньги, о которых я сказал выше, Василий Васильич купил билетов выигрышного займа и зашил их в нагрудник из красной фланели, который и прежде, до оскудения, всегда носил от простуды под рубашкой. Кровать и прочую рухлядь свез и поставил в каретный сарай к соседу, а сам с обоими Васьками переезжает теперь от одного соседа к другому. Приедет, поживет неделю-две, потом едет дальше, там повторяется то же самое, и так круглый год. И везде ему рады, особенно барыни. Всегда все исправит, починит, приклеит. Он знает даже все женские работы, хотя «при всех» ни за что никогда не согласится ни шить, ни вязать.

Из всего, что я рассказал сейчас про него, да не подумает читатель, что это какой-то шутник, забавник, над которым можно смеяться. Нисколько. Он далеко не глупый человек и шута из себя не позволит играть. Напротив, он очень самолюбив и даже горд. Васька-живописец, подавая, например, одноколку, всегда должен снять шапку. Иногда, впрочем, они говорят друг другу и дерзости, но это «решпекту» не мешает, и Васька не позволяет себе фамильярности с барином.

Он, то есть Василий Васильич, удивительно уживчив и — прекрасная черта — совсем не сплетник. Никогда ни одной сплетни через него не вышло. Оттого ему и рады

все и оттого везде его встречают совершенно как родного; от него ни у кого секретов нет.

И он сам держит себя совсем по-родственному. Говорит «мы», «у нас» и проч. Если с тем, у кого он гостит в данный момент, он где-нибудь бывает и ему там становится скучно, он говорит: «А не пора ли «домой»?» С прислугой он держит себя до комизма строго, и его тем не менее любят.

— Яшка? — кричит он какому-нибудь старику буфетчику.

— Чего изволите?

— Во-первых, когда, братец, говоришь с барином, руки у тебя должны быть опущены, а не так, как ты их держишь...

Конечно, это человек не особенно развитой, почти никогда ничего не читает; но много ли их, этих развитых-то и читающих, у нас? Летом он ужасно любит ходить в рожь за перепелами и на дудочках играет удивительно. Как жара свалит, сейчас он берет свои «причандалы» — так называет он принадлежность перепеловой охоты — и возвращается, когда уж везде огни зажгут. Так же любит с удочками на реку ходить. Ружейная охота ему не далась. Я несколько раз брал его с собой, но он только мешал, или заведет какие-нибудь пререкания с собакой, или начнет ее наказывать, собьет с толку невозможной командой — одним словом, не годится. Пчел очень любит и уверяет, что знает какое-то слово, по которому они его будто не кусают, и действительно, очень смело расхаживает между ульями, на что я никогда не рискнул бы.

Кроме всего этого, он занимается «изобретениями». Положим, они все не особенно хитрые; но все-таки некоторая игра ума видна. Так, изобрел он кожаную мышеловку, хлопушку для мух, потом какую-то необыкновенную кислоту, которой удивительно скоро и хорошо можно выводить всякие пятна. Как человек домовитый, хотя и лишенный за что-то собственного крова, что бы он ни нашел на дороге — какой-нибудь странного вида сучок, корень, сардиночную коробку — все поднимет и принесет домой. Иногда тут же, у крыльца, и бросит, но все-таки принесет.

Я сказал, что из всех слабостей, более или менее всем «нам» присущих, он подвержен только одной — слабости

к женскому полу. Эти слова не надо истолковывать в дурную сторону: он вовсе не легкомысленный сластолюбец, зря отдающий свое сердце. Напротив, он необыкновенно нежен и, так сказать, возвышен в своих чувствах. К сожалению, однако, справедливость требует сказать, что хитрые и коварные женщины недостойно эксплуатировали эту возвышенность чувств. Особенно печальна в этом отношении история его с дворничихой села Воробьиного. Случилось это, то есть заметил он прелести «Воробьихи», как все мы звали ее, и по достоинству оценил их уже после своего оскудения, когда Ореховка была продана, а Василий Васильич уж разъезжал в одноколке на Ваське.

Года через три после этого стали мы замечать, что он зачем-то то и дело бывает в Воробьевке. Это большое село, но помещиков там нет — одни государственные крестьяне.

— Еду я сегодня из Воробьева...

— А, вы опять там были? Что вы там делаете?

— Кто? я-с?

— Ну, разумеется.

— Есть там, я видел на постоялом дворе, тележка, так мне хочется к ней подобраться. Такая, я вам скажу, прочная...

— Ох, уж тележка ли? не другое ли что?

— Ну вот! Что ж другое?

— Мало ли что...

И так то и дело: или слышишь, что он там был, или и прямо встретишь его там. Наконец он начал это скрывать от нас.

— Василий Васильич, вы откуда?

— От Михаила Иваныча.

— А в Воробьеве не были?

— То есть так, проездом.

— И долго там пробыли?

— Где?

Окажется, что он там пробыл целых два дня и жил все время на постоялом дворе, следовательно, должен был за все платить: и за себя и за обоих Васек, а это, при его аккуратности, совсем было ему не к лицу. Скоро все объяснилось: Васька-живописец был как-то пьян и разболтал у кого-то на кухне всю суть дела. На первых порах

Василий Васильевич был глубоко возмущен этой низостью и даже чуть-чуть не прогнал Ваську, но потом все обошлось, и он помирился с мыслью, что шила в мешке не утаишь. С этих пор мы все узнали, какая такая тележка интересует его там, и от нечего делать многие даже нарочно ездили в Воробьево смотреть ее. Дворничиха была действительно баба здоровая, молодая, грудистая, с белыми почти глазами навыкате. Василию Васильевичу было в то время уж за шестьдесят, фигурой он был тощ, сед и вообще как-то разбит на ноги, так что предположить в дворничихе бескорыстную к нему любовь было довольно трудно. Возвышенной же души его она, очевидно, понять и оценить не могла, и потому мы все единогласно решили, что он сделался жертвой своего благородного образа мыслей.

Очень понятно, что все мы стали употреблять усилия отвлечь его от этой низкой прелестницы, но, как всегда это бывает, чувства от препятствий только распаляются и, наконец, совсем затемняют разум. Так было и тут. Из ложного самолюбия Василий Васильевич постоянно отказывался, уверял, что у него к воробьевской дворничихе нет никаких чувств, а что если так... просто... то он, как живой человек... конечно... И вдруг смутится, покраснеет и засмеется.

— Хороша?

— Что?

— Ну, конечно, о ком говорят.

— Ах, боже мой, перестаньте! Это, наконец, скучно. Ну, посмеялись, и довольно. Что ж я, мальчик, что ли, чтобы увлечься?..

— Не мальчик, а бывает иногда.

— Только не со мной. Нет-с; я старый воробей.

— Да Воробьиха-то молода...

Так посмеялись да посмеялись мы, но, наконец, и надоело приставать к нему с расспросами. Человек он добрый, хороший — дай бог счастья. Нравится — его дело. Прошло с год. Помню, как-то глухой осенью нас собралось человек пять соседей на охоту. Жалкие, конечно, теперь пародии на прежние охоты, но все-таки «хорошее приятно и вспомнить», как говорит в известном анекдоте старуха. Так и мы; все-таки и нынешней охотой, с воспоминаниями о прежней, можно душу отвести. Ездили мы

целый день и к вечеру попали в Воробьево. Кто-то из нас и вспомнил про Орехова и его дворничиху. Сейчас, конечно, отыскали, оказалось, что Василий Васильевич здесь, и мы всей гурьбой с охотниками и собаками въехали во двор. Хозяйка, понятно, рада была таким гостям, но зато Василью Васильичу — нож вострый. Люди, положим, мы все хорошие были, но вечером, после закуски, когда подвыпили, стали шутить, а это и возмущало и оскорбляло его. Мало того, он с ужасом увидал, что его Воробьиха, в исключительном обладании сердцем которой он был так уверен, начала некоторым из нас тут же, при нем, делать глазки...

Это была уж не комическая, а ужасно тяжелая сцена. Я как сейчас вижу его искаженное, хотя и улыбающееся лицо. Мне он был невообразимо жалок в этот момент, но я ничем не мог ему помочь. Кто знает «нас», знает, конечно, что уж если мы забудем «горе» и ощутим в душе восторг, то удержу нам уж ни в чем нет. Так было и этот раз. Как я ни уговаривал расходившихся, ничто не помогало; даже хуже: смеются над ним, амурничают с Воробьихой, хохот, ура, черт знает что...

— Знаете ли что: уезжайте! — посоветовал я.

— Нет-с, я не уеду. Я все вынесу...

— Для чего? Напрасно только измучитесь.

— Так мне и надо...

Мое участие и мягкость, с которой я к нему отнесся, сделали из него совершенного ребенка, и он тут же в углу, на лавке, начал делать мне всякие признания.

— Вы знаете, ведь нагрудник-то мой прошлой ночью у меня здесь пропал, и все, все, что у меня было, — все пропало-с. И это все она сделала. Я дал ей спрятать его, а она говорит, что никогда от меня не брала. Я думал, что она шутит, а теперь вижу, что это уж не шутки, что она и в самом деле меня только обманывала и притворялась. Теперь я все понимаю, все, все... — А сам глазами следит за ней, за тем, как ее ласкают и обнимают пьяные...

— Как же это так? Зачем же вы молчите? Надо становому написать, следователю... Ведь она вас обокрала...

— Нет, нет. Я ничего не найду — одна только срамота и для нее и для меня выйдет. Нет, ради бога, оставьте.

— Что же вы, влюблены, что ли, в нее?

— Люблю-с... Это она — так; она шутит со мной. Она непременно отдаст. Она испытывает мое чувство, и больше ничего...

В это время Воробьиха, сидевшая на коленях у одного из «нас», вышла за чем-то в сени, и туда же вслед за ней пошел и ее новый обожатель.

Этого уж Василий Васильевич был не в состоянии перенести. Он повертелся, поежился, встал и, стараясь быть незамеченным, тоже юркнул туда же.

— Василий Васильич, куда вы? — позвал я его.

Он махнул рукой и исчез в дверях. И только что я хотел пойти туда же и посмотреть, что́ он и где, как снова показался он в дверях. Теперь он сиял счастьем.

— Что? Все благополучно? — спросил я.

— Ничего-с. Она в той избе... а я, признаться, подумал было нехорошее про нее.

Когда нам, наконец, сделали постели и мы улеглись спать, с нами же, в этой же избе, лег и Василий Васильевич. Мне почти всю ночь не спалось, и я слышал, как он раз пять тихонько, на цыпочках, вставал и уходил за чем-то в сени.

— Куда это вы всё ходите? — шепотом спросил я.

— А вы разве не спите? Там в сенях кто-то все ходит. Понять не могу, кто бы это был.

— Да вам-то какое дело?

— Нет, так-с... Разумеется, какое мне дело!

Утром рано мы встали, напились чаю, закусили и опять стали собираться охотиться.

— Бросьте! поедемте с нами!

— Нет-с, мне нельзя. И вы не говорите при всех, а то начнут ко мне приставать, чтобы я ехал, а мне, сами знаете, разве можно ехать?

— Отчего же и нет?

— А нагрудник-то?

— Разве она еще не отдала вам?

— Нет, все еще шутит, говорит, что не брала; а как же не брала, когда я ей сам своими руками отдал, как раз на этой самой лавке, когда мы с ней сидели вчера...

— Видел кто-нибудь, как вы ей отдавали его?

— Нет, помилуйте, что вы?.. Мы только вдвоем с ней были...

Мы посмеялись еще над ним и уехали. Прошло недели три, и я позабыл, разумеется, и о нем и об его нагруднике. Приезжает как-то становой. Где были, что нового в уезде? и т. д.

— Да вот-с, всё хлопочем по Василья Васильича делу.

— По какому?

— А насчет пропажи у него нагрудника с деньгами.

— Жаловался-таки он?

— Изволите видеть, не то чтобы формально жаловался, а так, под рукой, просил припугнуть ее. Да с бабой-то он связался, которая и самого черта не побоится, за рога схватит.

— Не отдает?

— «Ничего, говорит, я не знаю. Это, говорит, он на меня клевету взводит за то, что я его льстивых речей не слушала и с ним на грех не пошла...»

— Вот несчастный-то!

— Именно-с. «Я, говорит, ей все прощу, пусть только прогонит работника Яшку». А этот Яшка, доложу вам, парень молодой, видный из себя — ну, оно и понятно-с... «Да вы, говорю, подайте нам настоящее заявление на бумаге, тогда мы с ней разделаемся по-своему». — «Нет, я, говорит, знаю, что тогда это выйдет уголовное дело, и уж простить ее будет поздно, а вы так ее попугайте...» Совсем пропадает человек, — заключил становой.

Этому приключению теперь лет пять будет, а прошлое лето он все еще говорил мне, что «она» в конце концов образумится и, разумеется, отдаст ему нагрудник.

— А Яшка у нее?

— Нет, прогнала, — радостно сообщил он.

— Значит, теперь опять мир и совет?

— Она ведь добрая... За это все ее и любят...

— Только уж вам-то не следовало ее за это любить.

— Отчего-с? Вы, может, думаете что-нибудь нехорошее про нее? Нет-с, это будьте покойны. Я за этим слежу. Меня не проведет... Нет, шалишь...

Прошлое лето он еще разъезжал на Ваське, в одноколке, но уж один, без живописца. С ним у него, говорят, вышло какое-то серьезное недоразумение из-за этой же Воробьихи, и они расстались врагами.

В начале очерка я говорил, что оскудевшие кочуют не только по нашей губернии, но вообще по всей России. Наши, например, кочуют и по Рязанской, и по Саратовской, и по Воронежской губерниям, а саратовские, рязанские и проч. — по нашей. Это кочеванье по соседним губерниям понятно: есть и родные и знакомые, и самый народ и обычаи сходны. Но удивительно и непонятно кочеванье по губерниям отдаленным, совершенно другого тона и характера. А между тем это факт. Я натыкался на «наших» там, где, кажется, и ориентироваться-то невозможно нашему степному помещику. Прилаживаются между тем кое-как, привыкают и живут, кормятся.

Больше всего их, конечно, ютится в Москве. Там их страх сколько. Рассказывать, как и чем они там существуют, очень уж неприятно. Некоторые попали туда еще порядочными людьми, но бесконечный ряд компромиссов с совестью, чуть не из-за куска хлеба, совершенно изменил даже внешний их образ. Я говорю не о том, что костюмишки на них поистрепались и оборвались, — это понятно само собой. Нет, вообще весь облик, манеры, лицо, выражение лиц — все изменилось. Какие-то запуганные, робкие стали: точь-в-точь как прежде были у нас заседатели и непременные члены, о которых рассказывал я в прошлых очерках. Попортились таким манером и молодые и старые. Положение старых, однако, лучше. Их все-таки лучше принимают, и держат они себя приличнее, а некоторые, проевшие очень много у Гурина и в других трактирах, сохранили даже известное подобие своего прежнего апломба: им дают время от времени безденежное (скромное, конечно) угощение в тех самых трактирах, где прежде они реализовали выкупные закладные, банковые листы и проч. Со стороны, пожалуй, и не догадаешься, что он сидит и угощается задним, так сказать, числом... Много в Москве таких пансионеров. Из «наших» я знаю человек пять; но есть, вероятно, и из других губерний.

Только по одному еще может узнать их посторонний человек: очень уж много болтают с прислугой, и самая болтовня эта ведется как-то странно: все о себе, и всё усмешечки, воспоминания, намеки. И потом, самый тон странен: не то приятельский, не то заносчивый.

— Ермошка! а помнишь, когда мы с Иваном Петровичем к вам езжали?

— Помню-с, — сонно-лениво отвечает половой.

— Да, брат, теперь такие «на чай», смотрю, вам не попадают. А? нет?

— Теперь ежели из купечества...

— Купец что. Он не так, как мы, бывало. Он прокутит вечер, а утром опять скаредничает, пару чаю спрашивает.

— Это точно-с.

— А ведь мы, бывало, как... теперь и подобия нет того. Разве я не вижу...

— У всех теснота-с.

— Страх, братец, какая теснота... А много таки мы вам тогда оставили здесь. Помнишь, когда я выкупные получил, — что тогда начертили!..

— Погуляли-с.

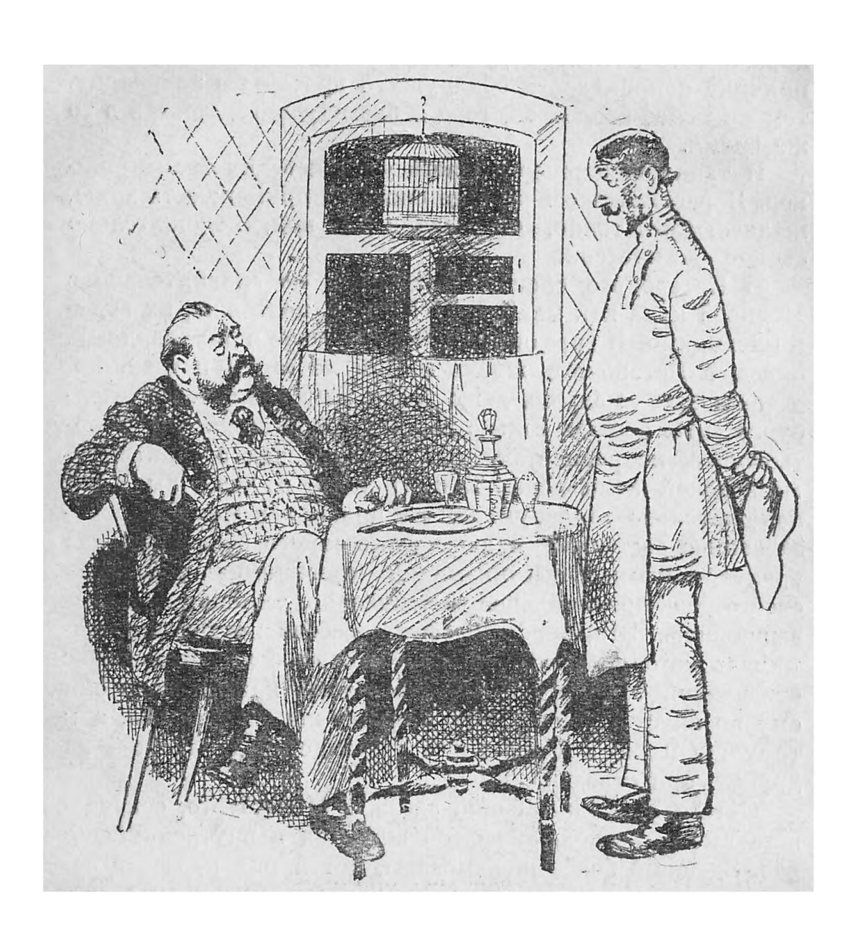
— А что, эта цыганка Матрешка, не знаешь, где она теперь?

— Не знаю-с. В таборе можно узнать.

— Ах и шельма же была! У!.. Что только она с Иваном Петровичем выделывала...

Но лакей бежит к другому столу, а вопрошающий так и остается без ответа, улыбается как-то глупо и оглядывается на близ сидящих. И не разберешь, что в этом взоре: хвастливое ли довольство собой или стыдливость. Очень странное бывает в это время у них выражение. Так посидит, и долго посидит он в давно знакомом трактире, среди давно знакомой и любезной сердцу трактирной обстановки, надоест всем половым, пойдет, пошляется по всем комнатам, подойдет к буфетчику, с ним поговорит, надоест и ему расспросами, помнит ли он его кутежи. Но пора, наконец, и совесть знать, — пора уходить. Опять идет к буфетчику, что-то говорит ему с странной улыбкой; тот небрежно слушает, молча кивает головой: ладно, дескать, никто и не думает, что ты заплатишь, уходи, не мешай торговать...

Но все-таки, так сказать... прилично, и для благородного человека ничего оскорбительного тут нет; хотя, разумеется, все-таки есть сознание, что такой порядок неладен. От этого же сознания и происходят такие вот разговоры с половыми и буфетчиками. Но все-таки подыскивается некоторое оправдание себя в том же прошедшем: «Ведь и драли же и обсчитывали же они меня тогда! Разве не стою я порции селянки? Ведь если бы я тогда выговорил, так



он бы согласился сто порций отпустить...» Это сознание овладевает им особенно после переговора с буфетчиком, когда щекотливый вопрос, под заглавием: «за мной», благополучно прошел. Является даже некоторое подобие прошлого величия и в осанке и в манерах, так что у швейцара пальто хотя и надевается несколько поспешно по причине неприятности обнаружить протертую подкладку, тем не менее взор ясен, горд и благодушно-милостив в то же время.

И таких пансионеров много у московских трактирщиков. Я рассказал сейчас еще сносный пример; есть хуже, жалчее. Есть такие, что, глядя на них, положительно сердце сжимается...

В Петербурге «наши» тоже есть, но сравнительно с Москвой куда как меньше. В Москве, повторяю, их видимо-невидимо. И гнездятся там они больше в биллиардных. Здесь, в Петербурге, жизнь совсем не та, да и традиций у «нас» здесь меньше, даже почти их вовсе нет. В Петербурге «мы» бывали только по делам и никогда не развертывались, не расцветали так махрово, как в трактирно-московской атмосфере. Там «у нас» в дни óны душа положительно таяла, умилялась, приходила в восторженно-забвенное состояние, и даже факт самого обдирания нас трактирщиками, цыганками и «девицами» доставлял своего рода оригинальное наслаждение, умилявшее и возвышавшее... Это, впрочем, совсем особая психология, понимать которую может только человек, более или менее отведавший этих радостей, — все равно, пришлись ли они ему по вкусу или нет, — но непременно отведавший, и к тому же много наблюдавший действие этих радостей на других, при отведывании их...

Оттого и проживающие здесь, в Петербурге, оскудевшие имеют несколько другой внешний и внутренний образ. Здешние более шельмоваты, нет в них карасьей задумчивости и телячьей восторженности. Фуражек с дворянскими красными околышами они здесь не носят, а стараются приобрести более или менее кокетливые шапочки и шляпки. Некоторые даже подстригают себе на лбу волосы à la Капуль и очень грациозно владеют тросточками. Московские, конечно, сытее их, но ведь кто же это знает? — совсем тут другой тип. Опытный — мой, на-

пример — глаз, конечно, и в прическе à la Капуль сейчас узнает «нашего», ну, а попробуй-ка узнать его другой...

Московские толще от более питательной пищи, и лица у них круглее, даже с лоском, особенно кто употребляет крепкие напитки. В носу постоянный жар от той же причины. А в Петербурге питание хуже, и самые крепкие напитки не действуют так укрепительно на здоровье, как там, хотя «мы» и здесь пьем их в достаточном количестве.

Оскудевшие, проживающие в Петербурге, ютятся большею частью вокруг мировых судей, и некоторым, начавшим свои юридические дебюты в очень скромных амплуа, впоследствии посчастливилось до такой степени, что из бродячих они вновь превратились в оседлых. Конечно, немного таких, но есть: я знаю несколько примеров.

Потом, много оскудевших пристроились на какое ни на есть маленькое содержание при разных обществах дамской филантропии: при дешевых квартирах, при обществе снабжения бедных виноградными выжимками и проч. А иным повезло до такой степени, что им поручено некоторым образом наблюдение за порядком в столице и за нравственностью. И хотя образ их жизни и службы остается бродячий, но они уж настолько «согрелись» и окрепли духом, что при желании могут сделаться вполне оседлыми, даже в смысле недвижимости.

Особенно порадовал меня несколько лет назад один мой бывший сосед, Петр Иваныч Курицын. Он из пехотных и чином что-то не особенно велик, если не ошибаюсь — капитан или штабс-капитан. Оскудел он лет семь или восемь тому назад. Повертелся сперва в нашем уездном городе, хотел пристроиться в земской управе или еще где-то, но так как у нас все очень хорошо знали, что это за птица, то ничего у него не вышло. Потом он пропал. Было слышно, что он в Москве, но скоро так как-то заглохло...

Раз иду я часов в семь по Невскому; дело было осенью, и шел мелкий холодный дождик. Недалеко от Пассажа меня окликнул знакомый голос, но чей — я никак не мог узнать сразу. Передо мною стояла такая именно фигурка с капулями на лбу, как я сейчас говорил. С виду лет сорок пять, бородка, усики.

— Не узнаете?

— Знакомый голос... извините, не узнаю.

— Соседа-то не узнаете?..

— А-а!.. теперь узнаю.

— Я вас уж несколько раз видел, да днем-то, признаться, как-то неловко было вас остановить, а вечером я на службе — где ж вас увидишь...

— Служите? Ну, слава богу, значит пристроились.

— Служу-с, как же... Только служба-то, знаете, уж больно беспокойная...

— Какая же такая?

— А вот за этими канарейками смотрю-с. — Он указал на бегающих в эти часы «девиц».

— Это что ж такое за служба?

— А я, изволите видеть, смотрителем врачебно-полицейского комитета... Какая не является в комитет, какая новенькая начнет бегать, я ее сейчас и цап-царап!..

— Что ж, веселая служба.

— Оно, конечно, хе-хе... есть между ними ведь премиленькие...

— А это, то есть определение миловидности, тоже разве входит в ваши обязанности?

— Хе-хе. Нет-с, это я так вам говорю... Надька! — крикнул он какой-то пробегавшей мимо «девице». Та очень развязно подскочила к нему, и начался крайне фамильярный разговор с удивительно откровенной терминологией...

— Ну-с, мое вам почтение...

Но отвязаться от него мне было уж не так легко.

— Вы в эту сторону? Позвольте, я вас провожу. Занятие у них, конечно, такое... а все-таки, по человечеству, жаль бывает иногда... — болтал он.

— И вы жалеете?

— Как же не жалеть-с? Иная, знаете, начнет бегать тайком от родителей, заметишь ее, поймаешь. Ну, сейчас слезы, умоляет...

— Вы и смилуетесь?

— Жалостлив я. Особенно, если эдакий, знаете, бутончик, цыпленочек...

— А ведь, я думаю, это и выгодно иногда?

— Что-с?

— Ловить-то их?

— Ну, какая уж там выгода? Что с нее возьмешь? Целковый какой...

— Может, и три?

— Я не стану запираться — беру; но беру с разбором. Если она «вредная», тут взять нельзя, а если так, по нерадению, в комитет не ездит — беру, иначе с ними ничего не поделаешь...

— В месяц-то, глядишь, и порядочно очистится?

— Нет-с, пустяки, сущие пустяки! хлопот-то с ними что!..

— Петр Иваныч, я завтра в комитет не поеду — я завтра именинница — приходите на пирог, — скороговоркой и как-то подбрыкивая, стоя на месте, заговорила вдруг очутившаяся возле нас «девица».

— Та-та-та! Потише, потише. Как же это ты не пойдешь? я тебе такой пирог устрою...

Но «девица» очень весело выслушала эту угрозу и начала тормошить его за рукава.

— Очень уж ты бойка стала. Вот с Иваном Васильичем вы так не разговариваете, его боитесь...

— Никого мы не боимся!

— Холостому на нашей должности — беда, — объяснял мне Курицын. — Искушение на каждом шагу...

— А вы искушаетесь?

— Грешен... Слаб я... — И маленькие, серенькие его глазки блеснули масляным лоском при свете забрызганного дождем фонаря.

Я поспешил засвидетельствовать свое почтение и взял извозчика.

XI
ИТОГО

Известно, что когда разрушается какой-нибудь организм, то на смену ему и на его счет является сейчас же множество других организмов, быть может не столь красивых и приятных на вид, как предавшийся тлению, тем не менее вполне способных подтвердить своим появлением и существованием старую истину, что в природе ничто не пропадает, а только видоизменяется.

Ученые и даже простые любители естествознания обыкновенно с нежным вниманием следят за появлением этих новых жильцов мира сего, наблюдают их нравы, инстинкты, привычки и такое занятие находят очень приятным; но простые смертные никак не могут в этом случае с ними согласиться. Так, например, не ученый, а обыкновенный человек, которому подали бы умершего кота, покрытого червями, жуками и прочими «организмами», явившимися ему на смену, не только сейчас же заткнул бы себе нос и отвернулся, но почувствовал бы тошноту и поспешил бы вон из комнаты. И это происходит вовсе не оттого, что мы любили и знали покойного, находили самого его красивым, а деятельность его полезною, нет, просто потому, что самый процесс разложения противен, так же точно, как и радость пирующих при этом «организмов»... Очень может быть, что такая брезгливость неуместна, глупа, показывает только наше невежество, необразованность, — все это, может быть, совершенно справедливо, но факт все-таки остается фактом: от созерцания

мертвого кота, покрытого червями, у меня с души воротит, и я, право, в этом не виноват.

В мире, так сказать, нравственном подобное явление случается так же точно часто, и наблюдать его можно сколько угодно. Во мне оно и тут вызывает совершенно такие же чувства. Положим, было какое-нибудь гнездо, ну хоть уездный суд, что ли. И вот в одно прекрасное утро все эти заседатели, непременные члены и проч., что составляло до сих пор какой ни на есть «организм», узнают, что они мертвы, упразднены, оставлены за штатом. Приехавшие же на их место прокуроры, адвокаты и прочие «новые организмы» начинают тут же поедать их, копаются в делах, проникают в их помыслы, сердца и делают это всё с веселым видом, как и подобает ликующим. Нехорошее было гнездо, и мне его вовсе не жаль, но радость надмогильная все-таки противна. Да подлинно ли «новый-то организм», теперь ликующий, совершеннее и чище упраздненного? Вопрос, может быть, неуместный, но он всегда как-то сам собою является при виде подобного ликования.

Конечно, все это идет, как известно, к лучшему, и подобные «обновления природы» не только необходимы, но и величественно-прекрасны, и лишь одно предубеждение заставляет присутствующих и зрителей ощущать тошноту. Противен, значит, один процесс «обновления», результаты же его приятны. И если не видеть, не быть свидетелем «процесса», а прямо приехать к пирожному, так сказать, когда весь обед уже пожран, — очень даже приятно. Я, например, никогда не забуду, как приятно мне было увидать вместо неуклюжих, сонных, полупьяных будочников с красными носами, вечно выпачканными в нюхательном табаке, молодцеватого вида расторопных и сметливых городовых и господ околоточных в легкой, удобной и красивой форме, в изобилии усеявших все те места, где прежде одиноко дремали будочники. Не менее приятное, конечно, впечатление производят теперь и новые юридические организмы, потребившие при своем зарождении заседателей и непременных членов. Исполненный кроткого и снисходительного достоинства, но вместе строгий, нелицеприятный прокурор, равно как и пылкий, увлекающийся, но и шустрый притом адвокат — разве могут идти в сравнение с организмами, покончившими

свое существование? Но ведь они так милы теперь, когда «процесс» упразднения они уж совершили, вытерли рты, вымыли руки, причесались и начали отправлять обязанности, сопряженные с их существованием. В момент же «процесса» они, несомненно, вызывали содрогание.

Так и во всем. «Процесс обновления» оказывается почти всегда неприятным для созерцающих его, но плоды процесса, конечно, и полезны и приятны. Поэтому нет ничего удивительного, что, несмотря на полное доверие к выводам науки, свидетельствующим о полезности и необходимости «процессов обновления», если является подлежащим такому обновлению нечто близкое, родственное и попадает это нечто в положение вышеупомянутого кота, то чувство брезгливости к новым, «совершеннейшим организмам» становится уж совсем естественным. Это, несомненно, ненормальное состояние созерцателя «процесса» бывает иногда до такой степени сильно, так затемняет разум, угнетает душу и проч., что даже самая вера в науку и ее выводы колеблются, и невольно ощущаешь, что мало-помалу в мыслях зарождается и растет-разрастается неуместное сомнение: да полно, точно ли эти черви и мокрицы совершеннее почившего кота?..

Повторяю, я говорю все это с точки зрения не ученого, а обыкновенного смертного, не имевшего ни случая, ни времени закалить свой разум и душу в научных истинах. На такого смертного действует картина «процесса» особенным образом: она ему мерзит, он чувствует тошноту, головокружение и, разумеется, теряет при этом настоящую точку зрения...

Мне кажется, что я нахожусь именно в таком положении, когда созерцаю картину нашего помещичьего обновления. Родственность и близость моему сердцу исчезающей расы не позволяет мне беспристрастно относиться к «новым, совершеннейшим организмам», явившимся нам на смену. Конечно, я отлично понимаю, что «мы» были тоже «организм» не ахти какой совершенный, что «обновиться» этому организму очень было нелишне... как только увижу я самый «процесс» обновления, увижу эти раскрытые рты с клочьями моих дяденек, тетенек, увижу эти алчные, горящие взоры «совершеннейших организмов», которыми они озирают подлежащих уничтожению, мною овладевает уж не одно отвращение, но берет какой-то ужас: «Господи!

да ведь этак они, эти «совершеннейшие», всех нас сожрут!..» Ну, и колеблется вера в непреложность выводов науки. Разве я могу за это отвечать?

И ведь что при этом ужаснее всего: это «обновление» у нас предоставлено, так сказать, само себе, и никому, по-видимому, до этого никакого нет дела. Отсюда, во-первых, напрасные совершенно мучения, и потом самое обновление идет беспорядочно, зря. Проявится между нами «совершеннейший» организм и начнет высматривать, нет ли какого осовевшего или задремавшего из старых, не совершенных, заметит его где-нибудь, накинется на него, присосется и начнет процесс обновления. Этот обновится, а рядом, глядишь, почему-то другие сидят и ждут, не обновляются. А между тем и на них и вообще на зрителей производится понапрасну удручающее впечатление, чего, конечно, не было бы, если бы обновление совершилось повсеместно разом или хоть по округам, как было это при обновлении юридических организмов. Заседатели и непременные члены не подвергались этой ненужной жестокости. Их так не мучали. Было решено, что они должны обновиться, наслали на них совершеннейших организмов, те накинулись и сразу покончили. То же самое было и с будочниками. Мне кажется, это же необходимо следовало сделать и с нами, помимо всяких других соображений, просто в интересах науки, для поддержания ее авторитета, а также и для того, чтобы самый результат обновления получался полнее, плодотворнее...

Но, может быть, в силу каких-нибудь соображений такое стройное и одновременное обновление у нас не может быть допущено? Может быть, и здесь необходима постепенность? Тогда это ужасно! Если дело обновления действительно предоставлено «частной предприимчивости», подобно постройке негарантированных правительством железных дорог, — тогда оно может затянуться до бесконечности, и может даже так случиться, что мы будем свидетелями начала второго обновления, когда еще не будет заключено первое, ибо не подлежит никакому сомнению и совершенно согласно с выводами науки, что сменяющие теперь нас «совершеннейшие организмы», в свою очередь, имеют быть пожраны «наисовершеннейшими»... На это последнее предложение, пока, конечно, чисто научное, имеется уже и теперь много указаний.

Так, не особенно даже старые старожилы замечают, что прежние Сладкопевцевы и Подугольниковы были гораздо менее совершенны теперешних, что приплод этих последних необыкновенно вышел удачен, и, следовательно, высказанное предположение о предстоящем в близком будущем втором обновлении не лишено основания, как и всякая более или менее серьезная научная гипотеза.

Собственно нам, помещикам, разумеется, хотелось бы, чтобы уж «все это» «они» проделали над нами скорей. Мы все, за очень малым исключением, мечтающие до сих пор об известной грамоте Екатерины II и о заведении ирландского фермерства (нашли время!), конечно отлично понимаем, что непременно, не сегодня, так завтра, должны уступить свое место организмам более совершенным, и потому нам все равно, пожрет ли нас при этом организм просто совершенный или наисовершеннейший, — лишь бы только скорей. Ничего не может быть ужаснее этого переходного состояния. Извольте сидеть и ждать, пока вы вызовете аппетит у совершеннейшего организма и он приступит к исполнению над вами процесса обновления. А между тем сидите и содрогайтесь, созерцая, как производят эту операцию над другими, над вашими близкими и присными, как потом, объеденные, засиженные, бледные, окровавленные, они бродят полуживые, распространяя ужас и отчаяние.

Повторяю, законы природы, конечно, направлены ко благу вселенной, и страдания низших организмов, в виду усовершенствования, победы и ликования высших, не могут быть серьезно принимаемы в расчет. Но я уж и не прошу об этом. Я указываю здесь только на ни на что не нужную при этом жестокость, которую, мне кажется, можно было бы легко избежать именно вышеуказанным путем единовременного и повсеместного «обновления».

Такое распоряжение было бы и гуманно и во всех отношениях, несомненно, полезно, ибо через это, может быть, ускорилась бы и самая медленность нашего общего во всем усовершенствования. Имея дело с организмами совершеннейшими, можно было бы, при даровании им различных прав и преимуществ, более уверенно рассчитывать как на их благоразумие, спокойствие и умеренность в пользовании оными, так равно и на патриотизм более

возвышенный и, следовательно, более податливый во всех отношениях.

И в этом предположении нет ничего преувеличенного. Чем совершеннее человек, тем он более свободен от предрассудков, традиций, преданий, а в некоторых особенно счастливых случаях даже и от принципов. Наблюдая обновляющие нас совершеннейшие организмы, невозможно отказать им именно в такой свободе. С прошедшим у них нет никакой связи. До будущего им нет ни малейшего дела. Они живут одним настоящим и при этом благоразумно устранили всё, что мешает удобствам этого настоящего, причем ни за каким физическим или нравственным тычком никогда не гонятся. Вообще это самый подходящий народ.

Я, разумеется, не настолько компетентен и смел, чтобы защищать или опровергать довольно распространенное у нас мнение — именно, что с поглощением «нас» совершеннейшими организмами в отечестве нашем объявится вторая Америка. Но в некоторой степени это, пожалуй, и справедливо, особенно не в столь отдаленном будущем. В самом деле, от скрещения приплода Сладкопевцева с приплодом Подугольникова, несомненно, должно получиться нечто весьма замечательное, и, при счастье, и у нас, может быть, заведутся такие янки, перед которыми американские покажутся невинными младенцами... Во всяком случае задатки на это есть, и даже очень богатые.

А что дело идет именно к этому, в этом сомневаться, по-моему, нельзя, и всякий *действительно* хорошо знающий современную деревню и не менее хорошо знавший ее лет пятнадцать — двадцать назад со мной непременно согласится. Шустрого народа теперь развелось там столько, что хоть отбавляй, и все они, в качестве организмов совершеннейших, заняты, смотря по ширине зева, обновлением или нашим, или мужицким. Работа кипит, и никакого уныния в деревне действительно теперь нет. Мне очень прискорбно, что некоторые из рецензентов моих очерков вывели заключение, будто я свидетельствую, что современная деревня уподобляется по впечатлению в некотором роде кладбищу. Ничуть. Происходит только «обновление», а веселых, довольных лиц можно встретить сколько угодно. То уныние, о котором я говорю, — уныние чисто наше, помещичье и мужицкое, а вовсе не общее.

«Совершеннейшие» организмы, предназначенные для нашего обновления, напротив, в самом прекрасном расположении духа. А так как для «обновления» одного помещика требуются всегда почти соединенные усилия нескольких Подугольниковых и Сладкопевцевых, и притом с участием их близких и дальних родственников, то, следовательно, и в количественном отношении веселых и довольных лиц теперь стало несравненно больше прежнего.

Эту веселую общую картину, правда, до некоторой степени портят мужики, не имеющие, подобно «нам», причины быть особенно радостными в виду обновления; но это маленькое неудобство весьма легко устранимо: стоит лишь похерить общинное землевладение, и тогда с полной уверенностью можно сказать, что их «обновление» пойдет если не скорей нашего, то уж во всяком случае и не тише, и самое большое лет через двадцать, а то и через пятнадцать, и на их местах будут сидеть сплошь всё «совершеннейшие» организмы с веселыми лицами. За это можно вполне ручаться.

Впрочем, из нижеследующих примеров читатель, может быть, лучше поймет все эти соображения и заключения.

Когда дяденька Дмитрий Павлыч заложил имение в опекунском совете и, в надлежащей степени «освежившись» в Москве, вернулся, наконец, в деревню, то привез с собой, между прочим, и ни на что не нужную гувернантку. Тетенька Любовь Васильевна была этим и огорчена и глубоко и справедливо возмущена. Обстоятельство это было тем прискорбнее, что она в это время была в тягостях, и все мы не без основания боялись трудных и неблагополучных родов. Однако все, к общей радости, кончилось благополучно; ненужную гувернантку кое-как удалили, поселив в дяденькиной душе сомнения в ее верности (по правде, ложные); роды же хотя и были не из легких, но кончились хорошо. Бог дал нам сестрицу Сонечку, которая, вместе с прежде родившейся другой сестрицей, Наденькой, и начала расти, как родителям, так равно и всем нам на радость и утешение. Мы были почти сверстники. Дяденька Дмитрий Павлыч мне приходился дяденькой по матери, и меня возили к нему часто; я до

сих пор живо помню наши вполне невинные детские игры вместе с Сонечкой и Наденькой. Особенно я был дружен с Наденькой. Славная была девочка, пухленькая, розовая, и родители возлагали на нее большие надежды. Но человек предполагает, а бог располагает. Так было и тут. Впоследствии, как будет показано это ниже, она принесла им не столько утешения, сколько горя, хотя, собственно, не лично, но через супружество, может быть и с достойным, но жестоким человеком.

Тетенька Любовь Васильевна скончалась, когда Сонечке было восемнадцать, а Наденьке двадцать лет. Как известно, для девиц это самый «опасный» возраст. Повинуясь указаниям природы, они в это время уж достаточно ясно сознают одно из требований ее, именно заботу о продолжении рода себе подобных, и тщательно высматривают и приискивают себе для такого предприятия сотрудников, разумеется на законном основании. Руководство доброй и опытной матери здесь необходимо, и отсутствие таковой поистине ничем незаменимо. И Сонечка и Наденька таких сотрудников, конечно, искали и занимались этим уж не со вчерашнего дня, но удачи почему-то не было, и довольно долго таки, так что они провели в этих занятиях почти все время до тридцатилетнего возраста. Наконец младшая, Сонечка, нашла свое счастье и, таким образом, открыла себе возможность исполнять возложенные на нее природой обязанности. Наденька же продолжала оставаться в одиночестве. Сонечка вскоре после брака уехала с мужем куда-то на юг, где у него было какое-то имение, и все мы потеряли ее из виду. Наденька, следовательно, осталась теперь одна с престарелым родителем, который и без того запущенное имение свое теперь запустил еще больше. Понятно, приданого дочерям он никакого не мог дать и действительно не дал его и Сонечке, несмотря на то, что номинально имение его было одно из самых больших в нашем уезде; уже и тогда все было заложено и перезаложено. Ко всему этому дяденька на закате дней своих начал в излишестве употреблять крепкие напитки и с особенным пристрастием относиться к экономке Фекле Дмитриевне, приуроченной покойницей тетушкой вовсе не к этому занятию... Ах, если бы она все это знала!

Очень естественно, что Наденьке дома было скучно и она все время жила то у тех, то у других родственников, а так как родня у нас поистине необозримая, то такое ее кочеванье ни для кого не было в тягость. В это время я ее видал с большими промежутками. Знал, что она, повинуясь обратному закону природы, успела уж окислиться, подсохнуть, вообще достаточно таки поблекла. Помнится, почему-то у меня сложилось даже какое-то твердое и непреложное убеждение, что она так и останется пустоцветом, не выполнив указаний насчет продолжения рода. Вскоре, однако, оказалось, что я ошибся. Как-то зимой, здесь, в Петербурге, я получил пространное письмо от родственников, где рассказывалось, что за Наденьку посватался, наконец, один небогатый и незнатного происхождения, но очень достойный человек, Алексей Евлампиевич Передков. В письме, между разными подробностями, было сказано, что он служит по провиантской части и у начальства на отличном счету. Меня звали даже на свадьбу, но я от этого удовольствия уклонился, ограничившись разными искренними поздравлениями и сердечными пожеланиями. Прошло лет десять. Мы не видались. Алексей Евлампиевич получил какое-то повышение, потом назначение и, наконец, попал на такое место, где жить ему было «как в раю»... Наденька от хорошей жизни начала нещадно плодиться. Каждый год мы все, родственники, получали от нее непременно по письму-циркуляру с извещением о приращении ее потомства, а раз как-то в один год получили даже два таких письма. Старик дядя между тем все еще скрипел, хотя с каждым днем видимо приближался к ликвидации. Два года назад, проездом из Петербурга в деревню, я заехал к нему.

— Ну что, дяденька, как вы здоровы?

— Плохо, мой друг. Жду вот Наденьку с мужем.

— Выписали их?

— Нет, сами едут. Он там где-то за Балканами попался, судился и хоть вывернулся, но все-таки велели того... подать в отставку... ну вот и едут меня проведать... Ты его ведь, кажется, не видал?

— Нет, до сих пор не случалось.

— Посмотри. Интересный субъект.

— А что?

— Так, вот увидишь...

— То есть, это вы насчет воровства?..

— Нет, это-то, положим, у них... Интересный, очень, тебе говорю, интересный человек. И капитал, я думаю, теперь уж порядочный есть.

— А что Наденька?

— Ничего, слава богу, здорова. Он и ее на свой образец перешил.

— То есть?

— Так, и она тоже... такая же. Да вот на днях увидишь.

Старик говорил мне все это таким тоном, что не могло быть никакого сомнения в том, что он не только не рад их предстоящему визиту, но даже с каким-то содроганием ожидает его. Я подумал и спросил:

— Вы, дядя, как будто огорчены ими?

— Именно, мой друг, огорчен. Я чувствую, что они хоронить меня едут. И он похоронит. Он и живого похоронит. Он и прежде был такой, совсем бессердечный, а теперь на войне, да вот на суде, еще больше ожесточился...

— Деньги любит?

— Только их и любит.

— А вы не поддавайтесь.

— Гм! — Он усмехнулся и ничего мне не ответил.

Мы помолчали.

— А знаешь, что я тебе скажу? — вдруг опять начал он и опять остановился.

— Нет, не знаю, говорите.

— Все-таки я его прокляну. И что я ни делаю, а эта мысль у меня из головы не выходит. Вчера до того дошло, что за попом посылал. Рассказал ему, побеседовал, ну мысли будто и рассеялись немного. А то так-таки вот и подмывает проклясть его.

— Да что ж такое он вам сделал?

— Ничего, ровно ничего, а видеть его не могу, потому я чувствую, чую, что он живого человека похоронить может, и сделает это так же спокойно, как рюмку водки выпьет. Да вот ты увидишь...

Я решил, что старик раздражен, что Передков, по всей вероятности, в самом деле негодяй, но за что ж сейчас уж и проклинать его? С этими мыслями я и расстался с ним.

Прошло недели две. Раз как-то вечером я был в саду и зашел в самый дальний угол его, устал и сел на скамеечку. Вдруг слышу колокольчик, и как будто у нас на дворе. «Кто бы это?» — подумал я и не успел хорошенько углубиться в эту мысль, как увидал, что за мной бежит лакей.

— Сестрица, Надежда Дмитриевна, приехали.

— Одна?

— Нет-с, с супругом и с детками.

Не знаю почему, но меня самого как-то покоробило. Я не то чтоб испугался — чего мне было «его» бояться? — а так, неприятно, как бывает неприятно при встрече с гусеницей, сверчком, лягушкой и проч. Однако я преодолел сейчас же это несправедливое чувство и поспешил в дом. Они уж все сидели на балконе и ждали меня. Подпустив меня так шагов на сорок, навстречу мне были выпущены дети, числом шесть. Они с необыкновенной быстротой и даже стремительностью спустились по ступенькам, окружили меня с криками: «дяденька, дяденька!» и так и впились мне в руки. Я не знаю ощущения гнуснее, когда у меня мужчина или ребенок поцелует руку. Я чуть не вскрикнул теперь и как ни отрывал рук, как высоко ни поднимал их, они все-таки доставали, цепляясь один за другого, лезли у меня по животу. Ужасное было положение! И откуда это у них такая любовь ко мне? Отроду они меня не видали, а как любят!.. Я положительно не мог шагу сделать, совершенно как медведь, окруженный теми маленькими собачками, что предназначаются на охоте для задержания его. Наконец с балкона начали спускаться, тоже навстречу мне, Наденька с каким-то среднего роста мужчиной, в фуражке с красным околышем и кокардой.

— Дети! — вдруг послышался голос этого мужчины, и я почувствовал себя в тот же момент совершенно свободным. Они так же быстро оставили теперь меня, как прежде атаковали. Замечательно дрессированные дети...

Наденька за эти десять лет необыкновенно пополнела, так что из совсем было подсохшей девицы сделалась очень даже полною дамою; а так как она опять была беременна, то казалось, будто даже и излишне полна. Оба они, то есть она и муж ее, приближались ко мне с радостно-родственно улыбающимися лицами. Мы, разумеется, обнялись и поцеловались.



— Это мой муж, — сказала она, указывая глазами на своего спутника, — прошу любить его и жаловать. Я знаю, что ты его непременно полюбишь... ты добрый.

Мы обнялись и с ним.

— Нет уж, братец, надо, по русскому обычаю, трижды, — проговорил он мне, когда после поцелуя я хотел уклониться от продолжения этого занятия, — и мы поцеловались еще два раза.

Во время этой нашей первой встречи он был со мной даже как-то робок и все повторял просьбу принять его в число родственников, сделать ему эту честь, которую он, и проч...

— Помилуйте, какая же честь... очень рад, — говорил я, а сам все смотрел ему в рот и на руки: как это он «берет» и «глотает»!.. но ничего особенного не заметил...

Мы взошли на балкон.

— Какой, братец, у вас здесь воздух прекрасный, — начал он.

— Какой воздух... да что ж у «нас», кроме воздуха-то, теперь и осталось? — Но он не понял меня. — Наденька, ты уж, мой друг, будь хозяйкой, распорядись насчет чаю и прочего, — попросил я ее и велел поставить самовар.

— Если это для нас, то не беспокойся. А вот, если можно, молока... Алексей Евлампиевич говорит, что в деревне грех чай пить, надо непременно молоко, — ответила мне Наденька и любовно посмотрела на мужа.

— Ну, молоко так молоко, что угодно, мой друг: это еще пока у нас есть.

— Падежи, говорят, кругом? — заметил «братец».

— Нет-с, «это» не от падежей у нас...

Опять он меня не понял, но сестрица поняла и со вздохом и грустной миной, хотя и не без удивления, а как бы от неожиданности, спросила:

— А что, дружочек, разве и у тебя плохо?

— То есть, как тебе сказать? у меня-то еще пока ничего, а вообще...

— Ах, вообще — это ужасно! Впрочем, — добавила она, — Алексей Евлампиевич говорит, что все это к лучшему, потому что тогда имения перейдут в достойнейшие руки.

— Ну, это... А впрочем...

— Если вы, братец, позволите высказать мне мою мысль, — начал он.

— Говорите, говорите.

— Мне кажется, у господ помещиков мало старания... и потом... — Он запнулся.

— А потом?

— А потом-с, народ распущен...

— Леша, дружочек, это ты судишь по папеньке: он старик, действительно «их» так распустил, ах, как распустил! а в других местах, может... — вмешалась Наденька. Но он ее сейчас же опроверг.

— Нет, дружочек, — сказал он, — везде распущен народ. Это ведь сейчас видно. Как въехал в село, сейчас видишь, распущен в нем народ или нет.

— Это вы насчет шапок? — спросил я.

— Нет, братец, вообще про вольность. Свежий человек это сейчас заметит...

«Гм! «свежий»... — подумал я, — а может, он и прав?..»

Он точно проник в мои помыслы, потому что еще раз повторил:

— Распущен, братец, поверьте, распущен...

— Да, дружочек, тебе с «ними» предстоит много возни после папенькиной кончины, — опять заметила Наденька.

— А разве плох он?

— Очень плох.

— Все от раздражения. Ужасно они стали раздражительны. Просто не знаешь, как и обращаться с ними. Этой женщине... вы, вероятно, знаете ее? — Алексей Евлампич, сказав это, как бы сробел и посмотрел на меня.

— Вы про Феклу, что ли?

— Да-с.

— Так что же?

— Никакого замечания не позволяют ей сделать. Такую ей волю во всем дали, что и рассказать совестно. Всем домом заправляет, и это при дочери, законной наследнице... — Он указал глазами на Наденьку. Она скромно потупилась и вздохнула.

— Вы бы уж ее не трогали... пока он жив-то. Ведь он теперь, я думаю, уж скоро...

— Все-таки нельзя-с. И потом, неприлично... — он покосился на детей, — хоть и маленькие они, а ведь уж всё

понимают, спрашивают: «кто она нам приходится?..» Каково это дочери-то родной слышать? Ведь в этих стенах покойница маменька жила...

Наденька при этих словах опять вздохнула.

— Ты знаешь, какая из-за нее история у нас вышла? — сказала она. В это время вздохнул Алексей Евлампич и кротко прибавил: «Бог с ними».

— Нет, не знаю, что такое?

— Ах, это ужасно, это ужасно! Понимаешь, дети ведь еще маленькие, ничего не понимают, все время на воздухе, ну, аппетит у них... они и просят молока. Я распорядилась, чтобы подали, а Фекла не велела давать. Я хотела так оставить эту историю, а Алексей Евлампич — он у нас вспыльчивый такой — нет, говорит, этого так нельзя оставлять; ее надо примерно наказать. И с этими словами пошел жаловаться на нее папеньке, и только начал с ними об этом говорить — это на другой день нашего приезда было, — он приподнялся на кровати, поднял руки, знаешь, как архиереи благословляют, и проклял его...

— Таки проклял! — вырвалось у меня.

Они оба уставились на меня.

— А разве ты знал о его намерении заранее? — спросила Наденька.

— Знал, мой друг, не хочу и скрывать этого от тебя, — сознался я.

— И не предупредил!.. — упрекнула она.

— Да как же бы я это мог сделать? У меня и адреса-то твоего не было, и потом, я думал... — оправдывался я.

— Это, впрочем, недействительно-с, потому если бы это родной мой родитель, а то ведь они мне через супружество с их дочерью приходятся... Между тем на всякий случай я к приходскому священнику на другой день ездил и спрашивал об этом.

— Что ж он вам сказал?

— А вот то же самое-с, что я сейчас докладывал. «Впрочем, говорит, лучше бы, если бы этого не было», и посоветовал, как будут кончаться, так у смертного одра испросить прощение...

— А не советовал он вам дать ему хоть умереть-то спокойно? — невольно опять сорвалось у меня.

Алексей Евлампич вскинул на меня свои быстренькие глазки.

— Да чем же мы им мешаем? Что приехали? Так ведь, я думаю, и им лучше умереть на руках дочери, чем, с позволения сказать, у...

Дети между тем поели молока с булками; Наденька решила, что им пора спать, собрала их, опять напустила на меня, они опять вызвали своими целованиями «дяденькиной ручки» необъяснимое нервное содрогание во мне, и, наконец, она повела их укладывать. Мы остались на балконе с Алексеем Евлампичем одни, с глазу на глаз.

— А какой, братец, у вас здесь воздух прекрасный! — опять начал он.

— Хорош...

— Вот когда мы в Казанлыке стояли — я там партию сапогов сдавал — вот-с где уж воздух так воздух...

— Хорош?

— Розан-с, а не воздух. И сколько там этих розанов!

«И выдрал бы я тебя ими...» — подумал я, но он на этот раз моих мыслей не угадал и потому так же восторженно продолжал описывать красоту природы.

— Вы сапогами заведовали? — спросил я.

— То есть преимущественно — сапогами, но были командировки и по мучной части.

— Что, это выгодно?

— Ответственность большая. Шестерых повесили...

— Только?

— А разве этого мало. В мирное время за «это» им, можно сказать, почти что ничего бы не было...

— Даже, пожалуй, по головке погладили бы?

— Хе-хе. Нет-с; этого невозможно, а все-таки такой строгости не было бы-с.

— Ну, а правду тогда рассказывали в газетах, будто Скобелев какого-то самого важного жида у вас выпорол?

— Не-е-т-с. Это так-с, выдумали. Пустяки одни. Разве это возможно?

И только тут я вспомнил, что ведь «братец» и сам был под судом и хоть успел очиститься при помощи кого-то и чего-то, но тем не менее все же был уволен.

— Вы извините меня, ведь я так из одной любознательности вас расспрашиваю. Может быть, и в самом деле в действительности-то ничего этого и не было.

— Нет-с, было злоупотребление, но преувеличено, сильно преувеличено... И, немного помолчав, сказал: —

Я ведь сам пострадал, и потому знаю, как легко понапрасну погубить человека.

Я сделал вид, что я слышу об этом в первый раз от него, удивился и потому должен был выслушать длинную и прескучную повесть о какой-то невероятно смелой и в то же время сложной плутне, где, если так повернуть — все правы, а этак — все виноваты.

— И вы при этом лишились... всех ваших сбережений?

— Почти-с. Вот-с только Сонечкины векселя имею, а капиталу самые пустяки...

— Какие же это у вас Сонечкины векселя?

«Господи, это что за история? Неужели он и ее успел уж запутать!» — невольно испугался я.

— А я ей ссудил под ее часть, что останется после покойника. Ведь Наденька не одна наследница...

— Да ведь он еще жив!

— Помилуйте, что это уж за жизнь!.. Если взойти к нему в комнату да хорошенько раздражить его, так ведь он может сейчас же умереть...

И это он говорил так просто, так спокойно, что, казалось, непременно так и сделает, если ему надоест долго ждать его смерти. Мне даже страшно стало...

Вечером, после ужина, когда мы расходились спать, Наденька поцеловала меня, а он опять — трижды.

Так прожили они у меня целых три дня и положительно вымотали мою душу. Главное, дети. Ужасен, конечно, «братец», но приплод его — чисто язва египетская. И как только сумел он вдохнуть в них, невинных младенцев, столько подлости — и ума не приложу.

— Дяденька!

— Что, мой друг?

— Дяденька, я вас люблю!

— Спасибо, мой друг.

— Дяденька, вам этот карандашик не нужен? — И показывает мой карандаш, что вот сию минуту лежал у меня на столе. В кабинет он, по-видимому, не входил, а карандаш стащил. Удивительно и даже непостижимо!

— Как же ты его, мой друг, добыл?

— А я, дяденька, когда вы выходили, за дверью стоял. Вы из кабинета, а я сейчас в кабинет...

— Возьми, только другой раз так не поступай.

И куда бы я ни спрятал руки, все равно изловчится лобызнуть.

Или так:

— Дяденька!

— Что, мой друг?

— Виноват.

— В чем, душа моя?

— Я хотел у вас без спросу карандаш взять.

— Да ведь ты только хотел, а не взял?

— Нет, не взял.

— Так в чем же ты виноват?

— А в помыслах... Папенька говорит, что если что нехорошее подумал, так и то грех...

— Ну, уж об этом ты у него и проси прощения, а я-то тут при чем?

— А вы мне за то, что я вам всю правду сказал, не подарите карандашик?

И смотрит так приниженно-подло, что всю душу перевернет от этого взгляда.

Собрались вечером на балконе, сидим и пьем чай. Дети напились молока и начинают «клевать» носами: пора, значит, им спать идти. Алексей Евлампич заметил это и начинает:

— Яша?

— Сейчас, папенька.

— Ну, говори, что ты дурного сегодня сделал? Все говори, боженька слышит...

Яша трижды целует папенькину руку, говорит нечто вроде присяги, куда входит даже текст какой-то из катехизиса, и начинается представление. Сперва идет перечень дурных поступков: разбил стакан, разорвал панталончики, капнул чернилами на книгу и проч. Потом помыслы: хотел взять без спросу кренделек, хотел играть с крестьянскими мальчиками, хотел коту привязать бумажку на хвост и т. д., целый ряд злых умыслов.

— Вася!

— Сейчас, папенька.

— Правду он говорит?

Вася повторяет присягу и начинает уличать брата в сокрытии преступлений. Происходит очная ставка, иногда призывается принять участие в судопроизводстве третий брат, Федя, и даже доходит нередко до того, что весь

приплод занимается этим. Сонные, измученные, они врут друг на друга и каждый на себя черт знает что, а он их все пытает и читает наставление. После первого такого упражнения, когда дети были, наконец, отпущены, я обратился к нему.

— «Братец», — сказал я, — зачем вы это делаете? Ведь из них отъявленные подлецы выйдут. — И начал ему это доказывать.

— Не скажу, братец, — ответил он мне, — когда я воспитывался в училище, этот метод прилагали и к нам воспитатели наши.

— Ну и что ж хорошего?

— А вот вышел же я в люди... Конечно, теперь, после моего «несчастия», про меня все можно сказать, а до этого случая и я был постоянно начальством аттестован...

— Нет, уж ты, дружочек, не спорь! — вмешивается Наденька. — Вот когда и у тебя будут дети, ты поймешь это. Теперь мы покойны; знаем, что они ничего дурного не замышляют ни против нас, ни против кого бы то ни было...

— Некоторое подобие этому мы видим и у более опытных правителей, через надежнейших из своих подчиненных узнающих о замыслах прочих. Мне самому посчастливилось в минувшую войну оказать такую услугу моему ближайшему начальнику, через что он и был спасен.

И Алексей Евлампиевич подробно рассказывает, как во время какого-то перехода от Плотешты до Питешты и от Фратешты до Корнешты надо было сдать несчастным полубосым солдатам новые сапоги, но начальник, заведовавший этими новыми сапогами, справедливо предположив, что в виду сражения многие после не будут уже нуждаться ни в каких сапогах, решил дождаться, когда таковая убыль в войсках образуется, и тогда уже сдать сапоги. Как ни тонко было это соображение, но некоторые из подчиненных «начальника» проникли его умысел и, ввиду «ответственности» за участие в предприятии, а также и отказа «начальника» поделиться с ними «доходом», решили через тайный донос оклеветать его перед начальником еще более высшим. Но тут он, Алексей Евлампиевич, все это узнал и своевременным контрдоносом ковы их разрушил и своего начальника спас.

— А солдаты-то, пока вы эти мины друг под друга подводили, так и оставались босиком?

— Во-первых, прошло в этих недоразумениях не более недели, — пояснил «братец», — а во-вторых, обувь, хоть и обветшалая, у них все-таки была...

Короче, в эти три дня они меня так усовершенствовали, что я, человек крайне мирный, сдержанный, сделался раздражительным и нервным до неприличия. Наконец они уехали, и я мало-помалу успокоился, начал гулять, ходить на охоту, читать, почувствовал даже, что могу продолжать писать, словом, совсем выздоровел. Но мне недолго пришлось наслаждаться спокойствием. Мне суждено было испить чашу семейных радостей до дна, до последней капли. Недели через две после их отъезда посланный, ездивший на почту, привез мне, между прочим, и письмо от старика дяди, в котором он говорил, что чувствует приближение кончины и хотел бы еще раз видеть меня: «Страшно, мой друг, умирать мне. Волки вокруг меня, и я боюсь, что они меня живого схоронят. У «него» и глаза даже горят в темноте, как у волка...» Старик, очевидно, бредил предсмертным бредом. Нечего было делать, надо было ехать, и я поехал.

На крыльце меня встретил «братец» и прямо из тарантаса принял в объятия.

— Ну что дядя? — спросил я его, когда он совершил надо мною обряд троекратного облобызания.

— Плохи, очень плохи! — И так глубоко и искренно вздохнул.

— Что, разве простил? — невольно спросил я, обманутый его растроганным видом.

— Нет еще, все отказывается допустить к себе. Впрочем, я надеюсь успеть в этом. Батюшка обещал, когда приедет к нему в последний его час со святыми дарами, то как нераскаянного...

— А если он за другим батюшкой пошлет?

— Так что ж! и другой за приличное вознаграждение... и потом ведь припугнуть его только, если будет продолжать упорствовать. Разве это христианин, который в нераскаянии умирает? У него уж ум помрачен, если он этого не понимает...

Сестрица была тоже утомлена и так как к тому же была еще и тяжела, то просто совсем уж раскисла. Дети

сделали нападение по всем правилам, причем для овладения руками моими употребили даже некоторую хитрость: поднесли мне букет цветов, и лишь только я хотел принять его от них, они моментально покрыли руки мои поцелуями. Один какой-то тут же начал в чем-то каяться. Меня так и обдало той же духотой, которой я дышал, когда они гостили у меня.

— Можно к нему пройти? — спросил я.

— А вот сейчас мы узнаем. Яша! сбегай к дедушке в кабинет и посмотри в щелку — только тихо-тихо — спит он или нет? — скомандовал братец. Соглядатай скоро вернулся с известием, что дедушка спит, потому что все лицо у него покрыто мухами, чего у неспящего, очевидно, не может быть. В известии было что-то подозрительное.

— Да уж жив ли он? Вы бы сами посмотрели.

Алексея Евлампиевича это тоже как бы встревожило, и он на цыпочках, осторожно пошел подкрадываться к замочной скважине.

— Все он слышит, чуть сапог скрипнет если, он сейчас спросит: «кто там?» — объяснял братец и начал «наблюдать»...

— Нет, жив, дышит, и ни одной мухи нет — обмахнулся. Скучно, он и дремлет...

— С дороги, дружочек, не хочешь ли закусить? — спросила Наденька. — Мы ведь здесь всё «свое» имеем. Алексей Евлампиевич все закуски на свой счет покупает. Папенька нам только угол дает. Не просить же в самом деле у Феклуши после того, как она и молока детям не дала...

— А теперь дает?

— Ах, боже мой, да ведь оно в деревне, при своих коровах, разве что-нибудь стоит!

Я выразил одобрение предложению выпить рюмку водки и согласился, что в деревне, при своих коровах, молоко действительно ничего или почти ничего не стоит.

— И это у «нас» ведь во всем-с так. Намедни пошел я заметить, сколько парниковых рам; стою, знаете, и считаю их, а об этом донесли Феклушке, та — ему, он и огорчился... А то совсем уж было хотели проклятие снять...

— Да дайте же ему умереть. Ведь вы знаете, что все это его раздражает.

— Ах, боже мой, вот ты, дружочек, не веришь, а спроси Алексея Евлампиевича, и он тебе то же скажет: сегодня, положим, утром он умрет, а к вечеру половину дома всего растащат. Одна Феклушка что уж перетаскала к себе. Нельзя же не сделать заблаговременной описи; Алексей Евлампиевич и то уж так осторожно, так деликатно это делает. Поверишь ли, иной раз даже не сам поверит, а пошлет детей, те незаметно сосчитают и скажут. Ведь это, мой дружок, не жизнь — это мучение. Какой-нибудь Феклушки должна родная дочь бояться! — И Наденькины глазки затуманились как бы от слез. Она даже несколько раз всхлипнула и высморкалась.

— А вот об этом они небось не думают, что первого числа срок их векселю. Сонечка бог знает где — на кого же прикажете мне протестовать? А их я знаю. Как получат повестку, опять начнут раздражаться, — заметил братец.

— Послушайте! Ведь это же убийство наконец! Ведь и так все вам достанется.

— А может, они этой самой Фекле тоже векселей надавали. Они хитрые. Мне их бланк нельзя не протестовать-с. Я для охранения вексельного права...

Тут я узнал в подробности грустную повесть, как Сонечка просила отца прислать денег, как у старика их не было и он достал их у зятя под вексель дочери с своим бланком. Всего было около пяти тысяч, но для верности «документов» было взято на вдвое большую «сумму». Одним словом, не оставалось никакого сомнения в том, что по смерти дяди Наденька единственная наследница, а Сонечке и «понюхать не дадут».

В это время вбежал Вася, поцеловал у отца руку, оглянулся на всех нас каким-то не по-детски возбужденным взором и выразил желание сказать что-то папеньке на ушко. И это был восьмилетний ребенок!..

— Пойдем, пойдем, поговорить хочешь с папкой, — ласково сказал Алексей Евлампиевич, встал и удалился с ним.

— Ну, слушай, Наденька, — обратился я к ней, когда мы остались вдвоем, — попомни ты мое слово. Дети твои отъедят тебе живой голову, как вы отъедаете ее старику! Разве это дети?..

Наденька даже изумилась.

— Я тебя, дружочек, не понимаю. Он кому говорит? кого «предупреждает»? Отца... Разве это худо? Вот Яша намедни Феклушку «предупредил» — ну, за это мы его, конечно, наказали. Разумеется, ребенок, он не понимает. Она дала ему пряников, он все и рассказал. И Леша строго даже наказал его за это...

Я понял, что никакие «мои» предупреждения тут не помогут, что подлость возведена в догмат педагогический, и замолчал. Вошел братец и, злобно-радостно улыбаясь, сообщил мне, что по сведениям, добытым Васей, сегодня после обеда или ночью Феклушка едет к своей куме за десять верст и везет с собой какие-то узлы...

— Ах, боже мой, отнять их у нее! — решила Наденька. — Я думаю, я здесь хозяйка?!

— Будешь, мой дружок, но пока — нет, — заметил ей муж и, обратясь ко мне, присовокупил: — так-то-с. Теперь сами всё видите. И это от родной дочери родной отец отнимает — и для кого? Боже мой, боже мой!..

Между тем оказалось, что Яша, куда-то исчезнувший от нас, проводил время не праздно, а наблюдал за дедушкой.

— Папенька, — сказал он, появляясь снова между нами и с нежной, ангельски-преданной улыбкой потянулся к уху.

— «Они» проснулись, — сказал «братец», выслушав сыновний доклад. — Теперь к ним можно.

Я, разумеется, сейчас же пошел к старику. По-видимому, он действительно должен был вот-вот умереть. Лицо потемнело, глаза стали блуждающие, необыкновенно большие. Ужасно тяжело было его видеть. Когда, впрочем, мы начали говорить с ним, он оказался много бодрее, чем думалось при взгляде на него.

— Спасибо! спасибо! — повторял он. — Вот теперь я покойнее, живого хоть не закопают.

— Ну, господь с вами, это вам так кажется, что вы...

— Нет, не кажется. Ты видел его? Каков?

— Конечно, не без недостатков...

— Это волк, гиена!.. Разве люди такие бывают? А дети-то каковы! Ведь из любого антихрист выйдет...

В это время, как нарочно, дверь тихонько отворилась и, с необыкновенной сладостью в голосе воскликнув: «Дедушка! милый дедушка!», к нам ринулись Яша с Ва-

сей. Оба кинулись с разных сторон к кровати, один к правой, другой к левой руке «дедушки», и, как пиявки, присосались к ним. Старик не отнимал рук, только дальше откачнулся головой и смотрел то на того, то на другого.

— Ты заметь, — обратился он ко мне, — какие у них волосы!

— Блондины, в отца, — ответил я.

— Нет, не то. Ты посмотри — пестрые.

В самом деле — они были разноцветные: одна прядь как бы темнее другой.

— Это не хорошо, не ровно напомажены — оттого.

— Совсем нет. Они такие и есть пестрые. Перед голодным годом в поле мыши такие пестрые появляются. Это всегда перед голодом... Ты думаешь, мало народа они оберут на своем веку?

Мне было и смешно и в то же время как будто и страшно. Они продолжали целовать ему руки и сверху, и в ладонь, и в каждый палец отдельно.

— Ты знаешь, зачем они сюда явились? — продолжал он.

Я, конечно, догадывался, но сказал, что нет.

— Подслушивать, что мы будем с тобой говорить.

— Перестаньте, дядя. Вы раздражены... это нехорошо.

— Да уж ты меня не уверяй. Знаю я их.

В это время младший, Вася, вдруг как-то вострепетал, съежился, до невероятности участил поцелуи и вдруг прижался к руке и притих, уставившись на старика-деда. Прошло несколько мгновений молчания.

— Дедушка, милый дедушка! — начал он. — Могу я вас, дедушка, просить?

— Проси.

— Подарите мне на память столовое серебро...

— Зачем это тебе? Чем же мы есть будем? Это тебя «проклятый» научил?

— Не теперь, дедушка, а после вашей кончины...

— Вот! Змееныш! — простонал старик, закашлялся и вытянулся на кровати. Я испугался, думал, что он уж умирает. Но он скоро опять открыл глаза и начал тяжело дышать. Дети, разумеется, уж давно исчезли, и мы опять остались вдвоем. Я молчал, подавленный этой сценой.

— Ну что? Не прав я?

Разумеется, что же я мог ему возражать, но, конечно, старался всячески успокоить. Минут через десять он сказал, что хочет со мной поговорить о каком-то важном деле и чтобы, для устранения подслушивания, я растворил настежь двери из его комнаты.

— Так лучше, — заметил он, — теперь видно, подслушивают они или нет... Ну, вот что: даешь ты мне слово в точности исполнить мое поручение?

— Какое, дядя, — я ведь ничего у вас тут понять не могу. Может, это поручение и исполнить совсем нельзя.

— Нет, можно, я знаю. Ведь это они только решили, что я и с ума даже сошел.

— Говорите, что такое?

— Даешь слово?

— Даю.

— Вот что: Сонечку он запутал так, что ей ничего не придется получить. Какая она там ни на есть мотовка, все же не Надьке чета... И потом, вот прислуга... Они мне верно служили... Ну, понимаешь, на моей это совести... хоть что-нибудь им урвать у него...

— Что ж я тут могу поделать?

— А вот что, ты слушай: намедни лежу я, ко мне и пришел наблюдать за мной их старший змееныш. Начинает выпрашивать разные вещички — это всегда уж, — а я — скверно, конечно, я это сделал, да как же с ним быть-то? — и говорю: «Ничего я тебе, проклятому, не дам, если ты мне всю правду не расскажешь, что они замышляют против меня, как и когда...»

— Ах, зачем же вы-то это делаете? — невольно вырвалось у меня.

— Скверно, скверно, знаю, ну да уж так вышло. Ты слушай. Он и начал мне все рассказывать: «они», говорит, дедушка, больше всего хотят знать, не дали ли вы Фекле векселей?..» Те-те-те... А мне, глупому, и в голову-то этого раньше не приходило... Я за тобой и послал...

Он приподнялся, велел мне вытащить из-под подушки какой-то сверток. Развернули мы его, и там целая пачка векселей на мое имя.

— Это, как только я умру и похоронят меня, ты и представь. «Он» у тебя их сейчас же все купит. Он уж не выпустит из рук имения... А вот это список, кому и сколько дать из этих денег. Только теперь об этом ни

гу-гу, а то он меня со злобы ночью задушит... Ну, даешь слово?

— Даю. С удовольствием! — ответил я, рассмотрев длинный список лиц, подлежащих награде. — Дядя! — невольно воскликнул я затем, — но что это за бабы у вас тут переименованы?

— А это, мой друг, уж ты не осуждай меня, старика, это не теперь, это еще в молодости было...

— Понимаю... Хорошо.

— Всем, всем выдай.

Пока всё это мы с ним соображали и решали, в комнате, смежной с кабинетом, в которую были теперь отворены двери, раза два показалась Наденька и бесчисленное количество раз — дети. Моя беседа с стариком, какие-то бумаги у нас в руках — все это, очевидно, до крайности их интриговало. Вечером, после ужина, провожая меня в отведенную мне комнату, и Наденька и «братец» не утерпели и приступили к исповеди. Разумеется, я уклонился от нее.

— Во всяком случае, братец, позвольте надеяться, что вы не пойдете против нас, — сказал, наконец, «проклятый», видя, что он от меня ничего не добудет.

— Конечно. С какой же стати...

— Мы всегда были уверены, что вы благородный человек. — И, немного помолчав, добавил, относясь ко мне уж как к «своему»: — А вот нельзя ли вам как-нибудь Феклу от него удалить.

— Нет, уж увольте от этого. Да и вам бы не советовал ее трогать. Бог с ней, если и стащит кое-что. Ведь и так все вам останется.

— Ей-богу, не из жадности, а для охранения его же чести и доброго имени... Ну, сами, братец посудите, разве это хорошо будет, если у нее, после «их кончины», найдут разные их вещи? Что могут подумать? Разве дочери это может быть приятно? Надо и в ее положение войти... — и т. д., и т. д.

Я насилу отделался от них и лег спать, тщательно на всякий случай сунув под подушку векселя.

Я прожил у них двое суток. Дольше мне оставаться нельзя было, да и старик настолько ожил и повеселел, что можно было, по-видимому, наверно рассчитывать, что он проскрипит еще месяца два, пожалуй. Когда мне подали

тарантас и я стал прощаться с ним, он потребовал, чтобы я дал ему честное слово приехать опять, как можно только скорей. Я обещал, и мы расстались. И дети, и Наденька, и «братец» чуть не задушили меня в объятиях при прощании. Кажется, верст десять я отъехал, и только тогда очнулся и свободно вздохнул...

Мои расчеты, что старик проскрипит еще несколько месяцев, оказались, однако, ошибочными. Очень скоро я получил с нарочным письмо от «братца» следующего содержания:

Бесценный и многоуважаемый друг и брат,
Сергей Николаевич!

Милосердный бог сжалился, наконец, над нашим страдальцем и отозвал его к себе. Сегодня, в 6 часов 18 минут утра, папенька тихо скончался, оплакиваемый всеми нами, хотя и не исполнив долга христианина... но бог с ним. Мы не престанем молить всевышнего, дабы он простил его ожесточение и несправедливость. Папенькины похороны, в виду жаркого летнего времени, будут происходить завтра утром. Поспешите, дорогой братец, приездом и поддержите нас, убитых горем и до изнеможения усталых в заботах и хлопотах. Скажу по правде: есть от чего. Такого расхищения движимости, кажется, еще не бывало на земле!..

Как Наденька, так равно и дети целуют вас несчетное число раз. Сейчас начнется панихида.

Примите и проч.
Алексей Передков.

«Что ж это, однако, они так торопятся с похоронами? Уж и в самом деле, не живого ли они хотят его закопать?» — невольно мне пришло в голову. Или, может быть, не было ли ускорения естественного течения... Жаркое-то время, я слыхал, в этих случаях очень на руку бывает...

— Что ж, барин в самом деле умер? — спросил я посланного все под тем же впечатлением.

— А то как же-с? — удивился он.

— Нет, это я так спрашиваю, — спохватился я и велел запрягать тарантас.

И этот раз «братец» встретил меня на крыльце, так же точно троекратно облобызал и, входя в зал, где среди комнаты стоял на банкетном столе гроб, с глубоким вздохом, как-то помахивая головой, произнес:

— Вот он... оставил он нас...

«Сестрица» от огорчений, хлопот и забот была совсем как разварная рыба.

— Да, дружочек, вот она, жизнь-то наша! — говорила она, и усталые, припухлые от бессонницы глаза ее, хоть и весьма умеренно, но все-таки точили слезы.

— Что ж с этим делать, мой друг! это со всеми случится, — попробовал я ее утешить.

— А сколько он нам неприятностей оставил по себе. Ах, если бы ты знал все...

— То есть что ж такое?

— Половина дома расхищена... Поверишь ли: за три дня до его кончины Алексей Евлампич был на кухне и сам насчитал четырнадцать кастрюль, а теперь уж только шесть налицо. И так во всем...

«Братец» исчез тотчас же, как подвел меня к Наденьке. Она тоже не могла долго оставаться со мной и тоже куда-то ушла. Я остался один и пошел по опустелым комнатам, особенно как-то широко растворенным, как всегда это бывает в подобных случаях. И вдруг вспомнил про детей.

— А где же дети? — спросил я кого-то, попавшегося мне навстречу.

— При описи-с.

— При какой описи?

— Кладовую, погреб, выход барин молодой описывают, так они при них...

Обедать накрыли в угольной, где обыкновенно пили чай при покойнице тетушке, и скоро туда все собрались; но ни маленького Яши, ни Васи не было. «Братец» объяснил, что он их оставил дежурить одного в кладовой, другого в подвале. И опять жалоба на расхищение дома, рассказы, примеры. Но я тотчас же заметил, что «братец» уж не тот. И как ни «убит» он горем, тем не менее, однако ж, почувствовал, что теперь он хозяин здесь, и даже не скрывал этого нимало. «Я», «у меня» и т. п. выражения произносил он весьма твердо и отчетливо. Наденька тоже утратила опасения, что не дадут ее детям молока,

и очень даже величественно, с апломбом растягивая слова, отдавала приказания, вставляя кстати и некстати фразы: «Скажи, что «барыня ему это приказывает», «Я думаю, я здесь хозяйка», «Я ведь не Феклушка», и проч., и проч. Все это отдавало чем-то невыразимо противным, и на душе становилось темно, тяжело... После обеда я ушел в сад и почти до самого вечера проходил по длинным, запущенным, почти заросшим травою дорожкам. Потом пошел по усадьбе, на гумно, на конюшню, на скотный двор — везде разрушение, на всем явственно лежит и так и мечется в глаза печать полного тления и смерти... Вдруг совершенно неожиданно из-за какого-то угла вышел мне навстречу «братец». Он дружески взял меня за обе руки, вздохнул и, точно догадываясь, о чем я думал, сказал:

— Каково разрушение-то? И этакое золотое дно так запустить!.. Вот уж подлинно по пословице: и сам не ест, и другим не дает... — Но тотчас же опомнился, что хватил уж через край и прибавил: — Добрый был человек покойник папенька, а кроме вреда и себе и другим ничего не сделал.

— Другим-то какой же от него был вред?

— Распустил народ... избаловал... вор на воре... Вы думаете, легко мне будет их подтянуть теперь?..

И он начал развивать свои планы как о мерах приведения всего в порядок, так и о способах «воздействий» на мужиков. Все это было у него уж заранее обдумано, соображено и решено. Я слушал и удивлялся.

Вечером начали съезжаться к завтрашним похоронам родственники и знакомые из более отдаленных углов уезда. И он и она встречали их, все более и более проникаясь ролью хозяев. Переходы, особенно у него, от печального повествования о последних минутах «покойника папеньки» к рассказам о будущих усовершенствованиях, которые он непременно заведет, нимало не медля, были до того естественны, до того много было в них несдержанного ликования победителя над мертвым, пожалуй, еще не совсем остывшим побежденным, что ощущалось нечто невыразимо противное... Я отлично понял тогда, что иначе, как проклятием, старик и не мог покончить: представитель тления проклинал представителя «обновления» жизни...

Наутро этого представителя тления мы закопали. Когда начали выносить гроб, «братец» не преминул подставить тоже и свое плечо.

— Я христианин, — говорил он всем (история о его проклятии была всем известна), — и зла не помню, особенно в такой момент, когда «они» готовятся и плотию навеки нас покинуть...

Привезенные из города соборные певчие огласили пьяным ревом двор, когда покойник показался на крыльце, и шествие тронулось.

Народу много собралось — пол-уезда почти. Были и подлежащие обновлению, и обновленные уже, и, наконец, несколько экземпляров обновителей. Много впечатлений и размышлений вызывала эта смешанная толпа...

Наконец, когда все было кончено, то есть засыпали могилу, пропели вечную память обновленному, какая-то бедная дальняя родственница обнесла всех сладкой кашей с разварным изюмом, и проч., проч., Алексей Евлампиевич вздохнул уж совсем легко. Теперь ему не мешает даже тень покойника, труп его: он полный заместитель обновленного...

— Братец, — сказал он, отыскав меня в толпе и взяв за руку, — братец, не будем унынием тревожить «их» душу. Они теперь, быть может, молятся за нас перед престолом всевышнего...

Потом у него тут же речь как-то перешла на необыкновенно свежую и хорошую осетрину и икру (дело происходило петровским постом), и он, уже вполне сияющий и радостный, звал всех к «себе» на пир под предлогом поминок покойного.

— Если бы такую икру можно было «тогда» достать в Плоештах или Корнештах, то целое состояние можно было бы составить!.. Денег у господ офицеров пропасть было, жалованье двойное и все золотом, а куда было его девать?.. И потом, никто его не бережет, потому сейчас жив и сейчас мертв — убили! — болтал он дорогой из церкви домой.

На том же самом банкетном столе, с которого сейчас стащили покойника, теперь свои и приезжие с гостями лакеи расставляли приборы. На другом столе, между окнами, была готова уже «обильная» закуска. Батюшка, Подугольниковы, Сладкопевцевы, исправник, становой

и проч. озирали ее. «Темой» разговора был, разумеется, покойник и его добродетели, — причем, однако, «из уважения» к новому помещику — супругу, скромно выказывали некоторое неодобрение ему за неснятие проклятия с зятя. Кучка «наших», несомненно подлежавших подобному же обновлению в ближайшем будущем, чувствовала себя здесь чужою и стояла на отшибе. Как-то смутно, инстинктивно понималось, что это не просто смерть и не просто похороны, а победа, и вот мы теперь собрались праздновать ее к победителю на его триумфе... Я зачем-то вышел в переднюю, и там, в сущности, то же самое. Человек двадцать певчих, которым предстояло во время нашего обеда петь вечную память «покойнику папеньке», наскоро и спешно глотали и жевали, тесно обступив закуску. Зная, что я родственник, но не зная, конечно, всей подноготной, они, вероятно, предположили, что и мне теперь достанется добыча, и стали поздравительно осклабляться, а тучнейшие из них и самые опухлые что-то рокотали.

— А?.. Что такое? — спросил я.

— Если бы хереску?..

— Это уж вы обратитесь к... к нему... к «наследнику».

Но радушный, хотя и огорченный потерей, хозяин сам появился в это время в передней и, конечно, сейчас же сделал подлежащее распоряжение об удовлетворении их «хереском».

— Только не очень... не обременяйтесь. И уж хорошенько, пожалуйста, как подадут шампанское...

— Будьте покойны, вознесем!..

— Бог с ним! — сказал он затем, обращаясь ко мне.

— С кем?

— С папенькой-покойником... Вот я так для него ничего не жалею... Если бы не жаркое летнее время и можно было бы «их» дольше не хоронить, я бы и за архиерейскими певчими не пожалел послать.

Тут он вынул бумажник и показал мне три десятирублевых бумажки.

— Вот что осталось от тысячи рублей, а им, — он указал на певчих, — еще ничего не заплачено. Не будь у меня своих денег, так ведь срамота бы вышла, похоронить бы не на что... — И вдруг, как бы припомнив что-то забытое, он просветлел лицом и восторженно-сладост-

ным голосом продолжал: — Братец! покойник любил вас, не откажите ему...

— Что такое?

— Произнесите речь за обедом... Я что мог, по моим средствам, сделал для него. Не откажите и вы в этом. Вы можете... Ведь он был «у нас» два трехлетия предводителем...

— Какой я оратор? Нет-с, увольте... Батюшку какого-нибудь попросите: они мастера на это...

— Вот напрасно, напрасно... — упрекал он и, заметив лакея, несшего на блюде громадный пирог, подозвал его к себе, наклонился над пирогом и потянул носом горячий пар: — хорош, хорош! Неси скорей. И опять ко мне: — А то уж скажите... Может, когда-нибудь и я вам пригожусь...

Я очень впечатлительный человек, и все эти сцены, разумеется, подействовали на меня скверно и расстроили нервы. И вдруг я вспомнил про векселя. Мне страстно, до злобы захотелось сейчас же ему сказать про них, отравить его победную радость, вдребезги разбить триумф... Я уж не знаю, как я овладел собой и не сделал этого. Но я все-таки в отместку заронил ему в душу ядовитое подозрение.

— А где же Фекла? — спросил я.

— В тот же день... Сейчас же — вон!

— Ну, это напрасно... Она вам может много неприятностей сделать... — И взглянул на него. Он вдруг весь изменился в лице.

— А что?

— Напрасно, — повторил я.

— Вы знаете что-нибудь?

— Все я знаю... После поговорим. Ужо, вечером, когда все разъедутся.

— Скажите сейчас.

— Нет, нет, это длинная история, — ответил я и пошел в зал, где уж все собрались вокруг стола в ожидании хозяина.

— Векселей у нее нет — это мы наверно знаем, — как бы успокаивая себя, говорил он, идя рядом со мною.

— У нее нет — это верно.

— А у кого же? значит, векселя есть...

— После...

— У вас?

— После, ужо поговорим...

Я хорошо видел действие этой отравы, и оно вызвало, право, недурное чувство. Это что-то вроде удовлетворения справедливости. С таким чувством пускаешь иногда выстрел в ворон, нагло слетевшихся на мертвую лошадь; стреляешь коршуна, который схватил и уносит с собой утенка. Я не мог удержаться, чтобы не выстрелить раз в кошку, которая долго жила у нас в доме, когда она попалась мне навстречу с живым еще голубем, бившимся у нее во рту. Отчего же не испортить аппетит и «высшему организму», хотя бы и на его же победном пиру?..

Ужо, то есть когда всё приели и припили и начали разъезжаться, «братец», все время загадочно посматривавший на меня, наконец не вытерпел и подошел:

— Вы обещали сказать...

— Как же-с, и должен даже вам сказать — это воля покойного, которую я дал ему слово точно исполнить. — И я все рассказал...

Он слушал молча, улыбаясь, по-видимому, совершенно спокойно. Только губы, и без того бледные и бесцветные, теперь побелели еще больше. Впрочем, это, быть может, мне так только показалось. Но горло у него пересохло, я видел, как он делал усилия глотать перед тем, как спросил:

— Сумма?

Я сказал. Дальше он уже не мог владеть собой. Вырвался крик хищной птицы:

— Наденька, дети!..

И все это сбежалось, окружило нас. С Наденькой, сразу понявшей, какой большой кусок добычи у них урывают, сделалось, ненадолго впрочем, даже дурно. Дети испуганно жались к ней, боязливо посматривали на меня. В сущности, очень глупое было мое положение, но драматического ничего в нем не было. Я отлично знал, что имение в десять раз стоило большего и что он ни за что не расстанется с ним.

— И это отец! И это отец! — повторял он, — это христианин!..

Было очевидно, что им надо дать время на размышление и измышление какого-нибудь контрподвоха: прямо он неспособен был сойтись. У крыльца уж давно стояли мои

лошади. Я встал и начал прощаться. Это отрезвляюще подействовало на Передкова. Он как бы очнулся от забытья и, воздевая одну руку к небу, а другой указывая на покрытые пестрыми волосами головы детей, воскликнул:

— Братец! Бог, жена, дети сир...

— Ну, что вы говорите, — рассмеялся я, — какие же они сироты?

— А папенька-то? — спохватился он.

— Ну-с, подумайте, сообразите, напишите или, лучше, сами приезжайте. Как-нибудь сойдемся, — добавил я, чтоб покончить, наконец, скучную и глупую сцену, — с неделю эти векселя еще пробудут у меня.

— А потом вы их «ей» отдадите?

— Кому — ей?

— Фекле.

— Тут многим надо раздать.

— И Сонечке?

— Говорю вам: многим. И Сонечке... Это вам ведь все равно...

— Если бы знать, кому вы их отдадите, может быть можно бы было и сойтись...

— О нет-с. В этом-то и весь смысл моего участия, чтобы не дать им спустить векселя почем попало. Я раздам им наличными деньгами... Я слово в этом дал ему.

— Братец, братец! за что?!

Когда, наконец, все это кончилось и я вышел на крыльцо, чтобы садиться в тарантас, ехать было уж почти темно. Накрапывал редкий, теплый летний дождик, гулко стуча по листьям деревьев, старых, раскидистых, тесно со всех сторон обступивших обветшалые постройки усадьбы. Я сел, велел поднять верх, и когда выехал в поле, то невольно задумался.

Какую, в самом деле, глупую сцену я разыграл! И к чему? Обиделся на какого-то Передкова, что он смеет думать, смеет даже обещать мне когда-нибудь пригодиться, если я соглашусь пропеть на его триумфе: «воспоют ти раби твоя»... Обиделся и озлился на «жизнь», что она точила, точила и, наконец, свалила еще одно старое дерево, чтобы дать место молодым, здоровым, кудрявым деревцам... Это пестрым мышам-то?

А не все ли равно? Они победили, — значит, они сильнее, здоровее, живее нас; значит, имеют больше нашего

права на жизнь... И что за глупость пугать их, давить. Точно можно передавить всех червей на трупе; не все ли равно: не эти, так другие, а ведь уж непременно съедят...

И потом, разве мы не в самом деле «раби» «его»? Конечно, раби. «Он» подточил нас материально и как только лишил нас вне нас самих существовавших источников наших средств к жизни, что мы тогда стали?.. Обноски, тряпки, лохмотья в позументах... За что же злиться? Конечно: вописуем ти раби твоя!..

Прошел год. Наступил условленный день окончательной расплаты («братец», конечно, купил векселя), и я поехал к нему за деньгами. Я не был у него с описанного дня похорон «покойника папеньки» и теперь, подъезжая к усадьбе, уж мог заметить, что он успел уже снять с нее печать тления, и не только снял ее, но в весьма значительной степени все освежил, усовершенствовал и призвал к жизни. Разумность и действительная, а не «наша» рациональность невольно и резко бросилась в глаза. Никакой роскоши, ни железных крыш на выкрашенных, но старых деревянных постройках, как делывали во дни óны «мы»; ни оранжерей, ни удивительного фасона колодцев — ничего этого не только не было устроено вновь, но даже и то, что уже было раньше воздвигнуто, теперь было снесено, уничтожено в силу совершенно справедливого соображения, что не стоит ремонтировать и поддерживать то, что раз признано бесполезным. Но зато все, что было признано полезным и необходимым, было подновлено, починено и находилось в совершенной исправности. К чему, в самом деле, строить новую конюшню или новый скотный двор, когда можно починить, поправить старое? Ну, со временем, постепенно, не вдруг можно будет и новые выстроить, а теперь зачем?..

О сооружениях чисто фантастических, как, например, бельведеров, триумфальных арок (несмотря на то, что ему, по-настоящему, следовало бы себе таковую воздвигнуть) и проч., конечно и речи не могло быть, если не считать за сооружение подобного рода обыкновенный полосатый верстовой столб, «для красоты» поставленный среди двора, и потом флаг, «гордо развевавшийся» над

деревянной красной крышей дома, обильно усеянной белыми, еще свежими тесовыми заплатами. На дворе все прибрано, чисто, по углам не валяются, как бывало прежде, грязные бумажки... Но нет и ни на что не нужных газончиков, клумб и т. п., для чего следовало бы держать двух-трех лишних людей и платить им жалованье. Огромный, ни на что не нужный, при отсутствии скотоводства, выгон был благоразумно уменьшен, а излишняя часть его распахана под бахчу, и это, кроме несомненной пользы владельцу, еще и оживляло ландшафт, так как множество крестьянских баб и девок собирали огурцы и сваливали их большими зелеными ворохами. У крыльца стояли беговые дрожки. Когда я подъехал, на него вышел «в паре» из небеленой парусины и в соломенной шляпе «братец».

— Ждем, ждем, с самого утра ждем, — говорил он, принимая меня в свои объятия и по-прежнему расцеловав троекратно. — Вот это я люблю. Аккуратность в делах — прежде всего.

Мы вошли в дом, — и там следы обновления и призванной к порядку жизни. Так, мебель хотя и та же — красного дерева, работы столяра Андрюшки, — но починена, подклеена, покрыта лаком и обита американской зеленой клеенкой. Это усовершенствование было произведено, должно быть, недавно, так как в комнатах еще пахло лаком и запахом клеенки.

Все было свежо. Руки жизни коснулись всего. Даже портрет «покойника папеньки», писанный масляными красками крепостным живописцем и, по правде, имевший очень мало с ним сходства, был «освежен», то есть вымыт, покрыт лаком, а рама вызолочена заново. И покойник, чистый и умытый, с достоинством смотрел теперь со стены на своих разношерстных внучат...

— Только что это за корабль выплывает у него из уха? — спросил я «братца».

— Это не из уха. Это даль представлена. «Они» ведь служили в «море», то художник и изобразил эту эмблему.

Также тепло и по-родственному встретили меня и дети. Опять, конечно, произошла сцена уловления моих рук для облобызания, причем они опять остались победителями. Они были все в каких-то мундирчиках неведомых мне ведомств, — и я полюбопытствовал.

— А это я присвоил каждому тот мундирчик, который он впоследствии будет носить, когда, окончив курс наук, будет того достоин.

Оказалось, что тут были почти все питательные ведомства. Передо мной стояли маленькие интенданты, архитектора, инженеры... Очень мило придумано...

Братец пошел отыскивать Наденьку, и я остался один с детьми, ласково меня обступившими.

— Ну, а что, душенька, — спросил я «интенданта», — накладные ты умеешь писать?

— Умею, — бойко ответил ребенок с особенно пестрыми волосиками.

— И, если нужно, подчистку сделаешь?

— Сделаю.

— Ну, молодец. Поцелуй меня.

Не менее бойко отвечал и инженер на вопрос: может ли он сделать смету сооружений моста хозяйственным порядком...

Но больше всех меня утешил один из них, которому братец присвоил мундир гражданского чиновника военного ведомства. Он появился возле меня позже других, и притом с моей спичечницей в руках.

— Дяденька, — ласково спросил он, — это ваша?

— Моя, кажется. Где ты ее взял?

— У вас в кармане пальто. Подарите мне ее.

— Возьми, мой друг, — сказал я, пощупал часы и наглухо застегнулся.

В это время в дверях показалась Наденька с мужем. Она была в «неглиже», и тем лучше можно было увериться в ее цветущем здоровье, а откинутый стан и известного рода полнота талии указывали на то, что она опять тяжела. Мы обнялись и сердечно поцеловались.

— Хорош же родной, — упрекнула она, — только по делу и ездишь.

— Некогда, да и далеко, мой друг, живем.

Она вздохнула и проговорила:

— Некогда! А как же Алексей Евлампич везде успевает?

— Ну, уж он такой у тебя... Но как, мой друг, твое здоровье? Слава богу? Ты, кажется, опять?..

— Опять, — стыдливо проговорила она. — Лешка такой, право, противный.

Братец, стоявший у ручки ее кресла и улыбавшийся самодовольной улыбкой, начал, однако, свою вину сваливать на нее, но она сейчас же категорически опровергла его, сказав:

— Ну, пожалуйста, уж пожалуйста, знаем мы вас, мужчин...

Вспомнили, конечно, и «папеньку-покойника». Братец, между прочим, сообщил, что и памятник на могилке уж поставлен и обошелся копейка в копейку четыреста рублей.

Перед обедом, «для аппетиту», «братец» предложил пойти пройтиться. Я, разумеется, охотно согласился, и мы пошли сперва осматривать усадьбу, постройки. Я еще лучше убедился и укрепился в том впечатлении, какое получил при въезде.

— Вы помните, в каком виде это все было в прошлом году? — говорил он.

— Как же не помнить!

— Людей стыдно было. Ах, папенька, папенька!..

— Ну, а как вы «с народом»?..

— Одно мученье! Истинное божеское наказание.

— Ленятся?

— Все пороки-с: и лень, и воровство, и пьянство, и буянство, и, — он нагнулся к моему уху (мы стояли среди скотного двора) и почти шепотом сказал: — дух какой, я вам скажу, завелся... Намедни я говорю с нашим урядником, так и тот это замечает...

— Принимаете меры к обузданию?

— Принимаем, но какие же это меры? — с грустью сказал он.

— Недостаточны?

— Вполне, и даже более.

Тут он рассказал мне несколько примеров возмутительного своеволия мужиков, из чего прямо явствовала недостаточность мер.

— Я уж и то, — добавил он, — вошел в соглашение с урядником, чтобы он ежедневно заезжал ко мне.

— Помогает?

— Можно сказать — это единственное средство.

— И как же преимущественно действуете: штрафом или этим, — я показал кулак, — или, может быть, предпочитаете воздействие смешанной системы?

Он откровенно сознался, что хотя и предпочитает штрафную систему, как более полезную во всех отношениях и действительную, но что иногда невозможно бывает удержаться, чтобы и не «толконуть»...

Продолжая наш разговор, мы незаметно подошли к садовым воротам, через которые и проследовали, направляясь в «новый сад», основание которому он положил еще в прошлую осень.

— Покойник папенька только на словах говорил, что любят сад, а ни одного сорта хороших зимних яблоков в нем не было. Поэтому я завожу теперь исключительно зимние сорта, самые ценные в продаже. «Они» любили сад так только — для одной прогулки...

В не менее удивительном порядке был и огород. Он показал мне какую-то необыкновенную морковь и еще что-то. По дороге от огорода к дому в саду был довольно большой пруд.

Я с детства помню его вечно покрытым какой-то зеленой плесенью и наполненным, вместо рыбы, несметным количеством огромных зеленых лягушек. Теперь он был чист, как зеркало, и на нем плавала привязанная на веревке новенькая, выкрашенная в белую краску с зеленым разводом, весьма вместительная лодка. На плоту, тут же устроенном, поваренок чистил карасей. Пузыри и соскобленная чешуя блестели на солнце. Увидал я ее и вспомнил почему-то гоголевского Костанджоглу.

— Вы читали Гоголя? — спросил я.

— Не помню. А что?

— Там есть у него такой же, как вы, удивительный хозяин — Костанджогло.

— Жизнеописание?

— То есть, как вам сказать? Ну да, пожалуй.

— И наставления, рецепты есть?.. Они действительно существовали — или это одно мечтание?

— Нет, теперь скоро, кажется, это уж не мечтание будет, а в самом деле заведутся...

— Да-с, пора приниматься за ум господам помещикам! Пора, пора...

— Знаете, — продолжал я все под тем же впечатлением, — вы даже выше Костанджоглы, гораздо выше. У того аппетит чем-то умерялся, его что-то тревожило, а вы свободны от всего этого, покойны...

— Да-с, благодарю моего бога, не ропщу...

Возбудив аппетит прогулкой, мы вернулись к дому. На балконе, под парусинным навесом, умерявшим зной и в то же время позволявшим ветру удобно продувать, было чисто, свежо; прекрасно, хотя без излишнего роскошества, был сервирован и обед. На маленьком столике, покрытом такой же белоснежной скатертью и стоявшем несколько в стороне, была приготовлена закуска.

— А не выпить ли нам по рюмочке пока? — спросил он и, осторожно обняв меня за талию, подвел к столику.— Эта настойка из ягоды, известной в простонародье под именем волчьего глаза, — сказал он, — она чистит кровь и потом слабит.

— Но, помилуйте, зачем же мне?

— О, не говорите: это полезно всякому! — И, не допуская дальнейших возражений, он налил две рюмки.

— Не очень, однако... того?

— Н-е-е-т, легко и приятно...

Я повременил, пока он выпил, и потом проглотил сам нечто со вкусом лакрицы.

Обед был приготовлен прекрасно, хотя в нем преобладали в излишестве молоко и зелень.

— Летом обед, — продолжал он, — должен быть хотя и питательный, но легкий. Летом человек меняет кровь.

Будучи слаб в естественных науках, я ничего не возразил ему, хотя и не мог не чувствовать, что здесь кроется какое-то недоразумение.

Когда после обеда мы, захватив с собой бутылку доброго вина, удалились в кабинет, он сам начал разговор о деле.

— Векселя с вами, братец?

— Со мной, — ответил я.

— Так покончим эту неприятную историю.

— Я очень рад, — сказал я.

Но так как он не вынимал денег, то и я не считал своевременным вынимать векселя. Тогда он, немного повременив, повторил свои слова. Я сделал то же. Прошло несколько мгновений молчания, он взглянул на меня и кротко-грустно улыбнулся.

— Братец, — сказал он, — неужели вы... я ведь не боялся же, когда приезжал к вам с деньгами...

Уплата мною была рассрочена на три взноса, и два из них он уже произвел, приезжая всякий раз ко мне. Я взглянул на его относительно тощую фигуру, потом, в зеркало, на себя и вынул бумажник с векселями.

Мы рассчитались честно.

Вечер мы провели не менее приятно, посвятив его прогулке, обозрению полей и катанью на лодке по пруду, причем маленькие: интендант, инженер, член сиротского суда и гражданский чиновник военного ведомства были гребцами, а у руля сидел «братец», направляя его испытанной в житейских треволнениях рукой...

После чаю и легкой при этом закуски детей отпустили спать, а мы, то есть Наденька, братец и я, начали обсуждать некоторые современные вопросы.

— Я полагаю, — сказал братец, — что дворянство поступило бы весьма благоразумно, занявшись сельским хозяйством по преимуществу.

— Вы совершенно правы, и потому с этим нельзя не согласиться, — ответил я.

— Корень зла, — продолжал он, — конечно, в нашем народе, но с этим следует бороться, и дворянство может восторжествовать.

— Но каким путем? — полюбопытствовал я.

— Путей много, — ответил он, — усиление надзора, строгость законов, предоставление дворянству утраченных прав...

— Но расширение власти урядников и вообще круга их ве́дения и деятельности не может ли хотя отчасти заменить все это? — спросил я, — ибо было бы и проще, и получить это можно, по-видимому, скорей...

Он сказал, что, конечно, лучше что-нибудь, чем ничего, но в интересах самого государства было бы полезно принятие вышеупомянутых мер.

В дальнейших разговорах он откровенно сознавался мне, что если бы дворянство их уезда сделало ему честь... если бы стали настаивать в предстоящую через два года баллотировку на выборе его... в предводители, то он... не в силах был бы противостоять.

— И тогда, — заключил он, — я уверен, что добрыми советами и личным примером я бы принес значительную пользу «нашему» сословию... — И немного погодя, как бы делая над собой усилие, спросил:

— А что, братец, вы не знаете, дела по присвоению чужой фамилии долго тянутся?

— Вообще как и все уголовные дела. Обыкновенным порядком, — ответил я.

Но вслед за тем я ощутил некоторый испуг, когда в голове моей мелькнула мысль: неужели он носит чужую фамилию?

Это было, однако ж, не что иное, как недоразумение.

— Я неточно выразился, — сказал он, улыбаясь, — скоро ли можно получить разрешение на присоединение к своей фамилии лица умершего и не оставившего потомства в мужском колене?

— Зачем это вам?

— Не хочу скрывать, — ответил он. — По настоянию Наденьки и детей я намерен ходатайствовать о присоединении к нашей фамилии Передковых фамилии «покойника папеньки». Это с одной стороны. А с другой — я полагаю, это будет приятно и дворянству. Если бы к предстоящим выборам... Братец, — вдруг воскликнул он, — у вас в Петербурге такое знакомство... помогите мне...

Я сидел как очарованный. Мокрица, червь, жук гробовой съедают труп, но не посягают при этом ни на прошедшее, ни на будущее его, а он...

— Братец! Вы это можете... помогите мне... —почти простонал он и потянулся ко мне, чтобы облобызать.

— Я всегда была убеждена, что вы сойдетесь, — радостно сказала Наденька и тоже подошла, чтоб поцеловать меня...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Н. Соколов. С. Н. Терпигорев и его очерки «Оскудение» III

«БЛАГОРОДНЫЕ»

Часть первая. *Отцы*

От автора . . . 3
I. Увертюра . . . 5
II. Рациональные хозяева . . . 36
III. Новый барин . . . 77
IV. Наш последний расцвет . . . 99
V. Поземельный кредит . . . 150
VI. Отхожие промыслы . . . 184
VII. На промыслах . . . 218
VIII. Кустарная промышленность . . . 268
IX. Тихие пристани . . . 303
X. Бродячие . . . 345
XI. Итого . . . 384

С. Н. ТЕРПИГОРЕВ
(С. АТАВА)

Оскудение

В двух томах, т. I

Редактор Р. Софронова
Художественный редактор
Л. Чалова
Технический редактор
Л. Крючкина
Корректор О. Семенова-
Тян-Шанская

Сдано в набор 16/IV 1958 г. Подписано к печати 11/VII 1958 г. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$ — 14,5 печ. л. = 23,78 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 23,73 + 1 вкл. = = 23,77 л. Тираж 75 000 экз. Заказ № 1704. Цена 7 р. 55 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

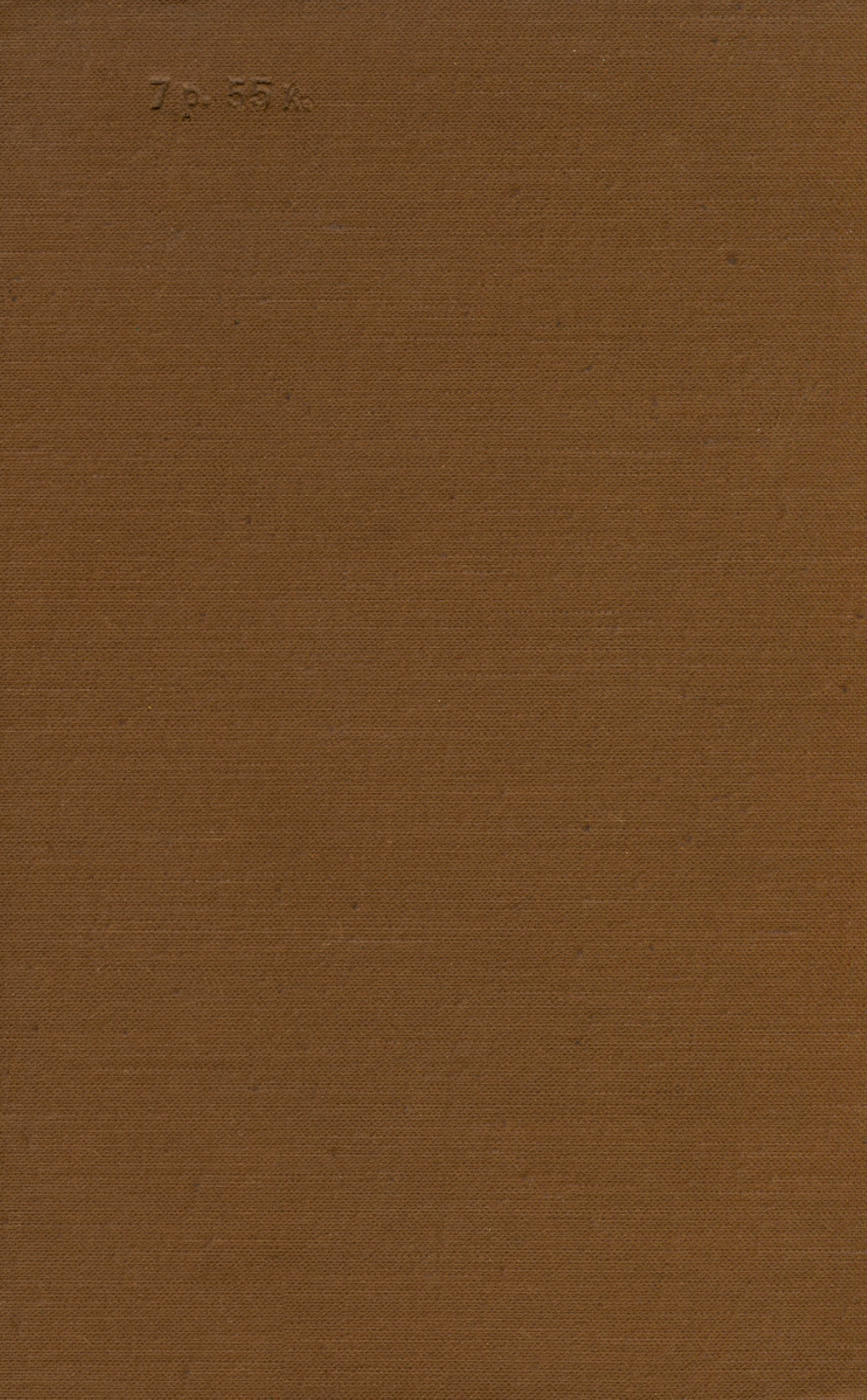
Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

Отпечатано с готовых матриц в типографии им. Володарского Лениздата. Зак. № 1223

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	*Строка*	*Следует читать*	*Виновник*
XXI	Отсутствует сноска	[1] «Новое время», 1882, № 2163, 7 марта.	Типография

С. Н. Терпигорев. Оскудение, т. 1.


7 р. 55 к.